Владимир Лакшин

СОЛЖЕНИЦЫН И КОЛЕСО ИСТОРИИ



Владимир Лакшин

СОЛЖЕНИЦЫН И КОЛЕСО ИСТОРИИ

Москва
«Вече» – «АЗЪ»
2008

УДК 821.161.1-95
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Л 19

В книге использованы фотографии из личных архивов
В. Я. Лакшина и А. Т. Твардовского

Лакшин В. Я.

Солженицын и колесо истории / Сост., предисл. и коммент. С. Н. Кайдаш-Лакшиной. — М. : «Издательский дом «Вече», «АЗЪ» (Знатнов), 2008. — 464 с., 8 с. ил.

ISBN 978-5-9533-3108-1 («Вече»)
ISBN 978-5-903488-03-2 («АЗЪ»)

Настоящая книга представляет собой впервые собранные вместе статьи, дневниковые записи Владимира Яковлевича Лакшина (1933–1993) о творчестве и личности А. И. Солженицына (1918–2008) и их переписку. Как известно, главный редактор легендарного журнала «Новый мир» русский поэт А. Т. Твардовский огромными усилиями напечатал в 1962 г. повесть «Один день Ивана Денисовича» о крестьянине, посаженном в лагерь. Тогда автор повести уверял, что «капитализм отвергнут историей», нужен «нравственный социализм», а сам в это время сочинял пасквиль на Твардовского и редакцию журнала «Бодался телёнок с дубом». Когда Солженицына выслали на Запад, он опубликовал эту книгу-фельетон и начал яростную борьбу против СССР и социализма. В этом и состоит известная тайна писателя, разгадыванию которой и посвящена эта книга.

В. Я. Лакшин — литературный критик, литературовед, прозаик, мемуарист, автор книг о Толстом, Чехове, А. Н. Островском и др., создатель уникальной телевизионной библиотеки о русских классиках — Пушкине, Чехове, Блоке и др. В 1990-е гг. выступал с острой публицистикой («Россия и русские на своих похоронах», «Спасение из провинции» и пр.).

Книга о Солженицыне, писавшаяся Лакшиным на протяжении 30 лет, поражает сенсационной объективностью, читается на одном дыхании и адресована самому широкому кругу читателей.

УДК 821.161.1-95
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-9533-3108-1 («Вече»)
ISBN 978-5-903488-03-2 («АЗЪ»)

О телёнке и зёрнышке

Лакшин о Солженицыне — тема этой книги, которая достаточно весома и, несомненно, будет продолжена и дальше, читателями и исследователями ушедшего века, русской литературы и трагедий русской истории.

Владимиру Яковлевичу было присуще ежедневное ощущение себя в историческом чувстве каждого дня — дня повседневности и вместе с тем исторического бытия и смысла. Во вступлении к своим дневникам, которое он назвал «Письма к самому себе», он писал: «Привычно поскрипывавшее в медлительном качании колесо истории вдруг сделало первый невидимый нам оборот и закрутилось, сверкая спицами, обещая и нас, молодых, втянуть в свой обод, суля движение, перемены — жизнь».

Однако не всегда перемены — жизнь, последняя перемена — смерть. Владимир Яковлевич скончался внезапно 26 июля 1993 года, и ровно через десять месяцев в Россию вернулся Солженицын. Собственно его ждали давно — еще с августа 1991 года, после произошедшего переворота. Как раз начиная с июня — июль и август 1991, а потом ноябрь и декабрь — время Беловежского соглашения об уничтожении Советского Союза — в журнале «Новый мир», который когда-то при Твардовском сделал Солженицына знаменитым, печаталась его книга «Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни». Ее выход так странно совпал с этими событиями... И не зря. «Телёнок» посвящен борьбе автора с журналом «Новый мир» и его редакторами, разделявшими веру

в социализм и возможности его реформации, с позиций самого пылкого и яростного антикоммунизма, который он здесь, пока не был выслан, не обнаруживал. Напротив того, Солженицын писал о «нравственном социализме». «Телёнком» автор начал борьбу против «социалистов» «Нового мира». Ему нужно было сокрушить это «чувствилище» духовной жизни страны.

Время настало такое, что ответ Вл. Як. на «Телёнка», опубликованный уже в Англии, Франции и США, встретил отказы во всех журналах. Имя Солженицына после Августа 1991 года стало неприкасаемым знаменем, и опубликована эта работа была лишь уже после кончины Вл. Як. в журнале «Литературное обозрение» благодаря неуступчивой силе и мужеству Леонида Арамовича Теракопяна. Приношу ему и редактору журнала Леонарду Илларионовичу Лавлинскому горячую благодарность.

Все эти годы, что Солженицын живет в Москве, не затухая идет война против сочинения Владимира Яковлевича. Литературные критики — от газеты «Завтра» до «Литературной газеты» имя его предпочитают упоминать в отрицательном духе. И непременно кто-то ругнет всерьез — Лев Аннинский, Владимир Бондаренко, Павел Басинский. Иногда дело доходило и до откровенных курьезов. Приведу три небольших.

В 2000 году в издательстве «Большая Российская энциклопедия» вышел биографический словарь «Русские писатели 20 века», куда Лакшин вообще не попал: как говорится, не удостоился. Рецензия на словарь называлась — «Как Лакшин в энциклопедию не попал»! Однако этого мало. В огромной статье «Солженицын» в библиографии не указано на само существование работы Вл. Як. — «Солженицын, Твардовский и „Новый мир“». Звоню редактору, спрашиваю: как возможно такое? Мне отвечают: — А мы не хотели огорчать Александра Исаевича!» Какая там цензура! Угодливость пострашнее ее.

Второй курьез. Недавно вышла книжка воспоминаний о писательнице Наталье Иосифовне Ильиной, которая после публикации статьи в 1977 году в Лондоне выразила Вл. Як. свое негодование тем, как он посмел поднять руку на столь признанный авторитет во всем мире, как Солженицын. Ильина была автором «Нового мира», часто бывала у нас в доме и любила читать рукописи своих литературных фельетонов за обеденным столом, очень

дорожа тем, как Вл. Як. с ходу их поправлял и редактировал, внося не только стилистические изменения.

Теперь вот поэт Леонид Латынин, никогда не присутствовавший на этих встречах, рассуждает, почему Ильина заняла сторону Солженицына. Он думает, что все дело в ее происхождении, дворянском роде: «Возможно, в этом тень ушедшего из нашей жизни кодекса цельности и *единственности* (курсив мой. — *С. К.-Л.*) стиля поведения русского дворянства». («И только память обо всем об этом... Наталия Ильина в воспоминаниях друзей». С. 127). Забавно то, что Латынин, возможно, не знал, а может быть, и забыл, если знал, что матушка Владимира Яковлевича была и по отцу, и по матери русской дворянкой, в совершенстве знала французский язык, так как успела поучиться в институте благородных девиц, да и мачеха ее, с которой она прожила немало лет, была француженкой-парижанкой. Ильину матушка не любила, сочинениями ее не восхищалась, и та, чувствуя это, заметно ее робела, может быть, отчасти из-за того, что французский Наталья Иосифовна начала учить уже только в старости, когда стала ездить к родственникам в Париж. Словом, свекровь моя нисколько не удивилась перемене в Ильиной и бросила презрительно: — «Эмигрантская выскочка!» Так что с «Рюриковичами» Латынин погорячился... Впрочем, не стоит драматизировать. Через несколько лет Ильина подарила нам свою книгу «Дороги и судьбы» с такой надписью: «С. Н. и В. Я. Лакшиным. Дорогим и уже давним свыше — 20 лет! — друзьям Светлаше и Володе сердечно дружески. Н. И. июль 1988». Время лечит.

Теперь последний курьез. Благородная среда ученых чеховедов.

Спустя семь лет после смерти Вл. Як. директор одного из чеховских музеев вспомнил, как Вл. Як. высмеял его на одном из заседаний за увлечение фрейдизмом. И пошла писать губерния! Вспомнил и недопустимую дерзость Лакшина с Солженицыным и то, как он, директор, читая «Телёнка», «поеживался оттого, как Лакшин по дороге в Тарусу, к Твардовскому (!) «уламывал» Исаевича снять из «Ракового корпуса» наиболее острые страницы». Удивительно, как много ошибок можно сделать в одном предложении! Таруса и Твардовский!

Назвав Лакшина «Тамерланом от литературы», определив его «профессиональный идиотизм», этот, с позволения сказать, «че-

ховед» облил его еще домыслами и клеветой. Основатель и первый председатель Чеховской комиссии Совета по истории мировой культуры Российской Академии наук доктор филологических наук Владимир Яковлевич Лакшин, однако, не удостоился защиты от своих коллег. Они испугались испортить отношения с директором музея, который находится в Ялте: привыкли ездить туда по весне и делать чеховедческие доклады, считая это своим долгом. А в вестнике Чеховской комиссии написала пространный опус в защиту директора музея ученый секретарь Ирина Гитович, которая, как выяснилось, тоже пострадала от «тамерланства» Лакшина в новомировские годы, когда он испортил своей редактурой ее совершенный текст (почти сорок лет назад). Поэтому она в 2001 году пустилась в рассуждения, был ли Лакшин либералом или не был, имел ли он право объясняться с Солженицыным по поводу «Телёнка» или не имел, были ли «счеты» у Лакшина к Солженицыну или не были. Правда, Гитович посчитала, что он «жёстко и, возможно, исторически несправедливо полемизировал с Лакшиным». Ну и глубокомысленные филологические «дискурсы с парадигмами» относительно текста «Ракового корпуса». Нет чтобы словить хотя бы Твардовского в Тарусе! — ученому секретарю! Разумеется, мой ответ в Чеховском вестнике напечатан не был. Гитович заявила, что покинет пост ученого секретаря комиссии, если мое письмо будет опубликовано. Это сочли серьезным обстоятельством. Академическим.

Все эти курьезы вспухли потому, что по возвращении на родину в 1994 году Солженицын, которого, кстати, его почитатели вскоре выдвинули на пост президента России, продолжил «Телёнка» — публикацией нового сочинения «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» («Новый мир», 1998, №№ 9, 11; 1999, №№ 2, 9 и далее).

Полемике с ним Лакшина он отдал там много места. Надо отдать должное Александру Исаевичу: по многим вопросам он признал правоту Владимира Яковлевича, подтвердил, что во многом судил неверно и был неправ.

«Не дворянское это дело» — манерно присваивает Лакшин былую присказку Твардовского обо всяком непорядочном поступке... — пишет Солженицын. — ...Однако и задумываюсь теперь: как я уверенно судил еще пять лет назад о несомненных преимуще-

ствах самиздата перед подсоветской официальной литературой, и даже „Хроника текущих событий" мне казалась значительней, чем достижения „Нового мира". Но вот теперь „на воле", на Западе, уже выходит полдюжины **свободных** журналов на русском языке, — и кажется, никто ж им не мешает достичь высокого уровня, никто их не давит, — а отчего ж они не растут? Ни один из этих претенциозных журналов не может и приблизиться к культурному и эстетическому уровню тогдашнего „Нового мира" — а ведь тот был перепутан и размозжен цензурным гнетом. Никто из этих не возвысился к спокойному, достойному, глубокому обсуждению, как умудрялся „Новый мир" в своих жёстких рамках, закованный. И сколько национально-народного всё же прорывалось в „Новом мире" — этого в журналах „Третьей эмиграции" начисто не найдешь, в них — бесконечная даль от жизненных русских проблем, и это еще в лучшем случае. В последние мои советские годы, увлечённый горячкой борьбы с режимом, я переоценивал самиздат, как и диссидентство: переклонился счесть его коренным руслом общественной мысли и деятельности, — а это оказался поверхностный отток, не связанный с глубинной жизнью страны. Имея каналы на Запад, диссиденты наполняли их больше сведеньями своей среды, а не общенародными... С ходом коротких лет диссидентство быстро истощалось, а открылась им эмиграция — и диссидентское движение, не захваченное вопросами национального бытия, оказалось сходящею пеной. На соблазне эмиграции диссидентство поскользнулось и кончило свое существование».

Несмотря на глубокое личное раздражение, Солженицын вынужден признать теперь, спустя свыше двадцати лет после выхода статьи Владимира Яковлевича и шести лет после его смерти: «*Лакшин, очевидно, прав, коря меня*, что о внутренней обстановке „Нового мира" я судил по слишком беглым своим, всегда на лету, впечатлениям. *Допускаю*, что я весьма неполно вник в соотношение „первого" и „второго" этажей. *Я рад, что он меня поправил*. Да наверное об этом выскажутся потом ещё другие свидетели. И *конечно он прав*, что я не открыл всего доброго, что можно было ещё сказать о Твардовском: при захваченности моей рукопашной с властями я был в позиции, мало удобной для спокойных наблюдений. Да, конечно, я давал простор нетерпеливым, а иногда и *несправедливым* оценкам боя. Так, в горячности и отчаянии, *я был со-*

вершенно неправ, упрекая Александра Трифоновича, что он не взял в редакцию уцелевшего после провала экземпляра „Круга Первого“: после *моих же ошибок* не должен он был ставить журнал под удар новым взятием на хранение уже арестованного романа. *И не мог „Новый мир“* устанавливать печатанием «следующие классы смелости» — разве только когда обманув цензуру (они это и делали), а вся сила решений была не в их руках. *Снимаю и свое предположение*, что Твардовский в дни разгрома должен был собрать для совета весь состав редакции, — ему было видней. И в эти дни разгона — какого высшего уровня смелости я хочу от руководства „Нового мира“? Что они могли сделать — не независимые издатели, а государственные служащие? Только — дать самиздатское заявление, что мне казалось тогда единственно желанным и действенным. Но ни Твардовскому, ни другим членам редколлегии это было не по ритму, не по навыку, совсем невозможно. Это украсило бы их падение, да, — но не изменило бы обстановку. А когда им навязывали в редакцию А. Овчаренку, клявшего А. Т. „кулацким поэтом», — как же мог Твардовский оставаться? Ну да *это я и тогда же признал*. А ещё — Лакшин мне того не припоминает, но сам я теперь осознал, *повинюсь*: в „Телёнке“ я упрекнул А. Т. за парижское интервью „Монду“ осенью 1965, что он не дал ни малого намёка, в какой я опасности, а мое провальное молчание объяснил моей скромностью. Да, очень много я от него хотел. Вот и сам я, год спустя, в интервью Комото — ведь не решился же прямо выложить, что мне голову откручивают». (Курсив мой. — *С. К.-Л.* «Новый мир», 1999, № 2. С. 97, 94).

Таким образом, Солженицын признал правоту Вл. Як. практически во всем — «колесо истории» этой повернулось. Глубокое его личное раздражение, досада, часто злоба уже не могут быть приняты в расчет: и в «искажении цитат» и — в «казенном приспособленце, в фаворе у властей» (С. 94). Есть ли больший «фавор у властей», чем у Солженицына ныне?

Кстати сказать, подарив читателям подробное описание своего вермонтского поместья — с водопадами, пятью горными ручьями, двумя проточными прудами, лесом таким, что волки бегают и едва как-то не съели автора «Телёнка», форели выскакивают, койоты бродят («кого я ласково люблю — это койотов... подходят к самому дому и издают свой несравнимый сложный зов: изобразить

его не берусь — а очень люблю»), Солженицын играючи пишет о себе: «в 1975, достигнув необъятной воли и с необходимыми для того деньгами». Но он не стесняется заклеймить Лакшина, который «без промедления пошел на предложенный ему казенно-литературный пост, который *кормит его* (курсив мой. — *С. К.-Л.*) и дает положение» (Там же. С. 95). Это он о должности консультанта в журнале «Иностранная литература» без права писать о современной и даже русской литературе — рассудил.

Солженицын никак не может простить Лакшину (да и журналу «Новый мир») его признания: «Мы верили в социализм как в благородную идею справедливости» и журнал считали «ростком социалистической демократии» (Там же. С. 95), а социализм как общественное устройство выше капитализма. Они дорожили «чувством общего с трудовыми людьми».

«Эти „вершинные“ суждения Лакшина, — пишет Солженицын, — и показывают рельефно, насколько невозможно было между нами понимание» (Там же. С. 95).

Враг коммунизма и социализма, он теперь признается: «Телёнку» никак было невозможно остывать, это не мемуары, а «репортаж с поля боя», «надо сбросить коммунизм так, чтобы не погубить народ, а для этого — не революция, но переворот» (2000, № 9. С. 132), «меня рвали вперед крылья борьбы» (1998, № 11. С. 99), «так и я, считая коммунизм безоговорочным и даже единственным врагом, долго совершал кадетские прихромы, в том же „Круге“, в первом издании „Архипелага“, это было рассыпано там у меня» (2000, № 9. С. 136). Америку он ощущал «таким плотным, верным и сильным союзником нашего освобождения» (1998, № 11. С. 132).

Однако же в США Солженицына ожидал удар, который он связывает с именем Лакшина и его полемикой с ним. Она повернула общественное мнение Европы и США против писателя. Это ярко отражено в «Зёрнышке». Вышедший на Западе в Европе и нашумевший ответ Лакшина Солженицыну достиг Америки, и вот, по словам Солженицына, американские журналисты — «в целях и рекламы лакшинской» книги — буквально «конспектируют Лакшина» (2000, № 9. С. 158). Они сообщают американским читателям выходящего там «Телёнка»: «А Лакшин, мол, весьма убедительно оспаривает мемуары Солженицына» (Там же). Сол-

женицын пишет с досадой: «Воистину, Лакшин двух маток сосет. Пишут о нем теперь американские журналы: „почитаемый как на Западе, так и на Востоке“, „в немилости у властей“» (2000, № 9. С. 158).

Такое отношение американской прессы, «конспектировавшей Лакшина», повлияло на отношение Солженицына к США как союзнику борьбы против коммунизма: «Своей запальчивой недоброжелательностью американская пресса как бы спешила еще и еще доубедить меня, что невозможен нам основательный союз с ними против коммунизма» (Там же). Так что «умилительная близость к диагнозам Лакшина» (Там же. С.164) выступлений в американской печати повлияла и на мировоззрение автора «Телёнка». Его заявление — «вряд ли эта работа станет украшением избранного тома статей Лакшина» (1999, № 2. С. 97) — скорее было досадой, чем пророчеством...

В «Зёрнышке» (телёнок, зёрнышко — как ласково о себе!) меня больше всего поразила короткая сценка: Солженицын в вермонтском поместье показывал своим маленьким сыновьям звездное небо, и «Игнат поражен был „Альголем“ — «звездой дьявола» (за переменную яркость) — и жаловался маме, что ему теперь страшно ложиться спать» (2000, № 9. С. 115).

Ни в одном справочнике я не нашла эту звезду. «Переменная яркость»...

Можно задать себе вопрос: стало ли уничтожение «Нового мира», который объединял всех мыслящих людей страны, создал Общественное Мнение и настоящее Гражданское общество, способное к подлинному реформированию, безвозвратно ушедшим прошлым, событием лишь литературной жизни? Нет, конечно. Стоит вспомнить, что решение о разгоне журнала подписал А. Н. Яковлев — будущий «архитектор перестройки».

Историк Василий Осипович Ключевский подметил парадоксальный закон: «Мы гораздо больше научаемся истории, наблюдая настоящее, чем поняли настоящее, изучая прошлое. Следовало бы наоборот» (*Ключевский В. О.* Афоризмы и мысли об истории. Пенза. 1992. С. 60). Именно наблюдая настоящее, возможно стало вернее оценить то, что произошло и с закрытием «Нового мира» Твардовского, и с появлением «Телёнка» Солженицына.

Второй парадокс Ключевского: «История — зеркало — неосторожность» (Там же. С. 110) в данном случает придется отвергнуть.

Не было упавшего по неосторожности зеркала, а было все тщательно подготовлено.

Выступая на Лакшинских чтениях, которые проходят в Москве уже двенадцать лет и всегда многолюдны, критик Наталья Иванова сказала: «Новый мир» был своего рода политбюро партии «новомирской» России — а партия такая была, и очень достойная и настоящая. И сегодня, даже осуществляя ревизию «новомирства» и его критики, нельзя недооценивать ее выдающуюся, огромную, единственную в своем роде историческую роль в разблокировании сознания читающего сообщества... Читатель миллиметр за миллиметром, вместе с Лакшиным как деятелем журнала и критиком, увеличивал пространство свободы. ...Лакшин безусловно остается настоящим деятелем в истории русской литературы XX века, в истории освободительной мысли России» (*Владимир Лакшин*. Голоса и лица. Гелеос. 2004. С. 595-596).

«Новомирская партия», которая «защищала дружно оплеванный ныне идеал гуманного, демократического социализма», в который, по признанию Вл. Як., «верили Твардовский и многие из нас» — и была разгромлена в 1970 году. Солженицын в своем «Телёнке» попытался расправиться с ней изнутри. В своем «Зёрнышке» он сам признал: «Общественное движение в СССР, по мере всё более энергичного своего проявления, не могло долго сумятиться без проступа ясных линий. Неизбежно было выделиться основным направлениям и произойти расслоению. И направленья эти, можно было и предвидеть, возникнут примерно те же, какие погибли при крахе старой России, по крайней мере главные секторы: социалистический, либеральный и национальный» («Новый мир», 1998, № 9. С. 65). В социалистическом секторе самым сильным и потому опасным был «Новый мир» — а не «старые большевики».

Через 15 лет началась Перестройка, еще через шесть — в стране был свергнут социалистический строй. Так что ликвидация «Нового мира» была важной вехой на этом пути. Так прокатилось Колесо Истории... Здесь опять хочется вспомнить Ключевского: «В нашем настоящем слишком много прошедшего;

желательно было бы, чтобы вокруг нас было поменьше истории» (Там же. С. 164).

Вл. Як. принадлежит и определение «просвещенного патриотизма», которым так широко пользуются сейчас самые разные партии. Это по существу исповедовал «Новый мир».

В настоящей книге читатель найдет статьи Вл. Як., посвященные творчеству Солженицына, выдержки из его дневников, связанные с ним. Впервые публикуются письма Вл. Як. Солженицыну весны 1970 года, письма К. Л. Рудницкому, в «Вестник РХД» о статье Ф. Светова. В примечаниях к письму Рудницкому — разнообразный материал об А. С. Берзер. В текст работы «Солженицын, Твардовский и «Новый мир» возвращена сноска, адресованная А. Латыниной (1991), выпавшая из публикации в «Берегах культуры».

В примечании к страницам о Лакшине Солженицын выражает недоумение: в публикации этой работы в книге «Берега культуры» (М.: «Мирос». 1994) «из прежнего текста убран большой неприязненный абзац об А. С. Берзер («амбиции ее были велики», «она не испытывала брезгливости к двойной игре» и т. д., «и часть перещедренной брани обо мне»). (Примеч. 1996)». Свидетельствую: это сделано Владимиром Яковлевичем при подготовке текста к публикации на родине после выхода «Телёнка» здесь в 1991 году.

У Владимира Яковлевича необычайная тяга к справедливости, боязнь быть несправедливым была, возможно, главной чертой его личности. А еще он верил, что добром можно победить зло. Главным же его заветом было не называть черное белым и белое черным.

Светлана Кайдаш-Лакшина

Май 2006 — август 2008

Иван Денисович,

его друзья и недруги

1

Трудно представить себе, что еще год назад мы не знали имени Солженицына. Кажется, он давно живет в нашей литературе, и без него она была бы решительно не полна. Каждый новый его рассказ — хвалит, ругает ли его критика — не оставляет читателя безучастным. О нем говорят, его цитируют, судят его с какой-то особой, необычной для наших литературных споров требовательностью, которая есть первый знак того, что мы по-настоящему задеты и взволнованы. Заурядность располагает к благодушию оценок, но тот, кто поразил нас при первом своем появлении, не может рассчитывать на снисходительность. И таков уж закон читательской психологии или, если угодно, предрассудок ее, что, какие бы новые темы и формы ни разрабатывал Солженицын в «Матренином дворе» или рассказе «Для пользы дела», ему не избежать сравнений с его первой повестью — к выгоде или невыгоде для нее. Так или иначе, но повесть «Один день Ивана Денисовича», с которой А. Солженицын вошел в литературу, остается для большинства читателей как бы эталоном его деятельности художника. Тем полезнее сейчас, когда в критике уже высказаны различные точки зрения на талант Солженицына, оглянуться назад и пристальнее всмотреться в эту маленькую повесть.

«Один день Ивана Денисовича» был прочитан даже теми, кто обычно повестей и романов не читает. Один такой «нерегулярный» читатель сказал мне: «Я не знаю, плохо или хорошо это написано. Мне кажется, иначе и написать нельзя».

Повесть поражала жестокостью и прямотой своей правды.

Это был тот редкий в литературе случай, когда выход в свет художественного произведения в короткий срок стал событием общественно-политическим.

Н. С. Хрущев дал высокую оценку этой повести, тепло отозвался о ее герое, сохранившем достоинство и красоту трудового человека и в нечеловеческих условиях, о правдивости изложения, о партийном подходе автора к явлениям столь горькой и суровой действительности. Сам факт появления повести был воспринят людьми как подтверждение воли партии навсегда покончить с произволом и беззакониями, омрачавшими недавнее наше прошлое. И понятно, что гражданская смелость автора была отмечена прежде и повсеместнее, чем его художественная смелость.

Иной склонен был думать, что успех писателю принесла сама тема — острая и новая, и еще, что Солженицыну ничего не стоило написать свою повесть, потому что Иван Денисович — это он самый и есть — просто сел за стол да записал бесхитростно историю одного своего дня. Мнение лестное для автора, до такой степени слившегося в нашем сознании с героем, но наивное и несправедливое. Правдиво рассказать о жизни заключенных в лагере ничуть не проще, чем написать, скажем, о буднях войны, о стройке или колхозе. Дело здесь не в теме, а в таланте, то есть в чувстве правды автора и умении нам эту правду передать. Что же касается простодушной догадки, что сам Солженицын и есть Иван Денисович, оттого и авторская задача его была легка, то последние рассказы многим помогли разубедиться в этом. Подобно автору «Мадам Бовари», говорившему: «Эмма — это я», Солженицын мог бы сказать о себе, что он — это и старуха Матрена, и молоденький лейтенант Зотов, и партийный работник Грачиков, то есть все те лица, которые изображены в его рассказах с такой высокой объективностью и

знанием человеческого сердца, но в которых вовсе не растворяется без остатка личность писателя.

Художественная смелость Солженицына в его первой повести сказалась уже в том, что он не потворствовал обычным нашим понятиям об украшениях художественности. Он не построил, по существу, никакого внешнего сюжета, не старался покруче завязать действие и поэффектней развязать его, не подогревал интерес к своему повествованию ухищрениями литературной интриги. Замысел его был строг и прост, почти аскетичен — рассказать час за часом об одном дне одного заключенного, от подъема и до отбоя. И это была тем большая смелость, что трудно было себе представить, как можно остаться простым, спокойным, естественным, почти обыденным в такой жестокой и трагической теме.

Солженицын разочаровал тех, кто ждал от него рассказа о злодеяниях, пытках, кровавых муках, об эксцессах бесчеловечности в лагере, о мучениках и героях каторги. Странно признаться, но первое впечатление, которое мы испытали, начавши читать повесть, было: и там люди живут. И там работают, спят, едят, ссорятся и мирятся, и там радуются малым радостям, надеются, спорят, бывает, подшучивают друг над другом...

Как нарочно (не сомневаюсь, что нарочно), автор выбрал для рассказа относительно благополучную пору в лагерной судьбе своего героя. Ведь было и так, что на Севере, в Усть-Ижме, куда поначалу попал Иван Денисович, зиму без валенок ходили, есть же совсем было нечего, и «доходил» уже Шухов кровавым поносом. Да и режим там был не в пример суровей. «В усть-ижменском скажешь шепотком, что на воле спичек нет, тебя садят, новую десятку клепают. А здесь кричи с верхних нар что хошь...» Но о той поре жизни Иван Денисович вспоминает вскользь, к случаю, и обычно для того только, чтобы подчеркнуть преимущества нынешнего Особлага — «здесь поспокойней, пожалуй».

Самое же парадоксальное и смелое, что и в этой сравнительно легкой полосе лагерного срока автор выбирает из длинной череды дней, проведенных Иваном Денисовичем за колючей проволокой, день не просто рядовой, но даже

удачный для Шухова, «почти счастливый». К чему это? Не хочет же он, в самом деле, уверить нас, что и в лагере «жить можно»?

Что пользы в праздных вопросах. Вспомним лучше, какие чувства пережили мы, открыв впервые повесть Солженицына и начавши читать эту казавшуюся неуклюжей, грубовато-небрежной и в то же время подчинявшую нас какому-то своему могущественному ритму прозу:

«В пять часов утра, как всегда, пробило подъем — молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать.

Звон утих, а за окном все так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно три желтых фонаря: два — на зоне, один — внутри лагеря.

И барака что-то не шли отпирать, и не слыхать было, чтобы дневальные брали бочку парашную на палки — выносить».

Веско, тяжело, как отрубленные, падают эти слова, и вот уже отодвигается, расплываясь в очертаниях, только что окружавший нас привычный, живой и вольный мир, и мы оказываемся где-то за огромным снежным голым полем, за двумя рядами колючей проволоки, за предутренней тьмою, раздираемой накрест двумя прожекторами с угловых вышек. Вот сейчас мы очнемся вместе с Шуховым на клопяной вагонке в деревянном, с паутиной инея по стенам бараке. С ним вместе, закутавшим ноги в телогрейку, натянувшим на голову одеяло, еле угревшимся и нездоровым, будем тянуть эти минуты после подъема, пока власть имеющая рука Татарина не сбросит Шухова с нар. И потом выйдем из барака и пойдем за ним по двору, где бегают, запахнувшись в бушлаты и дрожа от мороза, зэки, мимо столба с термометром и рельса на толстой проволоке — в надзирательскую, мыть пол. А после, кое-как управившись с этой работой, опять на мороз...

Так, миновав лишь несколько первых страниц, мы побываем вместе с Шуховым в штабном бараке, санчасти, столо-

вой, а потом вернемся ненадолго к его вагонке — вот уже и весь лагерь как на ладони, кроме разве что БУРа, который стоит за дощатым заплотом в центре лагеря и будет стоять каким-то мрачным наваждением до конца повести, когда туда поведут погорячившегося на «шмоне» кавторанга.

Солженицын делает так, что мы видим и узнаем жизнь зэка не со стороны, а изнутри, «от него». Старый лагерник Шухов живет в тех особых условиях, когда все вещи и отношения получают иную, чем обычно, цену: то, что казалось важным и значительным на свободе, здесь часто выглядит мешающим и лишним, зато другие вещи, прежде мало замечаемые, приобретают ни с чем не сравнимую важность. Надо знать эту иную шкалу ценностей, чтобы понять Шухова. А для этого Солженицыну очень важно рассказать о том, что и как едят его герои, что курят, где работают, как спят, во что обуваются и одеваются, чем укрываются на ночь, как говорят между собою и как с начальством, что думают о воле, чего сильнее всего боятся и на что надеются. Тут как бы полный лексикон подробностей лагерного быта, описанного художником с социально-этнографической точностью, и, наверное, всякому, кто будет писать об этом после Солженицына, невольно придется ступать в его след.

В лагере все делается по своему чину и ряду, в согласии с незнакомыми на воле понятиями обо всем — об удаче и неудаче, о чести и бесчестии, о приличии и неприличии. И разве когда забудешь, раз прочитавши, такую, например, подробность: за едой косточки рыбьи из баланды зэки плюют на стол, собирают их в кучку, а потом смахивают со стола, и они на полу дохрустывают. «А прямо на пол кости плевать — считается вроде бы неаккуратно».

Такое внимание ко всему обиходу жизни лагеря художественно оправдано еще тем, что Иван Денисович, которого автор дал нам в проводники по каторжному аду, человек покрестьянски дотошный и практичный, а восемь лет лагеря еще приучили его быть внимательным ко всякой мелочи, ибо от этого зависит благополучие, здоровье и самая жизнь лагерника. Вот он, воспользовавшись оплошностью повара, ловко «закосил» две лишние миски каши; вот подобрал по

дороге кусок ножовки: заточить ее — ножичек сапожный выйдет, ему в бараке цены нет, — обувь починяя, подработать можно...

Автор задерживается все время на маленьких удачах Шухова, точно старается растянуть счастливые для него минуты, а драматические моменты его лагерной жизни как бы отводит в тень.

Но ведь и о мере несчастья человека можно дать понятие, рассказав о том, что кажется ему счастьем. Все, к чему давно притерпелись глаза Ивана Денисовича, что вошло в его быт и стало казаться обычным, по существу своему страшно и бесчеловечно. И когда мы читаем в конце повести, что Шухов засыпал «вполне удоволенный», потому что на дню у него выдалось много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он «закосил» лишнюю кашу и т. д. — это приносит нам не чувство облегчения, но чувство щемящей, мучительной боли.

О том, что день этот для Ивана Денисовича был «почти счастливым», автор говорит без тени саркастической усмешки, со спокойной серьезностью. Шухов в самом деле доволен своим днем, хотя удачи его большей частью проявились, так сказать, в негативной форме; они состояли в том, что на этот раз он избежал обычных лагерных напастей: «не посадили... не выгнали... не попался... не заболел». И если все-таки сквозь строгую объективность рассказа проступает здесь горькая ирония, то это ирония самого положения вещей, самих обстоятельств, в которых такой день может считаться счастливым. В этом и состоит сила автора, что он смотрит на жизнь одновременно вместе со своим героем и дальше, глубже его.

Если бы Солженицын был художником меньшего масштаба и чутья, он, вероятно, выбрал бы самый несчастный день самой трудной поры лагерной жизни Ивана Денисовича. Но он пошел другим путем, возможным лишь для уверенного в своей силе писателя, сознающего, что предмет его рассказа настолько важен и суров, что исключает суетную сенсационность и желание ужаснуть описанием страданий, физической боли. Так, поставив себя как будто в

самые трудные и невыгодные условия перед читателем, который никак не ожидал познакомиться со «счастливым» днем жизни заключенного, автор гарантировал тем самым полную объективность своего художественного свидетельства и тем беспощаднее и резче ударил по преступлениям недавнего прошлого.

Сила этого простого эпического рассказа об одном обычном дне лагерного срока еще и в том, что, когда мы читаем, как Шухов встает, как завтракает, как ведут его на работу, как он работает, как обедает в перерыв, как возвращается с работы, — когда проходит перед нами весь этот обычный порядок трудового дня, мы не можем не думать о том, что и как делал бы Шухов, будь он на воле, и еще о том, чем тогда, в эти дни и часы, были заняты мы сами.

В повести точно обозначено время действия — январь 1951 года. И не знаю, как другие, но я, читая повесть, все время возвращался мыслью к тому, а что я делал, как жил в это время. Помню, ходил в университет на Моховой по утреннему скрипучему снежку мимо Кремля, любил смотреть на его красивые, недоступные, чуть подбеленные изморозью стены, сдавал зимнюю сессию, зубрил только что введенный курс «сталинского учения о языке», сочинял сценарий студенческого капустника, бегал на дружеские вечеринки... В том январе газеты писали о прокладке русла Волго-Дона и о скоростных плавках стали, об укрупнении колхозов и продвижении на север культуры грузинского чая, о близких выборах и о войне в Корее, о юбилее Алишера Навои и финальных играх на кубок по хоккею. Страна жила своими большими и малыми заботами, и мы жили всем этим вместе с нею.

Но как же я не знал об Иване Шухове? Как мог не чувствовать, что вот в это тихое морозное утро его вместе с тысячами других выводят под конвоем с собаками за ворота лагеря в снежное поле — к объекту? Как мог жить я тогда так мирно и самодовольно? Вроде тех девушек-студенток, что повстречались бригадиру Тюрину в поезде: «Едут мимо жизни, семафоры зеленые...».

Вот от каких мыслей труднее всего отвязаться.

2

Но тут я слышу голос, заставляющий меня вздрогнуть: «И все же хочется спросить: правы ли некоторые наши критики, безоговорочно принимающие образ Шухова таким, каким он дан в повести?» Это спрашивает Ф. Чапчахов из журнала «Дон» (1963, № 1). Немного озадачивает сама форма вопроса: можно подумать, что критик был коротко знаком с Иваном Денисовичем Шуховым еще прежде, чем прочел о нем в повести. Такой Иван Денисович, каким мы вместе с миллионами читателей узнали его из книги Солженицына, оказывается, не сходится с тем Иваном Денисовичем, каким рисует его воображение критика. Сугубо профессиональный феномен восприятия! Подобное раздвоение впечатлений вряд ли возможно у обыкновенного читателя, но в критике оно встречается.

Как тут не вспомнить о старом-престаром различии двух способов критики — нормативного и аналитического. Коротко говоря, нормативный подход состоит в том, что у критика еще до знакомства с произведением, о котором он будет судить, готовы понятия обо всем, что касается этого произведения. Критик заранее знает, как должен выглядеть основной герой, чем должен завершаться конфликт, в каких пропорциях должны находиться светлые и темные краски, каков при этом должен быть «фон» и т. п. Читая затем книгу, он производит несложную работу, в чем-то схожую с портняжным ремеслом: накладывает готовые мерки, прикидывает, соответствует ли результат прежним измерениям, закрепленным в своде правил, и если нет — находит произведение неудачным, если да — отходит удовлетворенный. Хуже всего, когда такой критик начинает советовать автору — одно укоротить, другое «припустить», прикидывая при этом платье на себя или, что не лучше, на того стандартного «болвана», который торчит в углу прихожей в ателье.

В противоположность нормативному аналитический способ критики состоит в том, чтобы подходить к произведению как к отражению живой, противоречивой, непрестанно меняющейся жизни и, исходя из свидетельства ху-

дожника, выносить суд о самом произведении и о жизни, в нем изображенной. Все это — азы материалистической эстетики, которые были провозглашены еще Добролюбовым и научное подтверждение которым мы находим в ленинской теории отражения. Если их приходится повторять, то лишь потому, что нормативная критика, не слишком обнажающая свою уязвимость, пока она имеет дело с книгами, написанными по нормативным же правилам, становится крайне беспомощной и неумелой, попросту теряется, когда ей приходится столкнуться с произведением, возникшим из глубины жизни, передающим ее сложную диалектику, открывающим что-то действительно новое, прежде в литературе неиспробованное.

Отношение критики к повести «Один день Ивана Денисовича» сложилось не просто. Горячо поддержанная при появлении печатью (рецензии в «Правде», «Известиях», «Литературной газете») повесть позднее в некоторых журнальных статьях получила не сходную с первоначальной, осторожно скептическую и даже откровенно отрицательную оценку. Никто, впрочем, не выражал сомнения в пользе открытого обсуждения в литературе столь острой темы. Критика повести пошла по другому руслу.

Выступившая с обзором прозы Л. Фоменко нашла, что повесть Солженицына «еще не дает всей правды о тех временах». «Повесть Солженицына при всей ее художественной отточенности и жестокой, горькой правде, — писала она в «Литературной России» (11 января 1963 года), — все же не раскрывает всей диалектики времени. Здесь выражено страстное «нет!» сталинскому порядку. В Шухове и других сохранена человечность. Но повесть не поднялась до философии времени, до широкого обобщения, способного обнять противоборствующие явления эпохи». Вскоре на страницах того же издания («Литературная Россия», 18 января 1963 года) это утверждение было оспорено. Г. Ломидзе здраво рассудил, что нельзя требовать от автора объять необъятное. Он обратил внимание Фоменко на то, что Солженицын написал не роман-эпопею, а всего лишь маленькую повесть. «Как это в одном дне жизни заключенного возможно схва-

тить диалектику всех связей, борений и противоречий эпохи!» — возражал Г. Ломидзе.

Сочувствуя второму критику, нельзя, однако, признать сильным его аргумент. Сам того не желая, он принял какой-то извиняющийся тон и невольно прибег к той же нормативной системе понятий, что и его оппонент, пытаясь установить некую иерархию жанров, согласно которой роман-эпопея в отношении правды изображения заранее получает преимущество перед повестью. Но разве нельзя и в маленьком рассказе «подняться до философии времени, до широкого обобщения»? Разве это не аксиома, что художник, если он художник истинный, способен в малой капле отразить целый мир?

Что же до повести Солженицына, то удивляться надо, на наш взгляд, не тому, что он чего-то «не отразил» и «не обобщил», а тому, напротив, как широко захватил он жизнь, как много сумел рассказать в столь малых пределах, как один день одного лагерника. В самом деле, мы не только узнали обиход жизни заключенных, их подневольную работу и скудный радостями быт. Мы узнали там людей, в каждом из которых отозвалось что-то типическое, существенное для понимания времени.

Герои Солженицына, разделившие одну судьбу с Иваном Денисовичем, появляются в повести незаметно и просто, словно переступают бесшумно порог, не требуя особого представления со стороны автора; они не позируют перед читателем, погруженные в свои дела и заботы, часто всего лишь несколькими словами перекинутся с Шуховым и уступят место другим, а потом в течение этого долгого дня появятся еще не однажды, уже как хорошо знакомые и близкие нам чем-то люди — бригадир Тюрин, кавторанг Буйновский, герой Бухенвальда — Сенька Клевшин, Цезарь Маркович, мальчонка Гопчик... Крестьяне, солдаты, люди интеллигентного круга, они думают о многом по-разному и говорят о разном — не только о повседневном лагерном быте, но и о том, с чем связано их прошлое: о коллективизации, о войне, об искусстве, о том, как живет деревня, — и это очень важные страницы книги. Чего стоит одна история жизни бригадира Тюрина,

рассказанная им самим, — поразительное по своей глубине и силе место повести!

Так можно ли упрекать писателя за бедность и неполноту его изображения? Перед нами предстал мир многосторонний и живой, со множеством своих связей, качеств, отношений, не сводимых к одной лишь специфике «лагерной темы». Потому что, заклеймив произвол, Солженицын показал и то, как люди, в обычной, «вольной» жизни различные между собою, в этих исключительных условиях с особой резкостью и открытостью проявляют заложенные в них и прежде свойства — будь то сила духа, уважение к труду, внутренняя честность или приспособленчество, жалкий паразитизм. В лагере Солженицына интересовал не только лагерь — его интересовали люди и эпоха, или, если сказать конкретнее, советские люди в эпоху культа личности. «Многих людей, обрисованных здесь в трагическом качестве «зэков», — замечал Твардовский, — читатель может представить себе и в иной обстановке — на фронте или на стройках послевоенных лет. Это те же люди, волею обстоятельств поставленные в особые, крайние условия жестоких физических и моральных испытаний». Не в этом ли истинный масштаб повести, широта ее обобщения?

Нельзя упускать из виду и то, что в художественном произведении в отличие, скажем, от статистического справочника достоинство полноты и многосторонности определяется не количеством затронутых тем, а качеством самого изображения. У настоящего художника в одной беглой, вскользь оброненной детали жизнь предстанет более многообразно, чем в торопливом «отражении» десятков тем в каком-нибудь пухлом иллюстративном романе.

Иначе считают авторы мелькающих время от времени в некоторых журналах придирчиво раздраженных отзывов о повести Солженицына. Отзывы эти обычно носят характер булавочных уколов исподтишка, и их вовсе не стоило бы замечать, если бы они не стали в последнее время слишком назойливыми. Критику «Огонька» ничего не стоит, например, расхваливая новый роман И. Лазутина — автора популярного детектива «Сержант милиции», с младенческой

литературной безответственностью заметить: «В отличие от повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» роман И. Лазутина поворачивает перед нашими глазами множество граней жизни» («Огонек», 1963, № 39). Так и сказано, как о вещи само собой разумеющейся, что в отличие от повести Солженицына роман И. Лазутина многогранен. Что поделаешь, если автору этой заметки не дорога его критическая репутация, но зачем он ставит в неловкое положение автора книги, которую хочет похвалить, и журнал, где он это печатает?

Вообще говоря, когда Солженицына упрекают в том, что он рассказал в своей повести не все, что можно было бы рассказать о лагерях тех лет и о жизни страны в целом, удивляет искусственный характер этих требований, род странной неблагодарности по отношению к писателю. Вместо того чтобы подивиться его таланту и гражданскому мужеству, тому, как глубоко и правдиво все в нарисованной им картине, где не найдешь, кажется, ни одной точки, ни одного штриха вымученного и фальшивого, — автора начинают укорять в том, что и за пределами его картины осталось немало предметов и лиц, достойных изображения. Такая ненасытная требовательность еще понятна, когда она есть часть признательности художнику за его работу и поощрение к новым трудам, но она мелка и неумна, когда с помощью такого приема хотят бросить тень и на само произведение как на что-то неполноценное, недовершенное. И скверно выглядит тот критик, который, узнав от Солженицына о трагедии жизни Ивана Денисовича, пережив первое потрясение и едва дав ему устояться, спешит учить писателя, как надо было рассказать об этом, чтобы удовлетворить его сполна.

Тут надо сделать оговорку. Мы принимаем как нечто безусловное, что первым движением души любого читателя повести будет горячее сочувствие ее герою, чувство горечи и возмущения при виде безвинно осужденных на жесточайшие муки людей, негодование по поводу злодеяний поры культа личности. И трудно представить себе такого читателя, который в качестве главного впечатления от повести вынесет недовольство самим Иваном Денисовичем, его характером,

образом мыслей, поведением в лагере и т. п. Трудно, но не вовсе невозможно, потому что такой читатель существует. Это критик Н. Сергованцев, написавший для журнала «Октябрь» статью «Трагедия одиночества и „сплошной быт“» (1963, № 4).

Указав вначале, что, на его взгляд, повесть Солженицына «содержит в себе немало глубоких противоречий», Н. Сергованцев предъявляет Ивану Денисовичу Шухову настоящий обвинительный акт, составленный по всем правилам нормативной критики и напоминающий о тех показательных судах, какие устраивались у нас в двадцатые годы в школах над литературными героями Онегиным и Печориным, когда ученики, поощряемые наставниками-педологами, учились искусству общественного поношения. Я приведу это рассуждение Н. Сергованцева возможно полнее, позволив себе лишь выделить в тексте некоторые места, на которые хочется обратить специально внимание читателя:

«Герой повести, Иван Денисович, не является исключительной натурой: *это „рядовой“ человек, притом „рядовой“ в самом точном смысле этого слова. Его духовный мир весьма ограничен, его интеллектуальная жизнь не представляет особого интереса*. Но в целом Иван Денисович в немалой мере интересен. Чем же?

Прежде всего тем, что именно «рядовой», обыкновенный человек поставлен в центр трагических событий, что все события переданы сквозь «призму» его восприятий. Хочется знать, как же простой человек, выдвинутый автором в качестве глубоко народного типа, будет осмысливать ту потрясающую обстановку, которая его окружает.

И по самой жизни, и по всей истории советской литературы мы знаем, что типичный народный характер, выкованный всей нашей жизнью, — это характер борца, активный, пытливый, действенный. Но Шухов *начисто лишен этих качеств. Он никак не сопротивляется трагическим обстоятельствам, а покоряется им душой и телом (?). Ни малейшего внутреннего протеста, ни намека на желание осознать причины своего тяжкого положения, ни даже попытки узнать о них у более осведомленных людей — ничего этого нет у Ивана*

Денисовича. Вся его жизненная программа, вся философия сведена к одному: выжить! Некоторые критики умилились такой программой: дескать, жив человек! Но ведь жив-то, в сущности, *страшно одинокий человек, по-своему приспособившийся к каторжным условиям, по-настоящему даже не понимающий неестественности своего положения*. Да, Ивана Денисовича замордовали, во многом обесчеловечили крайне жестокие условия — в этом не его вина. Но ведь автор повести пытается представить его примером духовной стойкости. А *какая уж тут стойкость, когда круг интересов героя не простирается дальше лишней миски „баланды", „левого" заработка и жажды тепла*».

Здесь критик прерывает свой прокурорский монолог, чтобы сообщить читателю, что он не собирается «строго судить героя А. Солженицына». «...Мой жизненный опыт не дает мне на это права», — спохватывается он. Но, разделавшись с литературными приличиями при помощи этой фигуры вежливости, молодой критик с удвоенной энергией обличает Ивана Денисовича, черты характера которого, как считает он, унаследованы «не от советских людей 30-40-х годов», а от патриархального мужичка. «Не от советских людей...» — критический прием, слишком хорошо известный, но в последние годы не практиковавшийся в литературе. Н. Сергованцев снова вводит его в оборот.

Даже когда Н. Сергованцев вспоминает, что с Шуховым мы знакомимся в условиях, мягко говоря, необычных, в каких мы впервые видим героя советской литературы, он делает это так, что все камешки опять-таки летят в огород Шухова: «Та суровая действительность, в которой жил Шухов, могла по-всякому изуродовать человека». Бросается в глаза, что, говоря о «суровой действительности», в которой «жил» Иван Денисович, критик выбирает здесь слова эпически спокойные, зато уж с Шуховым не церемонится — суровая действительность его «изуродовала», «планомерно вытравляя в нем, — как пишет дальше критик, — все человеческое».

Особенно настаивает Н. Сергованцев на «трагедии одиночества», якобы определяющей образ Ивана Денисовича.

«Узость «жизненной программы» Ивана Денисовича, — пишет критик, — привела к тому, что он, в сущности, одинок. Ни Алеша-баптист, ни кавторанг Буйновский, ни Цезарь — его соседи по бараку — не смогли стать близкими ему людьми. Автор не раз подчеркивает, что Иван Денисович не понимает многих своих собратьев по несчастью... Не понимает Иван Денисович и жизнь, которая осталась за колючей проволокой. «Жизни их не поймешь, — думает он».

Итак, окончательный вывод: «Нет, не может Иван Денисович претендовать на роль народного типа нашей эпохи».

Весьма необъективно расценив далее рассказы Солженицына «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка» (в последнем критик усмотрел идею «сострадания к предателю»), Н. Сергованцев отнес произведения писателя к числу тех, которые «оставляют чувство глубокой неудовлетворенности, поскольку воссоздают жизнь односторонне, без исторической перспективы», и тут же заодно отказал им в художественности, поскольку «истинно художественное произведение открывает перед читателем необозримые горизонты жизни», а у Солженицына он этого не обнаружил.

Пусть не сердится читатель, что мы так подробно цитируем и пересказываем суждения Н. Сергованцева. Они интересны, по крайней мере, в двух отношениях. Во-первых, статья Н. Сергованцева единственная, в которой выражено прямое и безусловное осуждение всего творчества Солженицына в целом. Во-вторых, потому, что в своем отношении к образу Шухова он с наибольшей резкостью и определенностью выразил то, что высказывалось более смутно и осторожно в некоторых других статьях вроде уже упомянутой выше статьи в журнале «Дон». Таким образом, точка зрения Н. Сергованцева не является сугубо индивидуальной, субъективно исключительной. И хотя я не думаю, чтобы среди читателей нашлось много ее сторонников, она заслуживает внимания как выражение некоторой позиции, пусть не очень прочной, но упорной в своих пристрастиях, унаследованных от вчерашнего дня нашей жизни.

Пожалуй, первое, что отмечаешь в рассуждениях Н. Сергованцева, это его небрежно-ироническое отношение к са-

мой задаче изображения «рядового» человека-труженика, «интеллектуальная жизнь» которого не представляет для критика интереса. Снисходительно, свысока отзываясь о духовном мире Ивана Денисовича, он выговаривает ему за невнимание к мнению людей «более осведомленных». Сам Иван Денисович выглядит здесь как безнадежно тупое и ограниченное существо, которому, по его крестьянской темноте, остается лишь внимать людям «активным» и «пытливым». Критик досадует, что у героя Солженицына не возникает даже потребности получить у этих людей необходимые указания и разъяснения насчет своей судьбы.

Что могли ответить на вопросы Ивана Денисовича «осведомленные люди» в Особлаге зимой 1951 года — об этом еще следует подумать. Для нас несомненно другое — заслуга писателя, выбирающего своим героем человека, условно говоря, рядового и обыкновенного.

Впрочем, рядовым человек кажется тому, кто торопливо проходит перед фронтом, не заглядывая в лица. Тому же, кто сам стоит в ряду, его положение не кажется ни рядовым, ни обыкновенным.

Появление в литературе такого героя, как Иван Денисович, — свидетельство дальнейшей демократизации литературы после XX съезда партии, реального, а не декларативного сближения ее с жизнью народа. Чехов говорил, что о Сократе легче писать, чем о барышне или кухарке. Опыт показывает, что легче писать и об академиках-селекционерах, о секретарях райкома, о главных агрономах и директорах МТС, чем об Иванах Денисовичах и тетках Матренах. В годы культа личности многие литераторы привыкли больше интересоваться тем, что происходит в комнате правления колхоза, чем под всеми остальными крышами деревенских изб. Не оттого ли изображение Солженицыным героя рядового, обыкновенного воспринимается критиком как опасная новизна?

Спору нет, для советской литературы, как ни для какой другой, важна тема руководителей, организаторов и вдохновителей. Однако, если исходить из марксистско-ленинского взгляда на вещи, эта тема по меньшей мере неполна без изо-

бражения людей руководимых и организуемых, людей самых обыкновенных, несущих ношу каждодневного труда, составляющих, по выражению Ленина, «самую толщу широких трудящихся масс». Так что ирония по поводу «рядового», обыкновенного человека тут ни к чему.

«Рядовой» герой Солженицына кажется Н. Сергованцеву беззаконно пробравшимся в литературу, и он старается возможно гуще очернить его, чтобы отказать ему в народности. Если подытожить кратко суждения критика о Шухове, то они сводятся к тому, что, во-первых, Иван Денисович примирился, приспособился в лагере, утерял человеческие черты; во-вторых, что животные интересы целиком подчинили его себе и не оставили места для сознательного, духовного; в-третьих, что он трагически одинок, разобщен с другими людьми и едва ли не враждебен им.

Такое толкование повести не должно удивлять, поскольку Н. Сергованцев, верный приемам нормативной критики, рассуждает как бы вне и вопреки тексту книги. Следя за его рассуждениями, в которых странное раздражение и демагогический пафос в избытке возмещают логику, начинаешь думать даже, что он перепутал и прочитал по ошибке другую вещь, а не ту, что написана Солженицыным и называется «Один день Ивана Денисовича».

Ведь в этой повести о Шухове и его судьбе говорится совсем иначе.

3

О прошлом Ивана Денисовича знаем мы мало, но и того, что знаем, достаточно, чтобы понять, каков он есть человек. Жил Шухов до войны в маленькой деревне Темгенево, работал в колхозе, кормил семью — жену и двух дочек. Началась война — на войну пошел и воевал честно: был ранен на реке Ловать, ему бы в медсанбат, а он «доброй волею в строй вернулся». Потом армию окружили, многие попали в плен, но Шухов из плена бежал и по болотам да по лесам к своим выбрался. А тут обвинили его в измене: мол, задание

немецкой разведки выполнял. «Какое ж задание — ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание».

Сказано это со спокойным и горьким юмором, но, признаться, от юмора такого — мурашки по коже. Словно сидят они со следователем рядком и беседуют дружелюбно, как дело обставить поудобнее, что Шухов-де родине изменил, за которую кровь пошел проливать и столько вытерпел. В самом же деле знал Шухов, что, если не подпишешь, — расстреляют, и хотя можно представить себе, что он в те минуты пережил, как внутри горевал, удивлялся, протестовал, но после долгих лет лагеря он мог вспомнить об этом лишь со слабой усмешкой: на то, чтоб всякий раз возмущаться и удивляться, не хватило бы никаких сил человеческих.

Умирать ни за что ни про что было глупо, бессмысленно, противоестественно. Шухов выбрал жизнь — хоть лагерную, скудную, мучительную, но жизнь, и тут задачей его стало не просто выжить как-нибудь, любой ценой выжить, но вынести это испытание судьбы так, чтобы за себя не было совестно, чтобы сохранить уважение к себе. Может быть, Иван Денисович и не рассуждал так заранее, даже наверное не рассуждал, но сердцем именно так чувствовал и руководился этим чувством.

Упрекают Ивана Денисовича в том, что он будто бы примирился с лагерем, «приспособился» к нему. Но не то же ли это самое, что упрекать больного за его болезнь, несчастного за его несчастье! Конечно, опыт восьми лет каторги в Усть-Ижме и Особлаге не прошел для Шухова даром, он выработал в себе некоторые внешние реакции, которые тут есть как бы условие существования: соблюдай лагерный режим, поклонись надзирателю, не пускайся в препирательства с конвоем — ведь «качать права» перед Волковым не только опасно, но и бессмысленно. И можно лишь удивляться, в какой целостности остаются при этом основные его нравственные понятия, как мало поступается он своей гордостью, совестью, честью. Его житейская мудрость и практическая сметка, лукавство и знание, что чего стоит, — эти свойства, которые в крови у русского крестьянина и рождены опытом

не одного дня, сохраняют в Шухове силу жизненности, помогающую ему перенести тяжелейшие страдания и остаться человеком.

И ведь это при том, что такое большое, порой всепоглощающее, значение имеют для Ивана Денисовича в лагере две заботы — не ослабеть от голода и не замерзнуть. В условиях, чем-то схожих с изначальной борьбой за существование, заново обнаруживается ценность простейших «материальных» элементов жизни, того, что всегда и бесспорно необходимо человеку, — еды, одежды, обуви, крыши над головой. Лишняя пайка хлеба становится предметом высокой поэзии. Новым ботинкам Ивана Денисовича автор слагает целую оду: «...в октябре получил Шухов (а почему получил — с помбригадиром вместе в каптерку увязался) ботинки дюжие, твердоносые, с простором на две теплых портянки. С неделю ходил как именинник, все новенькими каблучками постукивал. А в декабре валенки подоспели — житуха, умирать не надо. Так какой-то черт в бухгалтерии начальнику нашептал: валенки, мол, пусть получают, а ботинки сдадут. Мол, непорядок — чтобы зэк две пары имел сразу. И пришлось Шухову выбирать: или в ботинках всю зиму навылет, или в валенках, хошь бы и в оттепель, а ботинки отдай. Берёг, солидолом умягчал, ботинки новехонькие, ах! — ничего так жалко не было за восемь лет, как этих ботинок».

И с той же доброй крестьянской обстоятельностью и даже с ноткой нежности говорится о табаке, который продает латыш: «Хороший у него самосад, крепкий в меру и духовитый. Буроватенький такой». И о каше: «...ложкою обтронул кашу с краев. Вот эту минуту надо было сейчас всю собрать на еду и, каши той тонкий пласт со дна снимая, аккуратно в рот класть и во рту языком переминать».

Еду автор описывает особенно подробно, основательно, можно даже сказать — любовно, потому что это желанная, поэтическая минута в жизни лагерника: ведь он живет здесь «для себя». «Не считая сна, лагерник живет для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином». Так что, как ни странно это прозвучит, за едой он больше всего чувствует себя личностью, человеком,

который над собою волен. Тут уж его интерес, его право распоряжаться собой.

Важно и другое. Лишняя пайка хлеба, которой так дорожит Иван Денисович и о которой так много думает, — не просто поддержка и утеха для вечно ноющего желудка, но и средство независимости от начальства, «кума», богатого лагерника, первое условие внутренней самостоятельности. Пока сыт и силы еще есть для работы — и в голову не придет унижаться, выпрашивать, «шестерить». Шухов всегда рад разжиться хлебом, добыть табачку, но добыть не как «шакал» Фетюков, рыскающий по тарелкам и униженно заглядывающий в глаза, а так добыть, чтобы не уронить себя, соблюсти свое достоинство.

Солженицын очень тонко и последовательно отмечает эту связь материальной, так сказать, и нравственной стороны дела. Шухову на всю жизнь запомнились слова первого его бригадира, старого лагерного волка Куземина: «В лагере вот кто погибает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать». Эти три выхода ищут для себя нравственно слабые люди, их-то и ждет, в самом деле, позорное приспособление. Слова Куземина верны уже в том прямом и простом смысле, что, выбирая легкое, человек теряет сопротивляемость, и это часто приводит к физической гибели. Но еще важнее и безусловнее тут некий нравственный закон: Куземин предупреждает против гибели моральной. Здоровая народная нравственность запрещает такое самоунижение, как миски лизать, — человек не должен превращаться в животное, не должен терять чувство достоинства. То же и с санчастью. Начнешь надеяться на болезнь — глядишь, и совсем расклеился, раскис... Я уж не говорю о третьем — кто ходит к «куму», оперуполномоченному, «стучать»: тот вовсе погибший человек, хоть в обыденном смысле его судьба может сложиться благополучно. «Насчет кума — это, конечно, он загнул, — поправляет Куземина Иван Денисович. — Те-то себя сберегают. Только береженье их — на чужой крови».

Шухова не берут все эти низкие соблазны, потому что другая у него основа жизни, другой неписаный кодекс нрав-

ственности — нравственности трудового человека. Эта внутренняя основа крепка и строга у него настолько, что не расшатали и не погубили ее долгие годы каторги. Он не махнул на жизнь рукой и не опустился, остался тем же работящим и честным крестьянином, солдатом, мастеровым. И когда автор вскользь замечает о Шухове, что «не мог он себя допустить есть в шапке», — за этой одной подробностью возникает целый мир представлений, нравственных понятий, стойко охраняемых в себе Иваном Денисовичем. Тут не только верность добрым обычаям и традициям «нормальной», вольной жизни, а пронесенное через все муки, не потерянное в унижениях лагеря человеческое достоинство.

При всей объективности своего художественного письма Солженицын умеет сказать о герое прямо и ясно, не оставляя повода для двух толкований. С уважением и даже какой-то гордостью за своего героя говорит автор о бессребреничестве Ивана Денисовича, его неумении и нежелании ловчить: «Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился».

Иван Денисович не считает грехом подработать, услуживая товарищам по бараку: сшить богатому бригаднику чехол на рукавички или в посылочную за Цезаря Марковича постоять — тут его труд, его руки, его расторопность, и стыда в этом нет. Но, получая для Цезаря посылку, он не выпрашивает у него свою долю и даже не завидует ему. Это уже больше, чем просто выжить, выжить любой ценою. «Но он не был шакал даже после восьми лет общих работ, — говорит о нем автор, — и чем дальше, тем крепче утверждался». Слово «утверждался» не требует тут дополнений — «утверждался» не в чем-то одном, а в общем своем отношении к жизни.

И это при том, что Шухов слишком хорошо знает цену пайке хлеба и теплой одежде и поневоле постоянно привязан мыслями к тому, как бы не пропал припрятанный им в матрасе кусок или как удобнее приспособить на лицо «тряпочку с рубезочками», чтобы не обморозиться на ходу.

Конечно, все эти заботы легко можно счесть прозаическими, мелкими и высокомерно пожурить Ивана Денисо-

вича за узость его кругозора и за то, что интересы его не простираются дальше лишней миски баланды и жажды тепла. Можно, уподобившись птицам небесным, которые не сеют, не жнут, а сыты бывают, презирать в душе разговоры о голоде, холоде, пайке хлеба, о какой-то тряпочке с рубезочками, о магаре. Можно, не ведаясь с такими бедами, как недоедание, недосыпание, пронизывающий до костей холод, относиться к этому слегка брезгливо: зачем вспоминать о неприятном — давайте говорить о высоком, о жизни духа, о сознательности... Но чего стоит такое фальшивое идеальничанье? И не кажется ли оно смешным перед мужественной правдой и большой идейностью повести Солженицына?

Что-то похожее на эти сентенции внушает Ивану Денисовичу Алешка-баптист: «Молиться не о том надо, чтобы посылку прислали или чтоб лишняя порция баланды. Что высоко у людей, то мерзость перед Богом! Молиться надо о духовном...» Слова Алешки как будто и бескорыстны и искренни, но как наивна и бессильна его вера по сравнению с мужицким здравым смыслом Ивана Денисовича.

У Шухова — такая внутренняя устойчивость, вера в себя, в свои руки и свой разум, что и Бог не нужен ему. И тут уже несомненно, что эти черты безрелигиозности в широком смысле слова — вопреки мнению критиков, твердящих о патриархальности Шухова, — не из тех, что бытовали в народе от века, а из тех, что сформировались и укрепились в годы советской власти.

По инерции Иван Денисович еще иной раз перекрестится — но в ад и в рай он не может верить и не верит. Он верит в себя, в свой труд, верит в товарищей по бригаде, в бригадира Тюрина, а мы верим в него как в живую частицу народа. И это самая материальная и в то же время самая духовная вера.

В том и заключается для нас оригинальность и высокое значение Солженицына как художника, что духовное содержание он открывает не вне своего «рядового» героя и его бедного, страшного быта, не поверх его, а в нем самом, в трезвой и точной, без прикрас, картине лагерной жизни.

Шухов рассуждает и в самом деле мало, не философствует, не умствует специально, но ведь почти все, что мы узнаем из повести, — это от него, Ивана Денисовича, мы узнаем, и можно только подивиться тому, какой у него острый, чуть ироничный и по-народному точный взгляд на вещи. Вот думает он, например, о строительстве нового объекта Соцгородка в снежном голом поле, где заключенные должны, прежде чем строить, «ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от самих себя натягивать — чтоб не убежать». Сказано — как припечатано. И хоть повод для этой мысли был совсем конкретный — очень уж не хотелось Шухову, чтобы их с утра на тот новый объект погнали, — но стоит за этим и более общее сознание бессмыслицы и бесчеловечности всей системы репрессий против ни в чем не повинных советских людей как против врагов советской власти, иначе сказать, против себя же самих.

Шухову нету времени на праздные мысли; все его заботы так истинны и неотложны, что ему не приходится их выдумывать, они сами за ним идут и требуют постоянной сообразительности, постоянного напряжения сил — физических и духовных. А духовное для Шухова, как я уже сказал, это не абстрактное философствование, а непосредственное отношение к жизни, к людям и к труду, — к труду, может быть, прежде всего.

В сцене кладки стены здания ТЭЦ Шухов проявляется весь, и обойти эти страницы — значило бы не понять самого главного в Иване Денисовиче. Уж и когда, не запомню, читали мы в нашей прозе такое поэтическое и одухотворенное описание простого рабочего труда; автор так окунает нас в его ритм и лад, что, кажется, сам чувствуешь напряжение всех мышц, и тяжесть, и утомление, и дружный азарт работы. После «производственных» романов, где внутренняя, личная жизнь героя легко отслаивалась от описаний самого процесса труда и где нам становилось невыносимо скучно, как только автор с самоуверенностью дилетанта начинал щеголять подробностями технологии производства, эти страницы Солженицына удивляют как открытие. Оказывается, можно самым подробным образом, с дотошной обстоятель-

ностью описывать работу каменщика и не только не наскучить, но и полностью захватить внимание читателя, увлечь и растрогать.

Чтобы лучше понять Шухова, когда он работает на кладке стены, надо помнить, что он не так прост, чтобы ко всякому труду, какой он ни будь, относиться без разбора. Погнали его в надзирательскую пол мыть, а он протер его слегка, тряпку, не выжав, за печку бросил, а воду на дорожку, где начальство ходит, плеснул. «Работа, — рассуждает Иван Денисович, — она как палка, конца в ней два: для людей делаешь — качество дай, для дурака делаешь — дай показуху». Та работа, что зазря или по пустому принуждению, — не по душе Шухову.

Другое дело на «объекте», где бригадир его да латыша Кильгаса поставил, как мастеров, на каменную кладку. И тут не только в том причина, что это общий труд бригадный, где нельзя подвести, иначе плохо закроют процентовку. Для Ивана Денисовича в этой работе нечто большее — радость мастерства, полного и свободного владения своим делом, то вдохновение работы, которое пробуждает в голодном, оборванном зэке человеческую гордость и чувство достоинства.

У Ивана Денисовича руки рабочего человека, а глаз мастера, повадка мастера. Вот он срубает лед, намерзший на старой кладке, сам же свою работу обдумывает: «А думка его и глаза его вычуивали из-подо льда саму стену, наружную фасадную стену ТЭЦ в два шлакоблока. Стену в этом месте прежде клал неизвестный ему каменщик, не разумея или халтуря, а теперь Шухов обвыкал со стеной, как со своей. Вот тут — провалина, ее выровнять за один ряд нельзя, придется ряда за три, всякий раз подбавляя раствора потолще. Вот тут наружу стена пузом выдалась — это спрямить ряда за два. И разделил он стену невидимой метой — до коих сам будет класть от левой ступенчатой развязки и от коих Сенька направо до Кильгаса». По мере того как Шухов «обвыкает со стеной, как со своей», подневольный труд мало-помалу начинает превращаться в труд независимый, самостоятельный. Зачем, казалось бы, Солженицыну этот парадокс? Но пока мы недоумеваем, автор продолжает и развивает эту тему.

Раствор, который подносят в носилках из обогревалки, сразу схватывает на морозе. Чуть зазевался, положил шлакоблок неровно, а он уже косо примерз, не поправишь. «Но Шухов не ошибается. Шлакоблоки не все один в один. Какой с отбитым углом, с помятым ребром или с приливом — сразу Шухов это видит, и видит, какой стороной этот шлакоблок лечь хочет, и видит то место на стене, которое этого шлакоблока ждет». Здесь точно камень оживает под руками Шухова. Шлакоблок, который «лечь хочет», и стена, которая его «ждет», внезапно делают этот мир теплым, обжитым, домашним, послушным уверенному мастерству.

И еще одна неожиданная подробность: Шухову даже жаль, что время быстро идет и пора кончать работу. Вот уже к вахте все побежали, домой собираются. А Шухов, разгорячившись, все подгоняет своего напарника: «Раствор. Шлакоблок. Раствор. Шлакоблок». Пока раствор есть, не может Шухов работу бросить. «Кажется, и бригадир велел — раствору не жалеть, за стенку его — и побегли. Но так устроен Шухов по-дурацкому, и за восемь лет лагерей никак его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули». И с той же бережностью относится Шухов к своему инструменту — мастерку, который тщательно припрятывает в растворной. То, что Шухову не всякий мастерок сойдет, а нужен именно этот, облюбованный им, потому что легок и по руке, — в этом тоже чувствуешь не только крестьянский бережливый разум, но и гордость рабочего человека — печать его личности, творческого начала в нем.

Вот тут и проясняется смысл этого парадокса, его связь с общей идеей повести. Когда на картину труда жестоко-принудительного как бы наплывает картина труда свободного, труда по внутреннему побуждению — это заставляет глубже и острее понять, чего стоят такие люди, как наш Иван Денисович, и какая преступная нелепость держать их вдали от родного дома, под охраной автоматов, за колючей проволокой.

Невольно начинаешь думать о том, как нужен, просто необходим был бы Шухов в своей деревне, в колхозе, где после войны мужики наперечет. Как бы он со своей совестливо-

стью и рабочей хваткой помогал бабам тянуть колхоз и свою семью вытащил бы из нужды...

Из скупых строчек писем, приходивших два раза в год, Иван Денисович мог лишь догадываться об истинной мере неблагополучия в родной деревне; еще меньше мог знать он о том, что Темгенево вовсе не было исключением в последние годы жизни Сталина. Шухову горько подумать, что его деревня живет тяжело, бедно. Но когда он говорит: «жизни их не поймешь», он не только жалеет своих близких и односельчан, но в чем-то и недоумевает, недоумевает, как человек с рабочей совестью: «Видел Шухов жизнь единоличную, видел колхозную, но чтобы мужики в своей же деревне не работали — этого он не может принять. Вроде отхожий промысел, что ли? А с сенокосом же как?» В этом тревожном вопросе «А с сенокосом же как?» слышим мы голос беспокойства Ивана Денисовича, крестьянской его души. Как можно забросить такое серьезное дело, как сенокос, ради пусть легкого и «огневого», но какого-то сомнительного промысла красилей.

Писала Ивану Денисовичу жена, что красили эти, что ковры по трафареткам делают, ездят по всей стране и деньги гребут тысячами, пообстроились все. Но не по душе Ивану Денисовичу браться за те ковры. «Для них развязность нужна, нахальство, кому-то на лапу совать». Есть что-то нечистое, малопочтенное в самой легкости этого занятия.

Было бы уместно вспомнить тут Салтыкова-Щедрина, сказавшего как-то, что народ верует в три вещи: «в свой труд, в творчество природы и в то, что жизнь не есть озорство». Хоть и мог выглядеть соблазнительно для Ивана Денисовича заработок красилей, но и стыден был ему этот промысел как озорство. «Легкие деньги — они и не весят ничего, — рассуждает Шухов, — и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова еще добрые, смогают, неуж он себе на воле ни печной работы не найдет, ни столярной, ни жестяной?»

Шухов с подозрением относится к легким деньгам, к тому, что сулит выгоду без усилий и труда, потому что в нем глубо-

ко укоренено чувство нравственного долга, которое в конечном счете основывается на смутном сознании того, что, если тебе блага жизни стали даваться слишком легко, — значит, есть кто-то, кто принял теперь на свои плечи твою долю труда и ему стало тяжелее.

Шухов ни на кого не станет перекладывать свою ношу, он знает силу и умение своих рук и оттого сохраняет ту внутреннюю устойчивость, душевное здоровье, которое в жестоких условиях лагерного произвола позволяет ему не обессилеть, не надломиться, не получить равнодушия ко всему, а верить в жизнь, в ее перемены к лучшему. И сколько нужно народного оптимизма, чтобы в самую тяжелую минуту думать: «... переживем! Переживем все, даст Бог, кончится!» Может быть, в таком роде оптимизма нет слишком большой определенности, может быть, надежда эта на лучший исход родилась не из твердого знания и предвидения, — откуда бы им и взяться? — а скорее из интуитивного чувства, что должна же в конце концов правда восторжествовать над несправедливостью, но как отрадно, что не смял, не погубил лагерь в Шухове эту надежду.

Кроме труда, другая внутренняя опора Ивана Денисовича, помогающая ему жить и «утверждаться», это его отношения с людьми — соседями по вагонке, товарищами по бригаде. Едва ли не на каждой странице мы убеждаемся, что годы каторги не заставили Шухова озлобиться, ожесточиться, за что, случись даже так, трудно было бы его винить. Но в нем сохранились вопреки всему доброта, отзывчивость, сердечное, благожелательное отношение к людям, за которое ему в бригаде платят тем же. Разве не уважают его бригадир и кавторанг, разве не связан он крепким рабочим товариществом с Кильгасом и Сенькой Клевшиным, разве не «ластится» к нему привязчивый мальчонка Гопчик? «Этого Гопчика, плута» любит Иван Денисович, может быть, тем сильнее, что собственный его сын помер маленьким, две дочери дома остались, и теперь чувствует он временами в себе эту нерастраченную нежность отцовства.

А какую симпатию внушают Шухову два эстонца, оба белые и длинные, похожие друг на друга, как братья родные.

Это о них думает он с таким добросердечием и наивностью: «Вот, говорят, нация ничего не означает, во всякой, мол, нации худые люди есть. А эстонцев сколь Шухов ни видал — плохих людей ему не попадалось». Педант поторопится оспорить эту мысль, но разве не важнее то, с какой стороны проявился здесь сам Шухов?

И так ко многим людям в бригаде, кроме, конечно, тех, кто мало этого заслуживает, испытывает Иван Денисович чувства уважения и товарищества.

Вообще говоря, после Шухова бригада — второй главный герой повести Солженицына. Бригада как нечто пестрое, шумное, разнородное, но в то же время и как одна большая *семья*. Это слово не нами выдумано, оно взято из повести. Когда в перерыв, сгрудившись у огня в обогревалке, примолкнувшие бригадники слушают рассказ Тюрина о своей жизни, Шухов думает: «Как семья большая. Она и есть семья, бригада». Эти люди могут казаться со стороны жестокими, грубыми, но они никогда не откажут в поддержке, товарищеской солидарности. И о какой «трагедии одиночества» может идти речь, когда даже свой труд, свое умение и мастерство, к признанию которого Иван Денисович относится ревниво, он ценит и как часть общего, артельного труда бригады. «Стояла ТЭЦ два месяца, как скелет серый, в снегу, покинутая. А вот пришла 104-я. И в чем ее души держатся? — брюхи пустые поясами брезентовыми затянуты; морозяка трещит; ни обогревалки, ни огня искорки. А все ж пришла 104-я — и опять жизнь начинается». Разве не слышна здесь гордость трудом именно как трудом *общим*, коллективным?

Конечно, важную роль играет тут материальная сторона дела: при общей оплате за труд возрастает и взаимозависимость («Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду?»). Но возникающее в бригаде чувство трудового товарищества не сводится только к этому. Ловчить для себя на общих работах никто, кроме разве «шакала» Фетюкова, не решится. Тут правит своего рода сознательная дисциплина с полным доверием друг к другу и к своему бригадиру. В 104-й ни ссор, ни вздору, ни препирательств — дружная,

спорая работа. «Вот это оно и есть — бригада, — удовлетворенно замечает Шухов. — Начальник и в рабочий-то час работягу не сдвинет, а бригадир и в перерыв сказал — работать, значит работать». Шухов принимает как закон жизни эту трудовую солидарность и — пусть это выглядит еще одним парадоксом — стихийно рождающееся чувство коллективизма. В отношениях людей точно сами собой возникают черты и свойства, характерные для свободного социалистического общества, и все это вопиет против несправедливости и нелепости произвола, жертвой которого стали простые люди труда.

Но не только в работе, а и в самых обычных нуждах и превратностях лагерной жизни закон товарищества позволяет зэку Щ-854 не чувствовать себя одиноким и беззащитным. Когда Татарин стаскивает его с нар и уводит мыть пол в надзирательской, Шухов ни минуты не сомневается в том, что хоть он и не успел шепнуть, а товарищи приберегут ему завтрак, догадаются. Или потом, на объекте, когда, увлекшись работой, он опаздывает к воротам, а надо еще мастерок припрятать, и Шухов забегает в растворную, Сенька Клевшин ждет его у дверей, и Шухов благодарно думает: «Никогда Клевшин в беде не бросит. Отвечать — так вместе».

Иван же Денисович, в свою очередь, не жалеет, что вторую миску каши, которую он «закосил» и которая принадлежит ему по праву, отдают кавторангу. И не жмется, когда эстонец Эйно делится с ним табачком, сам оставляет Сеньке Клевшину: «...на, докури, мол, недобычник». Диву даешься, как, каким усилием души сохранилась в этих измученных людях живая человечность, желание поддержать друг друга — ведь крошка табака для Ивана Денисовича дороже золота.

А когда на последних страницах книги кавторанга уводят в БУР — сколько сердца, сколько неподдельного сочувствия проявляют к нему товарищи по несчастью. Бригадир Тюрин пытается отвести от него беду, хитря с надзирателем. Шухов волнуется за него, прислушиваясь к спорящим голосам у себя на вагонке, а Цезарь тайком сует Буйновскому сигареты. «Крикнули ему в несколько голосов, кто — мол, бодрись, кто — мол, не теряйся, — а что ему скажешь?»

И как смешно и неуместно выглядят после всего этого рассуждения критика о «трагедии одиночества» Ивана Денисовича; слишком явно, что речь в повести идет о другой трагедии — трагедии честных советских людей, ставших жертвами произвола и насилия.

В литературной критике есть разные способы выразить свое недовольство тем или иным героем, тем или иным произведением, точно так же как в жизни есть разные манеры выказать свою неприязнь к человеку. Можно открыто осудить книгу, а можно с видом полного участия к ее замыслу попробовать развенчать близкого автору героя и тем самым опять-таки поставить под сомнение истолкование писателем явлений жизни.

По поводу Ивана Денисовича в той части критики, которая отнеслась к повести Солженицына скептически, сложился своего рода штамп. Критик подходил к повести осторожно, словно примериваясь, сожалел о горькой судьбе зэка и тут же спрашивал: но идеальный ли герой Иван Денисович? Сам себе спешил ответить «нет» и начинал сетовать на то, «до каких унижений опускается порой этот мастер — золотые руки ради лишней пайки хлеба, как въелись в него инстинкты звериной борьбы за существование, как в конечном счете страшна его примиренная мысль, завершающая этот мучительный день...» (я цитирую одну из газетных рецензий). Такую вольную трактовку образа Шухова можно было бы еще раз оспорить, но нам важнее сейчас обратить внимание на другое.

А почему, собственно, Иван Денисович должен быть идеальным героем? Мы видим достоинство Солженицына как художника как раз в том, что у него нет псевдонароднического сентиментальничанья, насильственной идеализации даже тех лиц, которых он любит, трагедии которых сочувствует. У Шухова при желании можно насчитать немало реальных, а не выдуманных недостатков. Взять хотя бы то, как робко, по-крестьянски почтительно относится Иван Денисович ко всему, что представляет в его глазах «начальство», — нет ли тут черточки патриархального смирения? Можно, вероятно, найти у Шухова и иные несовершенства. Но недостатки

Ивана Денисовича не таковы, чтобы переносить упор с его трагического положения на его якобы слабость и несостоятельность, с беды его на вину.

Тут пора внести одно уточнение. «Замечали ли вы, — писал в свое время Чернышевский, — какую разницу в суждениях о человеке, которому вы симпатизируете, производит ваше мнение о том, можно ли или нельзя выбиться этому человеку из тяжелого положения, внушающего вам сострадание к нему? Если положение представляется безнадежным, вы толкуете только о том, какие хорошие качества находятся в несчастном, как безвинно он страдает, как злы к нему люди, и так далее. Порицать его самого показалось бы вам напрасною жестокостью, говорить о его недостатках — пошлою бесчувственностью. Ваша речь о нем должна быть панегириком ему, — говорить в ином тоне было бы вам совестно». Другое дело, продолжал свою мысль Чернышевский, если страдающий человек сам может изменить свою судьбу, но не пользуется своими правами и возможностями — тогда не лишними будут укоризны ему.

Приняв этот критерий Чернышевского, что можем мы сказать о положении Ивана Денисовича? Если бы Шухов знал, в чем причина его трагедии, мог бороться со злом, сопротивляться беззаконию и не сделал этого — тогда счет к нему был бы, естественно, строже. Но что он мог знать, чему сопротивляться, с чем бороться?

Вся система заключения в лагерях, какие прошел Иван Денисович, была рассчитана на то, чтобы безжалостно подавлять, убивать в человеке всякое чувство права, законности, демонстрируя и в большом, и в малом такую безнаказанность произвола, перед которой бессилен любой порыв благородного возмущения. Администрация лагеря не позволяла зэкам ни на минуту забывать, что они бесправны и единственный судия над ними — произвол. Им напоминала об этом плетка Волкового, который сек людей в БУРе, им напоминали об этом, лишая их отдыха в воскресенье и выгоняя на работу в неурочный час.

Попадая в лагерь и не зная сосвежа всей меры произвола и собственной беззащитности перед ним, считая происходя-

щее с тобой лично недоразумением, ошибкой, люди могли, как кавторанг Буйновский, горячо возмущаться происходящим. Вместе с Иваном Денисовичем мы сочувствуем этому взрыву протеста кавторанга, ощутившего в себе оскорбленное достоинство советского гражданина. «Вы не советские люди! Вы не коммунисты!» — кричит Буйновский, в запале ссылаясь и на «права», и на девятую статью Уголовного кодекса, которая запрещает издевательство над заключенными. Но вместе с волной горячего сочувствия к этому чистому, идейному человеку приходит и острое чувство жалости.

При всем благородстве его порыва есть в нем что-то беспомощное. На Волкового выкрики кавторанга не производят впечатления, а сам Буйновский еще отсидит за это в БУРе. Тут даже не наказание горько, а полная бесцельность и бессмысленность протеста. Поэтому Иван Денисович и жалеет кавторанга как дитя малое, неразумное.

Солженицын не был бы Солженицыным с его жестокой реалистической правдой, если бы он не сказал нам о том, что кавторанг — этот властный, звонкий морской офицер — должен превратиться в малоподвижного, осмотрительного зэка, чтобы пережить двадцать пять лет отверстанного ему срока.

Неужели так? Как мучительно верить этому. Ах, как хотелось бы нам, чтобы он протестовал каждый день и каждый час, без устали обличая своих тюремщиков, не думал бы о холоде и о миске с кашей, сжался бы в один комок нервов — и все-таки продолжал борьбу.

Но есть ли в этом реальность? Не одно ли это благодушное пожелание?

Чтобы бороться, надо знать, во имя чего и с чем бороться. Сенька Клевшин знал, с кем он боролся в Бухенвальде, когда готовил восстание в лагере против немцев, а что ему делать здесь, если администрация Особлага — и в этом трагический парадокс — представляет его же родную советскую власть? Как разобраться в этом клубке противоречий?

За восемь лет лагерей Шухов, как и его товарищи по несчастью, мог убедиться, что его судьба — не исключение, не случайная ошибка: рядом сидело множество безвинных лю-

дей — коммунистов, простых тружеников, людей, преданных советской власти. Попытки добиться восстановления справедливости, письма и прошения, которые посылались заключенными в высшие инстанции, вплоть до адресованных лично Сталину, смягчения участи никому не приносили, оставались без ответа. А домой из лагеря никто не возвращался даже после конца срока. Для всех заключенных рано или поздно становилось очевидным, что закон «выворотной», что справедливости не докличешься, сколько ни кричи, и что, стало быть, тут система репрессий, а не отдельные ошибки. Так возникал вопрос: кто же виноват во всем этом?

У иного мелькала дерзкая догадка о «батьке усатом», другой гнал от себя, наверное, эти крамольные мысли и не находил ответа. Не в том ли и была для Ивана Денисовича и его товарищей главная беда, что на вопрос о причинах их несчастья ответа не было. Были догадки, но догадки не вооружают — вооружает знание. И потому, когда утихала первая боль обиды и оскорблений, оставалось только неотступное чувство совершенной над ними несправедливости.

Критики, которые хотели видеть Шухова «пытливым» и «активным», упрекали его в том, что он мало говорит и думает о причинах своего положения. Но зачем ему после восьми лет заключения устраивать самому себе безысходную нравственную пытку? Что он знал, то знал твердо, а чего не знал, того, к нашей общей беде, и не мог знать.

Конечно, и нам хотелось бы, чтобы Шухов и его товарищи осознали бы природу и последствия культа личности, сидя в лагере, и даже вступили бы с ним в борьбу. Но не выглядит ли это применительно к реальным условиям, о которых идет речь, самой беспочвенной утопией?

Вот почему упрекать Ивана Денисовича в том, что он не борется, не отстаивает свои права, что он «примирился» со своим положением зэка и не хочет думать о причинах своего несчастья, — значит проявить, говоря словами Чернышевского, «пошлую бесчувственность».

Достаточно и того, что в Иване Денисовиче с его народным отношением к людям и труду заложена такая жизне-

утверждающая сила, которая не оставляет места опустошенности и безверию. И этот оптимизм тем более зрел и реален, что рассказ о судьбе Шухова вызывает в нас самое живое и глубокое возмущение преступлениями поры культа личности.

4

Наше представление об Иване Денисовиче как народном характере было бы, пожалуй, неполным, если бы Солженицын показал нам только то, что сближает Шухова с его товарищами по несчастью, и не увидел в лагерной среде своих противоречий и контрастов. Я говорю сейчас не о том очевидном различии, какое существует между «шпионами деланными», которые лишь по делам «проходят как шпионы, а сами пленники просто», и настоящими шпионами вроде маленького «молдавана», получившего законное возмездие. Я не имею здесь в виду и тайной вражды заключенных со «стукачами», подобными некоему Пантелееву, которого оставляют днем под видом больного в бараке и который внушает Ивану Денисовичу настороженное и брезгливое чувство.

Сложнее и деликатнее вопрос о взаимосвязях, внутреннем соотношении фигуры Шухова и таких значительных в художественной концепции повести лиц, как Цезарь Маркович или кавторанг. Тут светотени возникают так органически и ненавязчиво, что надо получше вслушаться и вдуматься в рассказанное, чтобы верно истолковать замысел автора.

Соблазнительно легким решением было бы противопоставить Ивана Денисовича, как человека с небогатой душевной жизнью, людям интеллигентным, сознательным, живущим высшими интересами. Такому соблазну поддался в своей статье «Во имя будущего» («Московская правда», 8 декабря 1962 года) И. Чичеров. С сожалением отметив, что «Шухов многого не понимает», указав на «каратаевскую интонацию в раскрытии его духовного, и все же бедного, мира», критик дал писателю несколько советов, как ему

улучшить свою повесть. «...Повесть была бы еще сильнее, еще крупнее и значительнее, — писал И. Чичеров, — если бы в ней более подробно и глубоко был развернут образ-характер кавторанга Буйновского или «высокого старика». Может быть, этот старик и не был коммунистом. Но он был интеллигентом». И, перейдя от добрых советов к квалификации промахов автора, критик заявил без обиняков: «Существенным недостатком повести, на мой взгляд, является то, что в ней не раскрыта эта интеллектуальная и моральная трагедия людей остро думающих, и не только о том, что стряслась „бяда", а и о том, как и почему все это произошло?!»

Не думаю, чтобы И. Чичеров всерьез рассчитывал на то, что Солженицын возьмется дополнять и поправлять повесть согласно его конструктивным предложениям. Эти советы и нарекания надо рассматривать скорее как риторическую фигуру, своеобразный прием критической укоризны, который все еще никак не выйдет из употребления, несмотря на давнее предостережение Добролюбова: «Если в произведении есть что-нибудь, то покажите нам, что в нем есть: это гораздо лучше, чем пускаться в соображения о том, чего в нем нет, и что бы должно было в нем находиться». Жаль, что слова эти редко вспоминают. Не вспомнились они критику и на этот раз. Представляет, однако, интерес, что, рассуждая о том, как надо было Солженицыну написать повесть, И. Чичеров ясно выразил свое понимание ее конфликта, противопоставив Шухова людям «остро думающим».

Чтобы у нас не оставалось никаких сомнений в том, что именно не понравилось ему у Солженицына, критик объяснил: «Беспокоит меня в повести и отношение простого люда, всех этих лагерных работяг к тем интеллигентам, которые все еще переживают и все еще продолжают, даже в лагере, спорить об Эйзенштейне, о Мейерхольде, о кино и литературе и о новом спектакле Ю. Завадского... Порой чувствуется и авторское ироническое, а иногда и презрительное отношение к таким людям».

Итак, с одной стороны — «простой люд», «лагерные работяги», с другой — «переживающие» интеллигенты; с

одной стороны, надо понимать, Тюрин, Шухов, Клевшин, с другой — кавторанг, Цезарь Маркович, «высокий старик».

Есть в таком подходе к делу что-то от старого и пошлого предрассудка, согласно которому «простые люди» — люди труда — и думают и чувствуют беднее, чем мы сами, рассуждающие о них с таким уверенным чувством превосходства. Вряд ли сам И. Чичеров, додумав свою мысль до конца, стал бы на ней настаивать. Более того, я думаю, что в применении к Солженицыну решительно непригодна сама попытка искать противопоставление в плоскости «народ — интеллигенция» и видеть в Иване Денисовиче героя «от сохи», суждения которого придают, так сказать, «антиинтеллигентский» оттенок повести.

Взгляд на вещи у Солженицына не просто другой, но в принципе отличный от этого, возникающий на иной глубине понимания явлений жизни, исходящий из другой системы измерения, чем та, какой пользовался критик. Для Солженицына не существует деления на «простой люд» и «интеллигентов», в лагере он видит более общее и важное различие — людей трудовых и людей, сознательно или бессознательно паразитирующих на чужом труде. Ту же мысль можно выразить и на более привычном для Ивана Денисовича лагерном жаргоне: речь идет, условно говоря, о работягах, «вкалывающих» на *общих* работах, и о *придурках*.

О работягах, изображенных Солженицыным, мы говорили как будто достаточно. Но несправедливо мало внимания уделили до сих пор придуркам. А между тем эта часть заключенных и сама по себе сильно занимает автора повести, и позволяет бросить как бы дополнительный свет на фигуру Ивана Денисовича.

Мы помним, что Шухова на все лады упрекали в «приспособлении» к горестным обстоятельствам. Но критики почти не обратили внимания на манеру приспособления придурков, выделяющихся из «серой массы» работяг и становящихся своего рода аристократией лагеря.

Таким «аристократом» среди зэков был дневальный по штабному бараку, за которого Ивану Денисовичу с утра пришлось мыть пол. Этот придурок имел доступ в кабинет

майора и начальника режима, услуживал им «и с некоторых пор посчитал, что мыть полы для простых надзирателей ему приходится как бы низко».

В людях, презирающих общий труд и выбирающих любой ценой долю полегче, развивается самоуверенное и хамоватое лакейство. Получая высокую пайку, ухитряясь жить в сносных условиях даже в лагере, придурки чувствуют за собой право третировать работяг как людей второго сорта.

Вот гвоздем торчит за спиной кладущего стену Шухова десятник Дэр, который на воле в министерстве работал и здесь «дозорщиком» устроился. Этот бездельник горазд советы давать и покрикивать на каменщиков, а когда сам стал однажды показывать, как кирпичи класть, «так Шухов обхохотался». В таких же «наблюдателях», как окрестил их Иван Денисович, ходит другой придурок — Шкуропатенко. От него тоже добра не жди. И мало чем лучше их те, кто услугами и подношениями начальству добился теплого местечка внутри лагеря, пристроился на кухне, в конторе или на складе.

Вспомним хотя бы, как в посылочную, куда изо всех сил поспешал по поручению Цезаря Иван Денисович, зашли, никого не спросясь, оттолкнув переднего в очереди, парикмахер, бухгалтер и один из КВЧ. Тут в обычно ровном, беззлобном тоне рассказа прорываются нотки ненависти: «Но это были не серые зэки, а твердые лагерные придурки, первые сволочи, сидевшие в зоне. Людей этих работяги считали ниже дерьма (как и те ставили работяг). Но спорить с ними было бесполезно: у *придурни* меж собой спайка и с надзирателями тоже». Слова эти звучат резко и непримиримо. Они естественны в устах раздосадованного, обиженного Ивана Денисовича.

Это не значит, конечно, что автор не допускает, чтобы среди «придурков» — в конторе или на кухне — начисто не встречались достойные люди, которым просто-напросто в какую-то минуту повезло или помогла их прошлая профессия, как, например, художникам, которых подряжали обновлять зэкам номера и писать надзирателям картины. Да и в санчасти, бывало, работали самоотверженные врачи и фельдшеры, которые спасали людей, бескорыстно помогали

заключенным и которых язык не повернется назвать «придурками». Точно так же не значит, что всякий вышедший на общие работы — уже тем самым хороший трудовой человек. «Шакал» Фетюков и в бригаде «придуривается», старается прожить на чужой счет. Прежде Фетюков в какой-то конторе большим начальником был, на машине ездил, а теперь он — одна обуза для 104-й. Ставит его бригадир носилки с раствором подносить — на это ума вроде не надо. Но Фетюков и тут ловчит, носилки тихонько наклоняет, раствор выхлюпывает, чтобы легче нести.

Все это так, и, однако, не только различия в объективном положении, но в самих внутренних побуждениях, моральных стимулах людей делают достаточно четкой границу, отделяющую «работяг» от «придурков».

С этой точки зрения полезно взглянуть и на Цезаря Марковича, за которого как будто слегка обиделся И. Чичеров. В самом деле, мягкий, интеллигентный человек, кинорежиссер, трубку курит, рассуждает об Эйзенштейне — к чему тут ирония? Справедливость требует заметить, что автор не говорит о Цезаре лично ничего худого, есть даже что-то располагающее в этом вежливом, незлобивом человеке, так занятом воспоминаниями и интересами своей прежней профессии. Жаль, конечно, его, как жаль и других безвинно пострадавших, оторванных от дома, от любимого дела.

Но есть одно, чего не обойдешь. Только что все шли в одной колонне, равные друг другу, и Цезарь угощал Шухова недокурком от сигареты, но вот показались ворота зоны, а потом и сам объект, и Цезарь отделяется от общего строя, не спеша идет к конторе. Можно рассудить и так: кому какая судьба, ведь он человек образованный, интеллигентный. Но кавторанг тоже человек образованный, а работает с бригадой на объекте, таскает носилки, «как мерин добрый», и на судьбу не жалуется, хоть валится от усталости к концу дня.

Причина столь приятных привилегий Цезаря проста. Два раза в месяц он получает из дому богатые посылки, «всем сунул, кому надо», получил освобождение от общих работ, устроился помощником нормировщика в контору. Иван Денисович не слишком осуждает за это Цезаря, хотя сам он,

как помним, «давать на лапу» не умел и в лагере не научился. Великодушно относясь к людским слабостям, Шухов не может винить Цезаря и за то, что, «подмазав» кому-то, тот получил право носить меховую шапку. В этой меховой шапке, с трубкой во рту Цезарь выглядит, должно быть, совсем не по-лагерному импозантно. И хоть ничего противоестественного нет в том, что люди цепляются за всякую возможность, чтобы облегчить свою участь, но Шухову как-то ближе кавторанг, который работает с ним «на общих», и мы тоже чувствуем за Буйновским это преимущество непререкаемой нравственной силы.

Изящный эстетизм Цезаря, его интеллигентные манеры, то, как он курит трубку, «чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то», — все это находится в резком противоречии с низкой прозой тех усилий, какими добываются в лагере относительное благополучие и покой, дающие выход приятным воспоминаниям и милым сердцу разговорам.

Цезарь как должное принимает услуги Шухова, за которые иной раз по неписаному условию отблагодарит его своей пайкой. Во время обеда Иван Денисович спешит с миской в контору. «Цезарь сам никогда не унижался ходить в столовую ни здесь, ни в лагере», — как бы между прочим замечает автор. А едва вернувшись с работ в лагерь, Шухов несется занимать Цезарю очередь в посылочной, сам же Цезарь, «себя не роняя, размеренно» идет в другую сторону, чтобы сменить Ивана Денисовича, когда дело приблизится к выдаче.

Цезарь Маркович смотрит на Шухова несколько по-барски, замечает его существование только тогда, когда он оказывается для чего-то нужен ему. Духовная жизнь Ивана Денисовича его вовсе не интересует по ее видимой примитивности. То, что Шухов не способен обсуждать с ним мастерство монтажных стыков или крупный план у Эйзенштейна, уже ставит его в глазах Цезаря неизмеримо ниже того круга людей, с которыми молодой кинорежиссер привык считаться, — людей интеллигентных, или, говоря словами наших критиков, «остро думающих», «осведомленных». Повстречай он Ивана Денисовича на свободе — и ему не о чем будет сказать с ним двух слов.

Цезарь искренне увлечен кинематографом, но в том, как он говорит о своем кумире Эйзенштейне, в самом способе разговора есть что-то от слишком знакомых, ходовых мнений, с принудительностью моды господствующих по временам в узком кружке людей, связанных с искусством, где иные имена звучат заклинанием и паролем. И. Чичеров заступился перед Солженицыным за тех интеллигентов, которые «все еще продолжают в лагере спорить об Эйзенштейне, о Мейерхольде...» О Мейерхольде в повести не сказано ни слова, но психологически понятно, почему он мог залететь здесь к Чичерову: Мейерхольд так Мейерхольд — не все ли равно, если это лишь знак особо утонченных духовных интересов, своего рода свидетельство об интеллигентности.

В искусстве Цезаря больше всего интересует, как это сделано, он привык дорожить формой, приемом, самой атмосферой творчества. Цель искусства, то, пробуждает ли оно в людях добрые чувства, кажется ему делом второстепенным. В этом суть его спора с жилистым стариком каторжанином в конторе. Развалившись у стола и покуривая трубку, Цезарь благодушествует.

«— Нет, батенька, — мягко этак, попуская, говорит Цезарь, — объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. „Иоанн Грозный" — разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!

— Кривлянье! — ложку у рта задержа, сердится Х-123. — Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тирании».

Спор разгорается сильнее, и старик, возмущенный ссылкой Цезаря на то, что иной трактовки «не пропустили бы», гневно возражает: «Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!».

Почти в каждой статье о повести Солженицына приведена эта действительно замечательная сцена, где старик каторжанин, побивая слабые аргументы Цезаря, произносит слова, исполненные высокого гражданского достоинства. Но мало кто из критиков заметил присутствие в этой сцене третьего лица — молчаливо стоящего с миской в руках, при-

несенной в контору, Ивана Денисовича. Шухов терпеливо ждет, потом откашливается, желая обратить на себя внимание, и, наконец, Цезарь замечает его. Но как замечает!

«Цезарь оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, будто каша сама приехала по воздуху, — и за свое:

— Но слушайте, искусство — это не что, а *как*».

Способ, каким Цезарь принимает от Шухова кашу, пожалуй, больше развенчивает его, чем поражение в споре об искусстве.

Шухов не торопится уходить из уютной конторы, где так приятно стоять у раскаленной докрасна печки, он еще надеется, что Цезарь угостит его куревом. «Но Цезарь, — говорит Солженицын, — совсем об нем не помнил, что он тут, за спиной. И Шухов, поворотясь, ушел тихо». Становится горько-горько за Ивана Денисовича после этих слов, и возникает невольная неприязнь к такому вежливому и симпатичному Цезарю Марковичу. Он может еще позволить себе роскошь поспорить вволю о пляске опричников с личиной, а Шухову пора на объект, к своим.

Я не сомневаюсь в законности тех интересов, которые занимают Цезаря. Я мог бы даже посочувствовать его одержимости мастерством Эйзенштейна, как всякому живому человеческому пристрастию. Но я признаю бульшую, так сказать, существенность за тем, что волнует Ивана Денисовича, что составляет его заботы. Как не подумать о том, что Цезарю Марковичу не пришлось бы рассуждать в конторе, в тепле, за миской с кашей, которую принес ему Шухов, о сцене в соборе, если бы целый день в здании ТЭЦ не работала бы бригада, проценты выработки которой он, по счастливому своему положению, определен подсчитывать.

В Цезаре нет хищного своекорыстия, его наивный эгоизм чаще вызывает у нас улыбку, чем досаду и негодование. Но, ища себе долю полегче, Цезарь приобрел своего рода глухоту к тому, что волнует окружающих его людей. Попытка остаться в кругу привычных «московских» интересов есть способ самозащиты против тяжких впечатлений лагеря. Но эти же разговоры об Эйзенштейне, о кино как бы

отстраняют его от таких людей, как Шухов, изолируют от них и лишают ответственности перед ними. «Высшие» интересы искусства не сопрягаются с «низшими», прозаическими интересами жизни, которыми поневоле заняты Иван Денисович и его товарищи. И если Шухов твердо верит в то, что жизнь не есть озорство, то этой веры не хватает, похоже, Цезарю Марковичу, как не хватало ее *«красилям»*, основавшим новый «веселый» промысел в родной деревне Ивана Денисовича.

В самом главном, в отношении к жизни и труду, что-то неожиданно сближает утонченного Цезаря Марковича с красилями из деревни Темгенево. И точно так же вопреки ожиданию у интеллигентного, идейного человека Буйновского находится больше общего с Иваном Денисовичем, чем с Цезарем, несмотря на то что тот в бригаде «одного кавторанга и придерживается», видя лишь в нем достойную себе компанию. Одно это начисто отвергает мысль о каком-либо противопоставлении народа и интеллигенции у Солженицына. Принцип деления тут другой.

Кавторанг не «придуривается», не ищет, как обойти беду легче, миновать жребий работяг. И хоть туго приходится ему без привычки к физической работе, он безропотно выполняет приходящуюся на его долю часть общего труда бригады. «Осунулся крепко кавторанг за последний месяц, а упряжку тянет» — одно это вызывает у Ивана Денисовича молчаливое уважение к нему и чувство внутреннего родства, какое он не может испытывать к Цезарю.

И чтобы у нас не оставалось сомнений в том, чем и как различны между собою Цезарь и кавторанг, Солженицын сводит их вместе на вахте перед возвращением домой после долгого трудового дня. «И Цезарь тут, от конторских к своим подошел. Огнем красным из трубки на себя попыхивает, усы его черные обындевели, спрашивает:

— Ну как, капитан, дела?

Гретому мерзлого не понять. Пустой вопрос — дела как?

— Да как? — поводит капитан плечами. — Наработался вот, еле спину распрямил.

Ты, мол, закурить догадайся дать».

Цезарь догадывается, дает капитану закурить и начинает отводить с ним душу в любимом разговоре.

«Уговаривает Цезарь кавторанга:

— Например, пенсне на корабельной снасти повисло, помните?

— М-да... — кавторанг табачок покуривает.

— Или коляска по лестнице — катится, катится.

— Да... Но морская жизнь там немножко кукольная.

— Видите ли, мы избалованы современной техникой съемки...

— И черви по мясу прямо как дождевые ползают. Неужели уж такие были?

— Но более мелких средствами кино не покажешь! — Думаю, это б мясо к нам в лагерь сейчас привезли вместо нашей рыбки, да не моя, не скребя в котел бы ухнули, так мы бы...»

Один критик увидел в этом разговоре некий нравственный урон для кавторанга, которого автор якобы уравнял в самом образе мыслей с «шакалом» Фетюковым, заставив говорить о сомнительном мясе так, как будто и он не отказался бы его отведать. Подробность в самом деле не слишком эстетичная. Но нельзя сказать, что она не у места. Автор резко спустил Цезаря с небес на землю, разбил условно-эстетическое восприятие им мира, иронически соотнеся пусть самый удачный кинематографический прием с неподдельной и грубой реальностью. Способ не новый, много раз с успехом служивший Толстому, но и здесь оказавшийся кстати. Прислушиваясь к разговору Цезаря и кавторанга, мы чувствуем особенно остро различие их положения: один из собеседников только что вернулся из жарко натопленной конторы в созерцательно-благодушном настроении, другой же отработал целый день на жестоком морозе и, естественно, несколько грубее и проще смотрит на жизнь.

С Иваном Денисовичем Цезарь не станет говорить об Эйзенштейне, о котором тот, наверное, даже и не слыхал. Но кавторанг, которого Цезарь по образованности и кругу интересов считает ровней себе, выражает тот взгляд на вещи, который, без сомнения, должен был бы одобрить и разделить Шухов. Хотелось бы, конечно, чтобы Иван Денисович

стоял на более высокой ступени культуры и чтобы Цезарь Маркович, таким образом, мог бы говорить с ним решительно обо всем, что его интересует, но, думается, и тогда взгляды на многое были бы у них различны, потому что различен сам подход к жизни, само ее восприятие.

Иное дело кавторанг или тот высокий молчаливый старик, которого с уважением рассматривает Шухов за ужином. Старик этот был интеллигентом, по догадке И. Чичерова, и, должно быть, крепко воевал за справедливость, потому что сидел он по лагерям да по тюрьмам несчетно и ни одна амнистия его не коснулась. Но достоинства своего не утратил, себя не потерял. «Лицо его все вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тесаного, темного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что не много выпадало ему за все годы отсиживаться придурком».

Отношение Шухова к придуркам, точно так же как его недоумение по поводу легкого промысла красилей, имеет в своей основе народное отношение к труду и к моральному долгу совместно работающих людей друг перед другом.

Обо всем этом стоит говорить подробнее, потому что, как ни удивительно, «придурки» тоже не остались в литературе без защиты и покровительства. В повести Б. Дьякова «Пережитое» («Звезда», 1963, № 3), написанной, видимо, не без влияния Солженицына и с внешним усвоением некоторых его интонаций, по одному вопросу — вопросу о «придурках» — идет нескрываемая полемика с «Иваном Денисовичем».

Героя повести Б. Дьякова, собравшегося в первый день своего лагерного срока выйти на общие работы, урезонивает более опытный инженер. Он дружески советует ему поскорее устроиться руководителем художественной самодеятельности при лагере, чтобы избежать общих работ. Инженер предупреждает новичка, что в лагере сидят не только жертвы беззакония, но и «настоящие мерзавцы», с ними-то и предстоит борьба. Сам же лагерный режим может показаться не слишком тяжелым, если вести себя умело: «В шахматы играете? Очень хорошо! Тогда вам известно: иной раз кажется — мат неизбежен, но... напряжение мысли, расчет, ход конем,

или рокировка, или пешку в ферзи — и жизнь выиграна!.. Вы, разумеется, понимаете аллегории?»

Эти аллегории понимают все. Но Шухова почему-то невозможно представить делающим «ход конем». И Тюрина. И кавторанга. Вспомним, что о своей болезни Шухов говорит в санчасти «совестливо, как будто зарясь на что чужое», и присаживается с градусником под мышкой на самый край лавки, «невольно показывая, что санчасть ему чужая». Герой же Б. Дьякова — мы не осуждаем его за это, а лишь констатируем — сначала лечит в лагерной больнице свою застарелую грыжу, потом устраивается библиотекарем, затем инсценирует роман для художественной самодеятельности и организовывает подписку на заем среди заключенных. Словом, заботы эти иного сорта, чем те, что волновали Ивана Денисовича.

Что ж, разные, вероятно, были лагеря, разные люди в них сидели, и по-разному переживалось происходившее. Но вот прямое рассуждение, вложенное Б. Дьяковым в уста одного из героев повести: «Придурками в лагере называют тех заключенных, которые выполняют хозяйственные или канцелярские работы. Правда, есть зэки, считающие, что придурки — особо привилегированные, подхалимы и доносчики... Это неверно! Конечно, попадаются и такие. А в основном придурок — знаете кто? Умный заключенный *при* дураке начальнике».

Наконец-то слово найдено, и сомнению не остается места. Придурок — умный заключенный, устроившийся при дураке начальнике, — должен чувствовать свое несомненное превосходство и над теми дураками работягами, которые на ледяном ветру, в мороз тяжелым трудом зарабатывают свою скудную пайку. Его душу не только не будет царапать совесть, но он испытает прямо-таки самодовольство при мысли, что придумал ловкий «ход конем», а какой-нибудь Шухов никогда до этого не додумается, так и будет таскаться на работу с бригадой — бедолага. Шкуропатенко, Дэр, разъевшийся завстоловой, я не говорю уж о нашем безобидном и добродушном Цезаре Марковиче, — все они будут выглядеть в таком случае «умными заключен-

ными» при дураках начальниках, а Тюрин, Клевшин, кавторанг — недалекими зэками, которым поделом, что они трудятся «на общих», если приспособиться половчее ума не хватило. Но думать так можно, лишь вовсе не предполагая в человеке других интересов, кроме шкурных, и других побуждений, кроме тех, что подсказывает инстинкт самосохранения, какими бы высокими соображениями это ни маскировалось.

У Ивана Денисовича и у кавторанга, у Тюрина и у Клевшина иное отношение к людям и к труду, отношение, которое мы вправе назвать народным вне зависимости от того, принадлежат ли эти люди к «народу» или к «интеллигенции» в старом понимании слова. Это народность не внешняя, не показная, а глубоко коренящаяся в них, внутренняя, стойкая, которая особенно дорога Солженицыну и которая сообщает его книге тон мужественного оптимизма.

Солженицыну близки заветы русской литературы прошлого века — народность Некрасова и Щедрина, Толстого и Чехова. Но тот взгляд на народ, какой выражен в его повести, характерен именно для советского писателя и, больше того, для писателя, вошедшего в литературу в последние годы, ознаменованные важными переменами в нашей жизни.

В различных областях духовной деятельности, в том числе в литературе и искусстве, тоже есть свой тяжелый и серьезный труд сенокоса и свой прибыльный и легкий промысел красилей, работающих по модному трафарету. Отношение к труду может объективно сближать и разделять людей, независимо от того, колхозники они или интеллигенты, Шуховы или кавторанги. И Солженицын с новым правом мог бы повторить замечательные слова Чехова: «Все мы народ, и все то лучшее, что мы делаем, есть дело народное».

Народному отношению к труду противостоит еще ныне мещанское желание прожить полегче, устроиться поприбыльнее, поживиться на чужой счет. Но в каких бы формах ни проявляло себя мещанство — в грубо корыстных или возвышенно интеллектуальных, в раболепно смиренных или начальственно повелительных, — мы всегда в конечном счете распознаем его по отношению к труду и трудовым людям.

Значение повести Солженицына в том, в частности, и состоит, что она помогает ясно понять это.

Разоблачая беззакония, ставшие возможными при Сталине и противоположные всей природе социалистического общества, повесть «Один день Ивана Денисовича» отвергает и то отношение к народу, на котором основывалась идеология культа личности. Сталин отгораживался от народа государственными карательными органами и, хотя в своих речах часто поминал и хвалил народ, сам относился к трудовым людям с плохо скрытым презрением. «Сталин не верил в массы, — говорил на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС 1962 года Н.С. Хрущев. — Он состоял членом рабочей партии, но не уважал рабочих. О людях, вышедших из рабочей среды, он пренебрежительно говорил: этот из-под станка! Куда, мол, он суется!» Слово «народ» превращалось в устах Сталина в пустую абстракцию. Словно бы все вместе — были народ, а каждый в отдельности уже не имел к народу отношения.

Восстанавливая социалистическую законность, ленинские нормы общественной жизни, партия придала новую значительность и такому понятию, как «народность». С этой точки зрения появление в литературе повести Солженицына было заметным событием.

Солженицын написал эту повесть, потому что не мог ее не написать. Он писал ее так, как исполняют долг — без всяких уступок неправде, с полной открытостью и прямотой. И потому его книга, при всей жестокости ее темы, стала партийной книгой, воюющей за идеалы народа и революции.

Нас могут спросить: а где же анализ мастерства автора, формы произведения? В самом деле, мы не говорили отдельно, как это обычно принято, о «художественных особенностях» повести, но убеждены, что мы все время говорили о них, едва лишь заходила речь об Иване Денисовиче, Цезаре, кавторанге, о самой атмосфере «счастливого дня» или о сцене работы на ТЭЦ, потому что искусство Солженицына — это не то, что выглядит как эффектное внешнее

украшение, пристегнутое где-то сбоку к идее и содержанию. Нет, это как раз то, что составляет плоть и кровь произведения, его душу. Неискушенному читателю может показаться, что перед ним кусок жизни, выхваченный прямо из недр ее и оставленный как он есть — живой, трепещущий, с рваными краями, сукровицей. Но такова лишь художественная иллюзия, которая сама по себе есть результат высокого мастерства, умения художника видеть людей живыми, говорить о них незахватанными, точно впервые рожденными на свет словами и так, чтобы у нас была уверенность — иначе сказать, иначе написать было нельзя.

Повесть «Один день Ивана Денисовича» прожила в нашей литературе всего год и вызвала столько споров, оценок, толкований, сколько не вызывала за последние несколько лет ни одна книга. Но ей не грозит судьба сенсационных однодневок, о которых поспорят и забудут. Нет, чем дальше будет жить эта книга среди читателей, тем резче будет выясняться ее значение в нашей литературе, тем глубже будем мы сознавать, как необходимо было ей появиться. Повести об Иване Денисовиче Шухове суждена долгая жизнь.

1964

Писатель, читатель, критик

Статья вторая

1

Случилось так, что продолжение статьи о «литературном треугольнике» было написано не сразу. А между тем я стал получать письма читателей, напоминавших о начатом разговоре и вносивших порой поправки в мои намерения и планы. Одни предлагали свое толкование явлений и парадоксов литературной жизни, ставших предметом обсуждения в предыдущей статье, другие советовали, в каком направлении рассматривать проблему дальше, третьи просили коснуться судьбы тех или иных произведений, вызывающих споры и кривотолки.

«Вы заинтересовались отношениями критики и читателей, — написал Б. Удинцев (Москва). — Мне думается, что не менее интересны отношения критиков и авторов». Эту же сторону дела отметил в своем письме москвич инженер А. Лукьянов. Среди читателей, написал он, «бытует мнение, что критик непременно должен быть выше писателя, что писатель — это великий путаник, доставляющий читателю массу хлопот, хотя и из добрых побуждений. Поневоле приходится ждать, что авось поможет критик, растолкует, расшифрует — глядишь, и читать-то книгу, оказывается, не следовало». А. Лукьянов, понятно, иронизирует, но что его действительно заботит, так это что «критики, судя хотя бы по тону пода-

вляющего числа статей — от гневного до покровительственного, — абсолютно убеждены в своей идейно-эстетической исключительности, возвышающей их над писателями». Читатель просит сопоставить «два вида творчества — писателя и критика», имея в виду, что «у критиков должны быть не только моральные права, но и моральные обязанности перед писателями».

Исследованием этой новой грани «литературного треугольника» и будет, пожалуй, удобнее всего продолжить разговор. Но прежде еще одно замечание.

Когда начинают бранить критику, обычно не жалеют для нее обидных и укоризненных слов. Насмешка над недалеким критиком считается как бы признаком хорошего тона; над ним посмеиваются, его третируют, шум недовольства нарастает, и я оглядываюсь по сторонам, ищу, нет ли желающих вступиться за опальный литературный род.

Может быть, писатели? Это было бы только справедливо. Не критик ли привлекает внимание публики к их книгам, хваля или пусть даже ругая их? Не он ли указывает на промахи автору, заставляя его задуматься над недостатками его труда? Не он ли старается поспеть за временем и объяснить писателю требования момента? А между тем какая судьба! Поэты и прозаики вечно третируют его как приживала, литератора без дарования, решившего возместить недостатки природных способностей пересуживанием чужих успехов и неудач. Ученые-литературоведы смотрят на него с академическим превосходством, как на поверхностного недоучку, живущего злобой дня. Читатели... о тех и говорить не стоит после приведенных выше отзывов. Придется искать опору в старом авторитете: «...Критика, основанная на глубоком вкусе и уме, критика высокого таланта имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением: в ней виден разбираемый писатель, в ней виден еще более сам разбирающий. Критика, начертанная талантом, переживает эфемерность журнального существования».

Это Гоголь. Хорошо, когда так говорят о критике. Пусть не о нас, не о нынешней критике тут речь — такие слова важны и дороги: есть к чему стремиться, на что надеяться.

Право, не нам бы бранить критику — одну из самых заманчивых, сложных и опасных литературных профессий. Да, и опасных, хотя бы потому, что авторы болезненно-остро реагируют на публичное обсуждение их творчества.

Говорят, что критика на то и существует, чтобы помогать писателю исправить недостатки его пера. Я лично не слишком верю в эффективность этого способа совершенствования в искусстве и не знаю случая, когда бы после внушений критики писатель решительно переменился или сделал плохую книгу хорошей. Навязанные советы редко приносят пользу, художник должен думать сам. Другое дело, что принципиальный литературный спор обычно сам по себе бывает небесполезен, и чем выше талант мастера, тем легче ему согласиться, что труд его далек от полного совершенства, тогда как малая одаренность будет спесиво защищать себя, отвергая с порога даже самые очевидные критические замечания.

Критика не должна быть непременно приятной писателю. Ее святая обязанность — защищать права читателя и оберегать его от пошлости, бездарности, идейной пустоты и несостоятельности. И пусть уж лучше обидится писатель, да читатель будет не внакладе.

Однако мы слишком плохо думали бы о критике, если бы главную цель ее полагали в том, чтобы отметить красоты и промахи, «похвалить» или «разнести» книгу, выставить ей оценку. Нам не хотелось бы видеть критику ни в роли зазывалы, расхваливающего перед публикой неходкий товар, ни в облике классной дамы, внушающей провинившемуся автору правила поведения.

В серьезной критике мысль, подсказанная книгой либо прямо извлеченная из нее, не менее важна, чем оценка. Но практика укореняет иные предрассудки, и можно заметить, что писатели, обжегшись на критике, способной лишь выставлять баллы и выносить приговоры, получили обыкновение знакомиться с рецензиями ускоренным способом, заглядывая в последний абзац — «хвалит» или «ругает» на этот раз книгу критик. (Так мельком взглядывают на термометр за окном — чтобы узнать, какова нынче погода). Этим обычно исчерпывается любопытство автора к рецензенту.

А между тем в истории нашей литературы бывали примеры и другого рода взаимоотношений писателя и критика. Своим разбором пьес Островского в статье «Темное царство» Добролюбов дал общественное истолкование явлению «самодурства» и тем самым не только лучше объяснил публике значение творчества драматурга, но и самого его поддержал и укрепил на избранном им пути. Еще, быть может, интереснее другой пример. Тургенев, как известно, рассердился и обиделся на Добролюбова за его статью о романе «Накануне». Почему так случилось? Вовсе не потому, что критик «ругал» автора. Напротив, писатель мог быть лишь польщен той высокой оценкой, какая давалась его роману в статье «Когда же придет настоящий день?». Тургенева смутили революционные выводы, к которым пришел критик, рассматривая характеры его героев, их намерения и поступки. Автор «Накануне» спешил откреститься от трактовки Добролюбова. И, однако, Добролюбов был прав, когда говорил, что не прибавил и не навязал роману ничего такого, что реально не содержалось бы в нем, пусть даже вопреки намерениям автора.

«Реальная критика» Добролюбова была обращена, прежде всего, к читателю. Но в ней сохранялась при этом вся мера уважения к автору произведения, уважения, основанного на том, что перед критиком был живой мир, знакомый каждому, и в то же время воссозданный с той поразительной новизной, какая составляет привилегию художественного зрения. Добролюбов не искал в романе иллюстраций к своим мыслям, как это пытались представить его недалекие истолкователи. Он сам по-новому понимал жизнь, пользуясь свидетельством художника.

С плоско тенденциозными, бесхудожественными книгами «реальной критике» нечего было бы делать, — в этом случае достаточно сказать, что они неправдивы, скверно написаны — и дело с концом. Условием «реальной критики» служило не только «реальное», но подлинно высокое искусство. Добролюбов не имел оснований жаловаться на нехватку поводов для высказывания. Большую критику рождала большая литература. Романы Тургенева, Гончарова,

пьесы Островского привлекали той органической, живой объемностью, многомерностью своего содержания, когда, как при взгляде на жизнь, возможны различные суждения и толкования, зависящие от уровня понимания читателя или критика. Оттого-то Добролюбов и приходил на основании правдивых художественных свидетельств к выводам, которых не предполагали порой сами авторы, выговаривал их с той ясностью, какую делает возможной язык публицистики и логических доказательств.

В этом, именно в этом смысле критик способен идти впереди писателя, объясняя, растолковывая созданные им образы и картины, находя им место в более широком круге общественных явлений. Но это не должно порождать у критика чувства превосходства над писателем. Ведь даже идя в своих выводах *впереди* автора, он все равно следует *за ним*, по пути, впервые проложенному его талантом. И читатель А. Лукьянов прав, когда говорит о «моральных обязанностях критика перед писателем».

Настоящий художник обладает перед самым дальновидным критиком хотя бы одним неоспоримым преимуществом. Живое создание искусства, в сущности, бездонно, неисчерпаемо, почти как сама жизнь, и оттого интерес «Обломова» или «Накануне» не сводится для нас к тому, что сказал о них Добролюбов, как бы ни была умна и проницательна его оценка, а в каждую новую эпоху и для каждого думающего читателя приоткрывается новыми своими сторонами.

Критика, которая ставит себя по отношению к автору в положение ментора, выговаривает ему за промахи и дает советы, как их исправить, если и не вовсе бесполезна, то по крайней мере, обречена на слишком узкий круг воздействия. Сам писатель более склонен обычно прислушиваться к той критике, которая обращена к читателям и служит как бы мерой общественного осознания его творчества. Заставить думать читателей — это значит и писателя самым нормальным, естественным путем подвинуть в его мыслях и выводах.

Скверно, когда критик чувствует себя человеком касты, профессионального синедриона, куда отводят авторов на суд и покаяние. Критик должен быть *близок читателю*, то

есть, по крайней мере не утратить способности читать для удовольствия, воспринимать книгу непосредственно, как поэтическое целое: беда, если он на ходу начинает производить механическую разборку на части, убивая в себе живое впечатление.

Но критик должен быть *близок и писателю*. Конечно, он вправе с презрением отвернуться от того, что не является искусством, и жестоко развенчать любую подделку под него. Смешно было бы требовать взаимопонимания с бездарностью или фальшью. Но едва он прикоснется к действительному творению искусства — пусть более или менее значительному, но *творению*, и творению *искусства*, — как вступают в силу особые права. Критик только тогда вправе рассуждать о нем, если доверчиво, как свой, может войти в мир воображения писателя, оказаться окруженным толпою его героев, сострадать одним и возненавидеть других.

Людям равнодушным, с глухотой к искусству, не следовало бы заниматься критикой. «В такой разговор надо допускать только взрослых и серьезных людей. Детей не надо», — написал мне один читатель. Хорошо, когда критик имеет на плечах трезвую и ясную голову. Но он должен обладать еще и особой способностью заражаться искусством, воспламеняться им, той человеческой чуткостью, какая была в высшей степени присуща, скажем, покойному Марку Щеглову. Перечитайте его статьи о Сергее Есенине, Грине, о «Русском лесе» Леонова. Ни одна талантливая, живая деталь не оставляла его равнодушным; он умел войти в мир художника как во всякий раз новую для себя страну, и даже упреки и укоры его вряд ли казались авторам обидными, потому что были результатом увлеченного обследования этого мира изнутри и по его законам.

Нет, вовсе не легкое и не безопасное дело это тихое кабинетное занятие — разбор книг. Оно внушает чувство ответственности, тревожит и обременяет совесть, как если бы дело шло не о листах типографской бумаги с ровными линейками строчек, а о судьбах живых людей.

«Убить хорошую книгу, — говорил Мильтон, — почти то же, что убить человека». Еще слава Богу, что хорошее ис-

кусство обладает высокой жизнестойкостью и не умирает даже после насильственной операции, сделанной на живом его теле. «Зарезать» хорошую книгу не так легко, но помешать ей по праву свободно и нормально жить среди читателей — можно.

И не всегда это происходит по злой воле, иной раз — по добросовестной ограниченности, узости, непрофессиональности. В одном рассказе Марка Твена герой имел несчастье повредить часы и обратился за помощью к часовщикам. Один, осмотрев часы, нашел, что у них корпус «вспучило», другой — что «сломан шкворень», а третий объявил, что «кое-где в механизме нужно поставить заплаты, да недурно бы подкинуть и подошвы». В конце рассказа герой начинает догадываться, куда деваются неудавшиеся паяльщики, сапожники и кузнецы: они идут в часовщики.

Мне кажется, Марк Твен не прав, и часть людей этой категории начинает заниматься критикой. Иначе чем объяснить, что по отношению к художественному произведению так часто приходится слышать подобные речи: «Корпус вспучило... Шкворень сломан... Кое-где надо поставить заплаты...» Именно здесь надо искать, вероятно, причину недоразумений, возникающих между автором книги и критиком.

2

Старый американский писатель Генри Дэвид Торо в своей удивительной книге «Жизнь в лесу» говорит: «Книги надо читать так же сосредоточенно и неторопливо, как они писались». Искреннее сожаление вызывает у него то, что многие люди научаются читать лишь ради бытового удобства, точно так же как учатся считать ради записи расходов и чтобы их не обсчитывали. «Но о чтении как благородном духовном упражнении, — говорит Торо, — они почти не имеют понятия, а между тем только это и есть чтение в высоком смысле слова, — не то, что сладко баюкает нас, усыпляя высокие чувства, а то, к чему приходится тянуться на цыпочках, чему мы посвящаем лучшие часы бодрствования».

Чаще вспоминать эту хорошую мысль Торо полезно и в наш век высоких темпов и реактивных скоростей, искушающий узаконить перелистывание, проглядывание и другие способы сокращенного знакомства с книгой. Ничто не может заменить человеку радость сосредоточенного и вдумчивого чтения. Но если для обычного читателя владение «наукой читать» может служить отличием и заслугой, то для литературного критика оно составляет род профессионального долга.

Тем досаднее, когда книги читают наспех, читают и недочитывают, а рассуждают о них «в общих чертах», отвлеченно, вдали от текста. Может быть, такая манера рассуждения еще годится для книг, которые сами пишутся поспешно, кое-как. Но если вещь написана всерьез, художник душу на нее положил, то ничего, кроме неприязни, не может вызвать это торопливое, приблизительное чтение, тем более когда оно устремлено к одному: половчее поймать, уличить автора, не принявшего в соображение, откуда ветер дует.

Обращает на себя внимание, что в наших литературных журналах редки разборы серьезные и доказательные, зато хватает обзоров, в которых мелькают имена писателей, случайные цитаты, названия произведений с краткой и безапелляционной их характеристикой. Голословная оценка, повторенная несколько раз, укрепляется и затвердевает в виде литературной репутации, гипнотически действующей на позднейших издателей и критиков. Между тем рождается она часто неведомо как — вне аргументации и объяснений.

Критик, который любит «квалифицировать», но не любит анализировать, спешит вычитать из романа «идею», ему не терпится найти в тексте то место, где она прямо сформулирована. И, обнаружив такую авторскую «формулу» или то, что показалось ему «формулой», он со злорадством или восторгом демонстрирует ее, считая дальнейшие разговоры излишними.

Так было, например, с рассказом А. Солженицына «Матренин двор», где автор имел неосторожность вспомнить к случаю старинную мудрость пословицы — «не стоит село без праведника». А-а-а, так вот кто его герои, он воспевает

праведничество... И критика уже не интересует произведение как органическое целое, не интересует полнота его художественного содержания — для того, чтобы надлежащим образом «квалифицировать» рассказ, и этого достаточно.

Но в таком случае стоит ли затрудняться, скажем, и разбором романа «Анна Каренина»? Достаточно взглянуть на эпиграф — «Мне отмщение, и аз воздам», — чтобы судить об идее и достоинствах сочинения Толстого.

Могут сказать, что пример неудачен: Толстой есть Толстой, недосягаемая вершина, — к нему другая мера и подход иной. Это верно, но все это узнается обычно лишь издали, а современники судят проще. Не могу удержаться, чтобы не привести отрывок из частного письма 1876 года, когда «Анна Каренина» только еще печаталась в журнале. «Роман этот, — писала Ф. Достоевскому учительница из провинции, — настолько всех занимает, что вам следовало бы высказаться на его счет, тем более что, читая «разборы» его, так и хочется сказать: «но как же критика *хавроньей* не назвать». Как странно, что в наш век скептицизма, анализа и разрушения нет ни одного порядочного критика, это просто какая-то насмешка судьбы! Не одна критика, впрочем, богата «хавроньями», ими богато и общество: «почему, видите ли, Толстой не описывает студентов, не описывает народ?!» Точно можно художнику, подлаживаясь под ходячие требования, писать по заказу, точно Айвазовского, положим, можно упрекнуть за то, что он рисует море и небо, а не мужика и студента...» Заметим, что письмо это принадлежит перу известной украинской писательницы и деятеля народного просвещения Христины Алчевской, человека демократического круга, симпатии которого к народу и студенчеству несомненны. Но в ее суждениях заметно то глубокое, неупрощенное понимание природы искусства, какое воспитывал своими статьями в русском читателе еще Белинский.

Вернемся, однако, к «Матрениному двору». Критические страсти, кипевшие вокруг этого рассказа года два-три назад, поостыли, улеглись, и появилась возможность спокойно рассмотреть этот становящийся уже достоянием истории литературы эпизод. Для нас он может послужить своего рода

опытом в лаборатории, еще одним наглядным экспериментом, без которых все общие рассуждения об авторе, критике и читателе не имели бы силы.

Первым, если не ошибаюсь, о рассказе А. Солженицына высказался В. Полторацкий. В статье «Матренин двор и его окрестности» («Известия», 29 марта 1963 года) с подъемом говорилось об известном колхозе «Большевик», расположенном, по расчетам критика, в том самом районе, где жила и солженицынская Матрена. Об успехах передового колхоза было рассказано с должной мерой убедительности. Но анализ рассказа Солженицына этими качествами уже не обладал.

«Думается мне, — рассуждал критик, — что тут дело в позиции автора — куда глядеть и что видеть. И очень жаль, что именно талантливый человек выбрал такую точку зрения, которая ограничила его кругозор старым забором Матрениного двора. Выгляни он за этот забор — и в каких-нибудь двадцати километрах от Тальнова увидел бы колхоз „Большевик" и мог бы показать нам праведников нового века...»

Совет хорош, но трудно исполним. Выглянув за забор, увидеть то, что находится в двадцати километрах, можно лишь при феноменальной дальнозоркости, неизбежно сопряженной, как уверяют окулисты, с неким дефектом зрения, позволяющим не замечать все иное, что встретится на двадцатикилометровом пути от Матрениной избы до околицы передового колхоза. Критик предлагает автору строго выбирать — куда глядеть и что видеть. Но разве художник не вправе глядеть всюду и видеть все, что только трогает и волнует его на широкой дороге жизни? Унизительно положение писателя, который, отправляясь в путь, заранее примеряет себе шоры, чтобы не заглядываться по сторонам.

Начальная оценка рассказа складывалась явно не без влияния тех явлений, какие мы ныне называем «субъективизмом», когда существовала тенденция вопреки фактам доказать, что все в нашем сельском хозяйстве идет наилучшим образом, что мы вот-вот догоним Америку по маслу, мясу и молоку. В этих условиях такие произведения, как «Матренин двор», могли только раздосадовать: зачем показывать те

или иные черты неблагополучия в деревне, когда все идет так хорошо?

Читатели, которых побудила высказаться о «Матренином дворе» статья В. Полторацкого, недоумевали, почему, как только литература начинает говорить о чем-то не совсем приятном, мы спешим объявить это неприятное выдумкой или сугубой односторонностью автора, вместо того чтобы задуматься, откуда взялось то или иное отрицательное явление — в хозяйстве ли, в людях или в быту, и как его поскорее изжить.

«С повестью «Матренин двор», — писала Е. Изместьева из Ленинграда, — я „познакомилась“, прочитав фельетон Полторацкого. Фельетон мне не понравился, было непонятно, почему автор должен непременно писать о колхозниках богатого колхоза, а другие темы, иное восприятие заказаны».

«В своем рассказе, — отмечал москвич А. Дриневич, — Солженицын описал частную жизнь одной больной женщины, рассказал, какой была эта жизнь в тяжелые *послевоенные годы*, когда мало чего было еще и в городах, не только в деревнях... Вы жалеете, — обращается читатель к критику, — зачем Солженицын тратит зря свой талант на описание столь малозначительной жизни, не лучше ли было бы взять в герои передовых людей? Так ведь об этом уже много написано. Надо же кому-то писать и об обыкновенных людях».

«Критическая статья т. Полторацкого, на мой взгляд, необъективна и тенденциозна, — писал экономист А. Л. Хазанов из Брянска. — Мне, например, рассказ Солженицына „Матренин двор“ очень понравился... Тов. Полторацкий сосредоточил все свое внимание на колхозной жизни того района, в котором развивается действие рассказа, а центральная фигура его — Матрена — волей критика перемещена на задний план. В зарисовке автора рассказа „Матренин двор“ Матрена выглядит вовсе не великомученицей, а человеком праведной жизни в лучшем смысле этого слова. Ее неписаный закон — побольше дать, поменьше взять. И все, что ни делает Матрена, она делает от души, с улыбкой, несмотря на то, что личная жизнь ее сложилась весьма неудачно».

Позиция В. Полторацкого страдала столь очевидной слабостью и была такой устарелой по аргументации («Зачем писатель показал бедный, а не зажиточный колхоз?»), что никто позднее не рискнул повторить его доводов. Однако тень неодобрения упала на рассказ, и в некоторых последующих статьях «Матренин двор» был подвергнут критике уже с другой стороны.

Приоритет в разработке новой аргументации против рассказа Солженицына принадлежал, если не ошибаемся, А. Дымшицу. Свое рассуждение о «Матренином дворе», появившееся в обзорной статье «Огонька» (1963, № 13), он начал как бы с энергичного опровержения положений В. Полторацкого. «Да, тяжко жила в ту пору деревня, голодно жила, во многих селах оставила свой страшный след вражеская оккупация. Видел я именно в 1953 году деревню, оставлявшую очень грустные впечатления. Но в ней же я видел крестьян по-настоящему деятельных, почувствовал золотые сердца, уловил возможности улучшения жизни, которые в скором времени развернулись в новых исторических условиях. И это был не просто житейский случай, а жизненная правда».

А ведь неплохо сказано! В самом деле — разве не крайним напряжением сил труженика-крестьянина жило наше сельское хозяйство в тяжкие послевоенные годы и разве не «золотые сердца» таких людей, как Матрена, бескорыстных людей труда, внушали нам веру в народ и перемены к лучшему? Но читаем статью Дымшица дальше и глазам своим не верим. Оказывается, и воспоминания о деревне 1953 года, и слова о «золотых сердцах», столь очевидно навеянные образом Матрены, понадобились ему лишь для того, чтобы сказать: «У А. Солженицына же все (?) наоборот: жизненная правда обужена до житейского случая. И нельзя согласиться с писателем, что тип народного праведника, который он поэтизирует в образе Матрены, есть основа и опора всей земли нашей. Самый тип этот, если он и дожил до пятидесятых годов, есть не что иное, как анахронизм».

Если бы трудовое бескорыстие Матрены, ее «золотое сердце», отзывчивое на всякую человеческую боль и не-

счастье, оказались в самом деле анахронизмом, это было бы по меньшей мере печально — и мне непонятно в таком случае ликование критика. Но я не могу и не хочу верить в то, что лучшие душевные свойства Матрены анахронизм, — иначе, пожалуй, придется подумать, что нам ближе деятельный старик Фаддей.

Впрочем, о Фаддее А. Дымшиц вообще не вспоминал; вспомнили об этом герое и своеобразно дополнили аргументацию Дымшица его молодые коллеги и единомышленники. В. Сурганов написал в журнале «Москва»: «В конце концов ведь не столько облик солженицынской Матрены вызывает у нас (как водится, В. Сурганов говорит не от себя, а от имени „наших критиков и читателей“. — *В. Л.*) внутренний душевный отпор, сколько откровенное авторское любование нищенским бескорыстием и не менее откровенное стремление вознести и противопоставить его хищности собственника, гнездящейся в окружающих ее, близких ей людях. Но ведь оба эти качества — лишь две стороны одной медали: одно вытекает из другого!» («Москва», 1964, № 1.)

То, что критик уравнял хищность собственника и бескорыстие труженика, названное неведомо почему «нищенским», могло показаться надуманным парадоксом, неудачной шуткой, — но шутка эта имела непредвиденный успех у некоторых его собратьев по перу. О «Матренином дворе» стали говорить с той самоуверенной категоричностью, какая разрешает любые домыслы и натяжки, — будто рассказа Солженицына как реальности не существовало вовсе, а существовали лишь последующие комментарии к нему. Лариса Крячко в «Октябре» (1964, № 5) уже не столько оценивала рассказ сама, сколько составляла свою оценку из прежде сказанного. «Матрена и Фаддей, — писала она, — две стороны одной медали (это из Сурганова. — *В. Л.*), и ясно, что характер Матрены — анахронизм (а это уже из Дымшица. — *В. Л.*), не имеющий ничего общего с активным, целеустремленным характером нашего современника». Свое здесь одно — утверждение, что образ Матрены не имеет ничего общего с характером нашего современника. Да и то свое ли?

Хорошо известна точка зрения, согласно которой в жизни нет и не должно быть многообразия характеров, а есть один монолитный — «активный и целеустремленный» — характер нашего современника. Собственно, в жизни-то, может быть, встречаются и другие — только литературе не след ими интересоваться. Других мы попросту знать не хотим — что нам до какой-то больной и несчастной старухи?

Говорят, что теория «идеального героя» уже не имеет литературного и общественного кредита. Попытка создания бесплотно-идеального лика, лучащегося всеми чаемыми добродетелями, признана неудачной. Но литературные критерии, возникшие на основе этой теории, взращенные ею суждения и оценки изживаются слишком медленно. И если ныне считается неловким требовать от художника создания идеального характера, то укорить его за несоответствие его героев воображаемому образцу — дело вполне возможное.

Однако я беру на себя смелость утверждать, что критики, мнения которых приведены выше, и рядом не ходили с настоящей мыслью «Матрениного двора». Кажется даже, что она была им просто неинтересна. Иначе как могло случиться, что связь образов, единство авторской идеи, значение в общей картине мрачной фигуры чернобородого Фаддея — все это осталось в тени, заглушённое негодованием по поводу пассивности Матрены и злосчастной пословицы о праведниках?

Увлекшись разоблачением Матрены, критики не заметили, что активным, целеустремленным характером в согласии с их требованиями обладает как раз Фаддей, и не потрудились объяснить это обстоятельство. Если бы это было сделано, то сразу стало бы ясно, что Солженицын не решает в своем рассказе вопроса об активности и пассивности — как не решает, скажем, и вопроса о свободе и необходимости, о вере и безверии и т. п. Этот вопрос искусственно, извне навязан автору критикой, как могли быть, впрочем, произвольно навязаны и любые другие вопросы.

У писателя есть своя задача, своя заветная мысль, которую при мало-мальской объективности нетрудно понять. Но прежде чем говорить о ней, не следует ли вновь обратиться к самому рассказу — иначе в мелочных спорах с критикой

мы рискуем оказаться от мысли писателя, как это случилось с В. Полторацким, по меньшей мере в двадцати верстах.

3

Мало кто, я думаю, будет спорить с тем, что «Матренин двор» и среди рассказов Солженицына выделяется строгой художественностью, цельностью поэтического воплощения и выдержанностью вкуса. «Матренин двор» в читательской среде, насколько можно судить по почте «Нового мира», был принят единодушнее, чем что-либо иное у Солженицына: во всяком случае, среди многих десятков писем, в которых шла речь об этом рассказе, мне не встретилось ни одного отрицательного отзыва. Легко допустить, впрочем, что кому-то из читателей рассказ и не понравился, но они промолчали. Напротив, поток горячих, сердечных писем с выражением благодарности автору еще усилился после появления упомянутых выше статей профессиональных критиков.

Нельзя сказать, что и критика вовсе прошла мимо достоинств рассказа. «Да, рассказ талантлив», — оговаривались авторы самых придирчивых рецензий на «Матренин двор». «Рассказ правдив», — признавали самые упрямые оппоненты Солженицына. Но ведь талант писателя-реалиста заключен не в каких-то красотах описаний или слога, посторонних содержанию произведения. Талант есть власть. Власть писателя забирать нас целиком и заставлять горевать и радоваться по своей воле. Власть говорить правду в глаза, живописать жизнь и людей так, чтобы, прежде незнакомые тебе, они навсегда поселились в твоей душе.

Всем надоели плоские бумажные фигурки в роли героев рассказов и повестей. Сколько-нибудь искушенному читателю не так легко внушить, что книжный герой — живой человек, не «персонаж», не «образ», а натуральнейшее, во плоти, лицо. Никаким другим способом, как только *искусством*, нельзя убедить читателя, что герой — живой. Но если уж мы в это поверили, то с презрением отвернемся от всяких попыток смотреть на образ как на искусственное создание, в

котором без ущерба можно прибавить одно и убрать другое. «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча...» (И по тому же рецепту — если бы к характеру Матрены прибавить практичности Фаддея да сознательности председательши...)

При резкой и даже порой грубой реальности изображения рассказ построен музыкально, как стихи. Всего несколько энергичных строк зачина, где сказано, что поезда на сто восемьдесят четвертом километре от Москвы долго еще замедляли ход почти до ощупи («Только машинисты знали и помнили, отчего это все. Да я».), — и нас охватывает смутное предвестие беды, обещание чего-то горького и страшного, что трудно и не хочется вымолвить сразу и о чем лучше начать говорить не спеша.

Вернувшийся из дальних мест учитель будто просит времени оглядеться, сосредоточиться, подумать и, захватив полные легкие воздуха, отойти душой в тишине от тяжких переживаний прошлого. Он и нас приглашает к этому спокойному и несуетному, одинокому своему размышлению, заставляет жадно, как будто впервые, радоваться красоте среднерусской природы, полям и перелескам, народному говору, самим названиям деревень — Часлицы, Овинцы, Шестимирово...

В своем узнавании людей и событий рассказчик не разрешает нам забегать вперед, а размеренно, спокойно ведет за собою, будто восстанавливая шаг за шагом то, что когда-то для себя открывал в них он сам. Игнатич свыкается понемногу с избой, где встречают его колченогая кошка, толпа фикусов у окна, а на стене плакат о книжной торговле, и сама хозяйка живет в «запущи», оттого что болезнь измотала ее, а жизнь течет изо дня в день безрадостная, неустроенная, полная забот. Мы смотрим на нее сначала равнодушно, как на чужую, еще не признавая в ней главного лица будущей драмы, «родного» Игнатичу человека.

Матрена приветлива, но без искательства, неприхотлива, почти неряшлива, и хотя она день-деньской крутится по дому — то у плиты, то в погребе, то в огороде, ее скорее

можно назвать работящей, чем хозяйственной — уж слишком все плохо устроено у нее для спокойной жизни. Эта пожилая женщина, еще не старуха по годам, но уже старуха с блекло-голубыми глазами и неожиданно светлой, простодушной улыбкой, пропадает в бесконечном круговороте сельского житья, заполненного трудом с рассвета до заката: печь истопить, «картовь» наготовить, да чтобы топливо было припасено, да сена изловчиться достать для козы, да козу эту доить... А тут еще надо ходить за справками в сельсовет, хлопотать о самой хотя бы малой пенсии за мужа, не вернувшегося с войны, да не пропустить случая с другими бабами раздобыть торфу на зиму.

Жизнь нелегкая, «густая заботами», — Солженицын не прячет этого ни в одной детали. Но кто скажет, что все это неправда, что так не бывало, особенно если вспомнить, что действие рассказа развертывается в начале пятидесятых годов? Право же, рассказчик не сгущает красок, не чернит фона, он сохраняет доверие читателя своей художественной честностью, объективностью. Кстати, и деревня Тальново не такая уж заброшенная, забытая Богом сторона, как показалось некоторым критикам рассказа, — в избе у Матрены и радио и электричество. Да и в самой судьбе Матрены, с которой, правду сказать, много было «наворочено несправедливостей», к середине рассказа происходят добрые перемены: жизнь вроде бы начинает налаживаться, пенсию ей удается выхлопотать, справила она себе новое пальто и валенки, повеселела. «Маненько и я спокой увидала, Игнатич».

Для писателя, претендующего на правдивое воспроизведение быта и типов деревни — не больше, самое удобное было бы поставить здесь точку. (Таких описательных, в «реальном духе», рассказов о деревенских стариках и старухах читано нами в последние годы немало.) Но у Солженицына только тут все, собственно, и начинается, и после неторопливо описанного быта «иззаботившейся» Матрены ее успокоение и веселость — как пауза в музыкальном сочинении, позволяющая слушателю перевести дух и сосредоточиться, прежде чем зазвучит, круто взмывая ввысь, новая тема.

Узнанная нами сначала в нынешнем обыденном ее быту, Матрена полнее открывается в своем прошлом. Трудно сразу вообразить ее молодой, красивой, сильной крестьянкой из той породы русских женщин, воспетых поэтом, что «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». (Может быть, эта ассоциация случайна? Но ведь молодая Матрена именно так и поступает — останавливает за узду лошадь с несущимися в озеро санями; потом эту подробность еще раз напомнит автор, когда Матрена кинется пособлять мужикам на переезде — и погибнет.)

Рассказ о прошлом Матрены не просто правдив и реален, как и следует ждать от серьезного повествования, но исполнен тонкой и щемящей поэзии. Только художнику дано так оглянуться на всю жизнь человека, на изжитые годы, что будто в ясновидении выплывает перед Игнатичем из полумрака комнаты молодое, розовое лицо Матрены — «освобожденное от морщин, от будничного небрежного наряда — испуганное, девичье, перед страшным выбором». И обветшавший, серый от старости дом видится таким, каким он был когда-то: только отстроенным, со смолистым запахом свежеструганых бревен.

Отзвенит поразительное присловье: «И шли года, как плыла вода...» — и вся жизнь Матрены в этом доме, все сорок лет, прожитые под его крышей, в одно мгновение пробегут в нашем сознании. И чего только не выпало ей пережить, с какой бедой не спознаться: и одна война, и известие о смерти жениха, и семейная драма, когда известие это оказалось ложным, а она успела выйти замуж за другого, и нужда, и гибель детей, умиравших во младенчестве; и другая война, с которой муж ее не вернулся, и вдовьи слезы, и одиночество... Пережить все это — и остаться человеком бескорыстным, отзывчивым, не проклявшим все на свете в минуту отчаяния, не озлобившимся на людей и на судьбу, — какие были потребны на это душевные силы!

Едва коснувшись прошлого Матрены, мы вступаем в мир поэтических предчувствий, предзнания того, что случится, — мир странный и опровергаемый с точки зрения логического рассудка, но неотразимо убедительный у художника.

Это и угроза Фаддея отомстить не дождавшейся его Матрене, угроза, сорок лет пролежавшая в углу, как старый тесак, — и вдруг ударившая. Это и одушевленный, почти языческий мир дома, где на полу в горнице сбежалась и застыла в тревожном ожидании «безмолвная, но живая толпа» фикусов, а животные — кошка, мыши, снующие за обоями, — заранее чуют беду, как это бывало в древнерусской поэзии. И недаром в самую ночь несчастья «мышами овладело какое-то безумие...». Недаром и сама Матрена так боится поезда и суеверно пугается, когда пропадает у нее на водосвятии котелок — не из истовой веры, а будто видит в этом дурной знак, угадывает свою судьбу. Что толку в этом народном суеверии? Согласен, что в нем толку! Но случилось так, что сослужило оно у автора службу самой чистой и реальной поэзии.

Прошлое Матрены позволяет Игнатичу лучше понять ее, по-человечески приближает ее к нам. «И, как это бывает, — говорит рассказчик, — связь и смысл ее жизни, едва став мне видимыми, — в тех же днях пришли в движение». Странное и неопровержимое наблюдение. Первые впечатления от хозяйки Игнатича в обычном, будничном ее быте, потом новое представление о ней, навеянное ее прошлым, всей историей ее жизни, и, наконец, прямое действие, конфликт, драма — таковы ступени нашего узнавания Матрены. Да, мы не угадали бы ей истинную цену, не поняли бы ее вполне, если бы не резко контрастное сопоставление с Фаддеем, с появлением которого рассказ начинает разворачиваться, как туго свернутая пружина, — быстрее, резче, еще быстрее, еще резче, пока не ударяет своей трагической развязкой.

Старик Фаддей возникает на пороге Матрениной избы неожиданной и зловещей тенью — чужой, пригорбленный, чернобородый, как полная реальность и в то же время будто сказочное наваждение, предвестие беды, вроде того причудившегося в ночном кошмаре героине Толстого мужика, что, склонившись, колдовал над железом. Только скоро оказывается, что в Фаддее нет ни капли мистического, интересы его вполне земные, и его внешнее благообразие и достойность легко уступают место суетливой предприимчивости. Ничего не упустить, не проморгать, не потерять для себя — вот на

что направлена вся его энергия, все силы его деятельной натуры. Он одержим тем, чтобы поскорее захватить участок в Черустях для дочери и зятя, чтобы урвать от Матрены все, что только можно, — сейчас, сегодня же, и он уговаривает, наседает, чтобы, не откладывая, разделить дом и свезти со двора свою часть бревен — горницу.

Не жалко Матрене этой горницы, давно обещанной приемной дочери Кире, но дом для нее — живое существо, в нем прошли сорок лет ее жизни, и оттого ей так нелегко расстаться с ним. Фаддею же чужды эти сентиментальные бредни и кажется, что присутствуешь при мерзком святотатстве, когда помолодевший и оживившийся вдруг Фаддей с азартом, яро выламывает бревна на своз, радуясь своей добыче. А на совесть построенный дом будто нарочно не дается разрушению, и сама природа вступается за Матрену, заметая снегом санный путь и мешая вывезти бревна. «Две недели не давалась трактору разломанная горница!» — восклицает рассказчик, откровенно восхищаясь тем, как долго сопротивлялась она бессовестному хищничеству.

Но это не она, а мы, наше нравственное чувство сопротивляется происходящему. И рассказчик с горечью и несомненным внутренним правом бросает Фаддею обвинение в убийстве: «Нет Матрены. Убит родной человек».

Вы слышите? Не умерла, не погибла, а — *убита*. И это обвинение, будто случайно сорвавшееся в минуту горя с языка, повторено потом еще раз, чтобы мы не решили, что автор оговорился: «Дочь его трогалась разумом, над зятем висел суд, в собственном доме его лежал убитый им сын, на той же улице — *убитая им женщина*, которую он любил когда-то, — Фаддей только ненадолго приходил постоять у гробов, держась за бороду». Наскоро отдавая печальный долг, он прикидывает в уме, как бы спасти остатки пропадающего добра.

Формально, юридически рассказчик не прав, обвинение, брошенное им Фаддею, несправедливо. Разве желал тот Матрениной смерти и разве не собственная ее неосторожность тому виною — зачем она бросилась помогать мужикам на железнодорожном переезде, спасать разваливающиеся

сани? Постояла бы в стороне — и осталась жива. Но не могла она стоять в стороне в опасную минуту и оттого поплатилась жизнью. Тем справедливей моральный, поэтический суд, совершенный автором над Фаддеем. Это его жадность убила Матрену, беззащитную по своей доброте, по своему бескорыстию.

Жадность подгоняла Фаддея, жадность заставила его перевозить горницу в один прием двумя сцепленными санями, из-за чего сани и застряли на перевозе. Жадность и потом, после смерти Матрены, торопила его выхватывать из огня остатки бревен и делала отвратительным этого «ненасытного старика», вырвавшего себе сарай и забор при разделе скудного Матрениного наследства. Впрочем, семейный этот раздел показал, что не один Фаддей ценит имущество, вещи, нажитое добро выше всех иных человеческих ценностей и не стесняется этого даже перед лицом смерти. Таковы и сестры Матрены, которые при жизни редко навещали ее, а теперь слетелись, как воронье, чтобы не уступить жалкого сестриного добра мужниной родне.

Вот тут-то и сказаны автором слова, которые в сложных художественных «сцеплениях» рассказа ведут его основную мысль, основную мелодию:

«Перебрав тальновских, я понял, что Фаддей был в деревне такой не один.

Что *добром* нашим, народным или моим, странно называет язык имущество наше. И его-то терять считается перед людьми постыдно и глупо».

Мы привычно говорим: «накопил добра», «расхитители народного добра», не чувствуя оскорбительности этого словоупотребления для другого значения этого слова — добра как доверия, чистосердечия, ласки, внимания к людям, желания помочь, сделать что-то для них. И тут мысль Солженицына, как всякая большая мысль, проста и, можно сказать, не нова. Лучшие русские писатели-гуманисты знали всегда эту тему: проклятие собственнической мещанской силе и восхищение бескорыстием души трудового человека. Разбирая рассказы Чехова, Горький заметил как-то, что в человеке чаще всего борются два стремления — быть лучше и лучше

жить. Можно ли сказать, что проблема эта решена для нас и осталась целиком в прошлом? Не думаю. Напротив, чем выше будет общее благосостояние, тем острее для каждого в отдельности и для всего общества встанет вопрос: как сделать, чтобы *быть* лучше, а не только лучше *жить*?

И не в этом ли надо видеть главный смысл торжественно и гулко падающих последних фраз рассказа, что без таких людей, как Матрена, «не стоит село» — «ни город» — «ни вся земля наша»?

Близоруких критиков смутило и перепугало слово «праведник» — так пугались слова «жупел» купчихи у Островского. Можно, конечно, спорить относительно уместности применения автором этого слова — слишком сросся с ним религиозно-поучительный смысл. Но надо при этом помнить, что народ всегда отличал праведников от угодников. «Не нужны нам праведники, а нужны угодники», — говорит ироническая пословица. Праведники — это не только люди «праведной жизни» в церковном смысле, но и «правдивые на деле», люди правды, как толкует это словарь Даля. Угодники же всегда одно — «угождающие» Богу или людям. Обличая «праведников», легко оказаться снисходительным к «угодникам».

Это ли, однако, имел в виду сам Солженицын, так ли точно он думал, как это истолковано нами? Не знаю. Но что же тогда дает мне право говорить об объективном смысле рассказа с такой уверенностью? Может быть, лучше было бы всетаки заранее расспросить автора, что он хотел сказать своим произведением, — и дело с концом? Нет, по правде говоря, мне хоть и не безразлично вовсе, но не так уж важно, какое объяснение даст им написанному сам писатель. В реалистическом произведении — это отмечалось не раз — язык образов бывает убедительнее и точнее языка логики и формул. Надо только уметь правильно и непредвзято его прочесть.

Автор будто предвидел, какие перетолкования и превращения ожидают в критической литературе его Матрену, и в своем рассказе заранее дал высказаться людям стороннего и недоброжелательного о ней суда. Золовка Матрены уже после ее смерти по разным поводам вспоминала умершую,

и все отзывы ее были неодобрительны: «И нечистоплотная она была; и за обзаводом не гналась; и не бережнбя; и даже поросенка не держала, выкармливать почему-то не любила; и, глупая, помогала чужим людям бесплатно (и самый повод вспомнить Матрену выпал — некого было дозвать огород вспахать на себе сохою). И даже о сердечности и простоте Матрены, которые золовка за ней признавала, она говорила с презрительным сожалением».

В сущности, критика мало что прибавила к этим отзывам золовки о Матрене. Что такое добро Матрены, ее бескорыстие, как не одна лишь «глупость» и слабость? Глупо, что она работала на других — на родственников, на подруг, на колхоз, где ей ничего не платили, глупо, что первой вызывалась помочь, глупо, что взяла воспитывать чужую дочь — Киру, глупо, что этой Кире отдала пол-избы, глупо, что помогала ее перевозить и погибла, — кругом все глупо. Ах, как все это знакомо: добро — глупость, доверие — глупость, бескорыстная помощь — пущая глупость — так всегда говорит нам мещанин, в понятия которого о жизни не входят ни бескорыстие, ни благородство — все это какой-то отживший и смешной хлам чувств, недостойных современного человека. К несчастью, «житейская мудрость» смыкается здесь с криво понятой теорией. Слишком долго понятия добра, милосердия, сострадания к людям находились у нас под подозрением, как проявления «абстрактного» гуманизма. Нередко забывалось при этом, что коммунизм, согласно взглядам классиков марксизма, это и есть завершенный гуманизм и что именно в обществе трудящихся эти понятия впервые начинают выступать в подлинной чистоте и силе.

В первые годы советской власти произошел любопытный эпизод. Военный комиссар С. С. Данилов обратился 8 сентября 1921 года с письмом к В. И. Ленину, в котором писал, что, на его взгляд, необходимо развивать чувство «любви, сострадания, взаимной помощи *внутри класса*, внутри лагеря трудящихся» и спрашивал мнения на этот счет Владимира Ильича.

Ответное письмо Ленина впервые опубликовано недавно в 53-м томе Полного собрания его сочинений: «т. Данилов!

И „внутри класса“ и к *трудящимся иных* классов развивать чувство „взаимной помощи“ и т. д. безусловно *необходимо*. С *ком*. приветом. *Ленин*» (*Ленин В. И*. Полное собрание сочинений. Т. 53. С. 187.).

Этот маленький штрих еще раз говорит нам о ленинском отношении к нравственным понятиям, которые иной раз третируются как «абстрактные» и «внеклассовые». Весь опыт общественного развития в нашей стране показал, как надо дорожить гуманным началом социалистического общества, как важно в самых острых классовых битвах сохранить и развивать его.

Вот почему, охотно признавая иные слабости и недостатки в психологии солженицынской Матрены, мы высоко ценим нравственную основу ее характера, доброту и гуманность трудового человека.

Матрену укоряют за то, что она будто бы пассивна, бездеятельна, тогда как настоящий герой должен быть активен. Нам тоже по душе активные, деятельные люди. Но в применении к реальной жизни со всей конкретностью ее обстоятельств вопрос этот несколько сложней, чем кажется.

Начать хотя бы с того, что сама по себе «активность», «деятельность», безотносительно к ее целям и качеству, не может считаться добродетелью. Старик Фаддей куда как «активен» — предприимчив, суетлив, деятелен, значит ли это, что он более «наш», чем безропотная Матрена? Мы справедливо протестуем против абстрактного понятия «добра», но ведь абстрактный «активизм», культ силы, потерявшей нравственные ориентиры, еще опаснее и разрушительнее.

Критики долго вспоминали по разным поводам хлесткую фразу молодого поэта: «Добро должно быть с кулаками». Иные рассуждения на этот счет явно клонились к тому, что главный признак добра — кулак. Были бы кулаки, а насчет своей доброты нам нечего опасаться.

Да, бездеятельное добро выглядит жалко. Но не надо дело и так понимать, что активность, воля — во всех случаях жизни качества высшие и более существенные, чем доброта.

Показателен в этом смысле один критический отзыв. Желая защитить рассказ Солженицына, Л. Жуховицкий истол-

ковал его так: «... независимо от первоначальных намерений художника, рассказ показал бессмысленность, обреченность и даже аморальность праведнической морали, несмотря на прекрасные душевные качества самой Матрены. И не желание подражать ей вызывает великолепно написанный образ старой крестьянки, а мысли довольно мрачные. Сколько зла на планете творится послушными руками таких вот праведников!» («Литературная Россия», 1 января 1964 года).

Тут что ни слово, то недоумение: почему доброта и бескорыстие Матрены бессмысленны, аморальны? И кто сказал, что мы должны «подражать» ей? И какое, наконец, зло творится ее «послушными руками»? Можно даже подумать, что не Фаддея мы должны больше всего ненавидеть в рассказе Солженицына, а именно Матрену, Матрену, которая всегда жила «в ладу с совестью своей», всю жизнь работала, помогала людям.

Сильно и резко прозвучавшая концовка рассказа — «не стоит село без праведника» — помешала понять его тем, кто кидается на формулы, «выжимки» и оставляет в стороне само искусство. В противном случае легко было заметить, что если Матрена и «пассивна», то пассивна она прежде всего по отношению к своей личной выгоде — поросенка не держала, «за обзаводом не гналась», имуществом своим не дорожила. Но как упрекнуть в пассивности женщину, которая взяла на воспитание чужого ей ребенка и стала ему настоящей матерью, как назвать «пассивной» женщину, безотказную в труде, в помощи соседям или колхозу?

Матрена — прежде всего труженица. И если Фаддей приходил в счастливый раж, когда можно было что-то урвать для себя, у Матрены «было верное средство вернуть себе доброе расположение духа — работа». Не обходилась без Матрены ни одна пахота огорода, и «любая родственница дальняя или просто соседка» могла прийти к Матрене просить помочь докопать картошку — и она охотно шла, только от денег обычно отказывалась — такая чудачка, бессребреница. А когда в колхозе не хватало рабочих рук, к Матрене, по инвалидности выбывшей из колхоза, приходила за помощью жена председателя, «женщина городская, решительная, коротким

серым пальто и грозным взглядом как бы военная». Хочется напомнить всю эту небольшую и точно написанную сцену:

«Она входила в избу и, не здороваясь, строго смотрела на Матрену. Матрена мешалась.

— Та-ак, — раздельно говорила жена председателя. — Товарищ Григорьева! Надо будет помочь колхозу. Надо будет завтра ехать навоз вывозить!

Лицо Матрены складывалось в извиняющуюся полуулыбку — как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу.

— Ну что ж, — тянула она. — Я больна, конечно. И к делу вашему теперь не присоединёна. — И тут же спешно исправлялась: — Какому часу приходить-то?

— И вилы свои бери! — наставляла председательша и уходила, шурша твердой юбкой».

«Да что говорить, Игнатич! — рассуждала потом весь вечер Матрена. — Помочь надо, конечно, — без навоза им какой урожай?» И еще осуждала за лень деревенских баб: «По мне работать — так чтоб *звуку* не было, только ой-ой-ойиньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил».

У нас не было бы никаких нравственных оснований осудить Матрену и в том случае, если бы по своей немощи и болезням она отказалась выйти на работу. Но она работала, и работала добросовестнее других, не получая ни копейки, — так хорошо ли, нравственно ли упрекать ее в пассивности? Кстати, я не уверен, что председательша, которая выгоняет Матрену навоз вывозить, сама возьмет в руки вилы. Кажется, активность этой женщины, «грозным взглядом как бы военной» (через нее и *самого* легко себе представить), ограничится призывами и наставлениями, какие она дает Матрене.

Говорить о трудовом человеке с высокомерным снобизмом или с «презрительным сожалением», как говорила о ней золовка, — не значит ли проявлять некое принципиальное бездушие?

Я думаю о тетке Матрене: сколько вынесла она и выстрадала, скольких обула и накормила, — и пахала, впрягшись в соху, и в зазимки ходила копать картошку, и не разгибала

спины в войну. И всякий раз в случае неудач и стихийных бед не к этой ли тетке Матрене обращались мы за выручкой и за помощью, и она никогда не отказывала в ней, как не отказала председательше.

Но вызывает ли она «желание подражать ей», может ли она служить нравственным идеалом? — слышу я протестующие, возбужденные голоса Жуховицкого, Крячко или Дымшица. И спешу ответить: увы, она слишком далека от «идеала» — суеверна, малограмотна, обременена предрассудками... Но только все это не повод, чтобы литературе не замечать ее и не говорить о ней с глубоким уважением, сердечным сочувствием.

Матрене присуща «социальная инертность», заметил один критик. Может быть, это и не вполне верно, потому что отношение к труду — это ведь тоже социальное качество, и в нашем обществе важнейшее. Но надо согласиться, что по части общественного сознания Матрена сильно уступает передовым героям нашего времени — энтузиастам, активистам, борцам. Нет у нее ни подлинной сознательности, ни широты идейных горизонтов. Только вот какой отсюда следует вывод? Будем ли мы винить ее за это? Или будем винить автора, что решился показать нам такого героя? А не умнее ли попробовать разобраться, отчего Матрена такая, а не иная, что определяло ее характер, ее сознание? Настолько выше или ниже (мы, кажется, убедились все же, что выше) ее сознание, чем у многих ее односельчан?

И если говорить о некой «идейной ограниченности» Матрены, то не надо ли задаться вопросом: а что могла она, что от нее зависело? «Все! — ответит иной критик. — Все зависит от энергии и усилий простого человека». Но ведь, не говоря уж о старости Матрены и ее болезнях, сделавших ее инвалидом, существуют некоторые объективные, в том числе материальные, условия, от которых прямо зависит прогресс сознания. Матрена долгое время работала в колхозе не за деньги — за «палочки», «за палочки трудодней в замусоленной книжке». Так, может быть, она сама виновата, что за «палочки» работала, может быть, в этом и есть беда ее низкого сознания?

Вряд ли наши критики это имели в виду. Но тогда чего стоят их укоры? Ведь перебиться со своим хозяйством, чтобы как-нибудь прокормиться и согреться, — вот что с утра до вечера заботило Матрену. В те годы, о которых идет речь, особо тяжелые, трудные в послевоенной деревне годы, ей приходилось и торф подворовывать у треста — хотя какая уж в том добродетель, — и сено накашивать тайком для козы, и ячневую крупу доставать «с бою». А при таком уровне благосостояния не надо ждать, что общественная активность будет расти очень бурно.

«Матрена недостаточно просвещенна, она — не борец», — говорят нам. Так просветите ее, помогите ей и таким, как она, почувствовать себя хозяевами в колхозе, на своей земле. И вместо того чтобы корить Матрену за узкий идейный кругозор и малую активность, не лучше ли всем нам, в том числе людям, пишущим статьи, в которых мы негодуем против Матрены, проявить свою общественную активность, направить ее на то, чтобы Матрене жилось лучше, легче, чтобы она скорее достигла того уровня, когда возможна подлинно сознательная борьба за идеи и идеалы.

Повторим еще раз: да, Матрена — не идеальный герой. Это создает некоторые неудобства для тех, кто ищет в литературе лишь «идеалы во плоти», таких героев, которым следует во всем подражать. И автор вовсе не рассчитывает на то, чтобы его читатели взяли Матрену в образец и бросились перенимать у нее все — и добрые ее качества, и ее слабости, недостатки. Нет, самостоятельно думающий читатель дорожит тем, чтобы автор правдиво нарисовал жизнь и передал ему свое понимание людей и событий, а практические выводы для себя он сделает отсюда сам.

И здесь главное, быть может, — честная гражданская позиция писателя. Надо смотреть правде в глаза и видеть людей такими, каковы они есть. И если мы будем доверять правде и воспитывать самосознание, в том числе и в таких людях, как тетка Матрена, — это будет истинным прогрессом общественной активности, активности не героев-единиц, а активности масс. Ведь общественная активность не обязательно должна быть сконцентрирована в какой-то фигуре

рассказа, чтобы читатель зажегся ею. Можно изобразить и самую безнадежную пассивность, а в читателе пробудить чувства активные, деятельные. Так же, как, впрочем, и наоборот, можно восхищаться активным поведением героя, а читателя оставить к нему равнодушным, инертным: чего, мол, стараться, если и так все хорошо.

Потапенко в свое время называли «бодрым талантом» за то, что он рисовал привлекательных героев и героинь, изображал поверхностные, мнимые конфликты, а Чехова бранили за «уныние» в его рассказах и повестях. А на поверку вышло, что Чехов не только глубже понимал жизнь, но был и куда большим оптимистом, чем скучный Потапенко. Вообще подлинные реалисты, то есть люди, стоящие за правду, за то, чтобы смотреть на жизнь трезво и честно, по существу своего душевного склада, как ни странно это сказать, нередко оказываются «романтиками», то есть обеспокоены общими, коренными вопросами человеческого бытия, далекими от соображений личного удобства, верности общепринятому, шкурного благоустройства. Напротив, завзятые романтики и оптимисты по специальности часто совершеннейшие «реалисты» по натуре в том смысле, что за возвышенным и ни к чему не обязывающим лепетом, декламацией о счастье, мечтах, цветах и т. п. кроется самый прозаический и короткий обывательский расчет. Впрочем, все это уже не относится непосредственно к нашей теме, и я спешу вернуться к интересующему нас рассказу.

Я думаю, что сила Солженицына как художника заключается как раз в том, что он, не в ущерб трезвой правде изображения, умеет давать человечески симпатичные, положительные фигуры; он любит людей, любит своих героев, и читатель откликается на это живое чувство. Но авторское понимание жизни, его «идеал» проявляются не в одном каком-то лице или одной нравоучительной сентенции, а в общем строе рассказа, в расстановке фигур, в их освещении, в бесчисленных художественных «сцеплениях».

И в этом смысле нельзя обойти вниманием в «Матренином дворе» самого рассказчика, мир его мыслей и чувств — широкий, гуманный, с народной враждой к мещанству, с лю-

бовью к русскому быту, речи и с оптимизмом, выношенным в страданиях. И это нам в рассказе дороже всего, дороже, может быть, и самой Матрены, как ни сострадаем мы ее судьбе.

В своем уважении и любви к полуграмотной деревенской старухе рассказчик не позирует, не рисуется, и радостно думаешь: сколько добрых людей на свете. «Жизнь научила меня не в еде находить смысл повседневного существования», — говорит Игнатич в «Матренином дворе». Это редкое у героя Солженицына прямое признание как бы даже противоречит обычному вниманию автора к подробностям быта, описаниям еды, одежды, какой-нибудь незаменимой телогрейки или домашнего тряпья, «бесценного в жизни рабочего человека». Но так уж бывает — кто много толкует о возвышенном и бесплотном, о небесных кренделях, тот обычно вожделеет к кренделям вполне земным. Кто же не стыдится говорить о всякой беде и нужде голодающего и холодающего человека, тому ведома истинная высота духа.

И читатели почувствовали в рассказе эту искренность художника, его душу, которую, по замечанию Толстого, в конце концов одну только мы и ищем всегда в произведении искусства. Вот что писали они в редакцию. А. Ф. Ульянова из Ленинградской области: «Я испытываю удовольствие, большое радостное волнение, восхищение и гордость за писателя... Читаешь — и воображение сразу создает как живых: добрую до наивности, сердечную Матрену, алчного Фаддея... а поминки!... поминки — целая картина живых разных людей». Учительница А. И. Ларюшкина из Львова: «Сколько в этом рассказе любви к скромной, простой труженице-крестьянке, только в работе находившей радости жизни... Такие рассказы нужны, чтобы искоренять недостатки в нашей жизни». П. И. Пащенко из Киева: «Матрену Васильевну нельзя не любить. Она честна, правдива, проста, трудолюбива, не жадна, всем оказывает помощь и ничего и ни от кого не требует, хотя и живет в прескверных условиях». Каменщик М. Е. Трощий (Ставропольский край): «...Передайте Солженицыну сердечно-душевное спасибо, и желаю ему многих лет жизни и счастья, и пусть его судьба хранит от всяких Фаддеев. Я имею в виду его героя из рассказа „Матренин двор“, у которого так

много дел, которому надо бревна перевозить, которые лежат за развороченными путями, а все остальное для него мелочи, которыми заниматься стыдно и грешно». Директор школы И. А. Карандо (Черниговская область): «...Любуешься Матреной Васильевной, „по-глупому“ работавшей на других бесплатно. Она не скопила имущества к смерти. А стоит ли копить? Зачем? Так и живу, ничего не имея, кроме книг. Да и те собираюсь подарить школе. А рассказ еще подкрепил это мое убеждение. Но он помог мне увидеть и понять величие человека...» М. Вершинина из Иркутской области: «Какое же надо иметь израненное сердце, чтобы написать „Матренин двор“. И в то же время это теплая, солнечная, жизнеутверждающая вещь. А телогрейка действительно на все случаи жизни, — укутавшись с головою, поплакать можно, и ноги согреть, и кашу укрыть!» Токарь Востокэнергомонтажа А. Захаров из Норильска: «Очень и очень меня тронула вся правда. Короче говоря, не могу и выразить, как все меня взволновало».

Разные отзывы разных людей — одному из них понравилось одно, внимание другого остановило иное, но всех вместе привлекла к себе сердечность рассказа и его правда. Я не думаю, впрочем, как уже говорилось, что исключены отклики и иного рода. Районная газета «Ленинское знамя» 25 июня 1963 года (г. Гусь-Хрустальный) поместила, например, письмо читателя П. Журавлева, в котором о рассказе «Матренин двор» говорилось: «Мрачными красками рисует автор уголок своей родины. Ну а как живет на самом деле большинство крестьян в деревне Тальново и близлежащих деревнях, мы, гусевчане, хорошо знаем. Почти в любом доме — хорошая мебель, радиоприемники, телевизоры и т. д.». Хорошо, коли гусевчане довольны жизнью крестьян в своем районе. У нас нет никаких оснований подвергать сомнению этот факт. Жаль только, что читатель не уловил разницы между газетной корреспонденцией и рассказом: ведь Тальново, где воображение писателя поселило Матрену, и Тальново, о котором пишет П. Журавлев, могут совпадать лишь внешне, по названию. Еще обиднее, что П. Журавлев случайно проглядел главную мысль рассказа. Ведь если Фад-

дей, предположим, приобретет хорошую мебель или радиоприемник, вопрос, волнующий автора, не будет этим решен. Матрена, как помним, «не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни». Но сохранила доброе, отзывчивое сердце и «нрав свой общительный». В этом ведь и была мысль рассказа, и так поняло ее большинство читателей.

Их не поставил в тупик и не озадачил вопрос, которым беспрестанно задавалась критика: можно ли видеть в Матрене образец для подражания? А если нет, то не печальный ли анахронизм она сама?

Я думаю, мало кто из читателей стал бы сомневаться, что своим суеверием, непросвещенностью, узким кругом идейных интересов Матрена останется в прошлом. Но ее золотое сердце, ее отношение к людям и труду, высокое бескорыстие — драгоценные черты, нужные нам и в настоящем и в будущем. Солженицын воспитывает своим рассказом уважение к трудовому человеку — и это хорошо поняли читатели.

Если выйти из дверей редакции «Нового мира» близ Пушкинской площади и пересечь улицу, мы окажемся перед домом, на стене которого — барельеф, изображающий рабочего с молотом, и девиз: «Вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят». Эта надпись сделана здесь в первые годы революции

Остановимся, прочтем ее не спеша, и пусть она напомнит нам, как учила уважать революция людей труда — будь то молотобоец, знатный доменщик или никому неведомая Матрена в селе Тальново. Забывать об этом — нельзя.

1966

Булгаков и Солженицын

К постановке проблемы

Эти два имени не принято сопоставлять. Господствует мнение, что для этого еще не пришло время.

Между тем уже не одно десятилетие они то и дело вспоминаются рядом, слетают один за другим с языка читателя, если не по сходству, то по масштабу этих литературных явлений в глазах многих.

Сегодня, когда XX век с его разрушительными бурями и мучительными страстями на излете, а Россия опоминается под обломками грандиозного социального эксперимента, и Булгаков, и Солженицын видятся нам среди наиболее значительных писательских фигур столетия, выразивших — каждый по-своему — коренную тему эпохи: трагизм несвободы и сопротивление духовной личности.

Хочу напомнить, что значение каждого из писателей уяснилось для читающей публики не в один день. Сопротивление встретило появление Солженицына с его гениальным дебютом — повестью об Иване Денисовиче. Возможно, ничего столь выдержанного художественно, сжатого и гармоничного во всех деталях (за исключением разве что «Матренина двора») он впоследствии не написал. Кое-кому его беззаконное явление «в кругу расчисленных светил» соцреализма казалось чьим-то (Твардовского? Хрущева? Близоруких критиков?) безумным увлечением, если не литературной спекуляцией, наваждением, которое скоро пройдет. В первые же дни вспыхнувшего, как порох, интереса к Сол-

женицыну, официальный бард Николай Грибачев откликнулся на его первую публикацию саркастическим стихотворением «Метеорит». Повесть уподоблялась ярко вспыхнувшему перед телескопами всей Европы метеориту, который вскоре сгорит и рассыпется пылью.

Лишь астроном в таблицах сводных,
Спеша к семье под выходной,
Его среди других подобных
Отметил строчкою одной.
(Известия. 1962. 30 ноября)

Булгаков — прозаик, автор романов, как и Солженицын, стал явлением прежде всего литературы 60-х годов. Его посмертное воскрешение в литературе также вызвало, наряду с восторгами, глухое, но сильное сопротивление. Даже признавая ослепительные достоинства его писательского пера, многие пророчили краткосрочность увлечения публики его романами. Эпидемический характер успеха «Мастера и Маргариты» внушал подозрение, что все это минуче, как литературная сенсация.

Любопытно отметить тот неожиданный факт, что среди скептиков оказался и Солженицын. В своем дневнике 24 ноября 1967 г. я записал его слова о Булгакове (мы беседовали в машине по дороге на загородную дачу Твардовского): «Ему повезло. Он вышел вовремя. Пройди еще 2-3 года, и он оказался бы заслонен другими вещами, другими именами». Можно предположить, что он думал в ту минуту о будущем своих взрывоподобных книг — «Архипелаге», «Августе 14-го» из только-только начавшего свой разбег «Красного колеса».

Но отношение Солженицына к Булгакову вовсе не исчерпывалось соперничеством и легкой тенью ревности, что в общем-то естественно (и, во всяком случае, обычно) при самоопределении сильной личности и крупного дара. Еще никем, кажется, не было отмечено, что, начиная свой путь, Солженицын видел в Булга́кове один из ярчайших путеводных огней для себя.

В дневнике 19 мая 1965 года мной записан такой рассказ Елены Сергеевны Булгаковой:

«...О Солженицыне, который, оказывается, много раз бывал у нее. Однажды, когда и я там был, но его не увидел. Меня Е. С. принимала в комнате, а он спрятался от чужих глаз на кухне (мы были тогда еще плохо с ним знакомы — это что-нибудь в конце 1962 года). Оказывается, Александр Исаевич издавна любил Булгакова. В ранних стихах писал что-то вроде: «Брат мой, Булгаков...». Он сказал Елене Сергеевне: «Я должен знать все, что он написал, потому что то, что написано им, мне уже писать не нужно...»

Первый раз Солженицын позвонил от Ахматовой, просил о встрече и на другой день приехал. Разделся в прихожей, сел, взглянул на портрет Булгакова и сказал: «Рассказывайте мне о нем, все рассказывайте, что можете». И Елена Сергеевна взялась рассказывать — часа три. Потом он вскочил — звонить жене: «Наташа, немедленно приезжай, ты не знаешь, что случилось, с *кем* я разговариваю». Жена не могла приехать, и его досаде не было предела.

Наведываясь потом к Е. С., он перечитал почти все у Булгакова. Пришел в восторг от «Багрового острова», и Е. С. подарила ему экземпляр. В «Мастере» он восхищался соединением трех стилей: иронически-современного, евангельской легенды и лирики. Лирические главы (для меня это неожиданность) поставил выше всего. Говорил о фантазии, вымысле Булгакова: «Сам я не умею ничего придумать, пишу как было». (Тут я заподозрил малое кокетство.)

Запись побуждает к целому ряду комментариев — хотя бы в плане постановки вопроса. Прежде всего о фразе «Брат мой, Булгаков...» Она вызывает в памяти пушкинское: «Мой брат родной, по музе, по судьбам». Что мог знать Солженицын до войны и уже после ссылки о Булгакове? Скорее всего, он смотрел в Москве перед войной спектакль «Дни Турбиных» в постановке Художественного театра. Любой провинциал, наведывавшийся в те годы в Москву, мечтал побывать именно на этом спектакле. Возможно, все начальное знакомство Солженицына с Булгаковым тем и ограничивалось, ведь

вряд ли ему могли попасть в руки такие раритеты, как журнал «Россия» 1925 года с «Белой гвардией» или сборник 1926 года «Дьяволиада». Однако и одной пьесы такой художественной силы, с сочувствием рисовавшей старое русское офицерство, для впечатлительного ума ростовского юноши, уже задумавшего эпопею «ЛЮР» (сокращенное обозначение замысла «Люблю революцию», переродившегося потом, в ходе эволюции автора, в «Красное колесо»), было, пожалуй, достаточно.

Солженицына волновало, несомненно, и братство по «судьбам». Ведь в 50-е годы неизбежным казался ему путь «литератора-подпольщика», как назовет он это в «Теленке», путь тайного создания книг и хранения рукописей без прямой надежды опубликовать их при жизни. Это роднило его с Булгаковым до поры, пока он не бросился в открытую атаку, что привело к конфронтации с властью и печатанью за рубежом. С этого момента весь рисунок судьбы и все поведение Солженицына стали иными, не «булгаковскими».

Сам неожиданный наклон мысли, что то, что написано Булгаковым, ему, Солженицыну, «писать не нужно», также наталкивает на ряд соображений. Солженицын чувствовал себя в конце 50-х — начале 60-х годов в той же идейной традиции, что и Булгаков. Но он сознательно видел свою миссию в следующем шаге — углублении социальной критики, новом понимании драматизма принесенных революцией проблем. Его опыт был опытом советской каторги, которой он, по его признанию, принадлежал не менее, чем русской литературе.

Абсолютный трагизм судьбы художника, чужого для современников, стал темой творчества Булгакова и подтвержден его судьбой. Солженицын преодолевал эту тему жизнью. Он боролся и победил, достиг при жизни всесветной славы, увенчан лаврами нобелевского лауреата, творческую активность делил с политической (особенно в 70-е годы) и выбрал стезю «учителя жизни» — совсем иной поворот судьбы.

То, что, читая «Мастера и Маргариту», Солженицын остался холоден к сатирическим московским главам и к евангельскому сюжету, а выделил лирические главы, где воспета любовь героев, тоже представляется характерным и рождает уйму вопросов.

В начале пути, в «Белой гвардии» и «Записках на манжетах» (кстати, в смысле новизны формы, ими также увлекался Солженицын, расспрашивая и меня о них), проявились некоторые черты Булгакова-прозаика, часть из которых развилась, а часть редуцировалась и увяла в дальнейшем его творчестве. Молодой Булгаков чутко схватывал пропущенный через личное восприятие момент жизни: голоса улицы, краски времени, подробности городского быта — и эта черта таланта в сублимированном виде отразилась в «Мастере» и «Записках покойника». Но вот исторический фон с подлинностью событий, дат и лиц, столь многое определяющий в «Белой гвардии», уступил место обобщающей художественной силе воображения, сатире и лирике, замешанной на смелой фантазии. Грубо говоря, вместо гетмана, Петлюры и Шполянского (Шкловского) мы получили Воланда, Иешуа и Варенуху. Наблюдательность перерастала в фантастическую сатиру, художественность поднималась до образной философии жизни. С помощью фантастики Булгаков, при всей чуткости к воздуху современной жизни, шел к вневременному, всечеловеческому.

Логика развития и задачи, какие ставил перед собой Солженицын, влекли его по другому пути. Вместо «Матрены» и «Ивана Денисовича», где при всей ошеломляющей новизне смысла осуществилось еще и желание быть вполне художником, Солженицын предпочел работать в иных, социально масштабных жанрах. В «Архипелаге ГУЛАГ», «Красном колесе» и даже в мемуарах «Бодался теленок с дубом» задачи историка, политика и пристрастного нравоописателя вышли вперед. Это можно понять. Великий бунтарь, борец с неправдой и патриот правды, как он ее понимает, Солженицын свой большой чисто художественный талант по сути принес в жертву времени. В «Архипелаге» в свернутом виде — десятки ненаписанных солженицынских повестей. В «Красном колесе» элементы романа с каждым новым «узлом» все более вытесняются хроникой. И дело не в неумении или нежелании писать в полную силу характеры, личные судьбы, любовь, что он так оценил в «Мастере». Солженицын весь свой писательский путь воспринял как миссию. Он не думал,

что на его родине так скоро случатся решительные перемены, которым и он своими книгами способствовал. Он совершал свой гигантский труд как работу за всех безмолвствующих историков, социологов, за всю немую общественность и тем самым в известной мере сознательно жертвовал художественным талантом. Как жертвовал им в конце жизни Гоголь, как жертвовал им, сочиняя «народные рассказы» и по-своему переписывая Евангелие, Лев Толстой.

Иными словами: Солженицын обременен историей, он ощутил себя ее орудием и ею одержим. «Я чувствую, как делаю историю...» — обмолвился он по какому-то поводу в «Теленке».

Для Булгакова история объект неравнодушного внимания — и в «Мольере», и в «Пушкине», и в «Батуме», в попытках писать учебник для 4-го класса. Но существо его интереса другое. Ощутив свою неспособность влиять на современную историю, ход событий, он смотрит на многое фаталистически и ищет утешения в вечности. Впрочем, величавого спокойствия Нестора-летописца ему никогда обрести не удается, и его темперамент выливается в сатире и иносказательных «уроках» современности. «Мастер и Маргарита» — сплав ближайшей реальности и огромного масштаба жизни человечества от первого века христианства, попытка понять добро и зло как вселенские стихии.

Роман Булгакова был расценен Солженицыным при первом знакомстве с ним как крупнейшее явление. Но в середине 60-х годов в его сознании произошла крупная перемена, и в 1968 году он воспринимал «Мастера и Маргариту» по-другому, нежели в 1963-м. Критика Солженицыным главного романа Булгакова, развернутая в «Теленке» и в его письме ко мне, цитируемом ниже, носит отчетливо идеологический характер: это протест человека, считающего себя ортодоксально православным, против чересчур смелого и своевольного вымысла, художественной игры поблизости от святынь, заставляющей подозревать Булгакова по меньшей мере в творческом вольнодумстве, чем-то вроде современного вольтерьянства.

В ноябре 1968 года Александр Исаевич писал мне в большом, не доверенном почте, письме: «Очень сложный роман,

он требует очень глубокого объяснения. То, что Вы написали, все очень интересно — трактовка, что дьявольскую силу он применяет как мысленную расправу за справедливость. Однако, мне кажется, что там есть еще какое-то более глубокое и серьезное объяснение всего этого, двух вопросов:

1) использование дьявольской силы,

2) евангельская история.

1) Это выходит у Булгакова за рамки этого романа, это вообще какое-то распутное увлечение, какая-то непозволительная страсть, проходящая через все его произведения, начиная с „Дьяволиады", где это уже чрезмерно и безвкусно даже. В этом отношении он как-то напоминает Гоголя. Вообще, Булгаков есть вновь родившийся Гоголь. И такое удивительное повторение нескольких важнейших сторон таланта совершенно изумляет. И в своем пристрастии к нечистой силе он тоже повторяет Гоголя, повторяет его и в юморе, и во многом другом.

2) Если бы это была попытка объяснить просто с точки зрения художника всем известную легенду — это было бы одно. Но если в этом самом произведении так восхваляется нечистая сила и так унижается Христос — тут тоже надо что-то выяснить. Один мой знакомый сказал, что это евангельская история, увиденная глазами Сатаны.

И вот соотношение этих двух струй (нечистой силы и Бога) в одном романе заставляет осторожно к этому отнестись — что-то здесь еще надо объяснять...»

Наверное, Александр Исаевич прав, объяснять еще необходимо. В моей статье, которой он посвятил эти строки («Новый мир», 1968, № 8) многое недосказано. Но уж унижения Христа в романе нет и тени, а апология Сатаны носит саркастический характер. Солженицын прав, отмечая неортодоксальность веры Булгакова, но ни безбожником, ни апологетом князя тьмы его не назовешь.

* * *

Различия наглядны и в автобиографической прозе двух мастеров. «Записки покойника», несмотря на все раздражение Булгакова против Художественного театра и его создателей, —

не цепь ядовитых шаржей или карикатур. Откровенно сатирические или с добрым юмором изображенные лица оторвались от прототипов, возведены, как говорилось в старину, в «перл создания». Оттого невозможно стало и употребление подлинных имен — даже в самых второстепенных портретах они заменены вымышленными. И это не только человеческая деликатность, тут знак художественной природы произведения.

«Бодался теленок с дубом», по моему убеждению, книга, содержащая, наряду с сильными и верными страницами, много вольного или невольного вымысла, резких и несправедливых характеристик. Но все герои ее выступают под действительными именами. И сам Солженицын смотрится в зеркало, никак не отодвигаясь от него, не держа дистанцию. Тогда как Максудов в «Театральном романе» — все-таки не вполне Булгаков, и автор оставляет себе свободу в лепке этого образа, вызывая к нему сочувствие художественными средствами и не в ущерб строгому реализму.

Когда-то «Теленок» сильно огорчал меня. Теперь я лучше вижу закономерность его появления в творчестве Солженицына. Но в молодые годы «Театральный роман» тоже казался ему книгой близкой.

В канун 1963 года он писал мне: «...я пользуюсь случаем поздравить Вас с Новым годом! пожелать Вам здоровья, бодрого духа и успехов в вашей личной и редакционной работе! (И давайте, в частности, пожелаем друг другу, чтобы в 1964-м булгаковский роман — пока хотя бы этот! — увидел свет!») (29 декабря 1963 года).

Роман Булгакова был напечатан лишь через полтора с лишним года. В те дни я стал свидетелем драматического эпизода, в котором сплелись имена Булгакова и Солженицына.

Вот выписка из моего дневника 7 сентября 1965 года:

«Вышел № 8 с „Театральным романом". Почти три года мороки — и, наконец, я имел радость позвонить Е. С. и поздравить ее. Она сказала, что не верит этому счастью.

Поднялся наверх к С. Х.[1] — и застал Солж., диктующего что-то на машинку... Закс[2] встревоженно сказал мне, что А. И.

[1] СофьяХанановна Минц — секретарь А. Т. Твардовского.

[2] Закс Борис Германович — ответственный секретарь журнала.

забирает роман. Когда позже С. заглянул ко мне, и я спросил его, зачем он это делает — он стал говорить что-то о том, что его не удовлетворяет слог, что у него появились новые мысли о русском синтаксисе и он хочет поправить. Все это высказано было поспешно, путанно и, кажется, не совсем искренно...

В комнатке у Нат. Львовны[1] я застал его уже после того, как мы распрощались, за укладкой рукописи в какой-то ветхий чемодан, который он перепоясывал ремнями. Чтобы порадовать его, я сказал: «А. И., знаете, наконец-то вышел „Театральный роман“, и я собираюсь поехать сегодня к Е. С. и выпить с ней в честь этого события шампанского». Он очень грустно оглянулся, оторвавшись от увязки своей поклажи, и сказал: «Так вот и мои вещи когда-нибудь будут печатать и пить шампанское с моей вдовой».

Это было неожиданно, прозвучало неловко, но я понял его горечь — и мне неприятно стало, хотя будто ничего плохого я не сказал. Я попросил Нат. Льв. достать ему 8-ю книжку и подарил ему. Расстались мы дружески».

Никто не знает своего будущего и, по-видимому, тогда, в сентябре 1965 года, в дни ареста Даниэля и Синявского, Солженицын, увозя рукопись, думал о своей судьбе как варианте судьбы булгаковской. Он не мог предполагать тогда, что едва он вышел за порог «Нового мира», аккуратные молодые люди уже шли за ним, следуя до квартиры старого математика В. Л. Теуша, где Солженицын решил надежнее сохранить свой архив. Архив вскоре был арестован, Теуша затаскали по допросам, а Солженицын после месяцев тревог и колебаний вышел на новый виток своей писательской судьбы.

Жизнь создает порой вполне романические ситуации. И сцена, при которой я присутствовал и которую описал в дневнике, мне представляется психологическим узлом не только в смысле солженицынского отношения к Булгакову. С этой минуты включились в нашей литературной истории какие-то иные часы.

Скажу в заключение, что для меня и Булгаков, и Солженицын — великие дети века, каждый из которых выбрал свою дорогу и по-своему прославил русскую литературу.

1992

---

[1] Наталья Львовна Майкапар — секретарь редакции.

Возвращение Солженицына[1]

Литературная судьба Солженицына сложилась необычно. Первое же его произведение — повесть «Один день Ивана Денисовича», напечатанная в ноябре 1962 года, принесло автору мировую известность и породило вокруг нового в литературе имени споры, не утихающие до нынешнего дня. Обдуманность выношенных мыслей, зрелость литературного мастерства, отмеченные критикой уже в первой его повести, заставляли думать, что с нею дебютировал человек немолодой, проживший богатую сложным и горьким опытом жизнь и как бы миновавший неизбежную пору литературного ученичества. Так оно, в сущности, и было.

Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года. Отца своего, погибшего от несчастного случая на охоте, перед самым рождением сына, он не успел узнать. Воспитывался матерью, работавшей стенографисткой в одном из учреждений Ростова-на-Дону. В этом городе и провел свое детство будущий писатель, здесь поступил в школу.

Окружение, в котором он рос, состояло, по преимуществу, из людей технической интеллигенции — инженеров, преподавателей «точных» наук, и это не могло остаться без влияния на выбор им будущей профессии. Окончив среднюю школу, Солженицын поступает на физико-математический факультет Ростовского университета и всего за несколько дней до начала войны сдает последний государственный экзамен и получает диплом преподавателя математики.

Уже в это время, однако, его занимала не одна лишь математика. Возникшие у Солженицына еще на студенческой скамье литературные интересы побудили его с 1939 года одновре-

[1] Впервые опубликовано в посмертной книге «Берега культуры», 1994.

менно с университетом заочно заниматься на литературном факультете Московского института истории, философии и литературы (МИФЛИ). В июне 1941 года, как раз когда он приехал в Москву, чтобы сдать экзамены летней сессии и перейти на третий курс, началась война. С той поры литературную школу заменила ему строгая и горькая школа жизни.

Солженицын пошел воевать рядовым. Признанный по состоянию здоровья ограниченно годным, он поначалу служил ездовым в обозе, но всеми силами рвался в боевые части действующей армии. С трудом удалось ему добиться приема в 3-е Ленинградское артиллерийское училище. Окончив ускоренный его выпуск, Солженицын был отправлен на фронт в качестве командира батареи звуковой разведки (АИР). Тут пригодилось Солженицыну его математическое образование: корректировка стрельбы по звуку с целью выявления и подавления боевых точек противника требовала не только односложных команд у ствола орудия, но и работы с логарифмической линейкой и специальной аппаратурой. С частями Северо-Западного фронта Солженицын прошел путь от Старой Руссы до Восточной Пруссии, участвовал во многих боевых операциях, был несколько раз ранен, за отвагу и мужество награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Как беспристрастно свидетельствует боевая характеристика капитана Солженицына и отзывы служивших с ним офицеров, он «храбро сражался за Родину, неоднократно проявлял личный героизм и увлекал за собой личный состав подразделения, которым командовал. Подразделение Солженицына было лучшим в части по дисциплине и боевым действиям».

В феврале 1945 года, сражаясь в Восточной Пруссии, Солженицын прямо на передовой был арестован по политическому доносу (поводом были его слишком вольные суждения, в том числе и о Верховном главнокомандующем, в письмах к приятелю, тоже фронтовому офицеру Н. Д. Виткевичу) и осужден приговором Особого совещания на 8 лет заключения в исправительно-трудовых лагерях. О совместном пребывании с Солженицыным в лагере Б. С. Бурковский, послуживший прототипом кавторанга Буйновского

в повести «Один день Ивана Денисовича», вспоминает: «Около четырех лет я прожил в одном бараке с Солженицыным. Это был хороший товарищ, честный человек. Он был молчалив, не ввязывался в шумные разговоры. Мне запомнилось, что он часто, лежа на нарах, читал затрепанный том словаря Даля и записывал что-то в большую тетрадь» (*В. Паллон*. Здравствуйте, кавторанг. «Известия», 14 января 1964 г.). Как видно, и в лагере Солженицын не оставлял надежды на возвращение к литературным занятиям. Но не изучение словаря Даля в редкую минуту отдыха от каторжных работ, а прежде всего боль увиденного, услышанного и лично пережитого, станет опорой будущего его творчества. Его тюремно-лагерный опыт вместит в себя и «внутреннюю тюрьму» Лубянки, и бутырскую камеру, и научную «шарашку» в подмосковном Марьине, и лагерь в Экибастузе.

Отбыв свой срок, Солженицын вышел из Особлага на Иртыше в начале марта 1953 года, как раз в тот день, когда по радио было передано известие о смерти И. В. Сталина. Однако, согласно дополнению к основному приговору, ему предстояло отправиться в бессрочную ссылку в Джамбульскую область Казахстана. Прибыв в небольшой поселок Берлик близ озера Балхаш, Солженицын устроился работать учителем, преподавал математику, физику и астрономию в школе-десятилетке. В 1956 году, вскоре после XX съезда партии, Солженицын был освобожден от ссылки и смог переехать в среднюю полосу России — исконно русскую Мещеру, на станцию Торфопродукт, упоминаемую в рассказе «Матренин двор». Здесь он прожил около года, продолжая учительствовать, отдыхая душой от пережитого и набираясь впечатлений сельской жизни, с которой прежде не был близко знаком.

В 1957 году пришло решение о полной реабилитации. Военная коллегия Верховного Суда СССР, рассмотрев предъявлявшиеся ему обвинения, установила, что Солженицын, «говоря о правильности марксизма-ленинизма, о прогрессивности социалистической революции в нашей стране и неизбежности ее во всем мире, высказывался против культа личности Сталина, писал о художественной и идейной слабости литературных произведений советских авторов, о

нереалистичности многих из них, а также о том, что в наших художественных произведениях не объясняется объемно и многосторонне читателю буржуазного мира историческая неизбежность побед советского народа и армии и что наши произведения художественной литературы не могут противостоять ловко состряпанной буржуазной литературной клевете на нашу страну». Военная коллегия нашла, что эти высказывания Солженицына, несколько прямолинейно изложенные благожелательным юристом, не содержат состава преступления и полностью его реабилитировала.

Это дало возможность Солженицыну переехать в Рязань и пристальнее заняться литературной работой. Впрочем, и после этого он не оставил педагогической деятельности и вплоть до 1963 года продолжал преподавать рязанским школьникам математику и астрономию. Однако главным делом его жизни стала литература.

Первые творческие опыты Солженицына относятся еще к довоенной поре. С фронта он посылал рассказ «Лейтенант» Борису Лавреневу, с чем-то из написанного знакомил К. А. Федина, не удостоившего автора отзывом. Но начало своей литературной судьбы писатель справедливо связывает с опубликованием повести «Один день Ивана Денисовича», завершенной им в 1959 году и впервые напечатанной в журнале «Новый мир» с предисловием А. Твардовского (1962, № 11).

Последние двадцать лет и вплоть до недавнего времени название повести «Один день Ивана Денисовича» не упоминалось в советской печати, журнал с ее текстом был изъят из библиотек, так что выросло целое поколение молодых читателей, которые слыхом не слыхивали об этой вещи.

А между тем, когда в конце 1962 года журнал «Новый мир» напечатал этот маленький шедевр, это произвело впечатление обвала, тайфуна или, если воспользоваться примелькавшимся сравнением, разорвавшейся бомбы. Разумеется, литературной бомбы, но бомбы не простой, а ядерной, взрыв которой отозвался на огромной территории, а долговременное излучение было не губительным, а целительным. Не было, пожалуй, ни

одного образованного человека в России, который не читал бы тогда или, на худой конец, не слышал об этой вещи. Имя вчера еще никому не известного 44-летнего учителя математики из Рязани передавалось из уст в уста.

На памяти моего поколения не было такого мгновенного и ослепительного успеха книги. Два ее отдельных издания разошлись в считанные часы. Находились энтузиасты, которые, не имея шанса достать журнал или книгу, переписывали для себя и своих знакомых ее текст от руки, просиживая вечера в библиотеке до самого ее закрытия. Через полгода-год, несмотря на крайнюю сложность перевода этого сугубо русского, необычного по слогу, да еще с лагерным «сленгом» текста, эту книгу уже знали в Европе и Америке. И началась ни с чем не сравнимая, диковинная по перепадам общественного признания и непризнания, подъема и неуспеха судьба ее автора — прославленного советского писателя, едва не получившего Ленинскую премию в 1964 году и увенчанного Нобелевской в 1970-м.

При первом появлении «Одного дня...» о повести яростно спорили еще и потому, что она стала фактом большой политики. Непоследовательная, с оговорками и отступлениями вспять критика Н.С. Хрущевым сталинских репрессий долгое время оставляла для литературы запретной тему тюрем и лагерей. Следует напомнить, что доклад на XX съезде партии, где разоблачался Сталин, считался секретным документом, не печатался и лишь оглашался вслух на закрытых собраниях «актива». Более открытой и публичной была критика Сталина и его репрессивной системы в 1961 году на XXII съезде КПСС. Этот съезд, кстати сказать, и подвигнул Солженицына показать тайно хранимую им рукопись редактору, которым на счастье оказался Александр Твардовский. Я говорю «на счастье», потому что с того самого часа, как Твардовский прочел эту рукопись, она так поразила его своей правдой в сочетании с высоким искусством, что ни о чем другом он долгое время не мог говорить и готов был на все, чтобы ее напечатать. Ему удалось передать рукопись Н. С. Хрущеву и заразить его своим восхищением, так что тот дважды ставил вопрос о ее публикации на заседаниях

Президиума ЦК, пока не убедил в необходимости ее напечатания своих коллег по высшему руководству страной.

Отчего таким ошеломляющим, невероятным было первое впечатление от повести у рядовых читателей? Да оттого, что одно дело — общие и туманные слова «о некоторых нарушениях социалистической законности в период культа личности», как принято было, по образцу китайских эвфемизмов, именовать в печати сталинский террор, другое — неотразимая в своей подлинности картина жизни в заснеженной пустыне, за колючей проволокой в бараках, со сторожевыми вышками по углам. Картина, написанная столь зримо и объемно, что читателю повести начинало казаться, будто он сам там побывал. Это был акт высшей поэтической справедливости по отношению к миллионам погибших и к изломанным судьбам тех, кто имел удачу выжить и вернуться.

Но были в немалом числе живы еще и люди, которые либо сами были причастны к механизму репрессий, разветвленной системе ГУЛАГа, либо просто привыкли славить Сталина и были «консерваторами по воспитанию». Среди них нашлись настоящие недруги повести, а ее завистники пророчили ей скорое забвение как летучей газетной сенсации. Всего спустя две недели после выхода повести из печати в газете «Известия» (30 ноября 1962 г.) было опубликовано стихотворение известного поэта, в котором новинка уподоблялась сверкнувшему метеориту, «затмившему на миг сиянье звезд» и отмеченному «по газетам всей Европы». Однако сгоревший метеорит

> ...стал обычной и привычной
> Пыльцой в пыли земных дорог.
> Лишь астроном в таблицах сводных,
> Спеша к семье под выходной,
> Его среди других подобных
> Отметил строчкою одной.

Недоброжелатели ошиблись. Но повесть уцелела в литературе, потому что эти 66 журнальных страниц принадлежали не только политике. Они принадлежали искусству. Искушенных ценителей повесть поражала художественной

гармонией, немногословием и выразительной точностью письма, которые так редки в литературных дебютах. У наиболее чутких критиков это вызвало ощущение, что в литературу резко отворил дверь и без спроса вошел, как имеющий на то полномочия, писатель, не уступающий по масштабам корифеям золотого века русского реализма — Толстому или Достоевскому. Так крупно и властно начинали только они.

Восхищал в повести уровень правды — без уклончивости и компромиссов, правды обжигающей и неожиданной, с глубокой, свойственной русской традиции, болью за человека. Бросался в глаза выбор героя, чьим уважительным именем и отчеством названа повесть. Рассказ шел не от лица интеллигента, интеллектуала. Это не был выдающийся военачальник, писатель, партийный деятель или режиссер, о трагедии которых уже знали страна и мир. Это был самый обычный рядовой крестьянин, один из безгласных миллионов, и его глазами автор увидел эту запроволочную жизнь, — с грязной вагонки в вонючем душном бараке, из колонны бредущих по морозу на каторжную работу людей, взглядом исподлобья над миской с жидкой баландой... Солженицын так вошел в образ мыслей и чувств Ивана Денисовича, что некоторая часть неискушенной публики приняла эту вещь за документальную, а автора отождествила с героем. Появление последующих рассказов Солженицына было для этих читателей неожиданным: разве не только за Ивана Денисовича он может говорить и думать?

Да, художник меньшего масштаба и чуткости взял бы, наверное, и героя покрупнее, и лагерный мир изобразил бы в более крайних, мучительно жестоких впечатлениях — «ужасов» в той действительности было не занимать. Но глубокий такт продиктовал Солженицыну другое решение: выбрать не исключительный своими страданиями день зэка, а день рядовой, даже счастливый, и это сделало всю картину еще неотразимее в своей силе. Если таков один день, то что такое полный лагерный «срок», как могли выдержать его люди? И если этот день *счастливый*, то что можно рассказать о несчастном дне заключенного?

В повести перед читателями проходят десятки лиц, соседей Ивана Денисовича по бараку, надзирателей, конвойных.

И художественная концентрированность этого текста такова, что большинство из них, даже отмеченные двумя-тремя летучими штрихами, долго светятся в памяти. Звонкий морской офицер Буйновский, по меткому замечанию С. Я. Маршака, еще чувствующий на себе неспоротыми шевроны кавторанга; и добросовестный работяга Сенька Клевшин, бежавший из Бухенвальда, чтобы оказаться в советской неволе; московский кинорежиссер Цезарь Маркович в пушистой шапке и со своими столичными «цеховыми» разговорами об искусстве; и опустившийся вконец, подбирающий окурки шакал Фетюков...

Буйновский кричит в повести издевающейся над зэками охране: «Вы не советские люди!» Эта реплика, как и весь образ кавторанга, давали критике основание, вслед за Хрущевым, говорить о «партийности» повести. Но точка зрения повествователя не сводима ко взгляду и психологии Буйновского. Так же как горькая память автора не сводима к репрессиям над коммунистами, к черному 37-му году, Солженицын как бы наперед угадывал, что обществу предстоит открытие для себя более глубоких слоев несправедливости, преступлений против народа. Он не торопил нас с прозрением, но как стрелами били в прошлое, в недомолвках и загадках, судьбы эпизодических лиц. Это и бригадир Тюрин, вспоминающий о сосланной семье и бедах раскулачивания 30-го года, торивших дорогу к жертвам 37-го. («Все ж Ты есть, создатель, на небе. Долго терпишь да больно бьешь».) Это и фигура несогнувшегося старика Ю-81, с лицом как «камень тесаный, темный» — должно быть, еще революционера с царских времен, жертвы первых процессов против меньшевиков и эсеров. Это и честнейший работник латыш Кильдигс, и высланные эстонцы Эйно и его названый брат, и пострадавший за свою веру Алешка-баптист. Все они на втором плане рассказа, составляют дальний тон многофигурной фрески — но такой насыщенный значением фон, когда, всмотревшись, как в творениях Микельанджело в любую фигуру, открываешь еще одну трагическую страницу недавней истории.

В повести живут десятки точных и смелых подробностей, так что она может служить «малым энциклопедическим

словарем» сталинской каторги. (Большим словарем станет «Архипелаг ГУЛАГ».)

Узнаешь, как спят, едят, проходят «шмон» у ворот «зоны», работают «на объекте» узники лагеря. О чем говорят между собою. Что презирают и что ценят, чего боятся и на что надеются эти отверженные люди.

Но главное — энергия гуманного чувства. В момент, когда писалась повесть, на Солженицына словно снизошла благодать высшей, лежащей вне заурядного человеческого разумения справедливости, художественной объективности. И это сообщило повести гармонию содержания и средств выражения, когда искусство выступает в одежде безыскусности, а привычная похвала «мастерству» ничего не стоит, так как само оно как бы исчезает, растворенное в истине образов и картин. Автор литературно не приглаживает свой стиль, заставляет видеть грубую материю, фактуру, неотесанные лохматые края, будто у вывернутого и клочковатого пласта земли. Возникает иллюзия необработанности, хотя обработка, да еще какая искусная, здесь есть, так же как экспериментальная новизна языка, не во вред естественности речи.

Солженицын богато использовал приемы полифонии, тем более удивительной, что автор почти нигде не вышел из «тона» и восприятия простого мужика Шухова. Скажем, идет колонна к зоне, думает Иван Денисович о своем, вдруг Цезарь с кавторангом словечком перекинулись, потом умолкли снова... Улюлюкают зэки, внимание Ивана Денисовича на них, опять обрывок разговора... И все вместе дает ощущение движения, дышащей жизни.

Такого достигал мало кто из пишущих современников, да и сам Солженицын, по совести говоря, далеко не всегда поднимался впоследствии до такой художественной безупречности. И это при краткости описаний, аскетическом отсутствии всего лишнего. Такие подробности, как «виноватая улыбка» Буйновского, склонившегося над миской с кашей, или брошенное вскользь замечание, что Шухов и сам уже не знал, «хотел он воли или нет», стоят многих страниц комментариев.

Сжатая, как пружина, сверхплотная, как вещество далеких звезд, выверенная по точнейшему камертону, эта проза

уже в момент рождения как бы претендовала на то, чтобы стать классикой.

От дебюта Солженицына ведет свой отсчет литература о сталинских лагерях, представленная позднее Варламом Шаламовым и Евгенией Гинзбург, Юрием Домбровским и Анатолием Жигулиным, да и многими другими известными именами. Он родоначальник, он — исток.

Но и в творчестве самого Солженицына, ныне столь объемном и разнородном, эта маленькая повесть остается одной из высших, если не высшей точкой его подъема как бесстрашного художника и свободного творца.

Еще не умолкли толки, возбужденные появлением повести «Один день Ивана Денисовича», как автор опубликовал два новые свои рассказа «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка» («Новый мир», 1963, № 1), а несколько месяцев спустя — рассказ «Для пользы дела» (1963, № 8). Примечательно, что писатель, заслуживший известность повестью, основанной на столь необычном для нашей литературе материале, не пожелал остаться певцом одной, хоть и столь значительной в высоком трагизме темы, а показал широту своих возможностей. В одном случае изобразил деревню, в другом — военные годы, в третьем — современную городскую среду, притом современную настолько, что в деятеле «волевого» типа Кнорозове, узнавали недавно застрелившегося, вследствие открывшегося обмана с перевыполнением планов по мясу и молоку, первого секретаря рязанского обкома Ларионова.

Три рассказа — и три мира, и все три разные.

Главная мысль «Матренина двора» (1959-1960) вряд ли может быть сведена к морали «не стоит село без праведника», провозглашенной в конце рассказа, сколь бы ни был велик, по разумению автора, дефицит праведничества в нашей земле. Конечно, житие безответной и безотказной Матрены, доживающей свой век в окружении колченогой кошки, снующих за обоями мышей и фикусов на окнах, напоминает притчу, но ею не исчерпывается.

Теперь, спустя четверть века после того, как мы впервые прочли «Матренин двор», еще виднее, какой это глубокий

рассказ и как многое он вобрал в себя! Вместил и историю шекспировских страстей, любви и ревности двух братьев к Матрене. И нищенский быт русской обездоленной деревни 50-х годов. И судьбу спасающегося от шума городского мира недавнего лагерника Игнатьича, будто зализывающего в этом тихом уголке исконной России свои раны. И жадность, зло собственничества в чернобородом Фаддее и сестрах Матрены... Но, главное, саму деятельную, бескорыстную, всегда жившую для других в смутных понятиях какого-то долга и натерпевшуюся в невзгодах Матрену. Душевное пристрастие к ней рассказчика переплескивает, как через край чаши, через эти полные горестной сдержанности и мучительного сожаления страницы. Такого *доброго*, великодушного к людям рассказа, пожалуй, больше не будет у Солженицына. Не будет и столь сильно выраженного в слове и очень русского предпочтения «души» жизненным благам и материальному «добру».

Рассказ естественный, живорожденный был воспринят некоторыми читателями как очерк с натуры. Здесь все правда, и обманчиво наглядна канва, относящаяся к биографии автора. Но кто в силах расщепить эту органическую материю и указать, где кончается наблюдение и памятливость и начинается царство художественного воображения?

Вспоминаю суждение обычно суховато скептичного, лишенного всякой восторженности Ильи Эренбурга. Однажды он сказал в моем присутствии: «Я старый литературный волк и, читая, обычно понимаю, *как* это сделано. У Солженицына догадываюсь даже, как сделан „Иван Денисович“... Но вот как написан „Матренин двор“, решительно не понимаю. Это родилось».

Рассказы «На станции Кречетовка» (1962) и «Для пользы дела» (1963) с разных сторон касаются темы крупной для литературы тех лет: доверия к людям, столкновения казенной идеи, государственного интереса, или того, что им прикидывается, с личной человеческой правдой. В атмосфере подозрительности, которую зовут «бдительностью», воспитан, что называется, с пеленок молоденький лейтенант Зотов, помощник коменданта на станции Кречетовка. Розовый идеалист и патриот, чистый и честный, робкий с

женщинами, советский и «свой» до кончиков ногтей, он вспоминает 37-й год лишь по испанской войне и чтит 7 ноября, как любимый праздник в году. Что и говорить, Зотов отзывчив на добро. Как он старается накормить сержанта Дыгина и его оголодавших людей! С каким теплом относится поначалу к отставшему от своей части бывшему артисту Тверитинову!

Автор представил в Зотове точнейшее выражение психологии молодого советского человека, со всем добрым, что в нем есть: наивностью, патриотизмом, душевной отзывчивостью и чувством долга — этакий Николай Ростов нового века. И тем горше, что эта психология человека честного и от природы доброго так изломана сталинской идеологией: доверие способно в миг смениться в нем яростной подозрительностью. По пустячной оговорке заподозрив в Тверитинове врага, Зотов готов тем круче, тем жесточе с ним обойтись, что чувствует себя виноватым перед службой, а свое доверие мнит едва ли не преступным.

Солженицын ведет читателя к мысли, что репрессии не были следствием ошибок и злонамеренности отдельных недобрых людей: система понятий, сам воздух сталинской эпохи рождали их с неизбежностью.

И в народе Солженицын различил те черты привычной покорности обстоятельствам, безгневия и пассивности, которые заставляют старика обходчика Кордубайло решительно на все на свете отзываться одним присловьем: «Ну, правильно». А вместе с тем в изображении Солженицыным народа есть неизменное признание права простых людей на свою частную, текущую вне государственного русла и несомненную в своем существе жизнь — в заботе о том, как встретить и проводить завтрашний день. Лейтенант Зотов удивляется, отчего это тетя Фрося не перестает думать о копке картошки, пилке дров, о замазывании окон, когда линия фронта опасно приближается, и все его думы лишь о судьбах войны и страны. И точно так же Иван Денисович в лагере и тетка Матрена на воле — они живут в самых простых заботах, как согреться и накормить себя, не потеряв совести, и это спасает их от лжи.

Лейтенант Зотов совершает роковой в своей жизни поступок — губит неповинного человека, и кто знает, может быть, это он, артист московского Драматического театра Тверитинов с нумером Х-123 на ватнике будет рассуждать в бараке с Цезарем Марковичем о Завадском и Эйзенштейне.

В рассказе «Для пользы дела» тема доверия возникает не в столь трагическом, но тоже в достаточно остром повороте, хотя, конечно, хрущевская эпоха, запечатленная в рассказе, это не времена сталинщины. Всего-то навсего у ребят, учеников техникума, отнимают новое здание, давно и обещанное и построенное с их участием. Отнимают «для пользы дела», прикрываясь государственной необходимостью, а в действительности по интриге маленького вельможи Хабалыгина и его более высоких покровителей.

Рассказ этот не так художественно совершенен, как предыдущие, в нем слышнее публицистические ноты, и сама расстановка сил с положительным героем — партийным работником Грачиковым несколько традиционна. Но он ценен не одним тем, что в нем слышен живой гомон молодых голосов; в нем открыт социальный механизм того, как легко погубить любой энтузиазм, открывая дорогу цинизму. Каковы могут быть последствия того, что порыв хороших молодых людей разрушен, небрежно подмят подлинными распорядителями жизни — партийным и хозяйственным аппаратом, его гнетущей силой? Какова цена обмана, ударившего по душам в самой нежной их поре?

Приходится признать, что Солженицын еще вон когда увидел и проницательно указал, что, обманув энтузиазм молодежи раз-другой, мы вырастим поколение людей, ни во что не верящих и ничего не желающих. Не эти ли обманутые однажды хабалыгиными и кнорозовыми девочки и мальчики составили вялое, пассивное поколение, вошедшее в жизнь во времена так называемого «застоя»? Нарушение справедливости «для пользы дела» (Солженицын вывел на чистую воду самую ходкую фразу лицемеров, почти текстуально совпав с формулой Бор. Пильняка в рассказе 1937-го года «Заштат») больно отомстило за себя.

С каждым месяцем в печати разворачивалась все более жесткая критика сочинений Солженицына. Уход с политической арены Хрущева в октябре 1964 года сделал более откровенными нападки и на одобренную им первую повесть, и на самого автора. Были пущены слухи, что во время войны Солженицын сотрудничал с немцами, был власовцем, служил полицаем и т. п. Попытки Солженицына добиться в печати опровержения клеветы не имели успеха.

Между тем 11 сентября 1965 года на квартире его знакомого математика В. Л. Теуша в отсутствие хозяина был произведен обыск, во время которого конфисковали часть архива писателя: полный текст нового романа «В круге первом», старую пьесу «Пир победителей», стихи лагерных лет. Трижды обращаясь к Л. И. Брежневу и другим руководителям, Солженицын тщетно требовал возврата ему рукописей. Их не только не вернули, но и сделали против него оружием: выборочно распространяли в узком кругу для доказательства «антисоветских настроений» писателя.

«Новый мир», собиравшийся печатать роман «В круге первом», вынужден был отказаться от своего намерения. Между тем у Солженицына к 1966 году был готов другой роман, или, как он стал обозначать его, во избежание путаницы с «Кругом», *повесть* «Раковый корпус». Твардовский никак не мог добиться разрешения на печатание и этой вещи, хотя в ноябре 1966 года она была с триумфом обсуждена в Московском отделении Союза писателей. Осенью 1967 года «Новый мир» заключил все же договор с автором на публикацию «Ракового корпуса» и набрал первых восемь глав. Публикация должна была начаться в № 1 за 1968 год, но была запрещена цензурой: набор был рассыпан.

Последним появлением Солженицына в советской печати стал маленький рассказ «Захар-Калита», напечатанный «Новым миром» в первой книжке 1966 года. Начиная с 1967 года его имя поминалось исключительно в негативном контексте.

Масла в огонь подлил сам Солженицын, выступив с правдивым честным письмом IV съезду Союза советских писателей, разосланным им в 250 адресов. Он напоминал о судьбах Булгакова, Ахматовой и других травимых авторов, за кото-

рых не захотел вступиться писательский союз, откровенно говорил о губительной роли цензуры, о превратностях собственной литературной судьбы.

В 1968 году на Западе вышли в свет романы «В круге первом» и «Раковый корпус», и это означало конец надеждам, что книги эти вскоре могут появиться в Советском Союзе: писателя, рукописи которого оказывались за рубежом, еще с конца 20-х годов, со времен скандала вокруг «Красного дерева» Б. Пильняка и романа Е. Замятина «Мы», трактовали как предателя. В ноябре 1969 года Солженицын был и формально исключен из Союза писателей, поскольку, как говорилось в газетном извещении, поведение его носило «антиобщественный характер», а он сам «способствовал раздуванию антисоветской шумихи вокруг своего имени» («Литературная Россия», 14 ноября 1969 г.).

В октябре 1970 года Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по литературе. Советские газеты откликнулись статьями под заголовками: «Недостойная игра», «Провокация в духе холодной войны». Солженицын отказался поехать на вручение премии в Стокгольм, опасаясь, и не без оснований, что ему не разрешат вернуться. Втайне он продолжал работать над главной своей книгой об истории советских лагерей — «Архипелаг ГУЛАГ».

Далее события разворачивались как сжатая пружина. В августе 1973 года была конфискована рукопись «Архипелага». Автор ответил на это публикацией книги за границей. В декабре 1973 года вышел первый том «Архипелага» в Париже. В феврале 1974 года Солженицын был арестован в своей московской квартире, доставлен в тюрьму, а оттуда на самолет Москва — Франкфурт-на-Майне с объявлением о лишении советского гражданства по статье 64 УК РСФСР «за измену Родине». Газеты проводили его статьями под заголовками: «Позорная судьба предателя», «Злобный лжец», «Литературный власовец», «Отщепенцу — презрение народа», «Позор новоявленному Иудушке» и т. п.

Такова краткая канва событий, резко перерубивших литературную судьбу Солженицына на два этапа: на родине и за рубежом.

Действие романа «Раковый корпус» развертывается в 1954 году, когда Сталина уже нет в живых, но едва-едва, первой светлой полоской на горизонте, брезжит выход из сталинской эпохи. Однако по всему характеру рассуждений, по философии лиц эта книга жгуче современна для времени, когда она писалась.

«Где мне о *нас* прочесть, о нас? Только через сто лет?» — спрашивает Елена Анатольевна, старая интеллигентка, работающая санитаркой в корпусе. Ответом ей этот роман — он *о нас*, о наших спорах, боли, заблуждениях, раздумьях.

Солженицына упрекали в свое время в том, что название его книги носит обличительно-символический характер, относясь к стране, обществу в целом. Действительную меру этой символики определил сам автор, приближаясь к концу повествования. Вот она, эта метафора: «Человек умирает от опухоли — как же может жить страна, проращенная лагерями и ссылками?»

Твардовский говорил, что сила Солженицына как художника определяется, в частности, тем, что он не миновал в своем творчестве ни одной из главных болей века, прошедших и через его судьбу — война, лагерь, рак. Смертельная болезнь, бич века, и сама по себе, без острого социального фона могла бы стать крупной темой — следуя за Толстым, автор мог бы пытаться написать свою «Смерть Ивана Ильича».

Но действие в «Раковом корпусе» рассчитано движется двумя потоками: наглядная история страшной болезни, будней больницы, лица врачей и соседей по палате; и вторая, поначалу тайная, овеянная намеками и недомолвками судьба ссыльного и недавнего лагерника Олега Костоглотова.

В книге присутствуют все черты традиционной романной постройки: живые сцены, женские лица, любовь и разговоры. В книге много прямых диалогов, ее легко читать, что можно счесть чертой хорошей беллетристики, — перед глазами объемный мир.

В романе, как выразился бы Чехов, сильно пахнет больницей, бинтами, карболкой и формалином. Но главное — суть тех мыслей, какие живут в герое и вокруг него, движут его сознание и как бы сулят выздоровление в яростной, казалось,

почти безнадежной схватке с болезнью — своей и общей. В обилии разговоров на темы отвлеченные, «умственные» нет натяжки — только в тюрьме или в больнице так горячо и подробно спорят о жизни, совести, нравственном усовершенствовании — то есть о вечном, чему не находится места в толкучке буден.

Но особый разгон мыслям и наблюдениям Костоглотова дает присутствие на соседней с ним койке ответственного работника, кадровика спецчасти и чиновника до мозга костей Русанова. Солженицына всегда отличало то, что он ставил самые «неудобные», самые неприятные вопросы, отважно прикасаясь к тому, что загнило и саднит: «персты вкладывал в язвы». Но в отношении Русановых он вовсе безжалостен. Их психологию, ее изгибы, защитные приспособления и превращения он знает до точки — и обнажает это виртуозно, мастерски, с каким-то веселым злорадством.

В Павле Николаевиче Русанове поразительно передано само ощущение «номенклатуры», того, что он не как «все», так что и болезнь, внезапно его настигшая и вполне естественная для других людей, представляется ему беззаконной, унизительной. Дух оптимизма, который он исповедует, основан на твердом сознании своих прав, собственной благоустроенности и устойчивого равновесия в семье, обществе и мире. Сама смерть для него — что-то мало приличное, незаконное, не говоря уж о грязном быте, уравнивающем его с другими в общей палате. Мир анкет и кабинетов с тамбурами надежно изолировал его от людей с их тревогами и невзгодами, и он давно исключил для себя возможность страха за написанные когда-то доносы и погубленные жизни. В его плоть вошли как святая правда-истина формулы идеологического лицемерия, и Солженицын находит им чеканное выражение:

«Русановы любили народ — свой великий народ, и служили этому народу, и готовы были жизнь отдать за народ.

Но с годами они все больше терпеть не могли — населения. Этого строптивого, вечно уклоняющегося, упирающегося да еще чего-то требующего себе населения».

Это русановское деление на «народ» и «население» заслуживает того, чтобы быть занесенным на скрижали рус-

ской общественной мысли рядом с народническим — «народ и герой» и славянофильским «народ и толпа». В нем суть идеологии целой эпохи.

Лагерная психология и круг мыслей Костоглотова тоже контрастнее воспринимаются на фоне поведения привилегированного больного, хотя непосредственно с Русановым он почти не соприкасается — живет по касательной и как бы *мимо его*.

Костоглотов не только духовно, но и биографически самый близкий автору герой. В нем прочитываются главные вехи солженицынской судьбы — война, лагерь, ссылка, коварная болезнь, клиника в Ташкенте. Прозрачно описано пустынное, суховейное, с глинобитными домиками место его изгнания Уш-Терек (Кок-Терек в действительности), и семья стариков Кадминых, излучающих добро, радость и простую веру в жизнь, — это супруги Зубовы, с которыми дружил и много лет потом переписывался Солженицын.

Но смысл образа Костоглотова, разумеется, шире. Критикам, горевавшим в свое время об отсутствии в литературе положительного героя, можно было бы предложить его как живой, несусальный образец. За ним не только тяжелый житейский опыт и рождающая притягательность загадка прошлого. «Оглоед» зорок и пытлив, жадно внимателен к людям. Он должен до всего дойти своим умом, все распутать и понять: свою болезнь (как ловко он вымогает медицинский учебник у сестры Зои!), характеры окружающих и жизнь в целом.

Живописание женских характеров, по мнению многих читателей, не относится к наиболее сильным сторонам таланта автора. Но и в одержимой своей работой Донцовой, и в Веге есть живые, запоминающиеся черты. Больничные «романы» Олега Костоглотова — поцелуи с Зоей в дежурной комнате, где надувают кислородную подушку, и светлое платоническое чувство, полусознанная влюбленность в Веру Гангарт, недоступную Вегу — это проснувшаяся, как при втором рождении, жажда жизни, ее полноты. Но она не оттесняет главного в Костоглотове — доимчивости, истовости в отношении мира мыслей.

Соседи Костоглотова по палате отличны друг от друга не только диагнозами и мерой запущенности болезни: они

живут разным и по-разному толкуют жизнь. Солженицын дает им высказаться, вслушиваясь в их ответы и передавая в них зачастую преодоленные этапы своего поиска, черты собственного духовного созревания. Старик Ефрем перед неизбежной смертью жадно насыщается впервые открывшейся ему мудростью Толстого: «Чем люди живы?» и понимает, что любовью, состраданием, добром. Вадим Зацырко — весь в горячке своего геологического открытия, в жажде довести его до конца и тем оправдать свое существование, в фанатическом бережении скудно отмеренного болезнью времени ради *дела*. Наконец, наиболее глубокий собеседник Костоглотова мрачный, как ночной филин или сыч, старик Шулубин исповедует отречение от всех видов обмана — идолов рынка, театра и толпы, и развивает идею *нравственного* социализма, непременно включающего в себя требования полной демократии, но и еще что-то поверх того, сполна утоляющее душу.

Сам автор, создавший метафору «ракового корпуса», смотрит на происшедшее со страной, попавшей в плен сталинизма, горько и трезво: рай для Русановых. Но в позитивном своем миросозерцании он как бы не пришел еще к итогу. Костоглотов выходит за порог больницы, как в открытый для разных путей весенний мир.

Раз прочитав, трудно забыть последние страницы романа — это кружение чудом возвратившегося к жизни человека по южному, в первом цветении, городу, когда мир омыт и свеж, словно в первые дни творенья, и все воспринимается, как впервые. Дом Веги, с отсутствующей хозяйкой, путешествие в комендатуру на городских задворках, звери в зоопарке, как знакомом символе неволи, и купленный в подарок друзьям тяжелый утюг в мешке за спиной, и цветущий нежным розовым облаком урюк...

Стремление автора «нагружать всей правдой» читателя вполне в ладу в этом романе с художественным даром.

После трагического расставания Солженицына с родиной он поселился сначала в Швейцарии, в Цюрихе, потом

в американском штате Вермонт, где устоялась его «другая жизнь». Первые годы за рубежом он не был молчаливым затворником — много ездил по миру, много выступал. Кое-что в его манере поведения, в его речах, статьях, интервью и полемических выступлениях заставляло с сожалением думать, что он сменил кисть художника на притязательное перо политика и публициста, да еще публициста с упрямо консервативным, едва ли не монархическим оттенком. В его обличительных речах порой по-прежнему полыхала горькая и сильная правда. Но было немало и наивных политических прогнозов, суждений об идеях и лицах, лишенных тени объективности. В мемуарной книге «Бодался теленок с дубом» рядом с яркими страницами, посвященными злоключениям и вынужденным тайнам своей литературной судьбы, он написал много напрасного о людях, которые с открытым сердцем встретили его в «Новом мире», о самом этом журнале и о личности Твардовского. (Мне приходилось по этому поводу подробно и не без запальчивости возражать автору.)

Вообще с Солженицыным, и как с публицистом, и как с мемуаристом есть о чем спорить. Его же собственный яркий и памятный призыв «жить не по лжи» побуждает прямо сказать — иное было бы неуважением и к себе, и к самому писателю — что Солженицын не является ныне сторонником социализма и коммунизма во всех их видах. Более того, враг тоталитаризма, он не является и поклонником демократии — ни социалистической, ни даже буржуазной. Он выступает и против либерального плюрализма, вследствие чего демократически одинок даже среди русской эмиграции[1].

[1] В статье «Наши плюралисты» он находит «трезвыми» следующие пожелания западных критиков правительства: «...ограничить вмешательство общественного мнения в дела правительства; усилить административную власть за счет парламентаризма; укрепить секретность государственных военных тайн; наказывать за пропаганду коммунизма; освободить полицию от чрезмерных законнических пут; облегчить судопроизводство, при явной виновности преступника, от гомерического адвокатского формализма; перестать твердить про права человека, а сделать упор на его обязанностях; воспитывать патриотическое сознание у молодежи; запретить порнографию; усилить сексуальный контроль; искоренить наркотики...» (Вестник русского христианского движения, 1981. — № 139. — С. 147).

Однако нельзя не отметить, что в последние годы Солженицын воздерживается от каких бы то ни было интервью и политических заявлений. И, может быть, не случайно. Как написал он сам о философе Бердяеве: «В течение своей жизни он, по меньшей мере два, а в чем и три раза менял свой образ мыслей почти на 180 градусов, выступая против своих прежних взглядов, как против чужих». Пока человек жив — жива и способность к переменам — не самое дурное свойство живого, взыскующего ума. И уверен: Солженицыну не могут быть безразличны перемены, происходящие с 1985 года в нашей стране.

Главное же, книга есть книга, искусство есть искусство, и оно живет своей жизнью, как бы оборвав пуповину и отделившись в момент рождения от своего творца.

Оказавшись на Западе, Солженицын многие годы труда отдал созданию исторической эпопеи «Красное колесо», начатой еще на родине первой редакцией «Августа 1914-го». Когда-то, еще до войны, ростовский юноша задумал написать грандиозную многотомную фреску, сокращенно обозначенную им «ЛЮР» — «Люблю революцию». Стремление к масштабному замыслу осталось, но содержание, похоже, поменялось на противоположный знак. Впрочем, более основательно судить о махине «Красного колеса», можно лишь пристально познакомившись со всей серией романов, недавно завершенной автором.

В пределах же нашего нынешнего знания очевидно: пора расцвета художественного таланта Солженицына связана с его работой в 50-60-е годы на родине — первой повестью, рассказами, романами. В них он предстал как самобытный творец, наследовавший традиции русского XIX века и, в свою очередь, открывавший дорогу новым темам, образам, композиционным находкам и смелым изобретениям в области языка, о чем следовало бы говорить особо.

Один из литераторов, постоянных посетителей редакции «Нового мира», говорил об авторе поразившей его повести: «Какой же он Солженицын? Его лучше звать Несолженцев». И Александр Зиновьев в своей сатирической утопии с основанием наградил его прозвищем «Правдец».

«Иван Денисович» не только утвердил трагическую лагерную тему в литературе, но и задал новый уровень правды, который оказал сильнейшее влияние на целую генерацию советских писателей, группировавшихся вокруг «Нового мира». Назову здесь Чингиза Айтматова и Василя Быкова, Федора Абрамова и Василия Белова, Сергея Залыгина и Бориса Можаева, Виктора Астафьева и Юрия Трифонова.

Солженицын обозначил в нашей литературе нечто большее, чем тему разоблачения сталинских репрессий. Он вернул во всей силе для художника требование *полной правды* и внутренней свободы.

Сейчас он возвращается на родину — возвращается своими книгами.

Существует закон приоритета открытия, неотменимости первого подвига. Пьер и Мари Кюри получили в лаборатории ничтожные граммы радия. Юрий Гагарин совершил всего один виток вокруг Земли, тогда как ныне космонавты летают по двести и более суток. Но и через век и через два века люди будут помнить Кюри и Гагарина, как родоначальников эпохи атома и космоса.

«Иваном Денисовичем» перелистнута страница в истории новейшей русской литературы. Эта маленькая повесть, как и «Матренин двор», задала новый уровень правды и художественности. А главная «художественность», наверное, ведь состоит не в украшениях метафор, не в «похожих» картинках, а в страсти к отысканию правды и во взыскательной доброте к людям.

1988

Солженицын, Твардовский и «Новый мир»

Вместо предисловия

Публикация в «Новом мире» (1991, № 6-8) автобиографической книги Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом» заставляет меня исполнить обещание читателям («АиФ», 1989, № 52) и перепечатать давний ответ автору при первом появлении в печати этой книги (Париж, Имка-пресс, 1975).

Поэт князь Шаховской (он же архиепископ Иоанн Сан-Францисский) откликнулся тогда на выход мемуаров Солженицына не лишенной остроумия эпиграммой:

Теленок с дубом пободался.
Дуб зашатался... но остался.
Тогда он стал подряд
Бодать других телят.
С телятами ж бывает дело тонко:
Один ломает рожки сгоряча,
Другой дает от дуба стрекача,
А иногда... и от теленка.

Мне не улыбалась перспектива давать стрекача — ни от дуба, ни от теленка, хотя теленок бодался отчаянно, в том числе и со мной.

Когда летом 1975 года я прочитал впервые изданные в Париже мемуары Солженицына, не сразу мог поверить, что это им написано, подумал, что заболеваю. Слишком я любил и почитал этого человека и писателя, чтобы равнодушно

выслушать его, мягко говоря, пристрастный суд о журнале «Новый мир», о Твардовском, о людях, которых близко знал. Невеликодушие его памяти меня ошеломило.

Я понимал всю невыгоду, в свете сложившегося положения и репутации Солженицына, откровенного ответа ему. Большинство либерально мыслящих людей не признало бы за мной даже права на такой ответ. Люди обычно заранее на стороне славы и силы, тем более, двойного ореола Нобелевского лауреата и отлученного от родины изгнанника. Я же был в той поре подзабытый и уже лет пять не печатаемый автор, заслуживший такое положение не в последнюю очередь публичной защитой Солженицына в 60-е годы. Как решиться на полемику с ним в этих условиях, когда браниться — только бесов тешить? И ведь всегда найдется «доброхот», который усомнится, не писано ли это по заказу Кремля или Лубянки, меря чужую порядочность по себе?

И все же промолчать я не сумел. Писал я ответ на «Теленка», озаглавленный в рукописи «Друзьям „Нового мира“», как длинное личное письмо. Писал, уехав из Москвы, на бывшей даче Ковалевского под Одессой, в полном одиночестве, на круглом садовом столике под бунинским платаном. Писал, не имея под рукой ни архивных бумаг (в том числе адресованных мне писем Солженицына 1964–1970 гг.), ни дневниковых записей, которые могли бы помочь и уточнить даты, подтвердить аргументы цитатами. Одни лишь выписки из книги Солженицына лежали передо мной, взывая к необходимости объяснения и ответа.

Разумеется, появление этой полемики не было возможно в советской печати, где само имя Солженицына оставалось под запретом, а мной заслуги этого писателя подчеркивались столь же внятно, как и необходимость полемики с ним. Пришлось пустить рукопись в самиздат. Не без моего согласия рукопись была передана знакомым диссидентом на Запад, и два года спустя опубликована в Лондоне по-русски в альманахе самиздатных материалов «XX век» (вып. 2, 1977). В конце того же года рукопись была издана по-французски с послесловием Е. Г. Эткинда (Париж, «Альбен Мишель», 1977), в 1980 году по-английски в переводе Майкла Гленни

(Кембридж, Массачузетс, США). К сожалению, ни в одном случае я не держал корректуры, и не только не мог пройтись последней правкой по набранному тексту, но даже выправить отдельные опечатки и неточности. Моя полемика с Солженицыным вызвала много откликов в печати Франции, Англии и США, как сочувственных, так и скептических.

У нас до нынешнего времени о ней знали понаслышке: я считал себя не вправе публиковать ее прежде, чем «Теленок» будет напечатан в России. Однако по поводу неизвестной нашему читателю полемики поспешили высказаться — и, разумеется, заранее обороняя Солженицына от любой возможной критики, — такие разные авторы, как Владимир Гусев, Борис Можаев, Алла Латынина, Владимир Бондаренко. Теперь, наконец, о сути спора может судить читатель.

Перечитывая ныне свой ответ «Теленку», я с сожалением отмечаю излишества запальчивого тона, обидные слова, которых следовало избежать, слишком резкие и не всегда подтвержденные оценки политической позиции Солженицына в 70-е годы. Но и сейчас думаю, что в главном давний спор тот был не напрасен, и не хочу задним числом поправлять высказанное тогда с искренней убежденностью. Это относится, прежде всего, к судьбе «старого» «Нового мира» и роли Твардовского. Но также и к защите дружно оплеванного ныне идеала гуманного, демократического социализма, в который Твардовский и многие из нас бескорыстно верили. История в нашей стране распорядилась на нынешний день иначе — и «горе побежденным». Но пусть и эти страницы останутся, по меньшей мере, слепком времени.

Ошибка, которую я с особой охотой признаю, это то, что прощался в своей статье с Солженицыным навсегда. Трудно было вообразить, что еще при жизни нашего поколения в стране произойдут столь крутые перемены, да еще и развязанные (вопреки прогнозам Солженицына) изнутри и «сверху». В любом случае, новая страница его судьбы, возвращение его книг нашему читателю — искренняя радость для меня. Но и промолчать на появление «Теленка» я не считаю себя вправе.

Ноябрь 1991 г.

P. S. Текст статьи «Солженицын, Твардовский и „Новый мир“» в 1991 году решительно отказался печатать редактор «Нового мира» С. П. Залыгин, а вслед за ним еще два журнала. Вот тебе и свобода полемики! — подумал тогда я. Цензура господствующего мнения не менее сурова порой, чем старая правительственная. С тех пор эйфория вокруг имени Солженицына несколько улеглась, и сегодня, надеюсь, полемику с «Теленком» можно воспринять более спокойно и рассудительно, как эпизод недавней (и уже далекой) литературной истории.

Июль 1993 г.[1]

* * *

Поводом для этого очерка послужила книга А. Солженицына «Бодался теленок с дубом», опубликованная в 1975 году в Париже. Долгих, трудных раздумий стоило мне нынешнее решение — записать для друзей «Нового мира» — журнала, в котором впервые был напечатан «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, — какие мысли и воспоминания вызвала во мне книга «Бодался теленок с дубом» и как отношусь я ныне к ее автору.

Пусть те, кому попадутся на глаза эти строки, простят мне некоторую неустроенность композиции, повторы, частности, излишне личный тон — я не статью для журнала пишу, а с прожитой жизнью пытаюсь объясниться.

Более десяти лет вся моя личная и литературная судьба была связана с журналом А. Т. Твардовского «Новый мир», да и с Солженицыным, вошедшим в литературу через его двери.

С первых минут — это было в начале декабря 1961 года — как я стал читать доверительно и со всевозможными предупреждениями переданную мне Твардовским рукопись «Ивана Денисовича», еще безымянную и отмеченную лишь странным знаком «Щ-854», меня ожгла спокойная правда этой вещи, восхитила безоглядная смелость и высота взгляда автора, рассказавшего о лагере тем неотразимее,

[1] Владимир Яковлевич Лакшин скончался 26 июля 1993 г.

что как бы снизу, от мужика, и в невозмутимом спокойствии *счастливого* дня. А поразительное уменье так компактно и въявь представить многих людей и жизнь их — будто ты сам ее прожил с ними? А новизна слога? Да что там говорить, выдающийся талант автора был принят мною сразу, без оговорок и целиком, и я еще больше полюбил А. Т. за то, что он так безоглядно и восторженно встретил художественную правду повести.

Ближайшие недели и месяцы мы в нашем дружеском кругу, встречаясь, только о том и толковали, как это напечатать, строили планы самые фантастические, с каких ворот зайти и что умнее предпринять. Это сейчас кажется, что иначе и быть не могло, так все просто: передать рукопись Н. С. Хрущеву, увлечь его, добиться разрешения «сверху»...

Детская ошибка — преувеличивать влияние Твардовского «наверху». Многие думали, что он и к Сталину был вхож, а он ни разу не встречался с ним, не разговаривал. А уж с Хрущевым, считалось, он вообще по-приятельски, запросто чай пьет. В одной из своих поэм Твардовский посмеивался над читателем-простаком, уверенным, что поэту ничего не стоит между делом в разговоре с Хрущевым «продвинуть некий твой вопрос» (немало таких просьб содержалось в почте Твардовского).

А тут «вопрос» был особый, и редактор «Нового мира» слишком хорошо это знал. Весной 1962 года едва прошла, ободрав бока о цензуру, «Тишина» Ю. Бондарева, где лишь одна сильная сцена — ареста отца — принадлежала к запретной тематике. А тут советский лагерь в такой полноте и правде — может ли быть сравнение? В справочниках Главлита специальным пунктом тема «мест заключения» была отнесена к области государственной тайны. Публикация повести спотыкалась об этот запрет, но могла, в случае удачи, открыть дорогу в литературе всей «лагерной теме». Литературный вопрос был здесь на самом острие политики. Вокруг проблемы лагерей и реабилитации шла подспудная, тайная борьба, сам Хрущев то наступал, то отступал в своих разоблачениях Сталина, и один неосторожный, ложный шаг все мог бы погубить.

Летом и осенью 1962 года мне, как свеженазначенному члену редколлегии «Нового мира», пришлось принимать участие в предварительном обсуждении и подготовке к публикации повести Солженицына. Помню, как заботило Твардовского полное единогласие членов редколлегии в этом деле, и я, в числе других его товарищей по редакции, по мере сил укреплял его дух в принятом им мужественном решении. Конечно, все люди, все человеки, и мера сомнений и опасений у разных людей в редакции была разная. Но в главном, что *надо печатать*, редколлегия была едина. В июне 1962 года, до всех обращений в «верха», было произведено даже формальное голосование: все подняли руки «за».

И дальше, шаг за шагом, история Солженицына в «Новом мире» — это часть и моей личной судьбы. Вместе с А. Т. и А. Г. Дементьевым я участвовал в подготовке и редактировании письма Твардовского Хрущеву о повести. Как известно, решение о ее публикации было принято Президиумом ЦК КПСС после двукратного обсуждения. Ни для кого не было секретом, что повесть напечатана «с ведома и одобрения ЦК», как тогда говорили, и все же очень скоро выяснилось, что у нее есть довольно влиятельные противники.

После сумасшедших похвал (вещь «толстовской силы», — писал в «Правде» В. Ермилов) Солженицына мало-помалу стали поругивать в печати и на писательских собраниях, сначала сдержанно, сквозь зубы, но с каждым месяцем все энергичней, злей. Летом 1963 года я написал и опубликовал в январской книжке журнала за 1964 год статью «Иван Денисович, его друзья и недруги». Статью сполна оценили тогда и друзья, и недруги «Нового мира». На журнал обрушился град пасквильных заметок, реплик и редакционных статей («Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Огонек» и др.), где повести Солженицына, как правдивой и написанной в целом «с партийных позиций», противопоставлялась моя статья, будто бы ее исказившая.

Солженицын не хочет об этом вспоминать или вспоминает так: против него стали выпускать «другого, третьего, сперва ругать рассказы, затем — и высочайше одобренную

повесть, — никто не вступался» (с. 75)[1]. Неправда, «Новый мир» вступился. В моих бумагах сохранилось письмо Солженицына от 4 февраля 1964 года, где он горячо благодарил журнал и меня за статью, оборонявшую его от нелепых нападок и будто бы что-то ему самому открывшую. «От подобной статьи чувствуешь — как бы и сам умнеешь». Великодушная, быть может, и преувеличенная похвала, в те дни для него вполне естественная.

Романы Солженицына «В круге первом» и «Раковый корпус» я принял как торжество литературы и личную радость, видя в них подтверждение огромной мощи и жизнеспособности его творческого духа. В них не было, быть может, того полнейшего совершенства и художественной емкости, как в «Иване Денисовиче», и не все сцены и лица были безупречны, но это искупалось широтой задачи, многообразием свежих идей и образов, обновлением романной формы. Значит, повесть не случай, не одинокая вспышка, и мы имеем дело наконец-то с писателем, напоминающим былых гигантов нашей литературы. Напечатать романы журнал не смог по обстоятельствам, как говорится, «от редакции не зависящим». Но мы долго надеялись на это, как на чудо, делали к тому неоднократные попытки и, чтобы поддержать автора, заключили с ним договоры на эти вещи на самых выгодных условиях.

В январе 1966 года, как раз в те месяцы, когда, испуганный захватом на квартире Теуша его рукописей, Солженицын, как он пишет, «реально ожидал ареста почти каждую ночь» (с. 118), «Новый мир» напечатал его рассказ «Захар-Калита». Не всем в редколлегии этот рассказ нравился, но все согласились, что надо поддержать печатанием оказавшегося в трудном положении автора. А в августе 1966 года, когда уже ни одна газета, ни один журнал в СССР давно не поминали добром имя Солженицына, мне удалось опубликовать на страницах «Нового мира» большой сочувственный разбор его рассказа «Матренин двор», где суждениям неумной казенной критики были противопоставлены от-

---

[1] Сноски на книгу А. Солженицына даются по изданию: *Солженицын А.* Бодался теленок с дубом. — Париж. 1975.

зывы читателей. 5 октября 1966 года Солженицын прислал мне, между прочим, обширное благодарственное письмо, где весьма лестно отзывался о моем «отменном критическом стиле» и даже разбирал по пунктам его особенности и черты. Нескромно, быть может, об этом поминать, но что делать, если о разносе «Известиями» «Матренина двора» Солженицын в «Теленке» говорит, а о защите «Новым миром» этого рассказа — ни полсловечка. Такова и в других случаях избирательность его памяти.

Все это я к тому теперь пишу, чтобы показать, как дорог лично и по литературным путям оказался мне Солженицын. И что касается меня, то я всегда буду гордиться тем, что присутствовал при появлении на свет этого замечательного таланта, помогал Твардовскому отстоять и защитить его на первых порах, когда его голос только еще зазвучал незнакомо и резко в литературе.

За годы «Нового мира» я привык считать Солженицына близким себе человеком и не сомневался в добром его отношении. Но вот в 1970 году, всего через два месяца после разгрома журнала, произошла у нас ссора в письмах, приведшая к немому, необъявленному разрыву. Неожиданно для Твардовского и для меня он, по самому случайному поводу, подробно изложил на бумаге свои запоздалые обвинения уволенной редакции. Содержание этих писем Солженицына теперь весьма близко к тексту передано на с. 305-308 «Теленка». Он задним числом упрекал журнал в бесцветности его последних книжек, в том, что он в 60-е годы потерпел поражение «в соревновании» (?) с самиздатом; особенно резко укорял уволенных членов редколлегии в том, что они не оказали «мужественного сопротивления», когда их освобождали от должности и т. п.

В «Теленке» Солженицын пишет: «От отставленных членов я не скрыл, что осуждаю всю их линию в кризисе и крахе «Нового мира» (Какова словесность! И это о разгоне журнала! — *В. Л.*). Так и было передано Твардовскому, но безо всех вот этих мотивировок» (с. 308). Солженицын ошибается. Он просил познакомить Твардовского с его письмами ко мне, и я тогда же передал ему их в копиях. Твар-

довский негодовал и хотел отвечать Солженицыну с присущей ему прямотой и резкостью. Я отговорил его, сказал, что отвечу сам. Иначе была бы *их* ссора, а при невоздержанном характере обоих, она стала бы злорадным достоянием всех, кто ее жаждал (вот-де только что журнал разогнали, а Твардовский уже бранится с Солженицыным).

Твардовский согласился. «Обгони-ка сперва моего меньшого брата», — процитировал он пушкинскую сказку о Балде.

В моих ответных письмах, о которых Солженицын в «Теленке» не упомянул, но которые были хорошо известны Твардовскому, я, между прочим, писал:

«Вполне сочувствую Вашему желанию „на переходе“ к 70-м годам назвать все своими твердыми именами. Но Вы делаете ошибку, если думаете, что говорите всякий раз как бы от лица Истории. Не уверен, что она во всем согласится с Вами. К сожалению, Вы сплошь и рядом питаете иллюзии самые детские, легко теряете масштаб явлений и поддаетесь, очевидно, впечатлениям и настроениям кружковой сектантской предвзятости. А сколько наивной импровизации в Ваших исторических прогнозах и оценках! (...) Сознаю, конечно, и Ваша пристрастность, и оценки эти в большой мере результат нездоровых обстоятельств, противоестественного положения, в которое Вы поставлены как писатель. Но, неизменно восхищаясь Вашим художественным талантом, я искренне сожалею, что Ваша общественная активность находит себе такой ложный выход» (8 мая 1970 г.).

Люди, близкие тогда Солженицыну, передали мне, что он не желал бы делать нашу переписку достоянием гласности — и она ушла под воду, чтобы всплыть лишь теперь страницами «Теленка».

Мы встретились с Солженицыным последний раз в декабре 1971 года, если и не как-то особенно сердечно, то по-человечески, на похоронах Твардовского и крепко пожали руки друг другу вблизи его гроба. Мне казалось, что Солженицын что-то понял тогда заново в Твардовском и «Новом мире», и его отклик на «девятый день» как будто это подтверждал. Потом (чтобы уж дорисовать картину наших взаи-

мообщений до «Теленка») он прислал мне собственноручно написанное приглашение на Нобелевское чествование у себя на квартире, и я его не отклонил. Чествование, как известно, не состоялось.

Когда Солженицына высылали из страны, я, понятно, отверг настойчивые домогательства взять у меня «отклик» или интервью, чтобы, как у нас водится, подсвистать ему вдогонку. И хотя я не был согласен со многими его речами и заявлениями после 1970 года, хотя мне, исключая нескольких блистательных глав, не понравился «Август 1914», озадачила и разочаровала статья о раскаянии в сборнике «Из-под глыб», я не считал для себя возможным печатно или в самиздате выступать против него.

«Когда мои друзья говорят глупости, я стараюсь смотреть на них в профиль», — сказал кто-то из знаменитых французов. Я долго пытался смотреть на Солженицына в профиль. Думал, что опамятуется, верил, что сказанное им как писателем в лучших его книгах, созданных на родине, куда важнее для всех нас, для нашей страны и добрых людей на всем свете, чем его напрасные интервью и импровизированные тирады на очередную горячую политическую тему. Меня удерживало и то соображение, что каковы бы ни были его нынешние экспромты и теории, нехорошо мешать делу оздоровления и очистительной критики, которая связана с именем автора «Ивана Денисовича». Но похоже, он сам помешал этому так сильно, что уже никто не в силах ему помочь. Так не лучше ль высказаться начистоту?

В последней книге он прямо оскорбил память человека мне близкого, кого я считал вторым своим отцом, обидел многих моих товарищей и друзей. Главное же, облил высокомерием свою собственную колыбель, запятнал *дело* журнала, бывшее в глазах миллионов людей в нашей стране и во всем мире достойным и чистым.

Брошен вызов, и я подымаю перчатку. Солженицыну, к счастью, ничего не грозит сейчас лично. Ореол всемирной славы дал ему долгожданную обеспеченность и безопасность. Твардовский в могиле. И я чувствую на себе долг ответить за него. Зная наши условия, Солженицын, возможно,

надеялся, что мне и другим людям, не принадлежащим к числу казенных публицистов, придется промолчать и сглотнуть его мемуаристику молча. Напрасно.

Я не стану говорить здесь о том, чего не знаю достоверно — об обстоятельствах судьбы Солженицына за пределами «Нового мира», о его деятельности после 1970 года. Но кое-что я, один из персонажей его последней книги, знаю очень хорошо и твердо.

Воздержанию конец: надо рассчитываться и прощаться. Прощаться на этой земле навсегда и, во всяком случае, до той поры, когда уже в будущем веке, под иным небом и на иной тверди, кто-то справедливее и несомненнее рассудит нас.

* * *

Автор «Теленка» укоряет нас, русских, в чрезмерной осмотрительности, неповоротливости и лени. Это верно. Сам он вечно спешит, и ныне спешит без нужды. Торопится печатать в журналах не вошедшие прежде в текст отрывки и главы обнародованных ранее сочинений, на поверку почти всегда не лучшие, с избытком фельетонной хлесткости; заботливо подбирает и поспешно публикует автобиографические материалы.

Это мало похоже на обычаи писателей былого века, державших свои дневники, записки, письма, варианты сочинений вдали от глаз публики, а иной раз и за порогом земной жизни накладывавшими, из понятной скромности или деликатности перед живущими, запрет на их публикацию на 30, 50 или 100 лет. Еще недавно так поступил со своей перепиской Томас Манн. Хемингуэй наложил посмертное вето на большую часть своего архива.

Но Солженицын не верит истории (или истории литературы), что в чем-либо касающемся его судьбы они могут разобраться правильно, и торопится надо всем произвести свой суд — окончательный и безапелляционный. (Правда, окончательный лишь на нынешний день; завтра тем же людям и событиям его приговор будет другой, но непогрешимый судия о том уже не вспомнит.)

Менее всего доверяет Солженицын своим возможным биографам и спешит дать авторизованную версию своей писательской судьбы, а заодно всего спопутного ему литературного мира.

Жанр книги «Бодался теленок с дубом» Солженицын определяет как «Очерки литературной жизни». По-видимому, это недоразумение. Ни литературы, помимо сочинений Солженицына, ни жизни, помимо той, что непосредственно с ним связана, в книге нет. Мельком, под одну скобку, как то делают в газетных «обоймах», упомянуты Шукшин, Можаев, Тендряков, Белов, Солоухин — об их сочинениях ни звука.

И какая, собственно, могла быть до него или одновременно с ним литературная жизнь, если Солженицын привык об этом заранее так думать: «Современная печатная литература, до той поры (до 1961 года) только смешившая меня, тут уже стала раздражать» (с. 18). Да и не читал, как правило, Солженицын сочинений советских авторов, потому что «заранее знал, что в них нет ничего достойного». Правда, автор «Теленка» говорит, что в 60-е годы как-то корректировал для себя этот безнадежный взгляд. Но — ни одной вещью не восхитился, ни об одном писателе, кроме себя, не сказал с подлинным сочувствием.

Казалось бы, бесспорная в своем значении фигура Михаила Булгакова. Но и о нем: «Это распутное увлечение нечистой силой — уже не в первой книге (в „Диаволиаде“ и до безвкусия)»... «И что за удивительная трактовка евангельской истории с таким унижением Христа, как будто глазами Сатаны увиденная...» (с. 259). Так пишет Солженицын о романе «Мастер и Маргарита» в связи с моей статьей о нем, в которой он тоже обнаружил лишь «вензеля оговорок».

Других романистов он вовсе не замечает. Булгакова заметил и отозвался о нем с изрядной долей писательской ревности.

Помню разговор в машине, когда мы ехали на дачу к Твардовскому (в «Теленке» описан этот эпизод). Солженицын осторожно попрекнул меня, что вот я все пишу теперь о Булгакове, а слава «Мастера и Маргариты» сходит: скоро мир

будет занят иными именами, иными сочинениями. «Каки-ми?» — не понял я. На мой простодушный вопрос он ото-звался неопределенно. Теперь я лучше понимаю смысл того дорожного разговора...

Словом, назвать эту книгу «Очерками литературной жизни» было бы неосторожным преувеличением. Скорее мемуары. Книга о себе. И о некоторых людях в связи с со-бою, на своем пути.

Жизнь крупного художника, прославившегося своими творениями, всегда занимает публику. В дополнение ко всем своим сочинениям знаменитый писатель как бы пишет в сознании потомков самой своей судьбой и еще одну книгу. Пусть он не оставит после себя «Былого и дум», как Герцен, или «Поэзии и правды», как Гёте. Жизнь Пушкина или Бальзака — будто еще один, хорошо знакомый нам роман. По крохам восстанавливают биографы и мемуаристы канву жизни художника. А в сознании читателей сохраняется и за-крепляется *легенда судьбы*, которая накладывает печать на наше восприятие и самих книг писателя.

Солженицын никому не захотел передоверить рассказ о себе, сам решил оставить потомкам автопортрет, запечатлеть-ся в литературном зеркале. По его затее этот портрет должен был представить героя века, написанного во весь рост среди литературных недорослей и пигмеев, — задача, напоминаю-щая канон «положительного героя» соцреализма.

Наверное, взгляд более беспристрастный, чем мой, найдет и в этой книге свои достоинства. Да и я не слеп на хорошее в ней: есть слова верные, есть сцены сильные, особенно, когда касаются душевной природы автора, и там, где ему удается избежать избыточного самодовольства. Но я не рецензию пишу. Мне выпала роль свидетеля на затеянном им процессе, и свои показания я обязан дать.

Ведь «Теленок» это и не мемуары, и не история. Не исто-рия, потому что Солженицын многое в ней не хочет помнить, о многом пишет иначе, чем было, — намеренно или случайно. Не вполне и мемуары, потому что в книге действуют лица, ра-зительно досозданные и пересозданные его фантазией, но полу-чившие, как в пасквильной литературе, собственные имена.

И как это ничто не дрогнуло в нем, когда он писал, а потом издавал на двунадесяти языках свой запоздалый памфлет против «Нового мира», против людей, один из которых в могиле, а другие — не в самых выгодных условиях для полемики с ним?

Но, может быть, правильнее пройти мимо такой книги в величавом молчании, будто не заметив ее? Всегда и скучно и неприятно объясняться, оправдываться. Куда спокойнее утешить себя величавой надеждой, что-де «история рассудит», «к доброму имени грязь не пристанет» и вообще — «нашел — молчи, потерял — молчи...».

Увы, история — дама капризная, у нее тоже есть свои любимчики и наушники, и иногда она слишком доверчиво закрепляет подсказанные ее фаворитами оценки и репутации. Ей тоже следует что-то объяснять и доказывать: «дитя не плачет, мать не разумеет».

Великий поэт и журнальный деятель Н. А. Некрасов, которого часто вспоминают как предтечу Твардовского, всю жизнь мучился от бессовестных наветов, порочивших его как поэта и человека, но взял себе правилом: никогда не отвечать на клевету, никого не опровергать, ничего не оспаривать. Он был в перекрестье сложных людских и общественных взаимодействий, и чего-чего только не сыпалось на его голову! Ему приписывали недобропорядочность в деле об «огаревском наследстве», ославили приобретателем и дельцом. Бранили за сомнительные знакомства, картежную игру с цензором, упрекали в неискренности. Двое ближайших сотрудников «Современника» М. Антонович и Ю. Жуковский написали клеветническую брошюру «Материалы для характеристики русской литературы» (1868), где намекали на вероломство и сомнительные цели Некрасова-журналиста. Бурчали, ехидничали, сплетничали — а Некрасов молчал. Молчал — то ли по растерянности совестливого человека, которому, при всей облыжности клевет, всегда кажется, что есть за что и себя упрекать; то ли из гордой надежды на историческую справедливость. И зря. Сто лет тянется за ним хвост стародавних обвинений и сплетен. Лишь в последние годы въедливые историки лите-

ратуры начинают распутывать этот клубок, и выходит: ни в «огаревском деле», ни в конфликте с сотрудниками «Современника» ему не в чем было себя укорять — он просто не хотел оправдываться.

Ныне всякий слух и предвзятое суждение, скрепленное авторитетом известного имени, имеют из-за массовых средств информации и рекламы неслыханную прилипчивость и эпидемическую силу. Вот почему еще нельзя позволить себе роскоши молчания и величавого игнорирования сказанного.

Не побрезгуем же заняться разбором обвинений и укоризн, высказанных в «Теленке» «Новому миру» 60-х годов и его редактору Твардовскому.

* * *

Впрочем, от некоторых читателей этой книги я слыхал мнение, что Твардовский, несмотря на привнесенные Солженицыным «тени», выглядит у него фигурой крупной, привлекательной. Рад, если это так и персонаж победил тенденцию автора «Теленка». Но сам помириться с таким изображением А. Т. не могу. Возможно, это легче сделать тому, кто не знал Твардовского или знал его издали. Для тех же, кто знал его хорошо и близко, кто прожил рядом с ним эти годы, такой портрет — обида его памяти.

Вот, например, без тени неловкости на лице, упрекает Солженицын А. Т. за промедление с «Иваном Денисовичем»: «Как не сказать теперь, что упустил Твардовский золотую пору, упустил приливную волну...» (с. 39). Солженицыну кажется, что Хрущев только и ждал его повести, а Твардовский замешкался несколькими месяцами, сплоховал как передаточное звено.

Выше я уже говорил, насколько ошарашивает людей, знакомых с подлинными обстоятельствами, такой взгляд. Но удивительнее всего, что опровержение ему мы найдем тут же, у автора «Теленка». Солженицын вспоминает, что А. Т. при первой их встрече просил не торопить его с «Иваном Денисовичем», и так-де журнал все для этого делает. «Да я и не

собирался. Обошлось без Лубянки — и спасибо» (с. 39), — комментирует автор «Теленка». Или на обсуждении повести: «Да не сошел ли я с ума? Да неужели редакция серьезно верит, что это можно напечатать?» (с. 90). Так Солженицын *тогда* думал — и это правда. Теперь попрекает медлительностью. И сколько таких противоречий и поспешных опрометчивостей в его книге — горстями грести!

Автор «Теленка» теперь брюзжит, что Твардовский «долго подгонял к повести предисловие (а, собственно, его могло и не быть. Зачем еще оправдываться?)» (с. 40). Бог мой, как же все забыл или решился не помнить Александр Исаевич! Главный редактор мог бы и поосторожничать — напечатав повесть, уклониться от прямого суда о ней. Но для Твардовского публикация «Ивана Денисовича» была решающим личным *поступком*. К. Федин, А. Сурков, с которыми в числе других он пробовал советоваться, вербуя себе сторонников, говорили ему, что дело безнадежное, нечего и соваться с такой рукописью в «верха». А Твардовский не только сделал это, но своим предисловием редактора объявлял всему свету, что берет на себя ответственность, что вещь Солженицына появилась не по недосмотру, а как сознательный и крупный шаг — и тем самым всей силой своего авторитета защищал начинающего писателя от влиятельных недругов. Да и для читателей рекомендация автора «Василия Теркина», не расточавшего легко похвалы, значила немало. Но что до того сегодня Солженицыну? По пословице: «разорвись надвое — скажет: а что не начетверо?»

Помню, как уже в 1969 году мы говорили о Солженицыне по поводу одной его выходки, и Твардовский выразительно прочел несколько строк переводного стихотворения Маршака:

Вскормил кукушку воробей,
Бездомного птенца,
А та возьми, да и убей
Приемного отца... —

И усмехнулся невесело.

Солженицын не сказал тех заслуженно добрых слов, какие можно было сказать о Твардовском, не увидел многих его замечательных черт. Ну да этим что попрекать — на нет суда нет. Не нравится ему и поэзия Твардовского, за исключением, разве, «Теркина», — и тут его дело. А вот то, что он преувеличил, выдумал и раздул «слабости» А. Т., — простить нельзя.

Три роковых недостатка Твардовского брошены резкой тенью на его величавую фигуру:

— *трусость* перед ничтожными людьми и опасными обстоятельствами; трусость, связанная с тем, что А. Т. носил «красную книжечку» в нагрудном кармане. «...Обречен был Твардовский падать духом и запивать, — утверждает Солженицын, — от неласкового телефонного звонка второстепенного цекистского инструктора и расцветать от кривой улыбки заведующего отделом культуры» (с. 78);

— *пьянство*, которое понято Солженицыным как малодушие, пьянство, обессиливавшее Твардовского и граничившее с распадом личности. «Все эти подробности по личной бережности может быть не следовало бы освещать, — пишет автор «Теленка». — Но тогда не будет представления, какими непостоянными, периодически слабеющими руками велся „Новый мир“...» (с. 90);

— *гордыня*, которая понуждала его даже в редакции и с близкими людьми строить отношения по культовому признаку. У Твардовского-де «не было способности объединяться с равным». «Внутри либерального журнала каменела консервативная иерархия, доклады „вверх“ (т. е. Твардовскому) делались только благоприятные и приятные...» (с. 66).

Так вот я утверждаю, что все, сказанное в этом духе о Твардовском, или прямая *неправда*, коренящаяся в глухом, безнадежном непонимании характера и натуры А. Т., или та неприятная, склизкая, пятнающая *полуправда*, которая хуже заведомой лжи.

Твардовский в самом деле шел к своим убеждениям редактора «Нового мира» 60-х годов, журнала, получившего мировую известность, долгим, кружным путем внутреннего движения, саморазвития. Душа его не была запрограм-

мирована. К добрым переменам, освоению нового он был, несмотря на кажущийся консерватизм вкусов, в высшей степени способен. В 1960-м он о многом думал не так, как в 1950-м, а в 1970-м — не так, как в 1960-м, и смерть оборвала это его движение. Обычная его фраза по поводу поразившей его книги, человека, обстоятельства: «Я только сейчас понял...». Видеть в этом его ущерб, его малость? Нет. Для меня тут живая сила ума и мужество души. Он пушкинские слова мог повторить: «Ошибаться и усовершенствовать суждения свои сродно мыслящему созданию. Бескорыстное признание в оном требует душевной силы».

В самом деле, партбилет не был для него пустой картонкой. Он связывал с ним субъективно очень честное, быть может, и гипертрофированное чувство долга. Но не только это. Когда его критически острый ум уже отшелушил и оставил в стороне множество предписаний и правил лживой догматики, сама идея коммунизма, как счастливого демократического равенства, владела его душой, входила в некий насущный для него идеал. В идеал этот он вмыслил и вчувствовал все лучшее в социальном и нравственном опыте людей — и только с таким сознанием и мог непраздно жить и писать.

В своей фанатической нетерпимости Солженицын смотрит на дело просто: для него «красная книжечка» — уже уничтожение человека, каинова печать, по-видимому, в той же мере, как нательный крест — гарантия просветления и спасения. Но здесь ли черта, делящая людей на дурных и хороших, благородных и подлецов, своекорыстных и самоотверженных, трусливых и мужественных?

Ты веришь в церковь и Бога, он — в социализм и человека. Но и та, и другая вера может быть темной, тупой, безгуманной — и высокой, доброй, сердечной. «А есть беспартийные, которые хуже нас, партийных...», — смеясь говорил А. Т. о Леониде Соболеве и ему подобных. Мир наш дал тысячи примеров, что можно исповедовать любую доктрину, быть приписанным к той или другой духовной церкви, а в каждом конкретном случае человеческие качества, отношения с людьми будут куда больше определять человека. Хорошие люди — верующий и неверующий — поймут друг

друга. Фанатик религии и атеист (т.е. фанатик безрелигиозности) — никогда. Но это так, к слову.

Конечно, у Твардовского были иллюзии, слабости, заблуждения, и журнал разделял их с главным редактором. О себе могу сказать, что не каждую, далеко не каждую страницу в статьях тех лет мне приятно сейчас перечитывать: есть слова и способы высказывания принужденные, вызванные тактикой, журнальными «соображениями»; есть суждения наивные, смешные теперь по ограниченному пониманию. «Но почему-то нестыдно, ничего не стыдно...», как говорил в таких случаях Твардовский. Почему-то? Да просто потому, что подлости и мелкости в «Новом мире» не было.

И уж никакой не было трусости в самом А. Т., тем более связанной с его партийным или общественным положением.

Надо было слышать, как независимо, просто и твердо разговаривал Твардовский с самыми высокопоставленными людьми. Достаточно вспомнить, как в 1961 году в присутствии многих писателей, в Секретариате ЦК он ответил могущественному тогда Л. Ф. Ильичеву на его замечание, что Твардовский в своей речи не вполне искренен: «О моей искренности я не позволю судить никому, даже секретарю ЦК». Ильичев икнул от изумления, пятнами пошел и, понятно, проникся к Твардовскому дополнительной мерой неприязни и уважения. В моем присутствии по редакционному телефону он не однажды разговаривал с высшими руководителями — Л. И. Брежневым, М. А. Сусловым, Л. Ф. Ильичевым, П. Н. Демичевым, и можно было только удивляться его умению вести разговор с такой независимостью, прямотой и достоинством, которые импонировали умному собеседнику и перед которыми терялись наглецы. «Не затрудняйте себя объяснениями», — холодно обрезал он как-то фальшивые рассуждения по поводу отклоненных его стихов главного редактора «Правды» П. Сатюкова. Повысить голос на него не смел никто, чувствуя за ним особую гордую нравственную силу, и я не раз наблюдал, как «второстепенные инструкторы» и важные «заведующие» заискивали перед ним. Конечно, подкупало в нем обаяние простоты, мягкий юмор, а

природная величавость помогала соблюдать дистанцию. Но вообще-то он не был так уж прост и, имея в виду интересы литературы и выгоды журнала, мог иногда схитрить, уклониться, слукавить — но никогда в ущерб личному достоинству. «Природное достоинство перед вышепоставленными» (с. 57) отмечает в А. Т. и Солженицын где-то на первых страницах книги, но вскоре забывает об этом и настойчиво лепит совсем иной образ.

Я не хочу сказать, что Твардовский вовсе не испытывал чувства страха — в большей или меньшей мере ему подвержены все. В отличие от многих других он умел его преодолевать, и оттого никогда не был трусом. Солженицын изображает испуг, будто бы охвативший А. Т. в Рязани во время чтения им «Круга первого». Зная Твардовского, сильно сомневаюсь в этой сцене: Солженицын напрасно *так* истолковал его ночной бред. Но чтобы гуще прорисовать в Твардовском эту черту, автор «Теленка» возмущается тем, что А. Т. не принял на хранение в редакции его рукопись, когда он вторично принес ее после ареста экземпляра «Круга первого» органами КГБ. «Но если бы Пушкину принесли на спасенье роман, за которым охотится Бенкендорф, — неужели бы Пушкин не ухватился за папку, неужели отстранился бы... Так изменилось место поэта в государстве и сами поэты» (с. 123), — морализует Солженицын.

Оставим в стороне ложную патетику. Великий Пушкин, увы, не образец гражданской независимости, и если бы Солженицын лучше помнил историю отечественной литературы, он никогда не покусился бы на эту параллель. Обратим внимание на другое. Тогда, в 1965 году, еще до случившейся беды, Твардовский был оскорблен недоверием Солженицына, забравшего из сейфа рукопись, несмотря на горячие уговоры оставить ее там. В стенах «Нового мира» никто не посмел бы ее конфисковать без согласия А. Т. «Этого не будет, пока я тут редактор», — решительно говорил Твардовский, пристукнув ладонью по столу. Но после того как Солженицын, ходя своими петлистыми следами, перехитрил сам себя и рукопись романа была конфискована у Теуша, положение переменилось. Одно дело — держать в «Новом мире» пред-

ставленную автором по договору рукопись, другое — официально принять на хранение экземпляр романа, уже конфискованного. Солженицыну было наплевать на «Новый мир», положение Твардовского как редактора журнала не входило в его раздумье. «Литератор-подпольщик», как он сам себя аттестует, так изощренно продумавший все свои «захоронки», мог бы, казалось, сам найти место для хранения своей рукописи. Предложение ее Твардовскому в *этих обстоятельствах* несло в себе мало благородства, имело объективно и такой оттенок: если я загремлю, пусть и «Новый мир» гремит со мною, звонче отзовется. Да уж, и кстати, если вчитаться в текст «Теленка» — что за рукопись принес А. Т. тогда Солженицын? Второй или третий экземпляр романа. Один, как мы теперь достоверно узнаем от автора (раньше только догадывались), спрятан подпольно, другой — уже за границей. Так что паника о безвозвратной пропаже этого труда из-за нежелания Твардовского хранить его в редакции была напрасной, а сравнение с Пушкиным, который бы «не отказался», бьет на внешний эффект, и по существу фальшиво. Словом, и тут я могу понять Твардовского, но совсем не понимаю Солженицына, обвинившего его в трусости.

Второе, что делает образ Твардовского у Солженицына мало привлекательным, — это *водка*. Не очень хотелось бы об этом писать по деликатности сюжета. Но что делать, если в «Теленке» тема уже распочата. Солженицын ханжески корит Твардовского за пристрастие к водке, расписывает его пьяный бред в Рязани, куда сам пригласил его в гости — «и это в доме автора — трезвенника!» (с. 87). Тяжело, неприятно читать эти страницы книги.

Ему то, простейшее, не приходит на мысль, что Твардовский только четыре года как умер, и достойно ли при живой его жене и дочерях потрошить его личную беду и слабость на потеху всего читающего мира? В прошлом веке это называлось «личностью». Но прошлый век нашему гению не указ — он и Льва Толстого возьмет за бороду. Оттого скажу грубее: а если бы некто, как добродетельный моралист, стал рассуждать о перипетиях личной жизни «теленка», выставлять на свет то, что о ней по слухам известно? Или стал под-

бирать рассказы о его неблагородстве и неблагодарности от людей, ему помогавших и близких его семье? «Не дворянское это дело», — говорил в таких случаях потомственный крестьянин Твардовский.

Но раз уж таким «недворянским делом» Солженицын занялся, следует сказать об этом два слова. Да, Твардовский временами пил много, пил запойно и мучительно, и надо признать, общественные обстоятельства и невзгоды сильно этому способствовали. Душа поэта с его сверхмерной чувствительностью требовала защиты от невозможных жизненных впечатлений. Говорят, он стал особенно сильно пить в войну, потому что не мог вынести того, что ему пришлось видеть, — смертей, огня и пепла родного дома на Смоленщине. И так же сильно временами пил он в тяжелые дни «Нового мира», ища и не находя для себя и журнала выхода и защиты. Солженицын прав, когда говорит, что водка для него была одним из видов «ухода». Но он совсем не прав, оскорбительно не прав, когда изображает Твардовского так, что читатель может усомниться в его нравственном здоровье и целостности его личности.

Я видел Твардовского в разные минуты его жизни, сам выпил с ним не одну стопку, и могу твердо говорить: удивительно было в нем, что водка не разрушала его морального «я». Никогда, даже в глубоком опьянении, он не путал нравственных оценок, не мог оскорбить зазря человека, душевно ему близкого, и не восхищался тем, чем не стал бы восхищаться натрезво.

Вспоминаю другого крупного поэта — современника Твардовского, страдавшего тем же недугом. Когда он пил, с ним нельзя было разговаривать, невозможно сидеть за одним столом: в нем просыпался злой бес; он становился желчен, нетерпим, говорил глупости и гадости, с удовольствием оскорблял знакомых и малознакомых ему людей, и чаще всего дело заканчивалось пьяной ссорой. Ничего похожего не случалось с А. Т.

Я более скажу: меня всегда поражало, что даже в полосу мучительного запоя мысль его не засыпала и только как бы «прокручивалась» чаще обычного в одних и тех же формах.

Он никогда не съезжал на мелочные и глупые разговоры, «пьяные обиды», и даже в сонном дурмане, непослушным уже языком, кажется, думал и говорил о самом своем главном, существенном. Для меня в этом — еще одно доказательство цельной души, подлинности, неподдельности его чувств и желаний.

В пьяном Твардовском из «Теленка» я не узнаю близко знакомого мне человека: то, да не то. Но Солженицын вздувает и наклоняет определенным образом эту тему, конечно, не из личного недоброжелательства к А. Т. Ему важно показать, «какими непостоянными, периодически слабеющими руками велся «Новый мир» (с. 90). Он повторяет, таким образом, привычную клевету казенных недоброжелателей Твардовского: журнал ведет алкоголик, его слабостями пользуются и т. п.

Третье обвинение Солженицына Твардовскому еще очевиднее относится не к нему лично только, но и к самой атмосфере журнала — это обвинение в «культе» главного редактора, его чрезмерной важности, недемократизме. Автор «Теленка» не брезгует и такими «художественными деталями», как то, что Твардовский с опаской переходил улицу (не привык-де пешеходом!) или с трудом влезал в старенький «Москвич» («по своему положению он не привык ездить ниже «Волги» (с. 84), — комментирует Солженицын). Смеху подобно! Улицу А. Т. и в самом деле переходил тревожно, вцепляясь в рукав спутника, нервничая перед каждой движущейся машиной. Но это просто потому, что до конца не мог привыкнуть к городу, оставалась какая-то деревенская робкая закваска, потерянность перед его движением и шумом. К слову сказать, точно так же робел он большой воды и, когда мы были с ним на Волге, в Карачарове, неуверенно чувствовал себя в лодке, как человек, не на реке выросший (в смоленских его краях большой реки не было). А в «Москвич» с трудом влезал А. Т. по той же причине, по какой предпочитал широкое старомодное кресло в моем доме хлипкому современному стулу: такая уж «курпускуленция» — человек был широкий в плечах, рослый, могучий. Что же тут искать «вельможности»?

Но кроме назойливых упоминаний, что А. Т. «подавали длинную черную» (с. 141) (у редакции была одна «известинская» «Волга», и Твардовский ею пользовался для поездок домой и на дачу, куда без машины и не попасть), Солженицын выдвигает другое, более крупное: «редакция содержалась внутри себя по культовому принципу... У Твардовского не хватило простоты и юмора заметить это и растеплить» (с. 44). Редакторы «Нового мира» «не имели другой цели, как угодить Главному редактору» (с. 44). По всей книге разбросаны замечания о том, что Твардовский был трудно доступен: рядовые редакторы попадали в его кабинет нелегко, многое зависело от его настроения, капризов и т. п.

Обидно, что художник такой наблюдательности и психологической догадливости в этом случае так не способен к пониманию людей и обстоятельств, так напористо пристрастен, что рисует не просто искаженную, а прямо перевернутую картину.

Твардовский не был человеком, распахивавшимся перед первым встречным. На далеких и незнакомых людей он часто производил впечатление замкнутой сосредоточенности, даже некоторой важности, — это правда. Многое зависело и от настроения. Но никогда тут не было позы или фальши. В нем безостановочно шла серьезная душевная работа, и он, по сути человек застенчивый и чуткий, боялся непрошеного вмешательства. Он охранял себя инстинктивно от наглости, бесцеремонности, панибратства. Но для всего, что касалось дела, журнального дела в первую голову, он был открыт и доступен всегда, даже для людей мало ему приятных, но, по его понятиям, честно помогавших тащить журнальный воз. Любой сотрудник мог войти к нему в любое время, когда он был в своем кабинете, и иные из нас этим злоупотребляли. Скажу больше, «Новый мир» обычно попрекали стихийностью и безалаберщиной в организационном смысле. У нас не было регулярных заседаний редколлегии, как правило, не велись стенограммы и протоколы, а журнал делался скорее, как в старые, «некрасовские» времена. Пришел редактор, бросил на стол изношенный желтый портфель, туго набитый прочитанными рукописями и верстками, — и сразу вокруг

него возникала «куча мала» членов редколлегии и сотрудников. Шли со своими вопросами, просьбами, недоумениями, и я не знаю случая, чтобы кому-либо Твардовский отказал во внимании, беседе, добром совете. Видел я на своем веку много разных редакций, а такого отсутствия «вельможности», канцелярского этикета, такой простой и само собой разумеющейся демократичности не видел нигде.

Но как лица людей Солженицын гримирует под свою задачу — один интриган, другой злодей, третий карьерист — так и атмосферу редакции передает потемненно, лживо. Чего стоит одно его замечание, что когда он однажды пришел к Твардовскому поговорить о делах, все сидевшие в кабинете А. Т. сотрудники мгновенно вышли, оставив их вдвоем. Солженицын оценил это как «черту иерархии»! (с. 288). Именно так: не обычную деликатность по отношению к приезжему автору, редкому гостю журнала, у которого могут быть личные, доверительные разговоры с А. Т. (я знал, что Солженицын всегда этой доверительности и домогался), а, конечно же, «культовый принцип» (с. 44), «номенклатурную логику» (с. 111). Увы, из таких вот деталей и сплетена вся удручающая картина внутренней жизни журнала.

Впечатляюще нарисовав прощание Твардовского с редакцией в феврале 1970 года, когда он обошел все комнаты и сказал несколько прощальных слов каждому из сотрудников, Солженицын подчеркивает, что до этой минуты на других «этажах», кроме своего, Твардовский и не бывал никогда, «прежде никогда не собирал» (с. 303) всех работников журнала. Глупость! Собирались неоднократно все вместе и за деловым будничным, и за дружеским праздничным столом. Все, кто работал тогда в «Новом мире», помнят товарищеское тепло этих встреч.

Сошедшиеся после ухода Твардовского в его опустевшем кабинете рядовые сотрудники будто бы восклицали, по Солженицыну, в избытке чувств: «Простим ему неправые гоненья». Что значит, в применении к Твардовскому, эта пушкинская цитата? Когда, какие сотрудники редакции испытывали «гоненья» от Твардовского? Кому могло это войти в голову? Не знаю, теряюсь.

Знаю лишь, что в известном смысле «культ Твардовского», если угодно, в редакции был. Только не в том, в чем его видит Солженицын. Твардовского безмерно уважали — как поэта и как человека. В «Новом мире» работали самые разные люди, но я не знаю ни одного, кто бы относился к А. Т. без уважения. Большинство же просто любили его глубоко и сердечно, верили его слову, его честности. Уважали в нем и талант редактора, и добросовестное отношение к делу, презрение к пустой формальности.

Да он, помимо всего, был *работник*. Кто писал самые точные, дельные и подробные ответы начинающим авторам? Твардовский. Кто лучше всех, то есть богаче мыслями, шире задачами, точнее по зоркости художественного взгляда, наконец, изящнее всего по форме изложения выступал на обсуждении чужих рукописей? Твардовский. Кто умел прямо и резко, по заслугам сказать маститому автору о неудаче? Твардовский. Кто находил самые теплые, искренние слова, чтобы поздравить писателя с успехом? Твардовский. И можно ли было не уважать его за все это?

Солженицын дает понять, что возражать Твардовскому в редакции никто не решался, за исключением разве Дементьева, имевшего на него подавляющее влияние. И это неправда. Возражали, спорили, ссорились даже не раз. Всегда очень резко и определенно, не в ущерб личной дружбе с Твардовским, выражал свое мнение И. А. Сац. Да и Б. Г. Закс, Е. Н. Герасимов, А. И. Кондратович и другие, каждый в согласии со своим характером, отстаивали по конкретным журнальным поводам мнения и оценки, не совпадающие с суждениями главного редактора. Обо мне Солженицын пишет, что не помнит, чтобы я хоть однажды стал противоречить при нем А. Т. Это понятно, ***при нем*** я, возможно, и не стал бы ему возражать. Но нельзя же понимать мир так: «Если я этого не видел, значит, этого не существует».

С сожалением вспоминаю, сколько раз расходились мы с А. Т. в конкретных случаях и оценках[1]. До неприятных раз-

[1] К сочинениям Солженицына это относилось меньше всего. У меня не было оснований расходиться с А. Т., когда он хвалил «Ивана Денисовича», «Матренин двор» или «Круг первый». Сошлись мы и в критике, главным

молвок доходило. Он мог в запале накричать, я — уйти не простившись. Но вот замечательная его черта: на другой день утром он звонил как ни в чем не бывало и, даже если я был неправ, звонил первым, говорил что-то шутливое и примирительное или попросту начинал сразу с дела — и мир мгновенно восстанавливался.

Я уж не говорю о собственных сочинениях А. Т., когда он предлагал их журналу: о поэзии, статьях. Сам он ввел неукоснительное правило: если речь идет о публикации сочинения, принадлежащего перу сотрудника редакции, должно быть обеспечено единогласное одобрение его членами редколлегии. Если хоть один решительно против — не печатать. И по отношению к себе, как автору, исключения не делал. Достаточно было одного сомнения или кислого отзыва, и он убирал в стол не понравившееся кому-либо в редакции свое стихотворение. А как спорили по его статьям — тому свидетелями машинопись и корректуры статей о Бунине, Исаковском и др., на которых немало и моих пометок и поправок.

Так, коротко говоря, обстоит дело с «культом Твардовского».

Но если о самом А. Т., которого, по мнению некоторых снисходительных читателей, он рисует все же с симпатией, Солженицын успел наговорить в «Теленке» столько неприятного и порочащего, то, понятно, с его товарищами по редакции, членами редколлегии, он вовсе не церемонится. Это галерея монстров — прихлебателей, трусов, подхалимов, карьеристов, «держащихся за подлокотники» редакторских кресел.

О них так пишется:

А. И. Кондратович — «маленький, как бы с ушами настороженными и вынюхивающим носом, задерганный и запуганный цензурой» (с. 26).

Е. Н. Герасимов — «благополучный Герасимов, сам многолистный прозаик» (с. 26).

образом по художественным мотивам, пьесы «Свеча на ветру», о чем Солженицын пишет невнятно. Стихи свои Солженицын давал Твардовскому лично и, так сказать, «домашним способом», и тот браковал их в одиночку: «Этого вам даже читать не надо», — говорил он мне.

Б. Г. Закс — которому «ничего не хотелось от художественной литературы, кроме того, чтобы она не испортила ему конца жизни, зарплаты, коктебельских солнечных октябрей и лучших зимних московских концертов», человек, «равнодушный к тому, каким получится журнальный номер» (с. 26).

И. А. Сац — «собутыльник Твардовского», «мутноугодливый Сац» (с. 28).

А. Г. Дементьев — «партийный обруч и партийная крышка над литературой», «распаленный яростный кабан» и т. п. (с. 34, 45).

Читаешь, и будто слышишь голос Собакевича. Конечно, разные все это люди, со своими слабостями, недостатками, но в этой злой карикатуре я не узнаю ни одного из них.

Непритязательный, в мятой кепке и драном пальто, вечно взъерошенный и растрепанный, едва начавший в свои 60 лет печатать свои повести Герасимов — «благополучный, многолистный прозаик»?

Закс, беспредельно преданный Твардовскому и журналу, незаменимый знаток журнального дела — равнодушен к тому, какой получится номер?

Кондратович — годы упорно и изобретательно проводивший в печать книжку за книжкой журнала, выдерживавший с честью многочасовые баталии в Главлите — «запуганный цензурой»?

Блестяще образованный, остроумный и скромнейший Сац — в прошлом литературный секретарь Луначарского, ближайший друг Андрея Платонова и Георга Лукача, заслуживший один липучий эпитет — «мутный»?

Меня Солженицын пощадил и не припечатал в «Теленке» каким-нибудь словом-кличкой. Он даже сделал мне честь разобрать мои взгляды, личность и «эволюцию» в специальном «этюде», в рассмотрение которого я, по понятным причинам, входить не буду. Но дух всех его высказываний об авторе этих строк тот же, собакевичевский: «один-де во всем городе порядочный человек прокурор, да и тот, если правду сказать, свинья».

Словом, на кого в той редколлегии ни взгляни, у всех, за исключением Твардовского, оставалось мало «доглядчивос-

ти, вкуса, энергии делать веские художественные замечания», все они были озабочены лишь, чтобы «тащить и не пущать», представляя собой «камуфляжную кукольную верхушку» (с. 66).

Как быстро забыл Александр Исаевич некоторые наши обсуждения его вещей, где речь шла, между прочим, и о художественных промахах талантливого автора. Помню, как упрекали его в неправдоподобии сюжетного поворота в рассказе «На станции Кречетовка», где его герой (актер) в 1942 году не помнил и не знал, что Царицын давно переименован в Сталинград, и тем возбудил у молоденького лейтенанта роковые для себя подозрения. Все сочли тогда эту мотивировку натяжкой. Многие возражали против дешевой карикатурности Авиэтты в «Раковом корпусе», да и мало ли еще делалось «веских художественных замечаний», в том числе и о словесных его экспериментах, часто замечательных, а иной раз — наглядно неудачных: живорожденные слова рядом с искусственными мертвяками. Я как-то, помню, даже подарил ему после одного спора этимологический словарь Преображенского, куда не грех всякому литератору заглядывать для проверки рискованных словообразований. Многое еще можно было бы вспомнить из наших литературных взаимообщений. Но автору «Теленка» вспоминать все это не хочется, и он делает окружение Твардовского сворой изощренных иезуитов и политиканствующих ничтожеств.

Оттого не приходится удивляться и его выводу, что в создании такого журнала, как «Новый мир», повинна никак не его редколлегия, а «подпор свободолюбивых рукописей», которые «сколько ни отбрасывай и не калечь» (с. 66) (этим редакторы «Нового мира» как раз и занимались в охотку), в нем остается еще немало ценного.

Неясно одно только, почему «подпор рукописей» не привел к тому же эффекту в «Октябре» или «Москве»? Или автор «Теленка» думает, что редколлегия, какой он ее описал, не смогла, если бы захотела, укротить «либеральные тенденции» Твардовского? Кстати уже и был опыт, когда в 1954 году, во время первой полосы редактирования Твардовским журнала (1950–1954) А. Т. вынужден был уйти, а

редколлегия, «признав ошибки», а в лице некоторых своих членов и подвергнув критике главного редактора, благополучно продолжала работать с новым.

Правда заключается в том, что с 1958 года Твардовский особенно тщательно подбирал себе редколлегию. Ему никто не навязывал людей, о которых Солженицын отзывается теперь так презрительно.

Твардовский приглашал в журнал тех, чьему литературному вкусу доверял, чьи общественно-нравственные убеждения были ему близки. Большинство членов редколлегии были его многолетними товарищами и сотрудниками, а таких, к примеру, как И. А. Сац или А. Г. Дементьев, можно просто назвать и ближайшими его друзьями.

Кстати, о друзьях Твардовского. Солженицын и в этом ему отказывает, утверждая, что «Твардовский мало имел друзей, почти их не имел...» (с. 28), что у него «не было способности объединяться с равным» (с. 57). Читай так: с Солженицыным не подружился, а стало быть, и друзей иметь не мог. Смешно тут что-то объяснять и доказывать. Не стану поэтому вспоминать о его дружбе с Маршаком, Казакевичем, Соколовым-Микитовым, Исаковским... Скажу одно: если то замечательное товарищество, какое возникло у нас в «Новом мире», в кругу близких Твардовскому людей, не называть дружбой — то, что тогда на человеческом языке зовется этим словом?

* * *

Отчего же, хочу спросить, так искаженно и пристрастно, с каким-то внутренним раздражением и злорадством рисует автор «Теленка» жизнь журнала? Почему в Твардовском-редакторе я лишь изредка, лишь в немногих эпизодах узнаю живого Твардовского, а портреты хорошо знакомых мне людей, работавших с ним, выглядят карикатурами?

Одна причина на виду: Солженицын мало знал Твардовского и плохо его понял. В свои приезды в журнал, в вечной спешке, занятый одним собою, он очень поверхностно мог наблюдать то, что делается в редакции, и, собравшись писать

об этом, ухватил лишь внешние фельетонные черты, писал с недобрым взглядом, многого не понимая, о многом судя по *ложной догадке*. В его книге немало найдется улик такого непонимания людей, обстоятельств, даже разговоров наших, которые он фиксировал, услышав в пол-уха и сообщив им превратный смысл.

Крохотный пример. Солженицын описывает, как вместе с автором этих строк он едет на дачу к Твардовскому. Твардовский — нехорош, он в полосе своего недуга и, встретив нас на пороге дома, обращается ко мне со странными словами: «Ты видишь, друг Мак (?), до чего я дошел» (с. 212). В контексте воспоминаний Солженицына фраза эта звучит как сумеречный пьяный бред, и не зря после словечка Мак — у Солженицына недоумевающий знак вопроса. В самом деле, с чего это взбрело Твардовскому меня так называть? Первую минуту, прочтя эти строки, и я встал в тупик. Что за иероглиф? И вдруг понял. Солженицын верно пишет дальше, что на слова А. Т. я рассмеялся и легонько обнял его за плечи. А дело все в том, что автор «Теленка», как и в некоторых других случаях, услышал звон, поспешно зафиксировал его в памяти или на бумаге и *истолковал*, не поняв резона.

В ходу у А. Т. были бесчисленные народные присловья, шутки, смешные литературные цитаты, которые в нашем кругу понимались с полуслова.

Сходится в хате моей
Больше и больше народу.
Ну говори поскорей,
Что ты слыхал *про свободу*? —

встречал он, бывало, входившего в кабинет посетителя и приглашающе разводил руками. Или в ответ на расспросы, которых хотел избежать:

Погадаем-поглядим,
Что нам скажет Никодим, —

«а Никодим помалкивает», — добавлял он иногда лукаво.

Так и тогда, вместо приветствия он процитировал слова австрийского генерала Мака из «Войны и мира» Толстого, неудачника, проигравшего сраженье и явившегося с этим признаньем в ставку: «Вы видите несчастного Мака». Твардовский с милым юмором любил относить эти слова к себе в некоторых, не весьма приятных случаях жизни — и шуткой утешался сам и утешал других.

К изумлению своему, читая «Теленка», я обнаружил, что Солженицын совершенно не ощущал обычного живого юмора Твардовского, не слышал обертонов его речи. А лукавую усмешку трактовал впрямую и плоско. Чего стоит одна история с солженицынской бородой, к которой мемуарист возвращается несколько раз с какой-то самолюбивой досадой. Очень хорошо помню, как добродушно посмеивались в редакции над этим новым украшением солженицынского лица, и Твардовский шутил, не хочет ли он обмануть бдительность властей и бежать в Америку. Сегодня выясняется, что Александр Исаевич воспринял эту незлобивую шутку болезненно и всерьез, как озабоченность, как бы он в самом деле не сбежал с бородой!..

Помню, как-то встречал Твардовского, возвращавшегося из Италии, он ездил туда с Сурковым. На обратном пути Сурков задержался где-то, кажется, в Киеве. «Где Сурков? — спрашиваю, не увидев его на аэродроме. «Он выбрал свободу», — с комической серьезностью сказал А. Т., и мы от души посмеялись этой шутке, вообразив Суркова, попросившего политического убежища в Италии.

Но юмор Солженицын воспринимает, по-видимому, туго. Оттого еще так нередки недоразумения в «Теленке». «Кем бы я был, если бы не Октябрьская революция» (с. 38) — звучит как тупое самохвальство. «Освободите меня от марксизма!» (с. 278) — как жалостный призыв. «Я две недели был на берегах Сены» (с. 143) — как самодовольная фальшь. А и то, и другое, и третье говорилось с иной интонацией (я ее слышу), и напрасное занятие представлять Твардовского глупее и площе, чем он был, даже не в лучшие свои минуты.

Вообще, в тех случаях, когда Солженицын приводит прямую речь, в особенности людей, которых уже нет в живых, к

этому приходится относиться осторожно. Вот он цитирует покойного Е. Дороша, будто бы сказавшего обо мне мелкую пакость. Не знаю, не хочу верить в это. Слишком далеко это от правды и от наших в ту пору отношений с деликатнейшим Дорошем. Но Солженицын вообще не вполне безразличен к сплетне, дурному слуху, недоброму пересуду. Он легко берет их за истину и скрепляет авторитетом независимого мемуариста.

Тут мне не обминуть одного лица из числа сотрудников «Нового мира», о котором Солженицын по исключению отзывается хорошо. Это сотрудница отдела прозы А. С. Берзер. Ей Солженицын доверяет. Обычная у нашего мемуариста ссылка на источник: «Хорошо зная обстановку „Нового мира“, Анна Самойловна определила...» (с. 25) и т. д.

Берзер, как видно из книги, удалось убедить автора, что если б не ее хитроумнейший женский план — «слопали б живьем моего Денисовича три охранителя Главного — Дементьев, Закс и Кондратович» (с. 27). После того как Берзер, прочитавшая эту вещь в редакционном самотеке, «поразилась» ею, она взяла на себя «заманеврировать членов редколлегии», поскольку не сомневалась, что «любой из членов редакционной коллегии эту рукопись перехватит, зажмет, заглотнет, не даст ей дойти до Твардовского» (с. 25). Ей и принадлежит, выражаясь словами Солженицына, заслуга «вознесения моей рукописи в руки» главного редактора (с. 26).

Не хочу отрицать заслуг Берзер в обнаружении и начальной оценке повести Солженицына. Но любой, кто близко был знаком с работой редакции «Нового мира», подтвердит, насколько искажена нарисованная здесь картина.

Кондратович, Закс, Дементьев, какие бы соображения журнальной осторожности ни владели ими, никогда не скрыли бы от главного редактора острой, действительно интересной рукописи, даже если она не имела шансов быть напечатанной. Я, во всяком случае, таких эпизодов не помню. Твардовский прямо требовал, чтобы ему показывали все замечательное в «самотеке» и не потерпел бы, если б узнал, что такого рода рукописи кто-то для него «просеивает» по

политическим мотивам. Сколько им было перечитано рукописей, не имевших никаких надежд на публикацию, лишь из одного личного, ненасытного интереса к неизвестным литературе явлениям и фактам, запечатленным чьим-то даровитым или просто неравнодушным пером. И для меня очевидно, что Закс, Дементьев и Кондратович, *даже если бы не рекомендовали рукопись к печати*, никогда сознательно не утаили бы ее от главного редактора, непременно сказали бы о ней, дали прочесть.

Но, может быть, они остались бы глухи к художественным достоинствам этой вещи? Сомневаюсь. Я часто расходился во мнениях по разным журнальным поводам с А. Г. Дементьевым и Б. Г. Заксом, но никогда бы не стал отрицать за ними художественного чутья.

Поэтому, когда Солженицын пишет, что, подолгу не появляясь в журнале, «лишь по рассказам Берзер вызнавал, что там в редакции делается» (с. 42), очевидно, как пристрастен и узок источник его информации. Но главное, все же не информация. Главное — взгляд, разумение, позиция, с какой этот материал препарирован и подан. И тут уж, конечно, заслуга того или иного понимания принадлежит всецело автору. Тем более что от проницательного художника можно ожидать подлинно глубокого и самостоятельного понимания людей и идей.

***

Пишу все это, думаю о Солженицыне, вспоминаю, каким знал его все 60-е годы, и дивлюсь: неужто и мы так его не понимали? Или он безупречно провел свою роль, дурача нас? А может быть, он все же прежде был несколько иным?

Помню его скромным рязанским учителем в простецкой рубашке с подвернутыми рукавами и расстегнутым воротом, помню его энергическую деловитость, крепкое рукопожатие, неожиданную на хмуром лице веселую, открытую улыбку. Казалось, его не тронули обольщения грянувшей на него внезапно мировой славы: он был тверд в убеждениях, но терпим и терпелив, прост, сердечен в отношениях с мало

знакомыми людьми... И сейчас он предлагает мне согласиться, что все это поза, маска, актерство?

Да, к концу 60-х он стал несколько меняться. Приобрел осанистость, в тоне его чаще сквозила непререкаемая самоуверенность. Присущая ему и прежде бережливость времени — все на бегу, на спеху, поглядывая на часы — переросла в суетливую торопливость, отдававшую уже невниманием к собеседнику. Тогда не хотелось оглядываться на эти мелочи. Теперь я отчетливее вижу в них логику внутренних перемен.

Солженицыну кажется, что в той цельнолитной фигуре, какую он из себя создал, не должно быть места движению, эволюции. Он вошел в литературу «готовым» и, по крайней мере, с того дня, как переступил порог «Нового мира», не менялся, а лишь развертывал свою тайную программу. Это неправда. И он менялся, и программа менялась. У меня, во всяком случае, и после чтения его автобиографической «легенды» остается впечатление, что в 1962–1964 годах он не просто пользовался обстоятельствами, но искренне пытался «врасти» в советскую литературу и общественную жизнь и, при всем своем критицизме, во всяком случае, не отвергал разнородных соприкосновений с нею. Он, хоть и неохотно, но шел на компромиссы, чтобы печататься, хотел понравиться (и понравился) высшим руководителям страны, бывал на приемах у секретаря ЦК по идеологии, готовился принять, как заслуженную награду, Ленинскую премию... Из одной оговорки в «Теленке» мы узнаем, что его автор в 1963 году, вернувшись в Рязань со встречи Н. С. Хрущева с творческой интеллигенцией, докладывал о своих впечатлениях областным писателям и общественности. В президиуме сидел рязанский «секретарь по идеологии», встретившийся потом Солженицыну на собрании, где его исключали из ССП (с. 284). Словом, было время, когда и он поступал, как поступают — худо ли, хорошо ли, — большинство наших писателей.

О многом из этого ряда фактов он ныне умалчивает или подает их в ином свете. Но я иногда думаю, что займи руководство лично к нему более лояльную позицию, не помешай

оно получить ему в 1964 году Ленинскую премию, дай напечатать на родине «Раковый корпус» и «В круге первом» — и Солженицына мы видели бы сегодня иным. Надо отдать должное Александру Исаевичу. Он долго проявлял известную гибкость и терпимость в отношениях с Союзом писателей, не отвергал возможности разумных компромиссов, и не его вина, что ему не пошли навстречу. Писатель — существо обостренно личное, эгоцентрическое, и этого не поняли те, кому ведать надлежит. Они оттолкнули его и сделали своим злейшим врагом. Помню, А. Т. давал такую трактовку происшедшего с Солженицыным: «Его жали, жали и дожали, так, что он потек».

Понятно, что Солженицын никогда бы с этим не согласился. Ему кажется, что он всегда был таким, каков сегодня, и вся дальнейшая история как бы лежала у него свертком в кармане. Его автобиография должна была это иллюстрировать. Книга о теленке писалась долго и в разные времена, доделывалась за границей, и в ней есть следы торопливой работы — поправок, заплаток, подчисток, делавшихся, по-видимому, задним числом и необходимых, чтобы свести концы с концами. Собственная история Солженицына, как и история других людей в его книге, выпрямлена в сообразии с конечным замыслом.

Я довольно давно и близко знаю писательское племя и какой-то частью сам к нему принадлежу. Потому могу подтвердить: за малыми исключениями все авторы, в особенности понюхавшие дыма славы, амбициозны, чувствительны к похвалам, как дети, и не переносят малейшей критики, уязвимы, пристрастны, эгоцентричны. Но Солженицын не просто писатель, он писатель великий, наделенный огромным талантом, сокрушительной энергией и волей, которая стала тоже частью и качеством этого таланта, помогла ему выжить и утвердиться в крайне неблагоприятных для него обстоятельствах.

И в той же мере велики, доходят до граней крайних, его чувствительность к хуле и похвале, его сознание себя центром вселенной. «Темечко не выдержало», — комментировал Твардовский это обольщение Солженицына своей славой.

В «Теленке» сделан роковой шаг от великого до смешного. И тогда, когда автор с удовлетворением замечает, что «обминул его Бог творческими кризисами, приступами отчаяния и бесплодия» (с. 13); и когда говорит, что за многие годы «ни в одном человеке и ни в одном событии не ошибся» (в то время как вся его книга — реестр ошибок и разочарований в людях), и когда, отказывая Твардовскому в благодарности за публикацию «Ивана Денисовича», заявляет, что «Троя своим существованием все-таки не обязана Шлиману» (с. 60).

«Троя не обязана Шлиману» — каков афоризм! Наша Троя, как говорится, не страдает избытком скромности. Но в этой образной аналогии я заступился бы не только за Твардовского, но и за Шлимана. Не будь этого гениального немца, Троя еще долго не обнаружилась бы для нашего мира, может быть, не была бы открыта и вовсе, подобно тому, как доныне дремлют под землею и водами десятки забытых очагов цивилизации. Что же до судьбы Солженицына, то, боюсь, его просто не существовало бы как писателя. Он мог бы, конечно, утешать себя тем, что те, «кому невидимым струением посылается, те воспримут». Одна надежда на «невидимое струение» и оставалась бы. И если б все же по счастливой случайности его потайные сочинения уцелели для будущих поколений, ими заинтересовались бы разве что какие-нибудь, говоря его словом, «гробокопатели» из журнала «Москва XX века».

«Рукописи не горят». Но беда в том, что и «Иван Денисович», и романы Солженицына представляли бы тогда, наверное, куда более отвлеченный исторический интерес. Искусство долговечно, но все же в литературе «открытие» хорошо, когда своевременно, когда книга — часть живой жизни общества. Так что наша Троя напрасно гневается на своего Шлимана и еще укоряет, что тот не спешил открыть ее из курганов безвестности.

Конечно, сейчас самоощущение Нобелевского лауреата, на длительный срок приковавшего к себе внимание Европы и Америки, совершающего свои гастрольные турне и выступающего на торжественных банкетах в его честь, несколько

иное. Он будто летит в бесконечном пространстве и спешит забыть, что первую космическую скорость дал ему журнал Твардовского. Без него он не одолел бы земного притяжения либо вовсе сгорел в плотных слоях атмосферы. Ему же чудится, что все его движение — и вчера, и сегодня — самодвижение его гения, предначертанный Провидением полет.

Дело в том, что с Провидением у Солженицына — самые доверительные и короткие отношения. С начала пятидесятых годов он окончательно уверовал в «Божье чудо» и «вложенную цель». Даже приспособляя к печати «Ивана Денисовича», он делал это по внушению свыше: «неизвестно для какой цели и каким внушением облегченный» (с. 22) «Щ-854» был передан им в редакцию. А неверующий Твардовский так и не догадался, что явился слепым орудием благого промысла, когда решил печатать повесть. И далее Солженицына в его действиях неизменно «поправляло Нечто» (с. 126), и обнаруживался в его жизни тайный смысл, открывая который, он сам «немел от удивления».

Да, с таким сознанием своего мистического предназначения, с таким мессианским ощущением в себе Божьего промысла — не заскучаешь. Отныне любой каприз мысли, любой политический экспромт, любое своевольное «хотение» можно счесть за тайный голос неба и всегда и во всем себя оправдывать. Удобное и весьма современное психологическое приспособление! Тут нет даже попытки, как у А. С. Хомякова, сделать возможную поправку на различие между «Божьим попущением» и «Божьим соизволением». Все, что пишет и делает Солженицын, — мы должны знать это впредь, — соизволение неба и непогрешимый суд.

Вот только бог Солженицына слишком мало напоминает христианского Бога с его заветами добра и самоотвержения. Скорее это то абстрактно почитаемое высшее существо, перед авторитетом которого склоняется в своих мирских целях Великий Инквизитор Достоевского. Кстати, и понятия те же — помимо авторитета — *чудо* и *тайна*. Чудо — как предначертанное свыше и въявь осуществленное Солженицыным дело его жизни. И тайна — как принцип личного поведения.

«Из моих собственных действий, — пишет автор «Теленка», — я за все годы не помню ни одного, о котором можно было бы говорить не тайно прежде его наступления, вся сила их рождалась только из сокровенности и внезапности» (с. 401-402). И что у Солженицына замечательно — не только от недругов тайна, но, по возможности, и от друзей, от союзников и единомышленников.

Не беда, что наитие не всегда указует верно. Рассердился Солженицын, что «Новый мир» давно его не печатает, побежал тайком от Твардовского в «Огонек» и «Москву». Побегал-побегал между кабинетами Мих. Алексеева и А. Софронова, возвратился ни с чем под «туповатую опеку» «Нового мира». Но своего унижения не простил и, на всякий случай, «Новый мир» же еще раз обругал: слишком долго держали его в «новомирских оковах», побежал бы к Софронову прежде, может быть, что и выгорело. Солженицын описывает все это без тени смущения на лице — ходи срам по чужим дворам.

«Они себя не слышат», — говорила в таких случаях Ахматова.

Но, прибавлю, зато наш автор *видит* себя, то есть всякий миг любуется собою в созданном им литературном зеркале. «...Я вижу, как делаю историю» (с. 162), — замечает он. Это видение реализуется в деталях автопортрета. Вот герой входит в кабинет к Твардовскому: «Я вошел веселый, очень жизнерадостный, он встретил меня подавленный, неуверенный» (с. 170). Вот появляется на Секретариате в Союзе писателей: «...с лицом непроницаемым, а голосом, декламирующим в историю, грянул им» (с. 202). Так в литературных мемуарах о себе, кажется, еще не писали.

Солженицын не сомневается, что в своих отношениях с «Новым миром», как, впрочем, и во всех других случаях, *всегда бывал прав*, и это самое слабое место мыслителя, желающего продемонстрировать свою силу. Более того, если что-либо в его сегодняшнем восприятии не сходится с минувшим и прожитым, он вычеркивает это из памяти и на бумаге. Его должны были бы немного смущать те признания, какие рассыпаны в его письмах тех лет, адресованных Твардовскому и редакции.

«Лично я ничего, кроме хорошего, от «Нового мира» не видел», — писал он, к примеру, мне в 1970 году. Если б было возможно, он, наверное, переписал эти строки заново, как перепечатывают задним числом, подгоняя под сегодняшний день, старые газеты в мрачной утопии Оруэлла.

Наблюдая Солженицына в последние годы, Твардовский говорил со своей усмешечкой: «И что это он все хитрит, Александр Исаевич, зачем ему эта конспирация, почему я не могу знать адреса — куда послать ему телеграмму?.. Ну, приобрели мы дитятко, куда там Маршачок» (С. Маршак был притчей во языцех по авторскому самоволию и упрямству).

Свою калужскую дачку Солженицын от Твардовского и всех нас тщательно скрывал. «Я втайне храню свое Рождество именно от „Нового мира“ (с. 225), — признается он теперь. Но, как бывает, на всякого мудреца довольно простоты. Он думал, что его «укрывище» тайна, пока ему на голову не брызнул однажды в полдень Виктор Луи со своей фотоаппаратурой. И оказалось, что его местожительство, столь тщательно от нас оберегаемое, давно обсуждают все воробьи, чирикающие на липах у Лубянки.

Однако А. Т. и представить не мог всех оттенков той двойной игры, какую вел с нами Солженицын, хотя недоразумений на почве скрытности его было немало. Я обычно заступался за него перед А. Т., когда готова была вспыхнуть ссора. Солженицыну же пытался дружески втолковать положение Твардовского, вызвать к нему участие. Мне всегда казалось, что их публичный разрыв был бы большим несчастьем для литературы, и я, разговаривая с каждым порознь, как мог, умерял страсти.

Но если бы мы знали тогда, чть вымолвит теперь в своей книге Солженицын! Оказывается, хоть и не сразу, но своевременно понял он, что к «Новому миру» надо относиться с «обычной противоначальнической хитростью» (с. 77). И уже на первых обсуждениях «Ивана Денисовича» сидел сдержан, «почти мрачен», потому что «эту роль я себе назначил» (с. 30).

Ну, ладно, люди в редакции — еще мало знакомые, поактерствовал немного, не беда. Но вот его без тени подвоха,

с полной открытостью и радостью за него спрашивают, что им еще написано, нельзя ли для журнала. Он хитрит, фальшивит без нужды, заготавливает искусственные, путающие отводы, будто в кабинете у следователя. Расчетливо поразил всех своей бедностью — 60 рублями учительской зарплаты, а теперь в книге признается, что и не хотел больше полуставки, сидел на высокой зарплате жены. И как невесело читать, что даже снимок для обложки «Роман-газеты», сделанный у фотографа осенью 1962 года, — расчет и фальшь: «то, что мне нужно было, выражение замученное и печальное, мы изобразили» (с. 56).

Лукавил Солженицын, как теперь сам объявляет в «Теленке», и в письмах к Твардовскому. Пишет он, например, А. Т. письмо «будто бы из рязанского леса» и обращается к нему, как к первому читателю своего романа. «Где уж там первому», — комментирует теперь Солженицын. «Я попрежнему с полной симпатией слежу за позицией и деятельностью журнала», — продолжает он в письме. «Тут натяжка, конечно» (с. 169), — спешит он ныне поправиться.

Уже в 1969 году, когда худо было журналу, Солженицын говорил Твардовскому: «Если для пользы журнала надо отречься от меня — отрекитесь. Журнал важнее». Помню, какие круглые, недоуменные глаза были у Твардовского, когда он это мне пересказывал. Солженицын скорее изумил его, чем обрадовал. Предлагает отречься от него, от «Ивана Денисовича» — да понимает ли он, что говорит?

На других дрожжах было замешано наше дело. А, впрочем, Солженицын и тогда играл, притворялся — оттого *так* мог сказать, мог и иначе. Вот еще одна фразочка — после задушевной беседы с Твардовским в редакции о судьбе журнала (1969): «Прощался я от наперсного разговора, — а за голенищем-то нож, и показать никак нельзя, сразу все порушится».

Вот так, *с ножом за голенищем*, оказывается, и разговаривал автор «Ивана Денисовича» со своим крестным отцом, литературным наставником и едва ль не единственным в писательской среде сильным и верным защитником. Лицемерил с доверяющими ему людьми, «двойничествовал»,

без видимой причины и нужды — «для пользы дела», по-видимому. И все это теперь называется «жить не по лжи»?

Нынешний Солженицын диктует законы человечеству, смело аттестует американцам их политических деятелей, объясняет им их интересы в разных уголках мира. Причем, выступая на Западе, говорит обычно не от себя, а от имени русского народа, или страждущей интеллигенции, или борцов за свободу, — старая наша манера говорить лишь «от имени» и «по поручению»... Но я не рискну теперь утверждать, просто не знаю, когда он говорит правду по убеждению, а когда актерствует, рассчитано бьет на эффект.

Купец Цыбукин у Чехова положил в сундук с золотом несколько фальшивых монет, до того похожих на настоящие, что невозможно различить, где золото, где подделка. И самый страшный его кошмар, что теперь все золотые в сундуке кажутся ему поддельными. Таков эффект книги о теленке.

Прежде чем кончить с этой темой — еще живописная психологическая деталь. Солженицын сетует, что в последние год-два «Нового мира» я плохо помогал ему, когда он просил посодействовать встретиться с Твардовским или устроить что-то, что ему было нужно. «Для осторожных целей Лакшина мое влияние на А. Т. было разрушительно», — поясняет Солженицын. «По старой привычке со времен „Ивана Денисовича“ я привык видеть в Лакшине своего естественного союзника. А это давно не было так» (с. 264).

Что за прелесть человеческая психология! Он от меня свои цели таит, мне не доверяет, но сердится, что я не хочу быть лишь слепым орудием. Мне надлежит уговаривать Твардовского, способствовать их встрече, а в чем ее суть — не твое, мол, и дело. Диковинно ли, что такое утилитарное отношение не вызывало во мне в последние наши встречи прилива энтузиазма. Прям, искренен и понятен был в своих чувствах и действиях Твардовский, и на этом фоне «лазы» и «петли» Солженицына гляделись особенно невыгодно. Я долго в глубине души отмахивался от царапающих, неприязненных впечатлений, пытался объяснить бестактность Солженицына «прихотью гения», чудачествами, в смысл которых не хотелось вникать, дабы не разочароваться.

Теперь вижу: отношение к людям, встретившимся на его пути, как к средству для достижения своих целей — то есть противоположность тому единственно несомненному мерилу нравственности, какое выдвигал Кант, — стало второй его природой. Он верит тем и ценит лишь тех, кто безропотно идет за ним. Истина открыта ему, он поведет нас туда, где свет, и спрашивать что-либо не следует: надо в него *верить*. Если Солженицын призывает к смирению и раскаянию, то само собою, каяться должны все, кроме него: он призван разрешать от грехов. Душевного равноправия Солженицын не признает.

Оттого, я думаю, он, при его огромной художественной прозорливости, обречен вечно обманываться в людях, жить в царстве иллюзий и фантомов, и очень ошибочно, лишь по отношению к себе и своим ближайшим обстоятельствам, оценивать общие социальные перспективы.

Для Солженицына, пока «Новый мир» его печатал (имел возможность печатать), главным был «Новый мир»; потом, когда он отдал свои вещи в поток самиздата — важнее самиздата ничего не стало; теперь и самиздат мало что значит в сравнении с заграничными изданиями. И, окажись завтра Солженицын на Луне, он будет считать, что главное дело в мире совершается в лунной типографии.

Да, останавливаю я себя, но, может быть, все это неважно, безразлично или простительно в сравнении с той страшной, огромной правдой, какую он в своих лучших сочинениях высказал? Значит, снова старая дилемма: как совместить малую ложь и большую правду, великость души и неблагодарность, «гений» и «злодейство»?

Может быть, разгадка тут в психологии лагерника?

«Мои навыки каторжанские, лагерные» (с. 105), —пишет Солженицын. Эти навыки, объясняет его книга, суть: если чувствуешь опасность, опережать удар; никого не жалеть; легко лгать и выворачиваться, «раскидывать чернуху» («не тот борец, кто поборол, а тот, кто вывернулся», — напоминает он пословицу); наконец, привычка верить в пло-

хое («в плохое я всегда верю легче, с готовностью», — признается он).

Поведение Солженицына — поведение не телка, а лагерного волка, и надо отдать ему должное: такого рода характер, такие навыки и помогли ему, наверное, выжить в лагере и повести на воле борьбу, какую он повел. Беда в том лишь, что средства не безразличны к цели. Или снова наш рок — утверждать правду посредством лжи, внедрять добро кулаком и заставлять уверовать в силу прямоты, восхищаясь ловкостью обмана?

Солженицын склонен считать зэков особым племенем — со своей психологией, нравами, языком. Бесконечно мое уважение к этим людям, к их несчастью, их трагической судьбе. Достаточно узнать бывает, что человек прошел через ужасы сталинского лагеря, отбыл там свои восемь, десять или пятнадцать лет, а то, как Дмитрий Витковский, и «полжизни», как мы, избегнувшие этой судьбы, люди другого поколения, внутренне подтягиваемся и с иной мерой участия и почтительного восхищения перед вынесенным страданием смотрим на собеседника. Я коротко знаю, переписываюсь и близко дружу со многими замечательными людьми, отбывавшими свои сроки в Магадане, на Колыме или в Экибастузе. Видел людей, побывавших в лагере и позже. Все они по-разному впитали лагерный опыт, и без всякого оттенка лагерной жестокости или превосходства перед «вольняшками» возвратились в *эту* жизнь. Так что и племя бывших зэков по меньшей мере неоднородно.

Да едино ли это племя и в условиях неволи? Сам Солженицын изображением лагеря в «Иване Денисовиче» (я об этом писал в статье 1964 года) прекрасно показал, что все механизмы отношений, действующие на воле, уродливо, искаженно, ужасно, но повторены в лагере. И там по-разному ведут себя люди — благородные и угодливые, добрые и злые, и там, в среде, казалось, самых отверженных и уравненных своим несчастьем зэков возникает своя иерархия, отношения господства и подчинения, свои малые привилегии. Да и не может быть иначе. Люди несли с собой в лагерь то, чем

пропитались на воле, а накопленный лагерный опыт возвращали обратно в «вольную» жизнь.

Я это к тому говорю, что Солженицын сам, похоже, не отдает отчета, насколько много в лагерном его воспитании, которым он так гордится, чисто сталинской атмосферы лагеря, выстроенного в человеческих душах, — безразличия к средствам, психологии «превентивного удара» и жестокости. Воспитавшись в правой ненависти к сталинизму, Солженицын незаметно впитал его яды — и не оттого ли в его книге так много нетерпимости, неблагодарности? Конечно, объективно говоря, такое искажение в человеке великого таланта — еще один счет сталинскому времени. Но и сам Ермил — где был, куда плыл? Парадокс, увы, в том и заключается, что со страстным призывом к правде, человечности и добру к нам обращается автор, *для себя* презревший эти заветы.

Громко отрицающий всякое насилие, в особенности революционное, автор «Теленка» сам не замечает, что культивирует идею смертельной борьбы, сходясь со своими антагонистами даже в привычной для них военной фразеологии. Известно, что беллетристы кочетовской школы очень любят барабанный бой и свои книги вполне мирного времени уснащают перлами домашнего милитаризма. «Новый мир» не однажды смеялся над этим в своих рецензиях. Как же огорчительно было обнаружить ту же методу писания в «Теленке», то же взвинчивание страстей и военизацию общественно-литературного быта. «Мое Бородино», «сражение», «вышел из боя», «дал залп», «их атаки замирают», «плацдарм мал», «мои батальоны» и т. д. и т. п. (с. 202-204, 224) — немного совестно читать это у Солженицына, описывающего свои схватки с Союзом писателей. В угаре порохового дыма, под гром игрушечной канонады подтаивает доверие к рассказчику.

Можно понять автора, который особенно гордится «Гулагом» — не как книгой, а как средством обличения и борьбы. Что и говорить, это «художественное исследование», несмотря на все заблуждения и пристрастия его творца, будет жить долго. Это обвинительный акт, прокурорская речь со множеством бесценных свидетельских показаний, страстью к открытию утаенной правды, и со всеми преувеличениями

ненависти. Пока история не найдет более объективных летописцев и не произнесет собственного суда над прошлым, пристрастный суд Солженицына останется в силе — останется и как памятник погибшим, обличение преступлений сталинского режима.

Но зачем, никак не пойму, не дожидаясь, пока о том скажут другие, заявлять о своей книге: «убойной силы», «крушащий удар», «скосительную свою книгу». И еще: «должны ж они оледениться, что такая публикация почти (?) смертельна для их строя» (с. 387); «громоглашу я против них уже 7 лет...» (с. 426).

Да, не шутя можно сказать: в 1966–1974 годах автор «Теленка» выиграл свой бой со своими преследователями, с пропагандной машиной, и оттого испытал упоение победителя. Но, похоже, победа эта достигнута ценой немалых утрат. Писать о себе так, как написано в «Теленке», можно лишь в особом самосознании: будто стоишь в центре вселенной и ей законы диктуешь. Все существует не само по себе, а только в отношении к нему; все получает благостыню через него и повергается в прах одним его заклятием.

Но все же цель, цель!.. Какова цель, которой посвящены небезупречные средства? Может быть, ею все оправдывается, все выкупается? И наши сетования — смешное брюзжание на гения, дерзко заглянувшего в наше завтра?

Эх, коли бы так!

Солженицын выставляет себя в «Теленке» человеком ясной программы. Он всегда, и во всяком случае, с конца 50-х годов, знал, чего хотел, и все посвящал одному *делу*, одной *цели*. Какой?

Личная его цель — публикация своих «подпольных сочинений» — выявлена сполна и блестяще им достигнута, хотя и здесь он, как кажется, приписывает себе задним числом излишек провидчества. Даже Нобелевскую премию он, оказывается, уже присудил себе в мечтах, впервые услыхав о ней в лагере и тут же решив: «вот это — то, что нужно мне для будущего моего Прорыва» (с. 314).

Но кроме личной, хоть и несомненно высокой цели, должна быть у человека, прямо пустившегося в область политической борьбы, какая-то цель общая, обращенная к настоящему и будущему его народа, страны. И тут — при видимой полной ясности — полная неясность. Чего он хочет для России, чего ждет от нее? Не знаю, не пойму. Судя по идиллическим его понятиям о нашем дореволюционном прошлом, ему кажется, что у России одно будущее — ее прошедшее. Достаточно перечитать «Письмо вождям»: он никак не против самой крепкой и крутой централизованной власти, и даже самодержавность и великодержавность имеет для него в себе нечто привлекательное. «Вождям» надо было бы лишь послушаться доброго совета и расстаться со своей пагубной идеологией — все стало бы на место. Да если б еще вернуться к православию на национальной основе... И из словесного тумана явственно выплывает триада графа С. С. Уварова: «Православие, самодержавие (пусть крепкая советская государственность) и народность».

Недовольство настоящим тянет его назад, заставляет идеализировать старую Русь. Но той России давно нет — нравится нам это или не нравится. Люди по-другому живут, по-другому думают и чувствуют, иным богам молятся (или не молятся вовсе) и не будут менять свою жизнь с оглядкой на 1913 год.

Чего он ждет от будущего? Что может предложить? Яростный гений отрицания, он не слишком хорошо представляет себе, к чему звать людей, на что надеяться его соотечественникам — и оттого так легко обольщается мгновенными политическими экспромтами, случайно подвернувшимися под руку рецептами спасения, вроде усиленного освоения Северо-Востока (кем? новыми зэками? кто поедет туда в охотку?) или добровольной уступки нашими руководителями своей идеологии китайцам.

Черта случайного, отрывочного, импровизационного политического мышления — это еще и последствие доморощенной культуры. Солженицын уверен, что в силу своих действительно незаурядных способностей он может перепрыгнуть через любую трудность в любой области знания в два прыж-

ка. И оттого так легко соблазняется внезапными для себя озарениями и открытиями. Похоже, что он основательно не читал ни Герцена, ни Чернышевского и, говоря о них, помнит что-то школьное, приблизительное, навязшее в зубах. Давно и не очень внимательно читал он, по-видимому, и Толстого с Достоевским. Иначе как понять, что за «Вехи» он готов схватиться вдруг как за новое Евангелие, увидев в этой, по-своему блестящей и ущербной книге, сотканной из противоречий мысли нескольких неравноценных философов, то, что кажется ему самоновейшей неопровержимостью.

Конечно, «Новому миру» было на чем сойтись с Солженицыным. Нам тоже не нравился казенно-бюрократический социализм, мы защищали человеческую правду против формальной, мы приходили в содрогание от ужасов сталинского лагеря и протестовали, где могли, против изощренных форм общественного лицемерия. Но мы верили в социализм, как в благородную идею справедливости, в социализм с человеческим нутром, а не лицом только. Для нас неоспоримы были демократические права личности. Мы искали опору своему чувству и убеждению в народе — и, боясь истасканности и фальшивой декламационности этого понятия, всегда дорожили чувством общего с трудовыми людьми. Для Твардовского это попросту было второй его природой.

Спору нет, всякая крупная идея может быть искажена в исторической практике, иногда и до неузнаваемости.

Виной ли тому «дурная природа» людей, генетическая незрелость их как рода, неподготовленность нравственного сознания к новым формам жизни, или скверная, изгаженная почва предшествующих социальных влияний и традиций, но только любой шаг в гуманистическом совершенствовании социальной структуры дается с немалым трудом и чреват откатами, разочарованиями и душевными катастрофами.

Солженицын хотел бы переделать, пересоздать мир по-своему. Социализм не выдержал перед ним своего экзамена. Он склонен его отвергнуть радикально — как принцип, как идею и сменить... на что? Вот тут и заковыка.

А может, все беды и неудачи нашей страны оттого как раз, что социализм понят по-старому, по-монархически, в

соответствии с дорогими автору «Теленка» давними российскими традициями? Ведь идея социализма, пришедшая к нам с развитого Запада, хоть и поддержанная инстинктивно навыками нашей крестьянской общины, пала на такую, в общем, глухую, придавленную вековыми традициями рабства, порченную петербургской бюрократией почву, что и сама... Впрочем, это уже другая тема. «Шагать бывает склизко по камешкам иным» — граф А. К. Толстой рифмовал эту строку со строчкой: «Мы лучше помолчим». Важно отметить, что «Новый мир» прививал своим читателям умение думать, сознавать реальность своего положения и стремиться к лучшему. Журнал воспитывал чувство связи с традициями демократии и культуры — задача просветительная, но для нашей страны не скудная и не узкая.

Для автора «Теленка» всего этого не существует. Он погоняет время, он не хочет ждать, он теребит непрозревших, обвиняет в трусости и мелкости тех, кто не с ним. И у журнала, выходит, если и была какая-то оправданная цель, то только поддержка его, Солженицына. Когда-то, впрочем и не так давно, и он всерьез говорил о «нравственном социализме» (в «Раковом корпусе»). Теперь отрекается от этого: то были не более чем слова персонажа. Для него самого социализм — бранное слово. И поскольку так, а позитивной социальной альтернативы не имеется в виду, то уширяется лишь сектор критики, затевается тяжба с историей — с постоянной «игрой на повышение». Вчера был виновен Сталин, сегодня — Ленин, завтра — вся пропитанная безбожием русская литература и общественность XIX века, декабристы и Герцен, а там, глядишь, и французские просветители XVIII века, и Декарт, и Аристотель, и неведомо еще кто, внушавший почтение к мысли. Что в этом разбираться? Одним миром мазаны. Сама мысль — зло. Благо — вера.

Но если бы нам кто помог поверить в солженицынского бога; говоря откровенно, я просто его в нем не чувствую, не ощущаю искренности его веры. Да и как в политика и мыслителя в Солженицына я верю мало, хотя он и обрел уже замашки политического деятеля знакомого типа — с ненасытным стремлением отсекать, отмежевываться и «приводить

к присяге». Сомневаюсь в том, что через него даруется нам Истина, и не хочу в его рай — боюсь, что попаду в идеально благоустроенный лагерь. В христианство его я не верю, потому что нельзя быть христианином с такой мизантропической наклонностью ума и таким самообожанием. А его ненавистью ко всему, что есть нынешняя Россия, я сыт по горло.

Позвольте, возразят мне, и ненавидеть сладко. Это правда. Проповеди добродетели скоро прискучивают. Ставшие дешевой монетой и скатившиеся с уст дюжинного прохвоста слова об Истине, Добре и Справедливости выглядят оскорбительной пошлостью, особенно там, где все в неладице и разрухе. И в благородном обличье небанальности выступает гений зла. Его слова разрушительной правды дышат неожиданным обаянием, впитываются жадно. Нужно время, чтобы его речами пресытились, чтобы на них тоже выступила зелеными пятнами окись пошлости, и людям вернулось сознание несомненности начальной веры в добро. В этих стихийных колыханиях образованной толпы от одного к другому полюсу верований — повторяющаяся история общественных тяготений и разочарований.

К несчастью, если не брать в расчет огромной и притягательной силы разрушения, позитивные идеи Солженицына отрывочны, случайны, насказаны чисто вмиг, по настроению. Жадно ловя неверный, мерцающий свет популярности, он говорит, говорит со все большей злобой к своей стране и людям, оставшимся в ней без него. Ошибка Рузвельта — дипломатические отношения США с Россией... Другая ошибка — поддержка СССР в войне против Гитлера... И сейчас — никакой торговли, никакой продажи зерна, никакой разрядки, пусть с риском войны...[1]

[1] Некоторые мои критики (в частности А. Латынина в «Новом мире») усомнились в том, что Солженицын говорил об этом. Где? Когда? — возмущались они. Отвечаю. *О признании России Соединенными Штатами*: «Это был тот самый год... когда ваш президент Рузвельт и ваш конгресс сочли эту систему достойной дипломатического признания, дружбы и помощи. Я напомню, что великий Вашингтон не согласился на признание французского Конвента из-за его зверств. Я напомню, что и в 1933 году в вашей стране раздавались голоса, возражающие против признания Советского Союза. Однако признание состоялось...» (Речь в Вашингтоне 30 июня 1975 г. перед представителями

Он думает, что воюет с «режимом», с «идеологией». Но не воюет ли он уже с многомиллионным народом, населяющим эту страну? «Pereat mundus et fiat justitia!»[1] Все должно рассыпаться в прах, если не согласно с Солженицыным, его идеями, его критикой — и никого и ничего не жаль. Пусть не будет хлеба, пусть голод и война — никакой пощады «идеологии». Такая слепая приверженность своей идее, вплоть до самых бесчеловечных из нее выводов, исповедуется у нас разве что самыми закоснелыми аппаратными догматиками. (Не напоминает ли это «случай» другого «нобелиата» — Ж.-П. Сартра, упорно марширующего в синей маоцзедуновской блузе и уже приучившего мир пропускать мимо ушей его слова.)

Автор «Теленка» все беды нашей жизни списывает на «идеологию», не отдавая себе отчета, что и ныне, как во все времена, идеология — во многом производное от реальной жизни людей, которая должна нас все же не меньше интересовать. Впрочем, тут я уже, кажется, впадаю в бессомненный марксизм, а Солженицын боится его, как черта, и в каждом злом и нелепом поступке обнаруживает его происк и власть.

Здесь не место выяснять действительное, благодатное или пагубное, значение марксизма для человеческой истории.

АФТ–КПП. Собр. соч. Т. 9. С. 212). *О союзе против Гитлера*: «И с этой страной, с этим Советским Союзом в 1941 году вся объединенная демократия мира: Англия, Франция, Соединенные Штаты, Канада, Австралия и другие мелкие страны — вступили в военный союз. Как это объяснить? Как можно это понять?» «Мировая демократия могла разбить один тоталитаризм за другим — и германский, и советский. Вместо этого она укрепила советский тоталитаризм...» (Там же. С. 212-214). *О политике «разрядки», торговле с Советским Союзом*: «Международная разрядка нисколько не помогает положению у нас в стране» (Из телеинтервью компании CBS 17 июня 1974 г. Собр. соч. Т. 10. С. 72). «Разрешите Вам напомнить, что в 1973 году прежде поправки Джексона готовилась поправка Вильбора Милза, которая была так сформулирована: не вести торговлю с Советским Союзом до тех пор, пока там не наступит свобод. Затем по некоторым — мне не совсем понятным — обстоятельствам она сузилась, сильно сузилась и свелась к поправке Джексона». (Собр. соч. Т. 10. С. 208); «Не вмешивайтесь в нее (советскую экономику. — *В. Л.*). Перестаньте ей давать взаймы и продавать» (Собр. соч. Т. 9. С. 250). И т. д. и т. п. — *Примеч. автора 1991 г.*

[1] Пусть погибнет мир и восторжествует справедливость (лат.).

Замечу лишь, что в современной расхожей «идеологии» столько пустого, шуршащего, как невыметенные прошлогодние листья, декоративного мусора, что вряд ли она имеет с марксизмом много общего.

Но это так, к слову. В своих последних статьях Солженицын ругательски ругает нашу интеллигенцию («образованщину»), подмечая немало и действительных ее недостатков. Без особого сочувствия отзывается он и о народе — глухой толпе. Но виной всему, как ему чудится, все же «идеология», скрутившая всем мозги набекрень. Напрасное опасение. То, что он называет идеологией, на самом деле чаще всего фразеология, некий вакуум, заполняемый по надобностям жизни. Маркс, наряду с Лениным, принадлежит у нас давно к числу самых малочитаемых писателей. Не видно, чтобы его читало «руководство» (которое вообще читает по преимуществу машинописные доклады и «экстракты» для внутреннего пользования). Еще менее популярны эти книги среди широкой интеллигенции. Жизнь, сложившаяся исторически по-своему, идет — хорошо ли, плохо ли — давно уже самоходом, ища лишь выгодную цитату к случаю.

Беда, что максимализм Солженицына находит ложные точки приложения сил и так легко оборачивается догматизмом, нетерпимостью. Правда, и сам автор подает нам аввакумовский пример готовности к самосожжению. Ради того, чтобы напечатать «ГУЛАГ», рассказывает он в «Теленке», пришел он к «сверхчеловеческому решению» — в случае нужды пожертвовать и собственными детьми (с. 388). Достоевский бы содрогнулся, услыхав такое. Что это — высшее самоотвержение? А может быть, самоотвердение?

Как моралист и политик Солженицын сразу теряет из виду обычных людей с их житейскими интересами, с их слабостью и силой. Верно, что люди («население», как говорит Русанов в «Раковом корпусе») очень несовершенны, наклонны к стабильности жизни и компромиссам. И можно впасть в мрачнейший пессимизм, если ждать, что услышав слова высокой проповеди, все они на другой день будут поступать разумно, совестливо, как надо — а они этого делать не будут. Но надо знать и верить, что в людях —

обычных, грешных, пестрых, неопытных и наивных, поживших и порченных, есть много хорошего, несмотря на их житейский конформизм, приспособляемость и слабости. Это взгляд оптимистический. В противном случае одинокому проповеднику остается лишь лелеять свою досаду на людей, вечно не выдерживающих экзамена у слишком строгого мыслителя.

Справедливость — это всегда все же скрещение личного и общественного чувства. Солженицын, даже в своем общественном поведении, очень личностен.

И, возвращаясь к Твардовскому и «Новому миру», как они изображены в «Теленке», можно сказать: сначала Солженицын видел в редакторах журнала своих потенциальных врагов, которых надо обвести вокруг пальца, чтобы напечатать «Ивана Денисовича». Потом, когда Твардовский это сделал, а журнал стал защищать Солженицына от глупых нападок, он стал думать — не единомышленники ли мы ему, из трусости или хитрости в том не сознающиеся («По старой привычке, со времен „Ивана Денисовича“ я привык видеть в Лакшине своего естественного союзника...», с. 264). Потом, когда мы не смогли его больше печатать, разочаровался сызнова («А это давно не было так»). И стал говорить о моих «осторожных целях», намекая на лично-своекорыстный их характер. К другим соредакторам Твардовского он отнесся, как я упоминал, уж и вовсе без снисхождения.

Он не мог себе представить, что у людей социалистических и демократических убеждений может быть такая заинтересованность в самой бесстрашной критике и такое внимание к художественному таланту. Ему казалось, что альтернатива его гению одна — казенная нетерпимость и публичная, печатная фальшь.

Значит, мы разошлись по существу, и не зря главного в нашем деле он не понял и не признал.

* * *

То, что случилось с Солженицыным, тяжело для всех, кто почитает и любит его талант. Но хуже всего это для него самого.

Он взрывает неправду? Да. Но он стал взрывной машиной, уверовавшей в свое божественное назначение и начавшей взрывать все вокруг. Боюсь, что он взорвет, уже взрывает и себя.

Не знаю, так ли уж не прав был Вильям Блейк, когда писал:

Правда, сказанная злобно,
Лжи отъявленной подобна.

Есть случаи, когда нельзя говорить правду иначе, чем гневно. Но как понять феномен Солженицына? Мы читаем его рассказы и романы, восхищаемся им: это знание людских сердец, это всеведение и высшая справедливость художника!.. Но откуда же тогда в «Теленке» эта злоба и неблагодарность? И где граница между благородной нетерпимостью гения и самовластным капризом человека?

От всего сердца я желал бы ему нравственного выздоровления, его искусству — нового взлета, но, судя по последним его выступлениям, «прогноз неблагоприятен», как говорят медики.

Сделал он безмерно много для всех нас, для русской литературы — вечный ему поклон. Но злой бес разрушения стал бушевать в нем и грозит ему, при всем раскате его нынешней мировой славы, страшным одиночеством. «Ты для себя лишь хочешь воли», — как-то с горьким юмором обратил к нему слова пушкинского цыгана Твардовский.

Так угодно было распорядиться судьбе, чтобы Солженицын дал нам всем два урока:

первый — небывалого мужества, которое оказалось способным все превозмочь и победить;

и второй — бесплодного самоупоения ненавистью и гордыней.

Объяснение тут одно: Солженицын — великое дитя ужасного века — и в себя вобрал все его подъемы и падения, муки и тяготы. В его психологии, помимо высоких и добрых человеческих достоинств, свою печать положили лагерь и война, тоталитарность и атомная бомба — эти главные атрибуты современности.

Он сам цитировал в «Теленке» свое письмо Твардовскому, в котором говорил, что как писатель «русской литературе принадлежит и обязан не больше, чем русской каторге» (с. 294–295). Это так не только в добром, но и в достойном сожаления смысле. Ощущение себя самоцелью, холодность к людям, мессианство, несогласие вообразить себе законность иных интересов, кроме собственных, когда они пересекаются с чьими-либо, и тотальная идея борьбы — возможно ли это для писателя русской традиции XIX века?

Конечно, и Достоевский, и Толстой — а Солженицына мы вправе мерить масштабом этих имен — люди тоже эгоцентрические. Но они, по крайней мере, боролись, как могли, с этим эгоцентризмом вечными «пересмотрами» себя и укоризнами себе вчерашнему. Толстой исписал сотни страниц в дневнике, бичуя свои человеческие слабости. Он поправлял себя на ходу теорией самосовершенствования. Солженицын этот регулятор отключил: он сознал свой эгоцентризм законным, ощутил себя человекобогом, наподобие инженера Кириллова из «Бесов». Жалость, милосердие, справедливость, отзывчивость, благодарность — чем далее, тем меньше эти свойства становились нужны ему.

Наверное, любого непредвзятого читателя поразит эпизод, рассказанный в «Теленке» и относящийся к самым трудным, последним месяцам «Нового мира». Ему звонят, что «А. Т. в очень тяжелом состоянии, требует меня! готов ждать до ночи!». Солженицын подумал: «Я не санитарная команда», и не поехал. О каких добрых, товарищеских отношениях можно тогда говорить? Какое христианство проповедовать?

Верно, что и русская литература века девятнадцатого знала губительно заблуждавшихся в иных своих теориях, зашедших на кривые тропы мысли гениев. И упомянутые только что Толстой и Достоевский были часто дурными проповедниками, и чем больше росла их слава, тем становились глуше и непримиримее в своей проповеди. Достоевский бранил евреев, грубо льстил Победоносцеву и горевал об утрате черноморских проливов. Толстой по-своему переписывал

Евангелие и требовал ото всех плотского воздержания в браке. Никто, разумеется, их не послушался, никто, кроме кучки слепых приверженцев, не пошел за ними. И все равно они стали для человечества учителями жизни, только в другом, более высоком и общем смысле, связанном с их коренными идеями, воплощенными в искусстве.

Солженицын унаследовал и право на досадные и смешные заблуждения, и этот тон учительства у кумиров русской культуры. «Черт бы побрал философию великих мира сего! — восклицал когда-то Чехов по поводу Толстого. — Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны, как генералы, потому что уверены в безнаказанности». Но, что несколько хуже, приходится признать, что Солженицын начинает разрывать ныне и с коренной нравственной традицией литературы прошлого. Его нетерпимость, самообожание переливают через край и делают его незрячим.

И если какую традицию он и надхватывает в своей последней биографической прозе, то это скорее традицию Василия Васильевича Розанова с его всеоплевыванием, болезненной любовью к себе и холодным презрением к морали и людям. Только Розанов делал это в первый раз и оригинальнее: он был противен в этих переходах от юродства к самовосхищению, но не бывал так надут и смешон и, во всяком случае, подкупал, пусть и патологической, искренностью.

В свете сказанного понятнее становится и удивительный эпизод поддержки Солженицыным — в первые же месяцы после разгрома старой редакции «Нового мира» — журнала, отданного на редактирование В. А. Косолапову. Солженицын дал тогда понять, что если бы его печатали, он печатался бы у Косолапова не с меньшей охотой, чем у Твардовского, и других авторов поощрял к тому же.

В 1970 году это ошеломило меня как отступничество. Сейчас, прочтя сочинение о теленке, я удивляюсь разве что своей былой наивности. Ведь, присягая на словах Твардовскому в верности, Солженицын давно уже в тайне души считал ина-

че: «отчаянное противоборство „Нового мира“ „Октябрю“ и всему „консервативному крылу“ представляется мне лишь силами общего поверхностного натяжения, создающими как бы общую прочную пленку, сквозь которую не могут выпрыгнуть глубинные бойкие молекулы» (с. 136). (Уф! Пока переписывал эту цитату, думал: как не по-солженицынски это написано; будто и слух и вкус вдруг ему отказали). Или все же картиннее: «Новый мир», если и окошко, «то окошко кривое, прорубленное в гнилом срубе» (с. 37).

«Бойкая молекула», забывшая, что она выпрыгнула из глубин немоты и беззвестности именно в «Новом мире», не стесняется сравнивать Твардовского как редактора с А. Софроновым или Мих. Алексеевым. А уж окружению Софронова в «Огоньке» — Кружкову или Иванову — прямо дает преимущество перед ближайшими сотрудниками Твардовского.

Чем же недоволен Солженицын в «Новом мире»? Чтобы удовлетворить его, журнал должен был, оказывается, печатать материалы «следующего класса смелости», каждый номер, по его мнению, должен был формироваться «независимо от настроений верхов» (с. 65).

Не нам оценивать меру смелости и независимости «Нового мира» — это лучше сделают другие. Смешно было бы утверждать, что орган Союза писателей, выходящий стотысячным тиражом под пристальными взглядами читателей «сверху» и «снизу», печатающийся в типографии «Известий», ни от кого и ни от чего не был зависим. Вопрос другой, сохранил ли он при этой зависимости достоинство, глубину, содержательность, честность? Думаю, за малыми исключениями, журнал верно следовал критерию Твардовского: «За то, что мы не могли сделать — и не сделали, с нас на том свете не взыщут. А вот если могли, да не сделали — будет нам наказанье».

«Новый мир» в пределах своих возможностей делал едва ли не все, чтобы сохранить доверие читателей к литературе, ее способности говорить правду. Если вспомнить лишь о художественной прозе, то помимо Солженицына, журнал привлек, взрастил и поддержал целое поколение писателей, составивших славу нашей литературы этих лет: Василь Быков,

Василий Белов, Чингиз Айтматов, Борис Можаев, Гавриил Троепольский, Василий Шукшин, Владимир Тендряков, Юрий Домбровский, Константин Воробьев, Юрий Трифонов, Сергей Залыгин, Георгий Владимов, Владимир Войнович, Виталий Семин — я перечислил далеко не все имена.

Но авторитет и популярность «Нового мира» основывались не на одном том, что здесь печатались повести, романы и поэмы большего или меньшего достоинства. Журнал давал *уровень* мысли и нравственного сознания, был в этом отношении поддержкой и опорой для своих читателей, как некая общественная объективность. Письма, получавшиеся в огромном количестве редакцией, подтверждали, что «Новый мир» стал для многих в 60-е годы частью их личного бытия: внушал веру в неискоренимость правды, помогал жить и укреплял силы человеческого достоинства в сотнях тысяч своих сограждан.

Журнал отражал общественное мнение и формировал его. К его читателям принадлежал не один лишь круг столичной элитной интеллигенции или легко возбудимой молодежи. «Новый мир» читали и в высокопоставленных кабинетах, и в глухих местах, в самой далекой провинции — рабочие по найму, библиотекари, сельские учителя, агрономы, страстные правдолюбцы и одинокие вероискатели. Раскрывая свежую журнальную книжку под голубой обложкой, они будто слышали родственный себе голос, подслушавший их мысли, разделивший их чувства, не лгавший им, стремившийся их ободрить и выдвигавший перед ними не свысока новые идеи и проблемы.

Само уникальное бытие такого *советского* журнала было, если угодно, скромным ростком социалистической демократии, давало представление, если не о норме (до нормы всегда далеко было), то о движении к ней. Хоть и резко критикуемый, но непотопляемый «Новый мир» под редакцией Твардовского был для многих людей в нашей стране залогом возможностей здорового развития общества — с серьезной литературой, высоким уровнем самокритики и незаглушенным звучанием общественного голоса. Нехватка такого издания и шесть лет спустя болезненно ощутима не только в

литературе, но и во всей нашей жизни. «Новый мир» Твардовского ничто не заменило и не возместило.

Упреки Солженицына, что журнал, на его вкус, был недостаточно смел, отдают максималистской демагогией. Надо ли напоминать, что у Твардовского не было ни своей печатной машины, ни своих наборщиков, ни своей типографской бумаги; что каждый лист сверки прочитывался и штамповался цензором, а последние годы фактически целой цензорской коллегией, испещрявшей текст такой густоты красным карандашом, что багровело в глазах; что неподписанные листы типография автоматически не принимала к печати, и никакая «смелость» редактора тут не выручила бы; что журнал, и без того опаздывавший книжками на месяц — на два, вовсе не вышел бы в свет, если бы, выждав все возможные сроки, апеллируя во все вышестоящие кабинеты и написав гневные протесты против самоуправства цензуры (сколько их написано Твардовским!), редакция не заменяла бы материал другим, часто не менее серьезным, беря цензора на измор. Словом, стань Солженицын на месяц редактором «Нового мира», он со своими понятиями о смелости, вероятно, и одного номера журнала не выпустил бы, а о публикации под его редакцией рукописи «Иван Денисович» никому неведомого учителя математики из Рязани и речь не успела бы зайти.

Увы, «Новый мир» так и не напечатал оставленного в верстке романа А. Бека «Новое назначение», романа А. Рыбакова «Дети Арбата», романа А. Азольского «Степан Сергеевич», военных дневников 1941 года К. Симонова, поэмы «По праву памяти» самого Твардовского, да мало ли еще вещей, обещанных в проспекте читателям и принятых редколлегией. Не исключено, впрочем, что и напечатай журнал все, что он хотел бы напечатать, его уровень смелости не удовлетворил бы все же Солженицына: для этого надо было во всех политических высказываниях быть адекватным ему и поспевать за ним, а с ним далеко бы не всегда согласились по совести и Твардовский, и редколлегия.

И вот с такой мерой требовательности, с таким робеспьеровским максимализмом Солженицын вдруг прояв-

ляет неожиданную терпимость к факту разгона редколлегии журнала, вынужденной отставке Твардовского. Ни с каким публичным протестом по этому поводу он не выступает, а напротив, в разговорах с писателями и письмах ко мне пытается задним числом обличить старую редакцию в слабости, непоследовательности, считает кару едва ли не заслуженной и фактически поддерживает журнал Косолапова.

Надо знать, что это значило в те дни для Твардовского! Пусть был Солженицын во многом несамостоятелен, поддавшись самооправдательной аргументации некоторых сотрудниц редакции, оставшихся работать с новым редактором, — все равно его позиция поразила Твардовского и всех нас. Как это: ходить, печататься, улыбаться, благодарить, заверять в искренней симпатии — и при разгроме ударить в спину... Долго не укладывалось в сознании.

Но, вскочив на эту лошадку, надо ехать дальше. И вот он желчно укоряет Твардовского в иерархическом мышлении, недемократизме. Он, не советовавшийся ни с кем о своих действиях и ставивший это себе в доблесть, бранит Твардовского за то, что он не собрал низовых сотрудников и не посоветовался, как ему поступить перед уходом. Он язвительно, но совершенно напрасно приписывает перу уволенных редакторов «Нового мира» панегирические анонимные статьи в самиздате, появившиеся на другой день после гибели журнала. И даже страшную болезнь Твардовского, причины которой трагичны и бессомненны, он трактует как следствие малодушия А. Т. «Рак — это рок всех отдающихся жгучему, желчному, обиженному, подавленному состоянию» (с. 309). То есть сам себе и виной — зачем поддался настроению... Какая дурная игра слов: рок — рак; а за этим мучительные годы каждодневного противоборства Твардовского с тупостью, духовным насилием и фальшью, терпеливо, подвижнически сносимые им оскорбления, газетная брань и задержание его книг. И еще досада на отступничество людей, слывших ближайшими друзьями журнала, некоторых вчерашних его сотрудников.

Твардовский не шутил со словами — честь, правда, народ, мужество, родина. И своей смертью заплатил за это не

для того, чтобы вдогонку его гробу Солженицын ерничал над делом его жизни.

Смерть Твардовского, как теперь видно, была для Солженицына тоже прежде всего средством объявиться на публике и покрасоваться под светом «юпитеров». Убитые потерей, тогда мы не поняли этого.

Странным показался только его ответ младшей дочери Твардовского, которая звала проститься с отцом в маленький кунцевский морг, где накануне похорон собрались лишь близкие друзья и не было никакой помпы и толкучки. «Нет, — ответил Солженицын, — у меня сегодня весь день распланирован. Я приду завтра в ЦДЛ, так у меня намечено». И пришел, умело организовав свое появление среди фоторепортеров — потных от усердия, оскорбительно вставших спиной к гробу и в упор расстреливавших в магниевых вспышках Солженицына, когда он, сидя в первом ряду обок со вдовой, набрасывал в блокнот свои впечатления от панихиды и готовился к своему театральному — с поцелуем и крестным знамением — прощанию с покойным, который уже ничего не мог возразить ему.

* * *

Солженицын долго был воплощением нашего мужества, нашей совести, нашей бесстрашной памяти о прошлом. Но что делать, если и эта подпорка падает? Надо научиться жить без нее.

Я сам молчал долго. Молчал, когда уж и молчать было нельзя. Теперь говорю — как прощаюсь с ним — с душевной болью.

Многие писатели, люди интеллигенции все еще хотят видеть в нем пророка нового неба и новой земли. Что бы он ни сказал — это смело, дерзко, разрушительно и отвечает тайному нашему желанию чьего-то заступничества. Он отомстит за наши унижения, за наше молчание, приспособление, душевные компромиссы. Он скажет за *мою немоту*.

И «Теленка» начинают у нас читать с доверием и интересом. Почему? Ярко написано? Нет, за вычетом отдельных по-солженицынски напряженных и интенсивных страниц, не в силу этого автора. Интерес к частной жизни писателей, к литературному быту, портретам изображенных в ней известных лиц? Нет, и не только это.

Интеллигенция наша переживает трудное время — бесконечно далекой кажется та пора общественного оживления, которая связана с 1956 и 1961 годами, развенчанием «культа личности», то есть всего того оздоровительного процесса, который обозначен этими приблизительными словами. Под барабанный бой рутинной фразеологии, уже никого не пытающейся убедить по совести и насаждающей себя дисциплинарной верой, среди заметной части интеллигенции поселились вялость, апатия, равнодушие.

В последний свой год Твардовский прочел мне как-то стихи, которые приведу по памяти:

Время как бы опустело.
В нем того, что было, нет.
Но и то, что быть хотело,
Не вступило в ясный след.
Словно жить осталось тело,
А души у тела нет.

В литературной среде Твардовского уважали, побаивались, но нельзя сказать, чтобы любили его все, и здесь книга «Бодался теленок с дубом» оказывается ко времени. Черное зерно падает на благоприятную почву.

При жизни Твардовский был постоянным укором многим законопослушным, но в душе «порядочным», «либеральным» людям. В лагере не сидел, напротив того, обласкан и увенчан, а переменился в эти годы, как никто, всем пожертвовал ради журнала, ради общего дела, и умер нравственно непобежденным. Вот почему среди читателей, до которых так или иначе дойдет эта книга, найдутся не только те, кто прочтут записки Солженицына с разочарованием и недоверием, но и те, что возьмут их в руки с охотой, воспален-

ным интересом: еще одна «либеральная репутация» пала. Ведь так сладко сказать себе: «Не колите мне глаза вашим «Новым миром»; «не я один труслив и жалок, вот Твардовский — а тоже трусоват и зависим».

Солженицын сыграл в масть этим настроениям. Неведомо почему обидно ему показалось, что в глазах всего мира его репутация стояла рядом с другой высокой репутацией — Твардовского и его журнала, и он поспешил ее принизить.

По-видимому, тут имело место то психологическое состояние, которое можно назвать «комплексом Геракла». Важно, чтобы все знали, что и немейского льва, и лернейскую гидру он победил в одиночку. Никого не должно быть рядом! Никому он не обязан своей судьбой! Он один вел свою борьбу и победил всех!

Эта черта наивного самовеличания будет, кажется, верно расценена даже самыми доверчивыми читателями.

Я на него сержусь, когда он пишет нехорошо о Твардовском, о других близких мне людях. Но когда он пишет о себе — я его жалею. Жалею за потерю им чувства меры, за то, что он так наивно самоуверен и слеп. И удерживаюсь, чтобы не смеяться над ним.

Слишком крупно и дорого в нашей литературе и гражданской истории то, что с ним связано. Уйдут в небытие его поспешные политические приговоры и неподтвердившиеся прогнозы, развеются самолюбия, частные счеты, забудется такая книга, как «Теленок» или статьи «Из-под глыб», — «вторичная литература», говоря его словами. А его главные книги, книги великой его темы — «Иван Денисович», «Круг первый», «Раковый корпус» — останутся и переживут всех нас. Вот отчего я жалею его искренне и сокрушенно.

«Так храм оставленный — все храм...»

Скажу еще раз напоследок: значение этого писателя огромно, разрушительная и очистительная сила лучших его книг необъятна. К художественному дару добавлены в нем чудовищная энергия, дьявольское честолюбие и неслыханная работоспособность. Им отсечены в себе многие истинно

русские слабости — от водки до простой человеческой жалости. В личной жизни и в жизни общей он почти «надчеловек», великое дитя XX века, скроенное по его мерке.

И все-таки, думаю я, художник — не «сверхчеловек», не «человекобог», а просто человек прежде всего. И дефицит чисто человеческих качеств и проявлений непременно скажется, и быстрее всего как раз в нагой автобиографической прозе.

«Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? Чорт с ними! — писал Пушкин Вяземскому. — Слава Богу, что потеряны. Он исповедовался в своих стихах невольно, увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов».

Не знаю как к Байрону, а к Солженицыну я готов отнести эти строки.

Когда невмочь жить и хочется представить себе человека высокого и бескорыстного строя души, я всегда вспоминаю Твардовского. Чтимым в глазах добрых людей останется, я убежден, и его дело последних лет жизни — «Новый мир».

Когда-нибудь об этом напишут книги, не похожие на мемуаристику «Теленка».

И тогда поверх всех временных обид, преувеличений и самолюбий видно станет всему читающему миру, какое чистое и важное для людей дело делал этот журнал, и как действительно крупна и привлекательна могучая самородная личность его редактора.

9–30 августа 1975

В запале полемики

Ответ Б. Можаеву

Редакция газеты «Аргументы и факты», подписчиком которой я являюсь и которую привык уважать, поместила полемическую заметку писателя Б. Можаева, написанную в развязно-оскорбительном тоне и задевающую мои честь и достоинство. Я счел необходимым ответить Б. Можаеву в той же газете, и 29 января переслал письмо в редакцию. Ссылаясь на обстоятельства по существу и на свои права кандидата в народные депутаты РСФСР, защищенные избирательным законом, я настаивал на немедленной публикации ответа. Поначалу редакция согласилась на такую публикацию. Но вот истекает уже четвертая неделя, ответ так и не появляется, мои избиратели дезориентированы, посылают мне на встречах недоуменные вопросы, а между тем день выборов приближается.

В связи с этим я вынужден просить «Вечернюю Москву» ознакомить с текстом моего письма своих читателей.

Возникла полемика вокруг одного из давних сочинений выдающегося писателя А. Солженицына «Бодался теленок с дубом» («АиФ», № 52, 1989 и № 3, 1990). Полемика, пожалуй, преждевременная, поскольку самой книги наш читатель в руках не держал, а, кроме того, автор ее извещал, что основательно переработал текст 1974 года, отрывок из которого был приведен в «АиФ». Я счел необходимым, раз уж публикация отрывка состоялась, вступиться за честь Твардовского и редакции «Нового мира» старым же своим, датированным 1975 годом критическим письмом.

Отвечая мне, писатель Б. Можаев сосредоточился не на сути спора, а на характеристике моей личности, пытаясь выдать меня за врага Солженицына. В письме Можаева ни аргументов, ни фактов я не обнаружил. Зато бранных словечек и язвительных подтекстов в избытке: «лукавая неправда», «ханжески», «Мели, Емеля...», «только в больной голове» и т. п.

Я не пойду тропой своего оппонента и коснусь лишь фактов.

После публикации на Западе моего ответа на «Теленка» Солженицын отозвался на мои возражения особым рассуждением (1982 г.). Опровергая то, что его не убедило или обидело в моей критике, Солженицын вместе с тем написал:

«Лакшин, очевидно, прав, коря меня, что о внутренней обстановке „Нового мира" я судил по слишком беглым своим, всегда на лету, впечатлениям, да по недостаточно проверенным рассказам сотрудников. Допускаю, что я весьма неполно вник в соотношение „1-го" и „2-го" этажей. Я рад, что он меня поправил. Да, наверное, об этом напишут еще другие свидетели. И, конечно, он прав, что я не открыл всего доброго, что можно было еще сказать о Твардовском: при захваченности моим драконовым состоянием я был в позиции мало удобной для спокойных наблюдений. Да, конечно, я давал простор нетерпеливым, а иногда и несправедливым оценкам боя».

Корректируя самого себя, Солженицын в 1982 году во многом иначе написал о роли «Нового мира» 60-х годов:

«Однако задумываюсь я теперь: как я уверенно судил еще 5 лет назад о несомненных преимуществах самиздата перед подсоветской официальной литературой. Но вот теперь „на воле", на Западе, выходит полдюжины претенциозных свободных журналов на русском языке — и, кажется, никто ж им не мешает достичь высокого уровня, никто их не давит, — а отчего ж они не растут? Ни один из этих журналов не может приблизиться к культурному и эстетическому уровню тогдашнего „Нового мира" — а ведь тот был перепутан, скован и размозжен цензурным гнетом».

И еще о Твардовском: «Только сейчас я с возросшим пониманием вижу, как много мы потеряли в Твардовском, как нам не хватает его сейчас, какая бы это была сегодня для нас фигура!»

Пусть судит читатель, насколько далеки ирония и «праведный гнев» Можаева, задним числом обличающего «Новый мир» в «трусости», «страхе», «бездействии», от этих продуманных на расстоянии лет и, без сомнения, искренних слов Солженицына.

Можаев ни словом не обмолвился, что мною в 60-е годы были написаны статьи в защиту Солженицына (в том числе «Иван Денисович, его друзья и недруги») и что именно за них я подвергся настоящей травле в печати. Вместе с тем он счел возможным укорить меня в том, что в момент разгона и после 1970 года, уволенный из «Нового мира» и оболганный, я «покорно молчал».

Можаев прав: молчал. Он забыл лишь упомянуть, что молчал я потому, что мне наглухо заткнули рот. Начиная с февраля 1970-го, в течение нескольких лет я был лишен возможности печататься. Из издательств вернули все мои рукописи. Статьи не принимались в журналах, вычеркивались даже беглые упоминания моего имени в «Литературной газете» и других изданиях. Причина — направление разгромленного журнала и защита Солженицына.

О себе Можаев сообщает читателям «АиФ», что в критические для «Нового мира» дни 1970 года он «не отсиживался за двустворчатой дверью, а действовал». Ссылается при этом на свидетельство Юрия Трифонова в «Записках соседа». В самом деле, открыв мемуары Ю. Трифонова, обнаруживаем имя Можаева в связи с двумя эпизодами тех дней. Первый: группа писателей, в которой был и Можаев, ходила к оргсекретарю Союза писателей К. Воронкову выяснять причины исключения из писательского союза Солженицына. «Было впечатление, — комментирует автор, — будто совершили поступок, хотя дураку было ясно, что все это бесполезно и ерунда». Второй эпизод — попытка коллективного письма в «верха» в защиту «Нового мира». Вот и все, что можно прочитать у Трифонова о «подвигах» Можаева.

Кстати, и редакторы «Нового мира», в их числе и автор этих строк, писали возмущенные письма в «верха», устраивали демарши в кабинетах Союза писателей, но мы-то лучше других знали, что по сути, как верно сказал Трифонов «все это бесполезно и ерунда».

Мне не известны какие-либо статьи или иные публичные выступления Можаева в защиту Солженицына в 70-е годы. Люди моего поколения помнят другое: все годы застоя Можаев успешно печатался, издавал и переиздавал свои книги. Ему расточали щедрые похвалы критики, в том числе многие из тех, кто недавно помогал хоронить «Новый мир». И не удивительно, поскольку как раз в год разгрома «Нового мира» Можаев впервые стал лауреатом премии Министерства внутренних дел. Второй раз щёлоковское МВД наградило Можаева уже тогда, когда Солженицын был выслан из страны — в 1978 году. (Третий раз ту же милицейскую премию он получил на самом излете застоя — в 1984 году).

Ныне, когда это неопасно и в моде, Можаев встал в остро конкурентный ряд тех «апостолов» Солженицына, которые, не удосужившись по-настоящему поддержать его вовремя, теперь соревнуются в степени близости к нему. В наш антимифологический век они творят новый соблазнительный миф вокруг имени действительно крупного человека и большого писателя, наперебой присягают на верность ему, а всякие оттенки несогласия, спора с ним готовы искоренять, как крамолу.

В отличие от оппонента, далекого от объективности, я вовсе не склонен отрицать заслуги Можаева как автора повести «Живой», когда-то напечатанной нами в «Новом мире», или романа «Мужики и бабы». Но думаю, что в данном случае услуги, оказанные им Солженицыну, принадлежат к числу тех, какие зовутся «медвежьими».

«Вечерняя Москва», 1990, 28 марта

Дневники и попутное

Начало декабря 1961 г.

Был в редакции «Нового мира», говорил с Твардовским. Он сказал, что прочел необыкновенную рукопись — «Один день одного зэка». Взял слово, что я никому не скажу и возвращу рукопись через день-два. «Увидите, что это такое, а потом поговорим».

— Все, что сделано доброго в литературе, сделано без разрешения начальства; стоит только спросить: «Можно ли?» — и тебе запретят, — рассуждал Твардовский. Видно, он прикидывает возможности публикации этой повести.

<...>

Придя домой, тут же, вечером, я начал читать повесть о зэке — и читал, не отрываясь, пока не кончил. Жена читала за мной — я передавал ей странички. Вот это подлинность, и сила, и правда! Заснули мы, кажется, только в 4-м часу ночи.

Кто он такой, этот новый автор? Твардовский называл фамилию (на рукописи ее нет), кажется, Соложеницын[1].

22.XII.1961

<...>

Александр Трифонович ... повлек меня на площадку лестницы. Ему не терпелось узнать мое мнение о повести Солженицына. Я поделился своими восторгами, он радостно кивал. Мне пришло в голову, что проложить дорогу повести можно, напечатав отрывок в «Известиях». (Я рассчитывал

---

[1] В первых записях так, неточно, передавал я написание непривычной фамилии А. И. Солженицына.

на посредство М. Хитрова[1], моего товарища, работавшего в литературном отделе «Известий», который мог поговорить с Аджубеем[2].) Когда я изложил Александру Трифоновичу этот план, он сказал:

— Я сам об этом думаю. Напечатать повесть трудно, но я сделаю для этого все.

<...>

Завернули ко мне на Страстной бульвар и просидели с двух часов до семи, обедали, разговаривали, даже пели. Александр Трифонович пел «Шинель» из «Теркина» на мотив, как он сказал, услышанный еще во время войны от Б. Чиркова. Потом пошли смоленские песни: «Метелки», «Гуляй-гуляй, моя родная, в зелененьком саду...».

Он много и хорошо рассказывал, к сожалению, я многое позабыл и не сумею записать. Помню только — много говорили о Солженицыне и его повести, которую он с какой-то нежностью особой называет «Шухов». Говорили о полной ее безыскусности, в которой великое искусство. Вспомнил он сцены с кавторангом. Подхватил сказанное мной о талантливости самого замысла — показать обыкновенный и даже счастливый день, когда Шухову все удается. (Плохой художник нагнал бы мраку, и было бы черное на черном.)

Говорил Александр Трифонович об особом быте тюремном, который близок военному, — казарме, землянке. Рассказал, как на войне наблюдал однажды кашевара, добродушного, с бабьим лицом солдата. Он крутил кашу в котле и приговаривал: «Эх, кашка, кашка моя горемычная». А в этот момент подошел к нему Твардовский, который был корреспондентом армейской газеты, и сопровождавший его подполковник. Подполковник-солдафон вдруг напустился на повара: «Какая-такая горемычная? Ты понимаешь, что говоришь? Воевать за родину и за товарища Сталина — великое счастье!» «Так точно, великое счастье, товарищ подполковник», — ответил кашевар, вытянувшись по швам.

[1] Хитров Михаил Николаевич, друг Вл. Як. Ответственный секретарь «Нового мира» с 1966 г.

[2] Аджубей Алексей Иванович — главный редактор газеты «Известия». Зять Н. С. Хрущева.

И такая тоска была у него в глазах, когда снова взялся он мешать свою кашу.

<...>

Май 1962 г.

С Твардовским и Сацем[1] встречались несколько раз в пустынной заброшенной квартире архитектора Жолтовского на улице Станкевича. Кажется, дом этот когда-то принадлежал Баратынскому. После смерти Жолтовского и его жены дебатируется вопрос — не сделать ли тут музей. А пока — квартира стоит неубранная, пустая, но со старинной мебелью. И на круглом мраморном столике мы расстилаем газету — и на нее все, что приносим, — колбасу, сыр, масло и непременно свежие калачи... Самые сладкие разговоры идут здесь. (Ключ от этой квартиры и разрешение посещать ее дала дочь Жолтовского, знакомая Саца.)

<...>

Солженицына Александр Трифонович давал читать К. Чуковскому[2]. Переменив свой железный режим (он засыпает в 10 ч. вечера), старик запоем прочел повесть и написал нечто вроде рецензии под названием: «Литературное чудо». «Не то что Сурков, — отметил тут же Александр Трифонович, — который держал рукопись две недели, да так ничего путного и не сказал; некстати стал вспоминать, как видел где-то в ссыльных местах эстонцев».

И. Эренбург тоже в этой вещи мало что понял: сказал «неплохо, но ничего особенного, форма традиционна, а сцена кладки стены, труда Шухова — прямо в традициях социалистического реализма».

16 мая 1962

У Маршака. Старик говорил о Солженицыне — об абсолютной художественной точности его повести. Кавторанг, когда ссорится с конвоем, будто чувствует еще на себе свои звания и ордена. Это как ампутированные пальцы руки, ноги — они еще долго чувствуются, будто ими можно пошевелить.

[1] Сац Игорь Александрович, член редколлегии «Новый мир».

[2] Чуковский Корней Иванович, литературовед, переводчик.

— Я написал Твардовскому, что опубликование этой вещи подымет весь уровень нашей литературы.

(Твардовский же говорил мне, что письмо Маршака показалось ему жидко; написано благородно, но хуже, скажем, отзыва К. Чуковского. Маршак хотел непременно прочесть письмо Твардовскому вслух. Тот сказал: «Да ведь ты *мне* написал; дай я и прочту глазами». Но он заставил меня все же читать вслух — чтобы ни одной крохи из сделанного не пропало, — стал жаден».) Это Твардовский называет «маршакизмом».

Маршак о царстве призраков, в котором мы живем:

<...>

«Мы в царстве призраков. Собакевич мертвых расхваливал как живых. В ходу фетиши, а люди, которыми жива Россия, — были в лагерях, это Солженцев (так Маршак называл поначалу Солженицына) показал».

Маршак интересно говорил и о родословной «Одного дня»: от протопопа Аввакума по строгой простоте и мужеству.

31.V.1962

<...>

На этих днях по инициативе Твардовского редколлегия «Нового мира» приняла два решения:

1. Просить секретариат СП СССР утвердить меня членом редколлегии по разделу критики.

2. Добиваться публикации повести Солженицына, названной по совету Твардовского «Один день Ивана Денисовича».

Оба решения приняты единогласно.

<...>

6.VI.1962

Прислали бумагу секретариата СП — и я в «Новом мире».

5. VI — с Александром Трифоновичем и Игорем Александровичем провели вечер в ресторане «Будапешт», наверху. Александр Трифонович был сумрачен. Его обидел

Корнелий Зелинский, приславший раздраженное письмо по поводу споров о комментариях к собранию сочинений С. Есенина. Твардовский стал было читать это письмо нам и объяснять свою правоту, но вдруг махнул рукой и бросил на полуслове. Видно, сильно раздосадован.

Заговорили о Солженицыне. Александр Трифонович сказал, что напечатает его в 8-м номере. Он только что получил полторы странички отзыва о повести от Мих. Лифшица[1].

— Я с ним в ссоре был. Он иронически говорил о последних главах «Далей». А тут такое письмо! Значит, думаю, мы друзья, раз одно и то же любим.

Мне сказал:

«Читайте верстку — вы теперь полноправный член редколлегии. И чуть что стыдное — снимайте. Ничего не боюсь — стыда боюсь. Ведь журнал наш не в России только, а в Европе единственный».

Александр Трифонович хочет просить К. Федина, как члена редколлегии «Нового мира», дать отзыв о повести Солженицына. «Я его заставлю написать. Скажу: все умирать будем, Константин Александрович!»

На словах Федин очень хвалил Солженицына: «Вы сами не знаете настоящей художественной цены этой вещи». Но написать на бумаге отзыв боится. «Ну, вот только не знаю, как вы это напечатаете? — сказал еще Федин.— А *папе* (т. е. Хрущеву) показывали?» — спросил он трусовато.

14.VI.1962

Первые дни работы в журнале. Прихожу к часу дня. Меня поместили пока в той же большой комнате, которая служит одновременно кабинетом Твардовского и залом заседаний редколлегии. Торцом к окну, выходящему на Пушкинскую площадь, стоит стол Александра Трифоновича. К нему углом приставлен маленький столик Кондратовича[2]. А я располагаюсь на краешке того длинного

[1] Лифшиц Михаил Александрович, эстетик, критик.

[2] Кондратович Алексей Иванович, с 1958 г. заместитель главного редактора Твардовского.

стола — прежде с зеленым сукном, теперь гладко полированного «под орех», — за которым обычно проходят заседания редколлегии.

Александр Трифонович решился послать повесть Солженицына «на высочайшее». Дописал после просмотра Дементьевым[1] и его советов предисловие к «Ивану Денисовичу». Сегодня показывал мне. Я посоветовал убрать один не очень искренне звучащий «оптимистический» абзац, и он охотно, горячо как-то согласился. «Да, здесь я пересолодил» — и жирно вычеркнул наискосок.

<...>

6.VII.1962

Твардовский вернулся из поездки в Грузию. Повесть Солженицына передана помощнику Хрущева Лебедеву. Тот позвонил Александру Трифоновичу и сказал, что находится в затруднении: «Написано блистательно талантливо. Но ведь автор „за Советы без коммунистов"».

<...>

12.VII.1962

В. С. Лебедев советовал подавать повесть «на высочайшее» с личным письмом Твардовского. Александр Трифонович зазвал меня в кабинетик Закса[2], плотно закрыл двери, и мы долго правили набросанное им в черновике письмо Н. С. Хрущеву.

<...>

20.VII.1962

Твардовский вызывает Солженицына телеграммой.

23.VII.1962

Пришел в редакцию, открыл дверь в кабинет Александра Трифоновича, а там полно народу за «моим» длинным столом. На столе чай с бубликами — обсуждают Солженицына.

---

[1] Дементьев Александр Григорьевич, критик, литературовед, в 1953–1955 и 1958–1966 гг. зам. главного редактора журнала «Новый мир».

[2] Закс Борис Германович, в 1958–1966 гг. ответствен. секретарь журнала.

Александр Трифонович поманил меня, представил автору, пригласил принять участие в разговоре.

Солженицына я вижу впервые. Это человек лет сорока, некрасивый, в летнем костюме — холщовых брюках и рубашке с расстегнутым воротом. Внешность простоватая, глаза посажены глубоко. На лбу шрам. Спокоен, сдержан, но не смущен. Говорит хорошо, складно, внятно, с исключительным чувством достоинства. Смеется открыто, показывая два ряда крупных зубов.

Твардовский предложил ему — в максимально деликатной форме, ненавязчиво — подумать о замечаниях Лебедева[1] и Черноуцана[2]. Скажем, прибавить праведного возмущения кавторангу, снять оттенок сочувствия бендеровцам, дать кого-то из лагерного начальства (надзирателя хотя бы) в более примиренных, сдержанных тонах, не все же там были негодяи.

Дементьев говорил о том же резче, прямолинейнее. Яро вступился за Эйзенштейна, его «Броненосец „Потемкин"». Говорил, что даже с художественной точки зрения его не удовлетворяют страницы разговора с баптистом. Впрочем, не художество его смущает, а держат те же опасения. Дементьев сказал также (я на это возражал), что автору важно подумать, как примут его повесть бывшие заключенные, оставшиеся и после лагеря стойкими коммунистами.

Это задело Солженицына. Он ответил, что о такой специальной категории читателей не думал и думать не хочет. «Есть книга, и есть я. Может быть, я и думаю о читателе, но это читатель вообще, а не разные категории... Потом, все эти люди не были на общих работах. Они, согласно своей квалификации или бывшему положению, устраивались обычно в комендатуре, на хлеборезке и т. п. А понять положение Ивана Денисовича можно, только работая на общих работах, то есть зная это изнутри. Если бы я даже был

---

[1] Работники ЦК КПСС В. С. Лебедев (помощник Хрущева) и И. С. Черноуцан получили рукопись Солженицына от Твардовского и предварительно прочли повесть, прежде чем она была передана Н. С. Хрущеву.

[2] Черноуцан Игорь Сергеевич (1918-1990) — заведующий сектором литературы ЦК КПСС.

в том же лагере, но наблюдал это со стороны, я бы этого не написал. Не написал бы, не понял и того, какое спасение труд...»

Зашел спор о том месте повести, где автор прямо говорит о положении кавторанга, что он — тонко чувствующий, мыслящий человек — должен превратиться в тупое животное. И тут Солженицын не уступал: «Это же самое главное. Тот, кто не отупеет в лагере, не огрубит свои чувства — погибает. Я сам только тем и спасся. Мне страшно сейчас смотреть на фотографию, каким я оттуда вышел: тогда я был старше, чем теперь, лет на пятнадцать, и я был туп, неповоротлив, мысль работала неуклюже. И только потому спасся. Если бы, как интеллигент, внутренне метался, нервничал, переживал все, что случилось, — наверняка бы погиб».

В ходе разговора Твардовский неосторожно упомянул о красном карандаше, который в последнюю минуту может то либо другое вычеркнуть из повести. Солженицын встревожился и попросил объяснить, что это значит. Может ли редакция или цензура убрать что-то, не показав ему текста? «Мне цельность этой вещи дороже ее напечатания», — сказал он.

Солженицын тщательно записал все замечания и предложения. Сказал, что делит их на три разряда: те, с которыми он может согласиться, даже считает, что они идут на пользу; те, о которых он будет думать, трудные для него; и наконец, невозможные — те, с которыми он не хочет видеть вещь напечатанной.

Твардовский предлагал свои поправки робко, почти смущенно, а когда Солженицын брал слово, смотрел на него с любовью и тут же соглашался, если возражения автора были основательны.

Когда же заговорил Дементьев, Александр Трифонович весь обеспокоился, напрягся внутренне, и едва тот начал «кумекать», с легкой усмешкой покачал головой.

«Теплый холодного не разумеет», — как сказал Солженицын применительно к Шухову, вернувшемуся с мороза в барак, где мирно спорят Цезарь Маркович и кавторанг. Кстати, о споре этом: Солженицын очень верно заметил, что он

нужен лишь как тень — читатель сквозь него должен видеть Шухова, стоящего за спинами спорщиков и ждущего своей пайки хлеба.

«А спор об Эйзенштейне, показавшийся Александру Григорьевичу литературным, я не выдумал, а в самом деле в лагере слышал».

27.VII.1962

Сегодня забегал в редакцию Солженицын. Зашел и Соколов-Микитов[1].

С утра Твардовский очень запальчиво говорил о цензуре, о том, что хочет встретиться с Хрущевым и уговорить его, чтобы цензура на художественные произведения была отменена.

<...>

1.VIII.1962

Решились: заново пишется письмо Н. С. Хрущеву об «Одном дне...».

Сегодня Твардовский приехал мрачный. Дементьев хотел переменить какое-то слово в уже готовом тексте письма.

— Ну, какое слово вы предложите? — с яростью спрашивал Александр Трифонович.

— Ты не волнуйся, Саша... Но есть какое-то такое «разрешите просить о... (и он щелкал пальцами, подыскивая ускользающее словечко)... помощи, поддержке...»

— Благословении? — ядовито отозвался Александр Трифонович. — Так вот, я вам скажу («вы» к Дементу, с которым он чаще на «ты», подчеркивало его раздражение), что слов в языке мало. На этот случай их всего 16... И 15 из них мы уже использовали.

6.VIII.1962

Письмо Хрущеву с рукописью «Одного дня» пошло к В. С. Лебедеву.

---

[1] Соколов-Микитов Иван Сергеевич, писатель, друг Твардовского и Вл. Як.

25.VIII.1962

<...>

С Солженицыным движения пока нет. Письмо и рукопись у В. С. Лебедева.

12.IX.1962

Твардовский собрал редколлегию по поводу книги Эренбурга. Очень резко говорил о ней. «Эта часть мемуаров могла бы стать главной — тут, в эти годы, расцвет деятельности Эренбурга. А она мелка, многое неприятно... Поза непогрешимого судьи, всегда все знавшего наперед и никогда не ошибавшегося».

<...>

— Если я, скажем, могу напечатать Солженицына, то и Эренбург может найти себе в журнале место. А если я не могу печатать Солженицына, а должен печатать Эренбурга (благодаря его особому, «сеттльментному» положению в литературе), тогда журнал получает однобокое направление, народной точки зрения в нем нет, а есть интеллигентское самолюбование.

Это аргумент веский. Сочиняли письмо Эренбургу, чтобы все высказать, но не обидно. На другой же день Эренбург атаковал Закса и всю редакцию, гневался, требовал сатисфакции. <...>

ПОПУТНОЕ

В сентябре 1962 года меня не было в редакции. Между тем события развивались так: между 9 и 14 сентября В. С. Лебедев на юге читал вслух повесть Солженицына Н. С. Хрущеву и А. И. Микояну. 15 (или 16) сентября — позвонил домой Твардовскому с известием, что повесть Хрущеву понравилась.

11 октября 1962 года Хрущев возвратился в Москву из поездки по Средней Азии, и надо было ждать событий.

8.X.1962

Месяц не писал, был в отпуске в Болгарии. За это время кое-что случилось. Александр Трифонович рассказал

сегодня, что с солженицынской повестью сдвинулось дело. В. С. Лебедев, помощник Хрущева, на отдыхе, в Гаграх, выбрав время, как-то стал читать Никите Сергеевичу повесть. Читал и на другой день вечером. А потом, утром, были уже отложены все государственные дела, Хрущев позвал Микояна и читали второй раз вслух — эпизод про «красилей» и проч. Хрущеву очень понравилось, хотел пригласить Твардовского, но потом что-то передумал.

Срочно попросили тиснуть 25 экземпляров верстки в типографии, наверное для обсуждения. «Не хочет ли Хрущев дать своим сотоварищам предметный урок по критике культа личности?» — думает Твардовский.

«Когда был этот звонок, жена ждала меня обедать, все торопила. У нас вообще-то пуританский стиль отношений в семье, но тут я позвал ее с кухни, чтоб все бросила, и расчувствовался: „Победа, Маша, победа!“»

«Я сказал Лебедеву: „Спасибо, что вы есть, что вы помогли нам“. А он: „Спасибо, что вы есть. Видите, правда, она все же существует“. А я: „Существует-то она существует. Но важно, как ее доложить“». Последние слова он произнес с заметным лукавством в голосе.

«Но вот я радовался: победа, победа, а ответа окончательного нет, дело как-то захрясло».

— Так всегда и бывает, — отозвался Сац.— В мае 45-го года то же чувство было.

<...>

22.X.1962

20 октября Твардовского принял Хрущев. Александр Трифонович рассказывает: «Я понял, что произошла какая-то общая подвижка льдов... Меня встретили с такой благожелательностью, как никогда раньше».

Об «Иване Денисовиче» Хрущев сказал: «Это жизнеутверждающее произведение. Я даже больше скажу — это партийное произведение. Если бы это было написано менее талантливо — это была бы, может быть, ошибочная вещь, но в том виде, как сейчас, она должна быть полезна».

Хрущев дал понять, что не все члены Президиума, которые знакомились с повестью, сразу ее раскусили. «А я сказал: идите и еще подумайте».

<...>

Твардовский говорил с Хрущевым и о цензуре. Сказал, что считает ненормальным положение, когда ЦК доверил ему журнал, а над ним поставлен неграмотный цензор: «Ведь „Ивана Денисовича“ в цензуре бы зарезали». «Зарезали бы, зарезали», — жизнерадостно, со смехом подтвердил Хрущев.<...>

ПОПУТНОЕ

Прерву дневник для позднейшего примечания. В 70-е годы кто-то из наследников Виктора Сергеевича Голованова, цензора «Нового мира», передал мне оставшуюся после покойного тетрадь. На обложке ее написано: «Тетрадь 1-я. Прохождение материалов по журналу «Новый мир» с № 10 — 1962 года». Почерк писарский, с лихими росчерками.

Виктор Сергеевич был невысокого роста, краснощекий и еще крепкий старичок, аккуратный и исполнительный чиновник. В прошлом он, кажется, служил в красной кавалерии, отчаянно рубил лозу. Но тетрадь его рисует бдительным, ограниченным и законопослушным бюрократом. Я решил привести здесь из нее несколько выдержек.

Лица, упоминаемые Головановым, кроме сотрудников редакции Кондратовича и Закса, таковы:

а) его непосредственная руководительница, начальник 4-го отдела Главлита Галина Константиновна Семенова. Она ведала в цензуре всей художественной литературой. Известна была как ярая сталинистка. Это ей, Галине Константиновне, принадлежит летучая фраза в ответ на замечание кого-то из наших, что она-де не сможет запретить какой-то материал: «Запретить не запрещу, а нервы помотаю»;

б) Аветисян Степан Петрович, заместитель начальника Главлита П. К. Романова. Человек лично незлой и покладистый, года через 2-3 после описываемых событий перешел работать в общий отдел ЦК;

в) Романов Павел Константинович — многолетний начальник Главлита.

Итак, тетрадь цензора.

«Прохождение материалов по журналу „Новый мир“, № 11 — 1962»

На предварительную читку курьер представил материалы журнала № 11 — 17 октября (без раздела «Книжное обозрение» и других данных конца номера). 23.X во второй половине дня позвонил т. Закс и сказал: «Редакция вносит изменение. Очерк А. Яшина «Вологодская свадьба» и «Дневник Нины Костериной» с публикации снимаются. Вместо них редакция присылает:

1. Межелайтис. Стихи «Гимн утру».

2. А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича (повесть).

3. В. Некрасов. По обе стороны океана. (Остальной материал без изменений.)

Прочитав повесть Солженицына вечером 23.X, я 24.X утром доложил т. Аветисяну о поступлении на контроль этой повести и по указанию т. Аветисяна немедленно передал ее начальнику отдела. <...>

30 октября в 15 ч. 45 м. курьер журнала «Новый мир» по поручению секретаря редколлегии т. Закса представил для оформления к печати 2 экз. подписной верстки в объеме 8 печатных листов, с 3-го по 10-й включительно. В эти листы входят и повесть А. Солженицына (2-я часть), примерно больше половины, 40 стр. до конца, — и очерк Виктора Некрасова.

Курьер передал следующее:

«Тов. Закс, отсылая меня к вам, сказал: „Если т. Голованов не подпишет материалы (он явно имеет в виду повесть А. Солженицына), пусть вернет сразу же неоформленный материал в редакцию..." »

Этот своеобразный ультиматум т. Закса мною немедленно был доложен начальнику отдела т. Семеновой, которая дала указание: «оформить беспрепятственно», что и было мною выполнено в 16.00. Материал был передан курьеру.

Зав. редакцией Бианки[1] сказала: «Я знаю, что эта повесть была послана в ЦК КПСС, читал т. Хрущев, есть положительное решение о возможности ее публикации, принятое Президиумом ЦК КПСС».

Т. Семенова предложила мне все это перепроверить в условиях служебных переговоров непосредственно с Заксом, для чего следует пригласить его в Главлит и установить в дальнейшем порядок: «Подписание к печати оформлять при вызове ответственного представителя редакции, а не через курьера».

2 ноября было оформлено к печати 4 печатных листа (11, 12, 13 и 14-й), привозил в Главлит т. Закс.

Т. Закс по указанию руководства был мною приглашен для специального разговора... <...> Кроме того, мною был поставлен перед т. Заксом вопрос о процедурных моментах, связанных с публикацией повести «Один день Ивана Денисовича» Солженицына.

Тов. Закс сообщил:

«Материал был получен самотеком уже давно. Затем, в порядке консультации, был редколлегией, по инициативе Твардовского, направлен в ЦК КПСС. Прочитан Первым Секретарем. Затем было послано 25 экземпляров оттиска по указанию. Затем перед включением повести в № 11 т. Твардовский был принят Первым Секретарем, где, в частности, было сообщено положительное мнение о возможности публикации повести А. Солженицына „Один день Ивана Денисовича“».

<...>

3.XI.1962

День рождения Маршака.

<...>

От Маршака часов в 6 вернулись в редакцию, чтобы встретить праздник 7 Ноября с сотрудниками.

<...>

---

[1] Бианки Наталья Павловна — занималась в редакции производственными вопросами, связью с типографией и т. п.

...Когда собрались сотрудники и началось застолье, Александр Трифонович сказал небольшую поздравительную речь, обращаясь ко всем, кто тесно сидел за длинным столом. Говорил о радости 11-го номера, о том, что больше всего ценит в любом сотруднике, вне зависимости от возраста и положения, одно качество — любовь к журналу. Особо обратился к корректорам — призывал их блюсти «культуру журнальной страницы».

З. Паперный[1] произнес юмористическую речь, что вот-де самый надежный транспорт — не метро, не автобус, не автомобиль. Существует такое выражение: «А ты на чем приехал? На 11-м номере». (То есть пешком.) Вот он и предлагал журналу — ехать и дальше на 11-м номере.

Имя Солженицына было у всех на устах, пили за его здоровье, радовались его повести как огромной журнальной победе.

Александр Трифонович всегда говорил, что верует и исповедует: все истинно талантливое в литературе пробьет себе дорогу. Нет гениальной вещи в писательском столе, которую нельзя было бы напечатать. «Один день» тут величайший искус: не напечатать его значило потерять свой оптимизм, веру в то, что в конечном счете все устраивается правильно, и писателю надо сетовать не на цензуру, не на редакторов, а лишь на самого себя: не сумел, не смог сделать вещь «победительной».

После пятого или шестого тоста общество разбилось на группы. Стали петь. Сладилось у нас «трио»: Дементьев, Твардовский и я. Пели «Далеко-далеко степь за Волгу ушла...», «Враги сожгли родную хату...» и всякое иное. Сколько же Александр Трифонович знает народных песен — старых, красивых, незапетых!..

Моим соседом по столу был Е. Я. Дорош. Говорили с ним о Солженицыне. И о том, что человеку несладко, если его пишут с большой буквы, как Горький: Человек. Какое величие! Но тут и берегись — пахнет презрением к каждому.

---

[1] Паперный Зиновий Самойлович, литературовед, юморист.

На днях неожиданно в редакцию заскочил Ю. Штейн[1]. «Вы Саню Солженицына печатаете? Когда?» Я изумился такой фамильярности. Оказалось, Солженицын — муж Вероникиной сестры Наташи. Так это о нем, помню смутно, она мне говорила еще на 1-м курсе: есть, мол, такой родственник, сидит после фронта.

Оказывается, Солженицын женился на Наташе перед войной еще. На войне его арестовали за неосторожную переписку. Одна подробность любопытная: у него сверхъестественная памятливость, звериная чуткость. Когда его везли в наглухо закрытой машине, арестовав вблизи линии фронта, он сказал конвоирам: «Да вы меня к немцам везете». Те обругали его и повернули лишь тогда, когда наткнулись на немецкие сторожевые посты.

Когда Александр Исаевич вернулся из лагеря, приехал в Москву, оказалось, что Наташа вышла замуж за какого-то пожилого профессора. Узнав об этом от Вероники, он, не заходя к Наташе, уехал в Рязань. А та написала ему — «не могу без тебя», бросила старичка — и за ним. Живут сейчас хорошо.

Штейн рассказал, что Саней написана пьеса, где фигурирует Вероникина семья, отец, их оставивший (кинорежиссер-документалист Туркин).

Солженицын фаталист. И хотя убежден в своем призвании, но скрытен, всего побаивается после лагеря. «А как он работает! — восхищался Штейн. — У нас дома он читал «Войну и мир», все поля исчеркал пометками».

Это подтверждает мое читательское впечатление, как ненаивно его искусство: это плод страшного труда, усвоения традиции, «мук слова». <...>

---

[1] Юрий Штейн был моим знакомым еще по 1-му курсу заочного отделения филфака МГУ. Помню его демобилизованным парнем, душа и рубаха нараспашку, с аккордеоном через плечо: «И зимой и ле-е-том, думал я об этом...» Он ухаживал за моей приятельницей Вероникой Туркиной и женился на ней. Кончал факультет он с опозданием, писал дипломную работу о «Плодах просвещения», и я, будучи аспирантом, был назначен в оппоненты на защите. Работа была не сильная. Чтобы не погубить свое реноме на кафедре и вместе с тем выполнить долг дружбы, я выправил ее за две ночи, и Штейн благополучно получил свое «три».

12.XI.1962

6 ноября, под праздник, «Известия» неожиданно поместили рассказ Шелеста «Самородок» — о репрессированных коммунистах. Сделано это, как можно полагать, чтобы сбить предстоящий успех Солженицына в журнале и, пользуясь дозволением опасной темы, самим забежать с лагерной сенсацией вперед.

М. Хитров рассказывает, как А. И. Аджубей волновался, разыскивая чего-нибудь на «лагерную тему». Вспомнили, что был какой-то рассказ, присланный из Читы, который давно бросили в редакционную корзину. Текста не нашли, но связались с автором и срочно принимали рассказ по телефону из Читы — и тут же в номер.

Я пересказал этот эпизод Александру Трифоновичу. Он огорчился больше, чем я думал, это его прямо-таки лично задело.

На праздничном приеме в Кремле Твардовский не удержался и подошел к Аджубею. «Рассказец Шелеста был у нас, — сказал он.— Мы могли попридержать его на полгодика, до выхода Солженицына, да не могли подумать, что такое дерьмо кто-нибудь подберет».

На праздниках Александр Трифонович перечитал в верстке Солженицына и говорил потом в редакции: «Сам себе не верю, неужели мы это напечатаем?» Он написал письмо автору с отеческими предупреждениями и увещеваниями относительно грядущей шумихи и искуса славы. Просил избегать встреч с репортерами, инсценировщиками и проч. Александр Трифонович советовался по поводу этого письма в редакции. Кондратович сказал ему, что он в слишком высоких словах пишет Солженицыну о его таланте, надо бы умерить выражения. Твардовский как-то по-детски огорчился, растерялся и принес письмо мне. Я согласился с ним, что перехвалить эту вещь Солженицына нельзя, что его повесть знаменует новое летосчисление в нашей литературе. Александр Трифонович успокоился и послал письмо.

ПОПУТНОЕ

Снова прерываю свои записи ради дневника цензора Голованова. Только 14 ноября из разговора с главным редакто-

ром Гослитиздата А. И. Пузиковым[1] он узнал подробности беседы Твардовского с Хрущевым, закрепившей ошеломляющее решение — опубликовать «лагерную повесть». Его краткая запись интересна тем, что показывает, какими сведениями о нас располагала на тот день цензура.

14.X.62. Имел место деловой разговор с т. Пузиковым. Тв[ардовский] — Хр[ущев]

I вопрос: Солженицын (можно!)

II вопрос: Зощенко (В. Каверин). (Думает.)

III вопрос: Теркин в аду (надо подумать). По культу... (есть данные).

«Два редактора: я и Ц[ензор].

(Надо подумать.)

Справка

В момент моего пребывания на цензорском занятии 16.XI, приблизительно в 16.00, прибыл в Главлит СССР курьер журнала «Новый мир» для оформления выпуска в свет ж. № 11 — 1962. Выпуск в свет был разрешен *немедленно*.

3.XI.1962.

Подписан к печати № 11.

В номере:

А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича.

Виктор Некрасов. По обе стороны океана.

Стихи Э. Межелайтиса, С. Маршака.

Статьи К. Чуковского («Маршак»), В. Лакшина («Доверие». О повестях П. Нилина), А. Дементьева.

Рецензии М. Рощина, И. Соловьевой и В. Шитовой, Л. Зониной и др.

16.XI.62 — «сигнал» № 11, 1962.

17.XI.62 — начата рассылка номера.

---

[1] Пузиков Александр Иванович, главный редактор издательства «Художественная литература», где я в то время работала. Голованов сидел в кабинете в этом же здании. — *Прим. С. К.-Л.*

20.XI.62

Кругом толки о Солженицыне. Появились и первые рецензии. В вечернем выпуске «Известий» от 18 ноября статья К. Симонова, в «Правде» В. Ермилов[1] пишет, что солженицынский талант «толстовской силы».

Были с И. А. Сацем в Переделкине, навещали там М. А. Лифшица, обедали с ним. «В тех несвободных условиях, какие показывает Солженицын, — рассуждает Лифшиц, — и стал возможен свободный «социалистический труд». Если бы я писал статью об этой повести, обязательно бы „Великий почин“ Ленина вспомнил», — то ли всерьез, то ли с иронией говорит М. А.

«Вопрос соотношения цели и средств — пожалуй, главный вопрос, который сейчас всех в мире занимает».

Навещал в эти дни и Маршака. Он после болезни лежит в расстегнутой белой рубахе, дышит тяжело, приподымается с подушек и говорит, говорит без умолку. В том числе и о Солженицыне говорит, называя его то Солженцев, то Солженцов («этот Солженцев, голубчик...»).

«В этой повести народ сам от себя заговорил, язык совершенно натуральный». Говорил еще о познавательном эффекте хорошей литературы — из «Солженцева» можно узнать, как течет весь день зэка, что едят и пьют в лагере и т. п. Но это было уже мелковато. «Голубчик, почему бы ему ко мне не приехать? Ведь, кажется, он был у Ахматовой? Так приведите его ко мне».

Как-то недавно Маршак целый вечер рассказывал мне о Горьком: о своем знакомстве с ним на даче Стасова, о расхождении потом и о поддержке Горьким их дела — ленинградской редакции Детиздата. «Горький умел очаровывать. Он высасывал из человека все и потом охладевал к нему».

«Расскажите, что делается в журнале, — просил Маршак.— Году в 1938-м или 39-м мы мечтали с Твардовским завести свой журнал. Как я теперь понимаю, это должен был быть «Новый мир»... Журнал надо вести так, чтобы каждый его раздел мог вырасти в отдельный журнал».

---

[1] Ермилов Владимир Владимирович, литературный критик.

В ближайшие дни после выхода в свет № 11 состоялся очередной Пленум ЦК. У типографии запросили 2200 экземпляров журнала, чтобы продавать его в киосках на Пленуме.

Кто-то пошутил: «Они же доклад обсуждать не будут, все «Ивана Денисовича» будут читать». Ажиотаж страшный, журнал рвут из рук, в библиотеках с утра на него очереди.

<...>

Из дневника цензора В. С. Голованова

Материалы № 12 ж. «Новый мир».

<...>

Приблизительно около 11 ч. дня позвонил секретарь редакции журнала т. Закс и сообщил мне о том, что т. Твардовскому звонил т. Поликарпов[1] и выражал согласие со стороны ЦК КПСС на отпечатание дополнительно 25 000 экземпляров № 11 журнала «Новый мир».

Немедленно доложил об этом начальнику отдела т. Семеновой, а она, в свою очередь, доложила в моем присутствии по телефону т. Романову.

Затем я получил разъяснение: «Относительно согласия ЦК КПСС, данного т. Поликарповым, — это дело редакции, указывать дополнительный тираж 25 000 в выходных данных — это тоже дело редакции. Проверка разрешения ЦК КПСС относительно дополнительного тиража 25 000 будет произведена.

Анонс о предстоящем опубликовании в № 1 (1963 г.) рассказов А. Солженицына — это также дело редакции.

Все эти моменты мною так и были разъяснены тов. Заксу.

<...>

Конец ноября 1962

Был вечерок у Закса на Аэропортовской улице. Сидели тесно на кухоньке.

---

[1] Поликарпов Дмитрий Алексеевич, заведующий отделом культуры ЦК КПСС.

Твардовский рассказал мне, что Солженицын был у него на днях[1], привез новый рассказ о войне. Когда он говорил об этом, даже глаза жмурил от удовольствия. Александр Трифонович просто влюблен, все время твердит: «Какой это парень! Он отлично всему знает цену. Поразительно, как это у себя в провинции он так точно чувствует, что добро, а что недобро в литературной жизни». Сошлись они на отношении к последним сочинениям Паустовского, на которого Александр Трифонович все еще досадует. Трифоныча привело в восторг, что Солженицын сказал о «Броске на юг» почти теми словами, что он сам: «Я думал, это будет гражданская война, бои с Врангелем, захват Крыма, а оказывается, это автор бросился из Москвы в одесские кабаки и на пляжи».

Поразил Солженицын еще вот чем — когда он был у Твардовского, принесли газету со статьей Симонова о нем. Он глянул мельком и говорит: «Ну, это я потом прочту, давайте лучше поговорим». Александр Трифонович удивился: «Но как же? Это же впервые о вас пишут в газете, а вас вроде бы даже не интересует?» (Твардовский даже кокетство углядел в этом.) А Солженицын: «Нет, обо мне и раньше писали, в рязанской газете, когда моя команда завоевала первенство по велосипеду».

Солженицын сказал Твардовскому: «Я понимаю, что времени мне терять нельзя. Надо браться за что-то большое».

Новый его рассказ Твардовский хвалит, но читать пока не дает. «Там есть кое-какие заусеницы. Надо их подубрать».

Отцовское чувство Александра Трифоновича задел Д., который встретил его на лестнице в Союзе писателей и спросил: «Ну как, будете печатать новый рассказ Солженицына?» — «А вы откуда о нем знаете?» — «У Солженицына в Москве есть друзья», — задорно сказал Д.

«Я-то думал, что его главные друзья в «Новом мире», — сокрушался Александр Трифонович, — а выходит, что мы зажимщики, цензоры, а друзья — это Копелев[2] с компанией.

---

[1] Солженицын привез рассказ «Зеленая фуражка» (будущий «На станции Кречетовка») и имел долгий разговор с Твардовским 15 ноября 1962 г.

[2] Копелев Лев Зиновьевич — литературовед, критик, товарищ Солженицына по тюремной «шарашке».

Про Л. Копелева, о котором многие говорят как о первооткрывателе «Ивана Денисовича», Солженицын рассказал Твардовскому, что тот заметил ему, прочитав впервые повесть в рукописи, о сцене работ зэков — «это в духе соц. реализма». А о втором рассказе — «Не стоит село без праведника»: «Ну знаешь, это образец того, как не надо писать». Копелев держал у себя рукопись чуть не год, не решаясь передать ее Твардовскому. А потом, после настояний Солженицына, отдал ее как самотек в отдел прозы. «Ко мне зашел с каким-то пустым вопросом, а об этом, главном, не сказал», — удивлялся, сгорая от досады и ревности, А. Т. Ему передала рукопись А. С. Берзер[1].

24.XI.1962

Александр Трифонович сказал, передавая мне рассказы Солженицына: «Посмотрите внимательно перед обсуждением. Но впрочем, вам остались мелкие камушки, булыжники я оттуда уже повыкидывал».

Прочитал Твардовский и пьесу Солженицына («Свеча на ветру») и сказал ему: «Теперь вы можете оценить мою искренность — пьесу я печатать не советую».

«Я думаю поговорить о ней еще со специалистом-режиссером», — ответил Солженицын. «Но ведь он скажет «великолепно», — парировал Твардовский, — втянет вас в колесо поправок, переделок, дополнений и т. п.».

В «Новый мир» хлынул поток «лагерных» рукописей не всегда высокого уровня. Принес свои стихи В. Боков, потом какой-то Генкин. «Как бы нам не пришлось переименовать наш журнал в «Каторгу и ссылку», — пошутил я, и Твардовский на всех перекрестках повторяет эту шутку.

«Сейчас все доброе к нам поплывет, — говорит Твардовский, — но и столько конъюнктурной мути, грязи начинает прибивать к «Новому миру», надо нам быть осмотрительнее».

24-го вечером пировали в ресторане «Арагви» нашу победу. Подняв бокал за Солженицына, следующий тост Алек-

---

[1] Берзер Анна Самойловна — в те годы старший редактор отдела прозы.

сандр Трифонович произнес за Хрущева. «В нашей среде не принято пить за руководителей, и я испытывал бы некоторую неловкость, если бы сделал это просто так, из верноподданнических чувств. Но, думаю, все согласятся, что у нас есть сейчас настоящий повод выпить за здоровье Никиты Сергеевича».

26.XI.1962

Утром в редакции обсуждение двух рассказов Солженицына.

Солженицын очень туго шел на поправки, предлагавшиеся, впрочем, членами редколлегии довольно осторожно, бережно. «У нас новый Маршачок», — сердился Александр Трифонович на его упрямство.

Первый рассказ все дружно хвалили. Твардовский предложил назвать его «Матренин двор» вместо «Не стоит село без праведника». «Название не должно быть таким назидательным», — аргументировал Александр Трифонович.

«Да, не везет мне у вас с названиями», — отозвался, впрочем, довольно добродушно, Солженицын.

Второй рассказ тоже пытались переименовать. Предлагали — мы и сам автор — «Зеленая фуражка», «На дежурстве» («Чехов бы так назвал», — заметил Солженицын).

Все сошлись на том, что в рассказе «Случай на станции Кречетовка» малоправдоподобен мотив подозрения: актер Тверитинов будто бы забыл, что Царицын переименован в Сталинград, и этим погубил себя. Возможно ли такое? Сталинград знали все.

Солженицын, защищаясь, говорил, что так в действительности и было. Он сам помнит эти станции, недальние военные тылы, когда служил в обозе в начале войны. Но был материал, материал — а случай с артистом, о котором он узнал, все ему осветил[1].

---

[1] Уже в 70-е годы ко мне приехал как-то из Риги знакомый Солженицына Л. Власов, который утверждал, что это он рассказал Солженицыну этот сюжет, едучи с ним однажды в поезде, в одном купе. Случай был с ним, и он оказался как бы прототипом лейтенанта Зотова.

Я упрекал Солженицына за некоторые излишества словесности, произвольное употребление старых слов, таких, как «оплечье», «зело». И искусственных — «венуло», «менело». «Вы меня выровнять хотите», — кипятился поначалу он. Потом согласился, что некоторые фразы неудачны. — Я спешил с этим рассказом, а вообще-то я люблю забытые слова. В лагере мне попался III том словаря Даля, я его насквозь прошел, исправляя свой ростовско-таганрогский язык».

Разговаривая со мной потом наедине, он свое великодушие настолько простер, что даже высказал комплимент: «А у вас есть слух на слова».

Я рассказал ему о встрече с Ю. Штейном. «У меня со всеми находятся общие знакомые, — отозвался Александр Исаевич, — даже с Хрущевым. С его личным шофером я сидел в одной камере в 1945 году. Он хорошо отзывался о Никите». А сейчас стали возникать люди, узнавшие себя в повести. Кавторанг Буйновский — это Бурковский, он служит в Ленинграде. Начальник Особлага, описанного в «Иване Денисовиче», работает сторожем в «Гастрономе». Жалуется, что его обижают, приходит к своим бывшим зэкам с четвертинкой — поговорить о жизни.

Разыскал его в Рязани и К., представившийся ему как сын репрессированного. Я знал его по университету.

«Что он за человек?» — спросил Солженицын. Я сказал, что о нем думаю, и собирался было подтвердить это каким-то эпизодом, но Александр Исаевич прервал меня: «Достаточно. Мне важно знать ваше мнение. Больше ничего не надо».

Говорит он быстро, коротко, будто непрерывно экономит время и на разговоре. <...>

28.XI.1962

Твардовский иронизировал по поводу отклика на повесть Солженицына, появившегося в «Литературе и жизни».

«Эта задыхающаяся газетка поместила рецензию Дымшица[1], написанную будто нарочно так, чтобы отвадить от

---

[1] А. Дымшиц. Жив человек // Литература и жизнь. 28 ноября 1962 г.

повести... Ни одной яркой цитаты, ни напоминания о какой-либо сцене... Сравнивает с «Мертвым домом» Достоевского, и то невпопад. Ведь у Достоевского все наоборот: там интеллигент-ссыльный смотрит на жизнь простого острожного люда, а здесь все глазами Ивана Денисовича, который по-своему и интеллигента (Цезаря Марковича) видит».

«И как Тюрин у Солженицына точно это говорит: ведь 37-й год расплата за экспроприацию крестьянства в 30-м». И Александр Трифонович вспоминал отца: «Какой он кулак? Разве что дом — пятистенка. А мне ведь грозили исключением из партии за сокрытие фактов биографии — сын кулака, высланного на Урал».

<...>

ПОПУТНОЕ

Мы еще жили в эйфории от успеха «Одного дня», и цензура еще относилась к нам после случившегося с опаской.

Но в начале декабря Н. С. Хрущев неожиданно посетил выставку МОСХа в Манеже. Подстрекаемый В. А. Серовым и другими руководителями Союза художников, а быть может, не только ими, он набросился на «абстракционистов» и прочих формалистов как на главную опасность в искусстве.

17 декабря 1962 года на Воробьевых горах состоялась первая из «исторических встреч» Н. С. Хрущева с деятелями культуры, писателями. Круг критикуемых расширялся. Началось с «проблемы Манежа», но дальше были подвергнуты разносу молодые поэты Вознесенский и Евтушенко. Досталось и Эренбургу за его мемуары, и Некрасову за записки, напечатанные в «Новом мире».

Напоминаю об этом задним числом, чтобы воссоздать фон для понимания моих отрывочных записей этого времени и записей цензора Голованова о журнале.

Мало кто из читателей заметил вовремя и понял тайный смысл стихотворения Н. Грибачева «Метеорит», появившегося в «Известиях» 30 ноября 1962 года. Между тем это был первый отрицательный отзыв на повесть Солженицына в нашей печати.

Отнюдь не многотонной глыбой,
Но на сто верст
Раскинув хвост,
Он из глубин вселенских прибыл,
Затмил на миг
Сиянье звезд.

Ударил светом в телескопы,
Явил
Стремительность и пыл
И по газетам
Всей Европы
Почтительно отмечен был.
Когда ж
Без предисловий вычурных
Вкатилось утро на порог,
Он стал обычной
И привычной
Пыльцой в пыли земных дорог.

Лишь астроном в таблицах сводных,
Спеша к семье под выходной,
Его
Среди других подобных
Отметил строчкою одной.

«Из дневника цензора В. С. Голованова»
Материалы № 1

12 декабря 1962 г. получено из редакции:

1. Солженицын. Два рассказа.
2. Луконин. Стихи.
3. Ахматова. Стихи.
4. В. Кин. Из неоконченного романа.
5. Огден Нэш. Стихи.

Илья Эренбург. «Люди, годы, жизнь». Вся книга 5-я в 2 экз. получена 20 ноября. Один экз. у т. Криушенко.

В. Каверин «Белые пятна» — с № 12 (без изменений).

14.XII днем позвонил т. Закс и спросил: «Прочитали ли вы Эренбурга?» Ответил: «Читаю». Относительно В. Каверина «Белые пятна» на мой вопрос, что означает упоминание в содержании № 1 (1963 г.) статьи В. Каверина, т. Закс ответил: «Статья В. Каверина была прочитана т. Ильичевым, который сказал, что можно на один № *оттянуть*[1] ее публикацию... Поэтому она включена в № 1-й условно и в случае необходимости редакцией будет передвигаться в дальнейшие номера». Об этом информировал т. Семенову.

Из дневника цензора В. С. Голованова

16.XII. Сдал т. Семеновой для принятия решения подборку новых стихов Анны Ахматовой с мнением о их непригодности для публикации. Одновременно сдал оба рассказа А. Солженицына:

1) «Случай на станции Кречетовка».

2) «Матренин двор».

<...>

27.XII. По указанию т. Аветисяна был вызван т. Закс, которому были по И. Эренбургу — № 1 журнала — высказаны замечания Главлита СССР. Закс все замечания принял и согласовал правку с автором. Все это было мною доложено т. Аветисяну. Итак, первые 7 п. л. оформлены к печати:

1. Два рассказа Солженицына.
2. Стихи Луконина.
3. Стихи Ахматовой.
4. И. Эренбург. Начало 5-й книги «Люди, годы, жизнь».

Конец декабря 1962 г.

<...>

Впрочем, пока Солженицын в фаворе, газеты повторяют формулу: «Повесть напечатана с ведома и одобрения

---

[1] Л. Ф. Ильичев, несомненно, знал о готовящейся «исторической встрече», призванной перечеркнуть разговор Твардовского с Хрущевым, когда просил «оттянуть». — *В. Л.* Ильичев Леонид Федорович, в 1956-1964 гг. секретарь ЦК КПСС, ведал вопросами идеологии.

ЦК КПСС». На приеме Хрущев поднял Солженицына из-за стола и представил присутствующим. Суслов тряс его руку. Это было 17 декабря в Доме приемов на Ленинских горах.

28.XII.1962

Утром Александр Трифонович был очень раздражен — ему подсунули книгу, вышедшую в издательстве им. Чехова в Нью-Йорке. Некий С. Юрасов дал там свое, в антисоветском духе, продолжение «Теркина».

<...>

Второе, что сильно взволновало Александра Трифоновича, — это обращение к нему молодого математика Р. Пименова, оказавшегося за свои высказывания или рукописные статьи в тюрьме в 1957 г. Как это — «Ивана Денисовича» печатаем, а людей все равно сажаем?

Александр Трифонович говорил об этом с Лебедевым, и тот обещал узнать и, если возможно, помочь[1].

7. I. 1963.

Подписан к печати № 1.

В номере:

А. Солженицын. Два рассказа («Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка»).

И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. 5.

Стихи Анны Ахматовой, М. Луконина.

Статьи И. Забелина («Человек коммунизма, природа и наука»),

Т. Бачелис («Режиссер Станиславский»), Ю. Манна («Художественная условность и время»).

Рецензии Е. Стариковой, А. Берзер, Б. Зингермана и др.

10.I.1963

Вчера в редакции был ленинградский приятель Твардовского А. Македонов[2]. Они были близки еще по Смо-

---

[1] Р. Пименов был освобожден. Я познакомился с ним в редакции, когда он приходил благодарить Александра Трифоновича. — *В. Л.*

[2] Македонов Адриан Владимирович, критик, литературовед.

ленску. Потом Македонов сидел, стал в ссылке геологом, теперь доктор геолого-минералогических наук, но по-прежнему увлечен поэзией. Расспрашивал о Евтушенко и Вознесенском.

Александр Трифонович говорил с некоторым раздражением:

«Для добрых людей такое явление, как Солженицын, это манифест. Но для таких, как наши молодые, это что с гуся вода... И потом, они так малоначитанны: „Черный обелиск" Ремарка читали, а „Капитанскую дочку" не прочли».

<...>

8.II.1963

Думал о том, что за последние полгода-год сформировалось и выявилось особое течение в прозе: А. Яшин, Алексей Некрасов, В. Войнович, Е. Дорош[1] — сочинения в чем-то друг другу близкие — и, конечно, Солженицын, стоящий впереди всех, но близкий этому роду литературы.

Устав от лжи и приспособлений «вымысла», литература обратилась к правде почти документальной, «очерковой», самой, по видимости, не связанной «условиями», достоверной. Вспоминается, что Толстой говорил о близком конце, гибели романа: стыдно придумывать, что могло случиться с вымышленными героями, а надо рассказывать честно, то, что видел и знаешь. Недурная тема для статьи: «О честной прозе».

В Москве Солженицын. Привез Александру Трифоновичу поэму 1948–1950 гг., написанную в лагере. Обещает к апрелю два новых рассказа.

Пристал ко мне: «беда» и «победа» — слова одного ли происхождения? Искали в словаре Преображенского.

Он стал больше интересоваться театром. Видно, обольщен «Современником», передал им свою пьесу.

«Иван Денисович» выходит отдельными изданиями — в «Роман-газете» и «Советском писателе». По настоянию

---

[1] Дорош Ефим Яковлевич, писатель, с 1966 г. член редколлегии «Нового мира».

редакторов убрал «фуй» в трех местах, зато кое-что вставил: в речь Тюрина и потом еще реплику по поводу охраны. <...>

8.III.1963

Наша истеричная литературная среда живет слухами и, торопя события, вопит, что Твардовского «сняли».

Между тем он был сегодня в редакции — свеж и ясен. Рассказывал о поэме Солженицына, рукопись которой прочитал. Это все подготовка к «Ивану Денисовичу», не более, считает Александр Трифонович. И нехорошо, что написано в стихах, хотя стихи крепкие, профессиональные. Понятно, почему в стихах: он сочинял в заключении, без бумаги, и это была единственная возможность закрепить в памяти придуманное. Заучивал наизусть четверостишие и сочинял следующее. Этим он поддерживал себя. Какой-то огонек душевной жизни в нем теплился. Если бы что-то подобное было рассказано в прозе, возможно, могло бы получиться что-то вроде «Былого и дум», считает Твардовский.

По словам Александра Трифоновича, Солженицын преподавание в школе совсем оставил, работает вовсю. Говорит, что некогда, более нужные замыслы есть, но вообще-то он хотел бы написать повесть о молодежи, он ведь все последние годы в школе с ней возился. <...>

Из статьи Вадима Кожевникова «Товарищи в борьбе»
(«Литературная газета», 2 марта 1963 г.)

«Наука радости — неотъемлемое качество нашей литературы, выражение ее глубочайшего оптимизма. Правда, в последнее время, мне кажется, на страницах наших журналов появляется слишком много «сварливых» рассказов и повестей. В них — упрощенный показ человека, в них — «новаторство» лишь ради того, чтобы затруднить восприятие не слишком серьезного содержания. Признаться, я испытал чувство большой душевной горечи, когда прочел в «Новом мире» рассказ «Матренин двор» А. Солженицына, создавшего такое замечательное произведение, как «Один день Ивана Денисовича». Мне кажется, что рассказ «Матренин двор» написан автором в том состоянии, когда он еще не

мог глубоко понять жизнь народа, движение и реальные перспективы этой жизни. Такие люди, как Матрена, в первые послевоенные годы действительно пахали на себе в разоренных немцами деревнях. Советское крестьянство совершило великий подвиг в тех условиях и дало хлеб народу, накормило страну. Это одно должно вызвать чувство благоговения и восхищения. Рисовать советскую деревню как бунинскую деревню в наши дни — исторически неверно. Рассказ Солженицына снова и снова убеждает: без видения исторической правды, ее сущности не может быть и полной правды, каков бы ни был талант.

Традиции литературы критического реализма не могут быть механически перенесены на нашу почву. Иначе — манера повествования главенствует над смыслом и образ иной, уже далекой, мертвой эпохи овладевает писателем. И вот, даже помимо авторской воли, когда писатель пытается изображать нашу действительность, исходя из принципов критического реализма, возникает исторически неверная перспектива.

Художественные средства не есть нечто нейтральное. Они не могут существовать независимо от идейного замысла...»

7–8.III.1963

Совещание в Кремле с руководителями партии и правительства. На второй день выступил Хрущев. Поминал, как написанные «с партийных позиций», поэму «За далью — даль» и «Ивана Денисовича».

Зато резко выступил против Эренбурга и Некрасова, любителей «жареного», т. е. сенсаций, как бы вновь приглушая тему развенчания культа. Много и сбивчиво говорил о евреях, в том смысле, что и среди них «встречаются хорошие люди».

Реакция по всему фронту, откат от XXII съезда.

Из верстки передовой статьи «Идейность и реализм» для № 4

«Партия поддерживает здоровое, жизнеутверждающее критическое направление в искусстве социалистического

реализма. С одобрения ЦК КПСС в последнее время была опубликована, например, повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

ПОПУТНОЕ

В вечернем выпуске «Известий» 29. III. 1963 напечатана статья В. Полторацкого «Матренин двор и его окрестности» — первый, не считая отзыв Кожевникова, отклик на рассказ Солженицына.

6.IV.1963

<...>

Сделали вставку в передовую для № 4 — о «Матренином дворе». Цензура требует к слову «реализм» в заглавии добавить: «социалистический». Это нам боком выходит разговор Твардовского у Ильичева. Он и сам сокрушается: «Зачем я тогда высказался по поводу «реализма без эпитетов». Никто ведь за язык не тянул, захотелось пофорсить. Теперь вот вяжутся».

<...>

18.IV.1963

Был у Маршака. Он стар, плох, но очень оживлен, нервен, взволнован в связи с присуждением ему Ленинской премии. Принес ему книгу о Толстом и Чехове, которую он по телефону потребовал у меня, узнав о ней от Твардовского.

<...>

Розалия Ивановна, неизменная экономка и бонна Маршака, силком усадила меня обедать, иначе Маршак не хотел есть. И тут я рассказывал ему о том о сем. О том, как Благой разбирает пушкинского «Анчара», о последнем письме Солженицына в редакцию журнала конвойных войск «К новой жизни» и о журнале нашем.

22.IV.1963

<...>

Звонила некая Павлова из ведомства Б. Н. Пономарева (международный отдел ЦК). Спрашивает: «Кто рекомен-

довал Сартру «Матренин двор»?» Александр Трифонович отвечал с большим достоинством: «Рукописи Сартру никто не передавал до публикации, а все, что мы печатаем, мы тем самым рекомендуем». «Сокрытие правды — тоже неправда, — говорил Александр Трифонович.— Не может быть для одних одно, а для других — другое. Я в литературе работаю уже несколько десятков лет, и так никогда не было и не будет».

Твардовский возмущен статьей Н. Сергованцева в «Октябре» против повести Солженицына. Как они себе это позволяют? Не может быть, чтобы вещь, одобренную Президиумом ЦК и Хрущевым, так спроста стали бы разносить. И кроме того, какая степень низости, гадости — упрекать несчастного, голодного, полуумирающего человека (Ивана Денисовича), что он на еду с жадностью набрасывается.

<...>

3.V.1963

Из интервью А. Т. Твардовского корреспонденту «Юнайтед Пресс Интернейшнл» Г. Шапиро, напечатанному под названием «Литература социалистического реализма всегда шла рука об руку с революцией» («Правда», 12 мая 1963 г.)

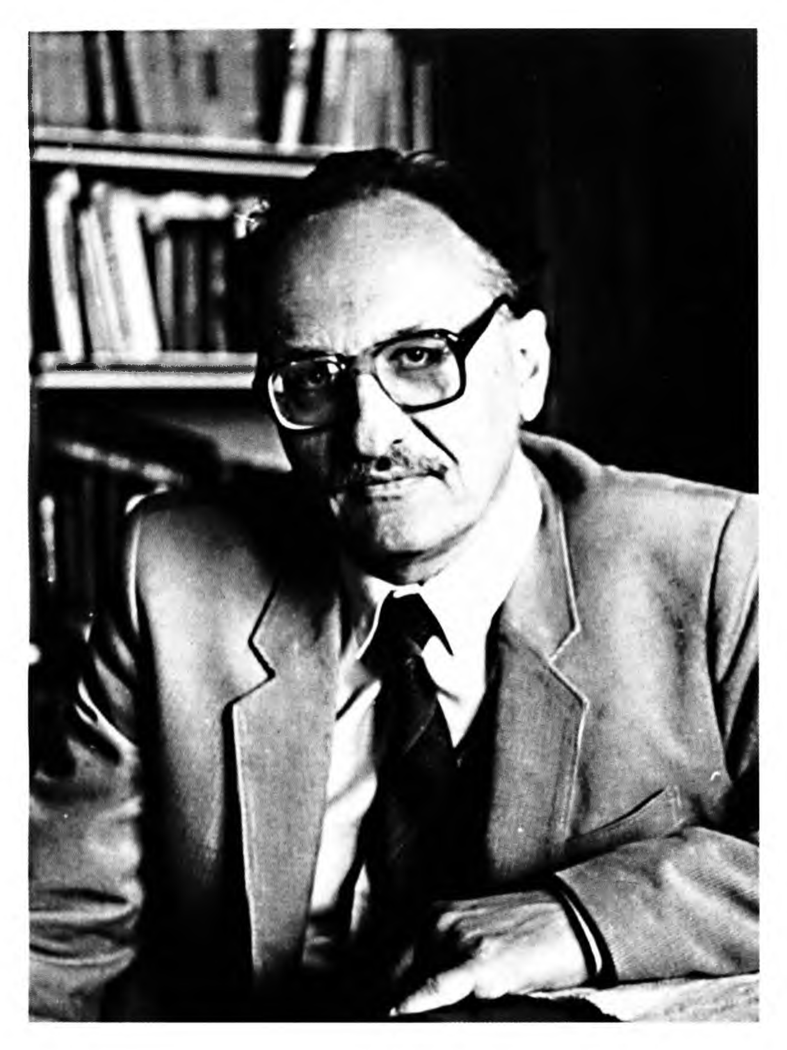
«По-моему, „Один день..." — из тех явлений литературы, после которых невозможно вести речь о какой-либо литературной проблеме или литературном факте, так или иначе не сопоставив их с этим явлением».

<...>

Начало июня 1963 г.

На редколлегии обсуждали «Чуму» Камю, хотим попробовать все же ее напечатать.

Говорили о новом рассказе Солженицына «Для пользы дела». Удивительно, что всякий раз этот писатель поворачивается по-новому. Вот что значит талант! Одна только подробность нехороша (тут мы все сошлись). Не надо, чтобы негодяй директор был еще и своекорыстен. Это мельчит смысл. Ну да Солженицын найдет, как поправить.



Владимир Яковлевич Лакшин.
Архив В.Я. Лакшина



Александр Трифонович Твардовский.
Архив В.Я. Лакшина



Александр Исаевич Солженицын.
Архив В.Я. Лакшина



А.Т. Твардовский и В.Я. Лакшин. Май 1967 г.
Архив А.Т. Твардовского

Застолье в редакции «Нового мира». 1960-е гг.
Слева направо: А.Т. Твардовский, И.А. Сац,
В.Я. Лакшин, Л.И. Лерер. Архив В.Я. Лакшина

Михаил Николаевич Хитров и В.Я. Лакшин. 1960-е гг.



Марк Александрович Щеглов. Архив В.Я. Лакшина



Редколлегия «Нового мира». 11 февраля 1970 г.
Слева направо сидят: Б.Г. Закс, А.Г. Дементьев,
А.Т. Твардовский, А.И. Кондратович, А.М. Марьямов.
Стоят: М.Н. Хитров, В.Я. Лакшин, Е.Я. Дорош,
И.И. Виноградов, И.А. Сац. Архив В.Я. Лакшина



Гавриил Николаевич Троепольский с Ваней Лакшиным на руках. Январь 1976 г. Архив В.Я. Лакшина



Наталья Иосифовна Ильина. 1970-е гг. Архив В.Я. Лакшина



В.Я. Лакшин, М.И. Твардовская и
А.И. Солженицын на похоронах
А.Т. Твардовского.
21 декабря 1971 г.
Новодевичье кладбище.
Архив А.Т. Твардовского



Похороны
А.Т. Твардовского.
За фигурой Солженицына —
В.Я. Лакшин.
Архив
В.Я. Лакшина



М.И. Твардовская и
А.И. Солженицын на похоронах
А.Т. Твардовского. 21 декабря 1971 г.
Новодевичье кладбище.
Архив В.Я. Лакшина



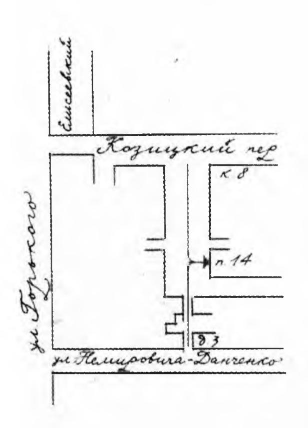
Гражданская панихида в Центральном доме литераторов. 21 декабря 1971 г. Солженицын у гроба А.Т. Твардовского. Архив В.Я. Лакшина



Похороны А.Т. Твардовского. Слева — И.И. Виноградов, В.Я Лакшин, в центре — Кайсын Кулиев, справа — дочери Ольга Александровна и Валентина Александровна Твардовские. Солженицын целует А.Т. Твардовского. Архив В.Я. Лакшина



В.Я. Лакшин, М.И. Твардовская, А.И. Солженицын. Справа — О.А. Твардовская и И.И Виноградов



В.Я. Лакшину

Дорогой
Владимир Яковлевич!

Приглашаю Вас присутствовать
на Нобелевской церемонии
9 апреля 1972 г.

Начало в 12 часов дня.
Сбор гостей с 11.30 до 11.50
/ ул. Горького, 12, кв.169 /

А. Солженицын

Приглашение А.И. Солженицына В.Я. Лакшину.
Архив В.Я. Лакшина

4.VI.1963

Вечером в редакции виделся с Солженицыным. Подарил ему свою книгу и «Этимологический словарь» Преображенского, обещанный давно.

Говорили о его рассказе. Мне показался натянутым мотив выгоды, личной материальной выгоды для директора, отбирающего у техникума новое здание. Это лишнее. Неожиданно легко он согласился.

Сказал и об искусственных словечках, избыток которых, на мой взгляд, только мешает. Часто эти словечки придуманы изобретательно, дают эффект. Но не отвлекают ли они от существа дела? Отмечаешь про себя при чтении: «Ах, как ловко, даже щегольски сказано!» А читатель не должен бы специально замечать эти красоты у глубокого писателя.

Солженицын говорит, что только что, в Солотче, перечитывал Чехова и что даже у него, скажем в «Ариадне», встречаются небрежности в языке. Я заступился за Чехова и сказал, что по мне любая его зрелая вещь куда выше блистательного в литературном смысле Бунина (недавно я перечитал «Жизнь Арсеньева» и не смог восхититься). Солженицын согласился, что у Бунина, при всех его достоинствах, есть какая-то неприятная ограниченность и самодовольство старого барина.

Александру Исаевичу не откажешь в наблюдательности; он посмотрел на меня сегодня пристально и спросил: «Почему вы хромаете?» — а ведь, этого, кажется, никто не замечает.

<...>

7.VI.1963

<...>

Возмущались в редакции клеветой на Солженицына. В Ленинграде, в редакции «Звезды» некто Дьяков публично утверждал, что Солженицын попал в лагерь не за политические разговоры, а как предатель. «Какие мерзкие, гнусные люди, — говорил Александр Трифонович. — Мы им этого не простим».

<...>

11.VI.1963

<...>

Солженицын подарил мне выпущенный «Советским писателем» на скорую руку «Один день...». Издание действительно позорное: мрачная, бесцветная обложка, серая бумага. Александр Исаевич шутит: «Выпустили „в издании ГУЛАГа"».

6.VII.1963

Болтун-цензор Виктор Сергеевич Голованов — колоритная фигура в нашей нынешней жизни. Его резиденция в Гослитиздате, и Светлана[1] понесла подписывать к нему книгу Макогоненко о Пушкине, которую она редактировала, а Голованов неожиданно разоткровенничался — о «Новом мире» говорил, о Солженицыне, словом, обо всем.

Он, как нарочно, из журналов цензурует нас и журнал Московской патриархии. «Что вы думаете, у них тоже бывают ошибочки, — объяснил он Светлане. — А в «Новом мире» меня все любят, и Б. Г. Закс, и А. И. Кондратович... Товарищи по Главлиту говорят мне: да брось ты этот журнал, с ним одни неприятности, вот выговор схватил за «Тройку, семерку, туз» Тендрякова. А я не бросаю, это дело интересное и важное. С Александром Трифоновичем у меня хорошие отношения. Я все разговоры с ним записываю, на всякий случай... Вот в этом сейфе тетрадь хранится... А Солженицына новый рассказ («Для пользы дела») — сложный: здание у детишек отбирает номерной институт, а ведь мы все для обороны делаем, готовы на любые жертвы... А тут детишек жалко... Ну, номерной, во всяком случае, придется им переменить — напишут просто НИИ, но ведь и это, по существу, не годится...»

<...>

К общему удовольствию я пересказал сегодня весь этот разговор Александру Трифоновичу и Заксу, предварив воспоминанием, как в Ташкентском аэропорту, в клозете ресто-

[1] Светлана Николаевна Лакшина, моя жена — работала редактором в Гослитиздате.

рана, один пьяный говорил другому, смачивая затылок холодной водой над грязным умывальником. «Н-нет, все это оч-чень сложно... Тут надо знаешь как стараться... Я 20 лет в контрразведке служу и знаю, что главное — это держать язык за зубами».

<...>

9.VII.1963

Цензура держит, не подписывая, рассказ Солженицына. На запросы отвечают: «Читаем». Возник в редакции разговор, сколько потребно времени, чтобы прочесть рассказ в 2 авторских листа? Кто-то заметил: «Да его мигом проглотят — это же интересно».

А Твардовский: «Кузьма Горбунов, когда был политредактором, так рассуждал: читаешь материал и вот по строчкам ползешь, все скучно, знакомо. Вдруг чувствуешь, что стало интересно, — вооружись. Пока идут цитаты, пересказы классиков марксизма-ленинизма — можно глазами скользить, все в порядке, а как заинтересовался — тут что-то не то... Я всегда на себе проверяю».

С Дементьевым и Александром Трифоновичем пошли после работы закусить на верандочку в Столешниковом. (Когда-то там был «Красный мак», а теперь забегаловка от «Урала».)

Вспомнили по какому-то случаю о паскудных нападках на Солженицына. «Я могу сказать, как Кутузов, — заявил вдруг Александр Трифонович, — „будут они у меня конское мясо есть“. Попомните мое слово, так и случится».

<...>

15.VII.1963

Рассказ Солженицына подписан цензурой. Вымарки пустяковые: слово «забастовка», еще что-то в этом духе. Тип «волевого руководства» — забрано в кавычки.

19.VII.1963.

Подписан к печати № 7.

В номере:

Е. Драбкина. Удивительные люди.
А. Солженицын. Для пользы дела.
Н. Мельников. Строится мост.
Стихи В. Шефнера, М. Алигер, М. Танка.
Статья Е. Дороша «Воспоминания о Маяковском».
Рецензии А. Туркова, Ф. Светова, Т. Мотылевой.

26.VII.1963

<...>

Отправился сегодня из дому в редакцию — и вдруг чудесное зрелище: через улицу Чехова идут три ослепительных джентльмена — Твардовский, Некрасов, Солженицын, — все чистенькие, бодрые, деловые. Шли от редакционной суеты потолковать на улице. Позвали меня, и дойдя до Страстного бульвара, мы расположились на скамейке, спиной к моему дому.

<...>

Солженицын, явившийся в белом картузе, в каком в чеховские времена ходили землемеры и помещики средней руки, жаловался на нездоровье, головные боли. Сказал, что пишет нечто, осенью, быть может, привезет показать и для этой работы пропадает в библиотеке. В Москве оказалось невозможным заниматься, все узнают его, так он приспособился ездить в Ленинград, сидит там в Публичной библиотеке и очень доволен.

<...>

25.VIII.1963

Я начал вплотную заниматься давно задуманной статьей о Солженицыне. Идет туго. В голове сумбур, но сумбур не бесплодный.

Из этого должно что-то выйти, хотя трудно удержаться в рамках цензурности.

<...>

27.VIII.1963

Утром Твардовский был в «Известиях» у Аджубея.

<...>

О Солженицыне Аджубей, между прочим, спросил: «Говорят, опять скользкую вещь написал?» Твардовский возмутился.

<...>

31.VIII.1963

В «Литгазете» напечатана статья Ю. Барабаша[1] «Что есть справедливость?» — против рассказа Солженицына «Для пользы дела».

Из статьи Ю. Барабаша

(«Литературная газета», 31 августа 1963 г.)

«Итак, неудача... Но разве застрахован от этого хотя бы один художник, тем более художник ищущий?

Конечно, нет.

И быть может, не стоило бы говорить об этой неудаче А. Солженицына, если бы недостатки рассказа «Для пользы дела» не имели много общего с тем, что критика отмечала, например, еще в «Матренином дворе». Речь идет о попытках решать сложнейшие идейно-нравственные проблемы, судить о людях и их поступках вне реальных жизненных связей, оперируя абстрактными, не наполненными конкретным социальным содержанием категориями. Там — «праведница», без которой якобы не стоит ни село, ни город, ни «вся земля наша». Здесь — «маленькие» люди, расшибившие себе лбы в бесплодных попытках ответить на поставленный «вне времени и пространства» схоластический вопрос — что есть справедливость?

Казалось бы, «Для пользы дела» — самый современный из рассказов А. Солженицына, почти наши дни, но если вдуматься, если отбросить такие сугубо внешние приметы, как катамараны и пальмы на рубашках, да короткие ежики, да «архисовременные» суждения ребят о литературе, — если все это отбросить, то окажется, что взгляд писателя на жизнь, его позиция остались такими же несовременными,

---

[1] Барабаш Юрий Яковлевич, критик, литературовед. Давний оппонент Вл. Як. Автор статьи о нем «„Руководители“, „руководимые“ и хозяева жизни» («Лит. газета». 1964, 12 мая).

во многом даже архаичными, как и в «Матренином дворе». «Нового», подлинно современного Солженицына мы здесь не узнали...

А ведь перед нами, несомненно, крупный и честный талант, своеобразие которого — в обостренной чуткости к любому проявлению зла, неправды, несправедливости. Это большая сила, но — только в сочетании со знанием и глубоким пониманием законов, по которым движется жизнь с умением ясно видеть направление этого движения.

Думается, верится — встреча с «новым» Солженицыным — впереди...»

12.IX.1963

Хитров рассказывал вчера, как нервничал Гребнев, заместитель Аджубея, когда в «Известиях» печатался «Теркин на том свете».

«Не знаю, не знаю, эту полосу я бы не подписывал, — говорил он, ухмыляясь и потирая руки.— Вот увидите, это особая группа — Солженицын, Твардовский, и их еще разоблачат. Впрочем, я ничего не говорю, это сугубо личное мое мнение».

25.IX.1963

Вчера решили соорудить небольшую подборку писем в связи с новым рассказом Солженицына, обруганным в «Литгазете» Ю. Барабашем — есть очень неглупые, теплые письма. Весь вечер читал эту почту и, кажется, подобрал то, что нужно.

Статье о Солженицыне не видно конца. Все продумано, а пишется медленно, трудно.

19.X.1963

В «Литгазете» статья Н. Селиверстова «Сегодняшнее — как позавчерашнее» — против рассказа Солженицына «Для пользы дела».

21.X.1963 (в действительности 31.X) подписан в печать № 10.

В номере:
Г. Троепольский. В камышах.
К. Паустовский. Книга скитаний.
И. Шмелев. Русская песня. Рассказ.
Л. Волынский. Краски Закавказья (окончание).
Стихи М. Алигер, К. Кулиева.
Статья А. Бовина «Истина против догмы» (полемика с Китаем).
Трибуна читателя (3 письма о рассказе А. Солженицына «Для пользы дела»).
Рецензии А. Абрамова, М. Рощина и др.
<...>

29.X.1963

Приезжал Солженицын. Говорил, что главы, нам прежде переданные для чтения (свидание в тюрьме и др.), — это кусок большого романа, над которым он работает[1]. А к следующей осени обещает кончить для нас другую вещь — повесть «Раковый корпус». Речь идет о ташкентской больнице, где его спасли. Он просит командировать его туда от журнала в январе или феврале.

Все единодушно, и Александр Трифонович в том числе, отговаривали его печатать главы ненаписанной еще вещи. Пока они и выглядят как фрагмент, и будут беззащитны перед недоброжелательной критикой. Солженицын же настаивал, что они кажутся ему вполне законченными, должны оставлять цельное впечатление. Он говорил, что хотел бы заявить «женскую тему» в лагерной литературе, которая вот-вот все равно прорвется.

Твардовский отвечал ему, что «глав» неоконченного произведения мы никогда не печатаем, лучше потерпеть и познакомить читателя с целым. Я напомнил, как молодой Толстой спешил с постановкой одной своей комедии, а А. Н. Островский сказал ему: «Зачем такое нетерпение?» —

[1] Впоследствии выяснилось, что 1-я редакция романа «В круге первом» была целиком написана Солженицыным еще до «Ивана Денисовича». Это обстоятельство он в свое время тщательно скрывал и предложил главы как бы из новой книги.

«Да комедия-то острая, на тему дня». — «Неужели ты думаешь, что *они* поумнеют?» — парировал Островский.

В результате Солженицын не стал настаивать, сказал, что понимает интересы журнала, верит, что мы лучше знаем положение, и доверяется нашему решению.

О повести «Раковый корпус» А. И. сказал, что не предвидит трудностей для ее появления в печати. Возник вопрос, можно ли объявить ее в проспекте? Твардовский и все мы советовали переменить, пока хотя бы условно, название. «Больные и врачи», например. Солженицын это отверг.

Потом в пустом кабинете Марьямова мы говорили с А. И. наедине, и он объяснил мне: ему не хочется, чтобы, пока он не будет появляться перед читателями, его считали автором повести «Больные и врачи». В этом названии есть нечто заведомо нейтральное, и может даже почудиться отступление, заранее обдуманное равновесие. Вот если бы одни «Больные»... Об этом еще можно бы подумать.

Говорили о Булгакове. Я рассказал ему о наших попытках напечатать «Театральный роман». Стал было толковать ему и о «Мастере», но выяснилось, что он где-то успел его прочитать.

«Какой удивительный писатель! — сказал Александр Исаевич. — Вот 20 лет прошло с его смерти, а все не можем напечатать. И какой разнообразный!»

Я предложил Солженицыну полечить его новейшими способами у моего друга В. Г[1]. Он ответил, что сейчас хорошо себя чувствует, практически здоров и не хочет экспериментов. Впрочем, просил за своего приятеля — геолога, у которого запущенный рак. (Этот человек — герой его будущей повести — лежал с Солженицыным.) Я обещал узнать, сможет ли В. Г. помочь ему. Вечером мы созвонились по телефону.

31.X.1963

В газетах и журналах с каждым месяцем все развязнее бранят Солженицына, подкусывают повесть, ругают новые

[1] Говалло Валентин Иванович, доктор медицинских наук. Товарищ детских лет Вл. Як. — *С. К.-Л.*

рассказы. С этой критикой я хочу повоевать в своей статье. Ругают его люди, которые, помимо всего иного, не думают о завтрашнем дне, о своей репутации. Солженицын, мне кажется, такой писатель, для всеобщего и безусловного признания которого необходимо лишь одно малое условие — время. Всякий, кто бесцеремонно нападает сейчас на Солженицына или на Твардовского, — получит самую незавидную аттестацию у будущих поколений.

21.XI.1963

Вернувшись с заседания Московского отделения СП, Е. Дорош с возмущением рассказал, как провалили выдвижение кандидатуры Солженицына на Ленинскую премию. Ну что ж, достаточно и того, что он будет выдвинут от нашего журнала.

В Союзе же писателей либеральные интеллигенты — в том числе Ник. Чуковский (сын) — отводили кандидатуру Солженицына под разными предлогами. Когда Караганов напомнил, что Хрущев очень высоко оценил эту повесть, Тевекелян[1] громогласно сказал: «Ну, это личное мнение Никиты Сергеевича вовсе для нас в данном случае не обязательное».

В то же время В. А. Смирнов[2] распускает слухи, что Твардовскому и Кондратовичу «выражено недоверие» за публикацию читательских писем о рассказе Солженицына. Вот оружие этой «черной сотни» — клевета, распространение панических слухов, запугивание интеллигентов и чиновников, у которых и без того поджилки дрожат.

30.XI.1963

Поставил точку в статье о Солженицыне. Прочел ее дома своим и отдал Сацу.

1.XII.1963

Был у Саца. Я так боялся в душе его суда, а все сошло хорошо, он приметил одно лишь ненужное слово.

[1] Тавекелян Вартес Арутинович, писатель.

[2] Смирнов Василий Александрович, писатель.

Десять лет прошло с тех пор, как я принес Игорю Александровичу первую свою беспомощную рецензию, которую переделывал потом раза два. Она могла появиться в журнале лишь благодаря его широкому великодушию. Эти десять лет прошли не впустую. Кажется, я только-только начинаю кое-что понимать в деле, к которому приставлен.

2.XII.1963

Звонил Александр Трифонович из Барвихи — говорил о статье. Он пишет мне письмо.

В разговоре с Сацем по поводу названия («Иван Денисович, его друзья и недруги») я сказал, что все в нашей жизни сейчас заметно поляризуется. <...>

Письмо А. Т. Твардовского В. Я. Лакшину из Барвихи от 2.XII.1963

Дорогой Владимир Яковлевич!

Статья так хороша, существенна, исполнена достоинства и убежденности, что, пожалуй, и говорить бы не о чем. То, о чем я хочу сказать, происходит как раз, может быть, оттого, чем именно хороша статья: в ней идет настолько серьезный разговор, она касается таких значительных и важнейших политических, этических и эстетических мотивов в связи с „Ив. Денисовичем", что в ней не нашлось места для специального раздела о «художественных средствах выражения», какими Солженицын действует. Но это ясно только для умных и добрых людей. А имея в виду и других людей, не мешало бы, м. б., подчеркнуть, что вот, мол, такой выразительности и полноты содержания Солженицын достигает не в силу пренебрежения формой, а как раз по причине ее крепчайшего органического слияния и взаимопроникновения с содержанием. Можно бы подчеркнуть, что в повести нет ни одного готового, взятого напрокат слова — они все как бы впервые на свет рождаются, они всякий раз необходимы и в данном случае незаменимы. Далее: Солженицыну чужда тенденция щегольнуть „художественностью", красивостью облюбованного фразеологического оборота — это было бы кощунственно в применении к его материалу и т. д. Сказать

еще о ритмической целостности, музыкальности рассказа, о внезапном выходе из стиля Ив. Ден-ча, когда вдруг речь идет о Буйновском; о том, как смело автор дает в точном воспроизведении «интеллигентные» разговоры в присутствии Ив. Ден-ча, который наверняка не слышит, не фиксирует их, хотя все повествование дается лишь через его пять внешних чувств (очень обостренно!) и только через его сознание.

Впрочем, все это у вас даже и есть, только уж так сдержанно, без малейшего сползания к пошлому в своей отдельности «анализу формы». Да, может быть, в отношении этой вещи тоже кощунственным был бы этот «анализ формы». Словом, говорю вам обо всем этом без уверенности в том, что вы так-то и должны доработать статью. Но, может быть, следует смело и решительно оговориться, что мы, мол, не станем заниматься этаким «анализом» отдельно, что нас больше занимает цельное, существенное.

Но вот что, пожалуй, я считал бы необходимым внести в немногих строках в текст статьи. Там, где речь идет о том, где автор был в тот зимний день, когда Ив. Ден-ч выходил с колонной на работу, — там это все хорошо насчет морозца, Кремля и студенческих милых забот, — но тут же нужно сказать, *где была в этот день страна*, что сообщали газеты, радио и т. д. Это сделает картину «дня» Ив. Ден-ча еще разительнее, противоестественнее, невозможнее. Загляните мельком в газеты того времени — что-то строилось, затевалось, выполнялось, восстанавливалось, а в это время...

Необходимо еще разыскать из печати хоть полуфразу из того, что говорил о повести Н. С, хотя бы по газетному изложению (помните, о «человеческом в нечеловеческих условиях», о партийных позициях автора). Das ist sehr wichtig[1]. В крайнем случае снимите мою фамилию в ваших двух случаях (вообще — не более одного) и цитатните из моего интервью («Я никогда не забуду» и т. д.).

Кажется, у Сергованцева же было нечто вроде противопоставления «активной» позиции шолоховского Соколова „пассивности“ Ив. Д-ча? Я все ждал, что вы и этот гвоздь вобьете в гробовую крышку над статьей „Октября“.

[1] Это очень важно (*нем.*).

Еще я, может быть, поймаю вас по телефону. А покамест, всего вам доброго, мой юный, мудрый и благородный соредактор и друг.

Обнимаю вас,

А. Твардовский.

P. S. Я почти ничего не подчеркивал из мелочей письма, не хотелось, да и рукопись еще вами не вычитана.

А. Т.

4.XII.1963

Вечером я был в ЦДЛ на собрании секции критики. Потом ужинали небольшой компанией — В. Войнович, И. Крамов, Ф. Светов[1] и я. Вышли на улицу, и в двух шагах от подъезда вижу — какой-то высокий парень в скособочившейся шляпе бьет пожилого человека. Оба, похоже, пьяные. Я подошел, хотел остановить. Парень повернулся ко мне и, нагло глядя в упор, стал выкрикивать: «А, это ты, Лакшин! Я знаю, ты обо мне написал, но мы с тобой еще посчитаемся...» Тут же подошли Светов, Войнович. Он еще некоторое время, отстав от старика, шел за нами, грозился, махал руками, пока не получил оплеуху. Ему явно хотелось скандала, хотелось вступить в драку. Неужели это кто-то из задетых мною критиков — оппонентов Солженицына? Но кто?

И откуда ему известно о статье? Она была в руках у считанных лиц...

12.XII.1963

Сегодня вышла «Литгазета» с редакционной статьей «Пафос утверждения, острота споров», где есть попытка поставить под сомнение нашу публикацию писем о рассказе Солженицына.

Из статьи «Пафос утверждения, острота споров»
(«Литературная газета», 12 декабря 1963 г.)

«В обозреваемых нами журналах „сошлось“ сразу несколько материалов, посвященных произведениям А. Сол-

[1] Войнович Владимир Николаевич, писатель. Крамов Исаак Наумович, писатель, критик. Светов (Фридлянд) Феликс Григорьевич, критик.

женицына. О них говорится в упомянутой статье А. Овчаренко. Журнал „Подъем“ (№ 5) опубликовал статью В. Бушина „Герой — жизнь — правда“, в которой рассматриваются как сильные, так и слабые стороны творчества писателя. Критик, решительно споря с концепцией „праведничества“, проявившейся в рассказе „Матренин двор“, ратует за подлинных героев, героев-борцов, не склонных смиряться с несправедливостью и злом. „Без них-то и не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша“.

Между прочим, не так давно на страницах печати (в том числе и в „Литературной газете“) произошел обмен мнениями по поводу последнего рассказа А. Солженицына „Для пользы дела“.

Редакция „Нового мира“ также сказала свое слово в этой полемике, опубликовав в очередной книжке (мы имеем в виду десятый номер, недавно поступивший к читателям и потому не вошедший в наш октябрьский обзор) три читательских выступления, посвященных рассказу.

Думается, нет особой нужды обстоятельно повторять то, что уже было сказано редакцией „Литературной газеты“ (№ 126) и об обличительном пафосе рассказа, направленном против бюрократизма и чиновничества, пафосе, заслуживающем поддержки, и о серьезных недостатках произведения — они были подробно рассмотрены в статье Ю. Барабаша („Литературная газета“, № 105) и в письме Н. Селиверстова (№ 126).

Хотелось бы только подчеркнуть, что редакция „Литературной газеты“, как известно, предоставила возможность для высказывания на своих страницах различных мнений о рассказе А. Солженицына, считая естественным долгом выразить в заключение и свою собственную точку зрения. Очевидно, редакции „Нового мира“ такой способ обсуждения представляется излишне демократическим. Опубликованные ею письма безоговорочно хвалят рассказ и единодушно обрушиваются на автора критической статьи в „Литературной газете“.

Разумеется, возможности журнала захвалить напечатанное в нем произведение поистине безграничны. Но надо

ли говорить, что достигается это, как правило, дорогой ценой — ценой утраты чувства объективности, чувства меры.

У нас нет никаких оснований сомневаться в искренности авторов опубликованных „Новым миром" писем-статей. Странно лишь, что, отбирая письма, редакция не сочла возможным не только опубликовать, но даже упомянуть о наличии и таких читательских отзывов, в которых содержатся критические высказывания в адрес рассказа. Трудно предположить (и почта „Литературной газеты" подтверждает это), что в редакцию „Нового мира" пришли только письма, превозносящие рассказ...

В этой связи хочется сказать следующее. Любая редакция ответственна не только перед читателем — она несет моральную ответственность и перед писателем, произведения которого публикует. Святой долг редакции — помогать писателю, обращать внимание на его слабости, способствуя их преодолению. Подытоживая разговор о выступлении „Нового мира" по поводу рассказа А. Солженицына, стоит напомнить, что истинное уважение к писателю исключает всякую снисходительность к его творческим слабостям и ошибкам».

<...>

За исключением одной скабрезной открытки, «отрицательных» отзывов у нас нет.

Рукопись статьи о Солженицыне горячо обсуждается в кабинетах редакции. Главные упреки — не обидел ли я «придурков» и Цезаря Марковича как выразителя настроений интеллигенции. Выслушивал нарекания в этом смысле.

17.XII.1963

С Кондратовичем были у К. А. Федина в Лаврушенском. Воспоминание об этом нашем «странном члене редколлегии», как называет его иногда Твардовский, всплывает у нас по случаям особым и редкостным. Сам он в этом качестве проявляет себя мало — регулярно получает для чтения верстки и лишь изредка присылает записку с какими-нибудь ничтожными корректорскими поправками, про-

пустили запятую или лишнюю поставили, но никогда не высказывается (на всякий случай!) по существу. Его надо «приводить к присяге». В данном случае необходимо было, по совету Твардовского, согласовать текст нашего обращения в «Литгазету» о читательской почте в связи с Солженицыным.

Константин Александрович прочитал письмо, собственноручно поставил одну пропавшую при перепечатке кавычку и отпустил нас с миром.

Пока мы сидели у него в кабинете, с картинами по стенам и всяким антиквариатом, он расспрашивал о Солженицыне. Я попытался объяснить ему, что наше обращение в газету существенно, поскольку мошенничество вокруг читательских писем становится дурным обыкновением: не стесняются самой грубой фальсификации.

«„Институт читательского мнения“ в „Литературной газете“, мне тоже показалось, ведется сомнительно», — солидно подтвердил Федин.

23.XII.1963

<...>

Вечером 23.XII мы с Александром Трифоновичем поехали к Маршаку.

С. Я. «пропел» нам свое предисловие к английскому изданию «Теркина». Потом ужинали, разговаривали.

Маршак рассказал со слов своего сына Элика, инженера. Он знает директора «почтового ящика», прототип Хабалыгина у Солженицына; так этот «персонаж» оправдывался у зам. министра: «Солженицын все обо мне выдумал, вовсе я не такой, и бородавки у меня нет».

<...>

26.XII.1963

Напечатано редакционное письмо. Читатели приняли наши объяснения с восторгом — звонили в редакцию, благодарили, что мы осадили «Литгазету». Оказывается, никакими демагогическими «примечаниями» обмануть публику уже нельзя.

Из письма в редакцию «Литературной газеты»

(26 декабря 1963 г.)

«...Редакции журнала, по существу, предъявлено обвинение в фальсификации мнения читателей. Это вынуждает нас дать справку о почте журнала, посвященной рассказу А. Солженицына.

В связи с рассказом „Для пользы дела" редакция „Нового мира" получила всего 58 писем. Многие из них представляют собой, по существу, большие статьи в десять и двадцать машинописных страниц, с подробной и основательной аргументацией. Авторы 55 писем, три из которых опубликованы нами, решительно поддерживают рассказ Солженицына и полемизируют с его критиками.

Только в одном из 58 писем (Н. Л. Марченко, станция Удельная Московской обл.) высказывается отрицательное отношение к рассказу Солженицына. Впрочем, в этом письме ни слова не говорится о самом содержании рассказа, его теме, его героях. Очевидно, для автора это лишь повод высказаться против творчества Солженицына в целом. Н. Л. Марченко считает вредным делом публикацию произведений этого писателя вообще.

Мы не считаем возможным цитировать это письмо потому, что оно написано в недопустимо оскорбительном по отношению к советскому писателю тоне, но в любой момент готовы предоставить его для сведения редакции „Литературной газеты".

Мы признаем справедливым требование «Литературной газеты» объективно анализировать читательскую почту, давать представление о различных мнениях читателей, указывая хотя бы на количество писем, поддерживающих ту или иную точку зрения. „Новый мир" предполагает учесть это при будущих публикациях материалов „Трибуны читателя". Хотелось бы, чтобы и сама „Литературная газета" следовала этому правилу.

Редакция журнала *„Новый мир"*».

Цензор Голованов взял под особый присмотр мою статью о Солженицыне, сданную для № 1. Уже спрашивал у Кондратовича: «А кто это „недруги" Ивана Денисовича?»

Александр Трифонович агитирует меня писать следующую статью — о читателе, где поговорить о всяких материях...

Письмо А. И. Солженицына В. Я. Лакшину от 29.XII.1963

Дорогой Владимир Яковлевич!

А я пользуюсь случаем — поздравить Вас с Новым годом! пожелать Вам здоровья, бодрого духа и успехов в Вашей личной, литературной и в редакционной работе!

(И давайте, в частности, пожелаем друг другу, чтобы в 1964-м булгаковский роман — пока хотя бы этот! — увидел свет.)

Никакого недоразумения с бластофагом не произошло, я дал адрес Вашего московского приятеля своему подопечному. Если тот не написал — то значит...

Я работаю крепенько, а что получится — побачим.

Крепко жму руку!

Искренне к Вам расположенный

А. Солженицын

29.XII.1963

Подписан к печати № 1 «Нового мира» за 1964 г. В номере:

А. Кузнецов. У себя дома. Повесть.

Л. Волынский. Двадцать два года.

Публикация из наследия И. С. Шмелева.

Стихи С. Маршака, С. Щипачева, М. Рыльского.

Статья Ю. Черниченко «Целинная дорога».

Статья В. Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги». Рецензии Л. Лебедевой, Ф. Светова, В. Солоухина, А. Синявского и др.

ПОПУТНОЕ

Фактически номер вышел лишь в конце января. Дата 29.XII.63, по-видимому, была дана не по последнему, а по первому подписанному в печать листу. Цензура и дальше делала так, в согласии со специальным указанием, чтобы

дезориентировать тех читателей, у нас и на Западе, которые внимательно следили за сроками выхода журнала.

2.1.1964

После работы собрались отметить Новый год — Александр Трифонович, Дементьев, Кондратович, Герасимов[1] и я. Сидели в ресторане «Будапешт», наверху.

Поднимая первый тост, Твардовский говорил: «Легкой жизни и впредь я вам не обещаю. Мы же сами хотели этого, сами печатали повесть Солженицына».

Он говорил об общей невнятице в идеологии и политике. «Когда я в книге теряю нить, что-то не понимаю, как я поступаю? Листаю назад страницы, возвращаюсь к началу. Так же надо бы и в общих вопросах: запутались — вернемся к началу».

<...>

12.I.1964

Статью о Солженицыне несколько дней держали в цензуре, не подписывая. Голованов «советовался» выше, но итог благоприятный, сегодня, кажется, разрешили.

22.I.1964

<...>

После конца рабочего дня вдвоем с Александром Трифоновичем забрели в «Будапешт». Тут он рассказал, чего не говорил в редакции, что приехал из Рязани Солженицын и был у него в воскресенье. Встреча была очень хороша, и А. И. не смотрел даже на часы, что когда-то так обидело В. П. Некрасова. Солженицын говорил с полным пониманием о журнале, о его роли. Он вчерне закончил роман в 35 листов и еще, кажется, повесть кончает из времен революции. Звал Трифоныча в Рязань, чтобы там, в тишине, вдали от редакции и московского шума, он познакомился бы с романом. Я сказал, что понимаю это желание Солженицына, чтобы А. Т. читал прежде один и вне стен ре-

[1] Герасимов Евгений Николаевич, член редколлегии «Нового мира», заведующий отделом прозы.

дакции. «Вы мне доверяете? — обрадовался он как-то по-детски. — Ведь если что будет скверно, не сомневайтесь, я ему сразу врублю».

Твардовский считает, что Солженицын получит Ленинскую премию, на которую его выдвинул журнал, несмотря ни на что.

<...>

27.I.1964

Вышел наконец сигнальный № 1 с моей статьей об «Иване Денисовиче».

29. I.1964

<...>

Вечером поехали на Пушечную улицу, выступать в Доме учителя. Кроме нас, редакторов, были: Бондарев, Дорош, Войнович и Солженицын. Твардовский хорошо, дружелюбно и непринужденно вел вечер. Говорил о журнале: Запад не знает такого типа издания — без картинок, толстый журнал, одновременно художественный и публицистический. Во многих странах такого рода изданий просто нет. Этот тип журнала создан особыми условиями и традицией русской литературы XIX века, которая представляла и общественную мысль. Говорил о читателе, о связи с ним — как неотъемлемой части журнала.

Солженицын выступал дельно — говорил не о литературе, а о проблемах школы, в частности в связи с ростом преступности среди молодежи. Завышение отметок, невозможность для директора исключить кого-либо из школы — все это создает атмосферу ханжества.

Один из выступавших затем учителей ругал нашу критику: мол, нет у нас Белинских, ни одного не вырастили. «Вот уж неправда, — тихонько сказал сидевший рядом со мной Солженицын.— Мне критика «Нового мира» нравится больше всего в журнале. Отдел прозы — когда хорош, когда дурен, поэзии — вовсе плох, а критика у вас блистательная».

Несмотря на завышенность похвалы, не могу сказать, чтобы она меня не порадовала.

Глядя на первые ряды, где сидели подслеповатые заслуженные, учительницы, этакие старушки-мыши, которые переглядывались, перешептывались, враждебно зудели, Солженицын сказал, наклонившись ко мне: «Самая косная публика. Это они в 30-40-е годы калечили в школах людей».

Кончился вечер небольшим застольем в ресторане «Берлин». Солженицын все время спешил, разошлись рано.

30.I.1964

Прощаясь накануне, Солженицын взял у меня сигнальный 1-й номер «Нового мира» с моей статьей, который я захватил с собой в Дом учителя. Сегодня в редакции он зашел ко мне и сказал: «Я прочел только последние страницы, касающиеся Дьякова[1], — вам могу сказать высший для меня комплимент: это написано так, будто вы были в лагере. Я сам бы так должен был отвечать Дьякову. Ведь если бы его повесть появилась раньше моей, пошел бы косяк такой литературы». И еще раз повторил: «Как вам удалось написать это с точки зрения лагерного человека?»

Сегодня Солженицын и Твардовский ездили к Маршаку. Самуил Яковлевич давно требовал познакомить его с Солженицыным. «У Ахматовой был, а у меня нет». Маршак, естественно, не закрывал рта, забыв хоть о чем-нибудь расспросить гостя. Пять минут подряд говорил о своей статье в «Правде» по поводу «Одного дня», а потом минут 20 читал свою же статью о Шекспире. Солженицын стал поглядывать на часы. Твардовский был в ярости.

Завтра Александр Трифонович собирается в Карачарово — навестить Ивана Сергеевича Соколова-Микитова.

4.II.1964

Твардовский вернулся из Карачарова нехорош.

Значит, на Комитет по Ленинским премиям не пойдет, а он собирался выступать и по поводу Солженицына и Е. Исаева, выдвинутого со слабой поэмой «Суд памяти». Жаль,

---

[1] Повесть Б. Дьякова «Пережитое» в «Звезде» изображала лагерь с точки зрения привилегированного зэка, «придурка», освобожденного от «общих работ».

конечно. Сегодня стало известно, что докладчиком на сессии Комитета по кандидатуре Солженицына будет Аджубей. Запершись в своем известинском кабинете, он изучает мою статью. Расспрашивал Хитрова обо мне.

<...>

5.II.1964

Вероника Туркина звонила, поздравляла со статьей и сказала, что только одного человека я огорчил. Это кинорежиссер Лев Гроссман. Он знакомый Ю. Штейна: гордился тем, что с него написан Цезарь Маркович, а после статьи приуныл. Пьет валерьянку.

Письмо А. И. Солженицына В. Я. Лакшину от 4.II.1964, Ленинград

Дорогой Владимир Яковлевич!

Когда я был в редакции, то меня несколько тревожно спрашивали (Б. Г.)[1], как я отнесся в Вашей статье к месту о Цезаре. Я и сам уже было встревожился.

Но, прочтя статью, вижу, что все отлично и все на месте. Вы верно истолковали, что не о народе и интеллигенции речь идет, а о тех, кто принимает на себя удар и кто от него уклоняется.

Именно это и именно так я и хотел передать в повести. И хотя перед прототипом Цезаря мне по-человечески несколько неловко, но что делать? Amicus Plato... Ну, может быть, приравнивание к «красилям» есть маленький перебор, а скорее-то всего, учтя возможные в то время сценарии Цезаря, — и нет. По глубокой-то сути — верно.

И великолепный удар по дьяковской повести без этой подготовки не получился бы.

В общем, спасибо за статью. От подобной статьи чувствуешь — как бы и сам умнеешь.

Привет большой Александру Трифоновичу и всей редакции.

Крепко жму руку!

С.

---

[1] Борис Германович Закс.

7.II.1964

В «Литгазете», в обзоре какого-то заседания в СП, брюзжание по поводу моей статьи (Л. Фоменко и др.).

Письмо от Солженицына сделало меня на целый день счастливым.

<...>

9.II.1964

Пошли письма читателей о статье по поводу Солженицына.

Сегодня яростно-напористый Коржавин спорил со мной, что я зря обидел Цезаря Марковича. Спор длился часа два. Он успокоился немного, только когда я показал ему письмо Солженицына. И вообще, к концу спора выяснилось, что мы думаем во многом сходно, но только ему не нравится... а что не нравится, он так и не сумел определить. Зашедшая К. Н. Озерова вторила ему (ей и прежде не нравилось в статье это место о Цезаре), и это отравило мне настроение. Вечером какое-то обсуждение в Союзе писателей, где будет речь и о моей статье, просили быть. Но я себя перемог, хоть и любопытно было, и не пошел.

11.II.1964

Звонили из недавно образованного Совета по критике Союза писателей и звали на дискуссию о журнальной критике 1963 года. Я отказывался, как умел, предчувствуя западню. Но уклониться нельзя было — позвали выступить с сообщениями заведующих критикой четырех журналов — «Октября», «Знамени», «Москвы» ну и нашего.

Малый зал полон, человек сто — полтораста.

Я говорил коротко — минут пять, о том, что, мол, наша критика на виду, есть 12 книжек журнала за год, — обсуждайте, критикуйте, мы, мол, высказались.

Но вскоре же выяснилось, что собрались не для этого — их интересует 1-й номер нынешнего года, и только.

Все было разыграно как по нотам. Забыли все другие журналы и прочие статьи и целый вечер выли по-волчьи вокруг одной, посвященной „Ивану Денисовичу“.

Председательствовал Д. Еремин. Выступала фаланга кочетовцев — А. Дремов, В. Назаренко, С. Трегуб, И. Астахов, а потом еще главные специалисты по лагерной теме — Б. Дьяков и генерал Тодорский. Это было самое неприятное — они говорили эмоционально, со слезой, что я оскорбил их, оскорбил всех коммунистов, оказавшихся в лагере. Тодорский начал забавно: «Я не знаю всех этих распрей „Октября“ и „Нового мира“, для меня это ссоры Монтекуки (!) и Капулетти». Но, разойдясь, говорил жестко. Впрочем, Тодорский и Дьяков опровергали друг друга, говоря о лагере, хотя сами этого не заметили. Дьяков утверждал, что не существовало разницы между „работягами“ и „придурками“, что все это разделение придумал Лакшин, а Тодорский невольно подтвердил мою (и Солженицына, прежде всего) правоту, когда заявил: «Я к „работягам“ хорошо относился. У меня их несколько тысяч работало... Ну, понятное дело, когда назначили меня начальником, и навар в щах другой, и пайка потолще... Руководящие посты в лагере занимали бывшие военные, коммунисты, организаторы...» Он не понимал, как кощунственно все это звучало. Об Иване Денисовиче и таких, как он, за весь вечер никто и не вспомнил.

А. Дымшиц, заключая, говорил, что я холодными руками коснулся святой и трагической темы. И вообще все обсуждение напоминало коллективный донос: я узнал, что я ревизионист, идеалист и одновременно напоминаю китайских догматиков. У Дремова, занявшегося проблемами теории, выходило, что аналитическая критика, за которую я ратую, — это голый субъективизм, а нормативная — это и есть лучшая партийная критика. Тодорский сосчитал, что в статье лишь дважды упомянуто слово «партия», и это, конечно, не случайно.

Это был, что я не сразу понял, хорошо срепетированный спектакль. Клака „Октября“ вся была в зале и что-то выкрикивала с места, шумно аплодировала Дьякову и др. Не зря и закрыли собрание поспешно, пока люди не опомнились. На другой день должно было быть продолжение обсуждения, но его отменили, — все кто надо, уже высказались, теперь можно будет дать отчет в газете.

Хуже всего были «либералы» и сочувствующие. Многие подходили ко мне в перерыве, прочувственно жали руку, приветствовали, хвалили статью, но никто, ни один человек не выступил. Стелла Корытная сидела неподалеку от меня и, когда выступали Тодорский и Дьяков, громко шептала: «Что они говорят! Как не стыдно! Какой ужас!» Феликс Кузнецов долго тряс мне руку. Эмиль Кардин толковал что-то о «тактической ошибке», которую я допустил будто бы с «придурками»... Я ответил Кардину: кто знает, а может, не тактическая ошибка, а стратегическая победа?

Пешком, по морозцу, пошел один до дому по бульварам, чувствуя себя избитым в кровь. Почему я не попросил слова, чтобы возразить очевиднейшей клевете? Все ждал, что кто-то выступит, хоть полслова доброго скажет. Напрасно. Ночь спал скверно.

ПОПУТНОЕ

<...>

А. И. Тодорский, прославленный в его книге, имел сложную судьбу. О его брошюре «Год с винтовкой и плугом» в 1920 году высказался Ленин. Выйдя из лагеря, Тодорский, сам генерал-лейтенант в отставке, провел полезную работу — написал нигде не изданное тогда открытое письмо с подсчетами жертв сталинского террора среди военных: впервые собранные им данные о числе погибших маршалов, комкоров и комбригов оглушали. Но повесть Солженицына он не принял и, поскольку критиковать самого автора «Ивана Денисовича» не считали тогда возможным, сосредоточил свой гнев на моей статье.

В записи упоминается еще и Стелла Корытная. Дочь секретаря ЦК (или МК?) Корытного, она многие годы провела в лагерях. Вернувшись, изредка сотрудничала в отделе критики «Нового мира». Была человеком очень искренним и неуравновешенным, что неудивительно по ее судьбе. Год или два спустя после того, как я видел ее на обсуждении в СП, она покончила с собой.

ЗАБЫВЧИВЫЙ КРИТИК

Реплика в журнале «Огонек» (1964, февраль, № 8)

«В статье „Иван Денисович, его друзья и недруги", опубликованной в № 1 журнала „Новый мир", В. Лакшин к числу недругов героя повести А. Солженицына отнес журнал „Огонек" и его автора А. Налдеева. Почему же? За какую такую провинность?

В своей маленькой рецензии на роман Н. Лазутина „Суд идет" („Огонек", № 39, 1963 г.) критик А. Налдеев написал: «В отличие от повести А. Солженицына „Один день Ивана Денисовича" роман И. Лазутина поворачивает перед нашими глазами множество граней жизни». И все. Больше о повести А. Солженицына в рецензии не сказано ни слова. Но этого оказалось достаточно, чтобы критик В. Лакшин зачислил журнал „Огонек" в число „недругов" Ивана Денисовича. Зачем понадобилось это критику Лакшину, неизвестно. Известно одно, что он ввел читателей „Нового мира" в заблуждение. Все дело в том, что, кроме заметки критика А. Налдеева, в которой оказалась фраза, не понравившаяся критику В. Лакшину (кстати, не дающая основания зачислять Налдеева в недруги Ивана Денисовича), „Огонек" неоднократно выступал с положительной оценкой повести „Один день Ивана Денисовича".

В статье Ник. Кружкова („Огонек", № 49, 1962 г.) давалась высокая оценка этому честному, правдивому произведению. В № 52 за 1962 год в литературном обозрении А. Макарова и в № 5 „Огонька" за 1963 год в обозрении Б. Сучкова повесть Солженицына оценивалась также положительно.

В. Лакшин предпочел об этом забыть или не заметить этого. Нам в связи с этим хочется сказать читателям „Нового мира": не верьте критику В. Лакшину. Он искусственно фабрикует недругов Ивана Денисовича!»

16.II.1964

Наглая заметка в «Огоньке» — «Забывчивый критик» должна представить дело так, что «Огонек» всегда защищал Солженицына, а я попал пальцем в небо. Обидно было, что муж Луначарской — военный химик — принял заметку все-

рьез и спрашивал меня: «Ну как же так? Ведь они просто упрекают Вас в бесчестности?» Что на это ответишь? Лень слова тратить и глупо. Но некоторое унижение все же чувствуешь.

18.II.1964

Александр Трифонович сказал мне, что реплику «Огонька» он понял как жалкое оправдание, попытку примазаться к успеху Солженицына.

<...>

19.II.1964

Заходят в редакцию разные люди, разговоры о Солженицыне, о статье. Сегодня были белорусы — Янка Брыль и Адамович. Заходил Фоменко, приехавший из Ростова, потом Троепольский.

Вечером неожиданно возник спор с Дементьевым о «придурках». Видно, кто-то его накрутил. Забавно, что утром, когда Твардовский попросил меня написать ходатайство в Союз писателей о награждении Александра Григорьевича в связи с юбилеем, зашел о нем разговор. И Твардовский сказал: «А ведь он сильно переменился последнее время к лучшему, наш Демент. Мы все-таки потихоньку на него влияем». И как нарочно, после моего доверительного разговора с ним, когда я показал ему письмо Солженицына, он вдруг принес мою статью, всю расчерканную, и стал говорить о «тактических ошибках». Я сказал ему, что уже слышал это от Кардина и Мих. Кузнецова. Дементьев стал кричать высоким тенором о Заболоцком, которого я готов был бы погубить, как «придурка», отправить, что ли, на «общие работы». При чем тут Заболоцкий? Я сказал, что считаю эти доводы фальшивыми. Дальше — больше. Пришлось сказать, что он может не опасаться за себя — вся ответственность на мне. Я долго думал, прежде чем писать статью, и отвечаю за нее, за каждую строчку в ней...

Словом, крику было много. Я даже не успел пообедать и отправился проводить семинар в университет с пустым желудком, злой и расстроенный.

Свидетелем нашего объяснения с Дементом был Фоменко, который бросил несколько реплик, поддерживающих меня. Но видимо, и он был поражен, что в нашей редакции возможны такие полемики.

20.II.1964

Статья в «Литгазете», которую, зная о ней по слухам, давно ожидал. Статья беспомощная, трусливая, с экивоками. И когда я прочитал ее, у меня отлегло от сердца: даже написать как следует не умеют, своего собачьего ремесла не знают!

Из редакционной статьи «Общий труд критики»
(«Литературная газета», 20 февраля 1964 г.)

«О том, что порой кроется за внешней обстоятельностью критики, свидетельствует статья «Иван Денисович, его друзья и недруги», принадлежащая перу В. Лакшина („Новый мир“). Статья посвящена повести А. Солженицына „Один день Ивана Денисовича“ и некоторым критическим отзывам о ней... Вот уж, казалось, все здесь — и пространность рассуждений, и дотошность в цитировании, и обращение к классикам отечественной критики, к документам последнего времени — располагает к тому, чтобы статья получилась по-настоящему убедительной. Однако на недавних творческих обсуждениях в Московской писательской организации эта статья была подвергнута довольно резкой критике в выступлениях Л. Фоменко, А. Тодорского, А. Дымшица, И. Астахова, Б. Дьякова, В. Назаренко, С. Трегуба именно за недоказательность и субъективистский подход к общественно-творческим проблемам, за узость взгляда на литературный процесс. (...)

Бог весть по какому праву определив себе роль единственного защитника и приверженца повести «Один день Ивана Денисовича», В. Лакшин пытается поделить с помощью этого произведения всех критиков, писавших о книге, на „друзей“ и „недругов“.

Собственно, о „друзьях“ в статье речи нет, упоминание о них скорее средство сделать более „полным“ заголовок ста-

тьи. Впрочем, без особого труда можно понять, что „друзья", по В. Лакшину, это те критики, которые приняли повесть как „данное", восторженно, кто хотел бы видеть ее главного героя именно таким (и только таким!), каким он нарисован у А. Солженицына.

„Недруги" — это те авторы, кто обронил в адрес повести хоть слово критики, позволил себе рассуждать на темы, казалось бы, столь естественные и привычные при рассмотрении всякого литературного произведения: о типичности героя, о полноте изображенных обстоятельств, о неиспользованных возможностях темы и т. д. Это критики, которые увидели в облике Ивана Денисовича черты примиренчества, пассивности, некоей „каратаевщины", считающие, что тема, поднятая А. Солженицыным, могла быть решена еще более ярко и убедительно (...)

Кто знает, возможно, В. Лакшину все эти соображения в связи с повестью и покажутся второстепенными — в самые суровые и сложные годы он, как пишет в статье, „сочинял сценарии студенческого капустника, бегал на дружеские вечеринки". Но для тех, кто уже тогда жил полноценной „взрослой" жизнью, эти годы — частица собственной судьбы. Для них такое убеждение, такое ощущение историзма необыкновенно дорого: речь идет о стране и речь идет о них самих! Естественно, что для них вовсе не безразлично, *какого* героя выбрал художник для рассказа о нашем личном и общественном опыте...

(...) Не кажется ли молодому критику, что уже сама его постановка вопроса о „друзьях" и „недругах" таит в себе некий дурной подтекст? Ведь критиков, чьи имена называются в статье, он аттестует не только как „недругов" повести, но и как „недругов" ее героя, жертвы культа личности, Ивана Денисовича, который, говоря словами статьи, являет собой „народный характер", олицетворяет многих рядовых людей, составляющих „самую толщу широких трудящихся масс" и сосредоточивших в себе „народные черты нравственной стойкости, трудолюбия, товарищества и т. п." Не нужно прибегать к сложным логическим построениям, чтобы, идя за мыслью В. Лакшина, понять,

кому и чему „недруги" эти неосторожные критики. Вот до чего, оказывается, можно договориться в пылу литературной полемики!

Этот пыл и торопливость в обличении „инакомыслящих" не однажды заводят Лакшина в дебри, в которые он, по-видимому, и не стремился, заставляют его то „усекать" цитаты из других статей, то делать из них совершенно произвольные выводы, приписывая одним критикам любовь к пресловутому „идеальному герою", других приравнивая к Алеше-баптисту, персонажу из повести А. Солженицына. В. Лакшин способен одернуть рабочего В. Иванова, который в „Известиях" позволил себе написать что-то не так, как того хотелось бы критику: он грубо „сталкивает лбами" разные книги на одну тему, с оскорбительной уничижительностью пишет о повести Б. Дьякова „Пережитое"...

Повесть „Один день Ивана Денисовича" дорога нам всем — не одному только В. Лакшину. Тем более нельзя превращать это произведение в предмет размежевания литераторов, нельзя делать из книги некий „феномен", выводить за пределы естественно развивающегося литературного процесса, насильственно догматизируя и регламентируя всякую творческую мысль о данном произведении».

ПОПУТНОЕ

На первый взгляд, в статье «Литературной газеты» не было ни складу ни ладу. Хвалить за «дотошное цитирование» и спустя несколько абзацев упрекать критика в «усечении цитат»; называть себя защитниками повести и ее героя — и одновременно выражать недовольство *таким* героем — все эти несообразности мало смущают автора редакционной статьи.

Но что в ней действительно примечательно и отражает логику определенного момента — это механизм сознательного лицемерия, вынужденного считаться с обстоятельствами. Само собой очевидно, что *пока* не с руки было бить повесть, одобренную Н. С. Хрущевым и выдвинутую как-никак на Ленинскую премию. Но набросить тень на этот «фено-

мен» можно. Можно ударить по ней рикошетом, браня ее защитника и в позе бесстрастного арбитра солидаризируясь с ее критиками. Те, кто вскоре начнут изымать повесть Солженицына из библиотек, вымарывать любые упоминания о нем, свертывать едва начавшуюся критику сталинской эпохи, пока что фальшиво сердятся на то, что кто-то посмел искать «недругов Ивана Денисовича» — жертвы культа личности. Где вы их увидели? Помилуйте, их нет! Решительно все ходят в «друзьях», и разве что некоторые освобождают повесть от ореола исключительности, вводят в рамки «естественно» развивающегося (!) литературного процесса... На волчьем загривке все еще бабушкин чепец, и слышится из-за двери нежный голос.

Завтра оправданий и недомолвок уже не потребуется. «Лагерная тема» будет закрыта. Враги XX съезда, развенчания культа скинут маску, едва утвердится застойная брежневская пора. Снова сведут к нулю и вычеркнут из истории для молодых поколений тему репрессий и шаг за шагом пойдут вспять к реставрации привычной идеологии и психологии сталинизма. Надо было прожить эти два десятилетия, чтобы увидеть эти процессы как на ладони.

И, к слову сказать, не тот же ли механизм действует и сегодня? Те, кто косится на перестройку и ждет лишь изнутри, когда можно будет открыто обличать ее (заодно с ее главным архитектором), приходят в деланное негодование от любого разговора о «недругах перестройки». Кто такие? Их нет у нас и в помине, все без исключения в друзьях у перестройки, как когда-то, судя по двусмысленным ламентациям «Литгазеты», не существовало «недругов» в нашей литературе ни у «Ивана Денисовича...», ни у его автора, которого всего спустя два года ждали преследования и клевета, а спустя девять лет — изгнание с родины.

21.II.1964

Были в гостях у Ф. Светова и З. Крахмальниковой. Неожиданно, вопреки своим друзьям-либералам, они прямо-таки трогательно выражали мне свою солидарность в связи со статьей об Иване Денисовиче. <...>

Когда мы остались вдвоем, Александр Трифонович рассказал о письме Солженицына. Тот пишет о моей статье: «А Лакшин здорово их уел. Сколько у меня друзей объявилось!» — и еще что-то в этом роде.

Сегодня же звонил Мих. Лифшиц и говорил, что они с И. Виноградовым готовы дать бой в мою защиту. Я отвечал, что благодарю, но вряд ли это сейчас нужно, а стоит, может быть, напечатать письма, которые густо идут в пользу повести и по поводу статьи. Решили, посоветовавшись с Твардовским, готовить письма.

22.II.1964

Статья моя наделала шуму. Каждый день звонят, приходят в редакцию люди — поговорить, просто пожать руку. У статьи горячие приверженцы и столь же страстные противники.

М. Хитров с Д. Мамлеевым издают в «Известиях» новый альманах «Радуга» и включили в первый пробный номер перепечатку статьи об Иване Денисовиче. Но есть в редакции и те, кто против. Статья Мих. Лифшица «В мире эстетики», появившаяся у нас, подлила масла в огонь. Аджубею надувают в уши, что, мол, эти публикации в «Новом мире» вредоносные. Д. Поликарпов будто бы сказал: «Можете перепечатывать Лакшина, это ваше дело. Но прежде хорошенько подумайте».

4.III.1964

Приехали «Стрелой» в Ленинград — на встречи с читателями. Вообще-то Твардовский не любит, но тут его уговорили. Кроме нас с Дементьевым он взял в поездку Софью Ханановну (Минц).

<...> Овацией встретили Бурковского[1], в котором узнали кавторанга из солженицынской повести. Зал встал, когда он

---

[1] Бурковский Борис Сергеевич — начальник филиала Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора», капитан 2-го ранга в отставке — прототип кавторанга Буйновского в повести «Один день Ивана Денисовича». Об этом было широко известно благодаря статье о нем В. Паллона «Здравствуйте, кавторанг», опубликованной в «Известиях» 14 января 1964 г.

вышел говорить, и долго хлопали стоя. Он вспоминал о лагере, в котором сидел вместе с Солженицыным, говорил о правдивости этой повести.

Потом выступал Твардовский, хорошо говорил о журнале, о читателе как части журнала, активно воздействующей на его дух. Ольга Берггольц читала стихи. Я говорил о критике и о мемуарно-документальной прозе (были об этом записки). Кто-то вскочил в зале и требовал сейчас же, немедленно, принять обращение к Комитету по Ленинским премиям, чтобы премия была присуждена Солженицыну. Зал захлопал, загудел одобрительно. Прокофьеву[1] с трудом удалось это отвести — ссылками на иной характер вечера.

<...>

Прокофьев пригласил всех нас к себе ужинать. У него роскошная квартира на Кронверкском, был накрыт царский стол. Среди его гостей, кроме Твардовского и нас с Дементьевым, были «кавалерственная дама» из Горисполкома, драматург Борис Чирсков[2] с женой, Чепуров и еще кто-то из прокофьевского окружения. <...>

Угощали и ублажали нас у Прокофьева по первому разряду, но общество было пестрое, и какая-то фальшь витала над столом. Твардовский провозгласил тост за здоровье Солженицына и, видя, что не встречает у хозяина большого энтузиазма, иронически уговаривал его: «Ведь ты, Саша, даже внешне похож на Никиту Сергеевича, все об этом говорят. А Хрущеву повесть Солженицына нравится. Неужели ты не дорожишь хоть отчасти и внутренним сходством?» Видно было, что за столом многие приняли этот тост неохотно и выпили через душу. Прокофьев несколько раз заговаривал со мной: «Я не со всем в вашей статье согласен». Я отвечал ему в тон: «Хорошо, Александр Андреевич, значит, хоть с чем-то согласны».

---

[1] Прокофьев Александр Андреевич (1900-1971), поэт, в то время глава Ленинградской писательской организации. Вел вечер.

[2] Чирсков Борис Федорович (1904-1966) — кинодраматург, лауреат Сталинской премии. Рассказывали, что свою пьесу «Победители», которая принесла ему известность, он написал в лагере и благодаря ей вышел на свободу. Когда я его знал, он уже ничего нового не писал, исправно выпивал-закусывал и прекрасно пел старые казачьи песни.

Разошлись под утро, добрались до гостиницы, и я сразу свалился в постель.

16.III.1964

Был в университете. Там разыгрался смешной эпизод. На Ученом совете, по инициативе кафедры советской литературы, собирались разносить мою статью. Поручили Н. А. Глаголеву, как надежному специалисту по поискам «ревизионизма» и всяческой крамолы. Но, видно, с ним заранее не поговорили, чего от него хотят, рассчитывая на «классовое чутье» старого закаленного бойца. А он, к ужасу Метченко, битый час говорил с кафедры о достоинствах моей статьи, которая показалась ему «методологически совершенно правильной». Намеченная «проработка» сорвалась.

Твардовский просил навестить его в санатории.

<...>

Повод к разговору, для которого он меня вызвал, был пустяковым: что-то раздражило его в статейке П., он собирался выговорить за это мне.

<...>

Другое, о чем ему хотелось со мною говорить, так это о повести Солженицына, о которой он задумал большую статью для «Правды». «Я хочу написать об оценке его разными по своим понятиям людьми совершенно открыто, поставлю все точки над „i", чего вы еще не могли сделать». Ну что ж, исполать ему.

Александр Трифонович разговаривал тут с В. С. Лебедевым, и тот опять сочувственно говорил о Солженицыне и выслушивал сетования Твардовского, что «безответственные люди могут завалить его в Комитете». В. С. напомнил, что Хрущев высоко оценил и художественную сторону вещи — «волчье солнышко» и т. п. «Ильичев не использует своих возможностей, — сказал Лебедев. — Как бы он мог сейчас вести искусство — широко, свободно».

Слушая все это, я еще раз спрашивал себя: что это, лицемерие или близорукость? А Твардовский легко обольщается. Он доверчив, хочет верить в доброе.

<...>

Вернулся в город и вечером еще успел заехать в Союз писателей на собрание критиков. Витийствовал в пользу Солженицына Ф. Кузнецов, а А. Коган, думая, что я отсутствую (я пришел, когда заседание началось, и незаметно сел у дверей), бранил мою статью, чего никогда бы не сделал в глаза, говорил, что я «оскорбил читателей». Заглянуть бы ему в те письма, которые я получаю каждый день и которые поддерживают меня вопреки дружной газетной травле.

22.III.1964

Как прихожу в редакцию, уже сидят двое-трое ожидающих меня посетителей. И чаще всего это просто читатели с разговорами о статье, вокруг Солженицына. С неделю назад Твардовский просил меня сказать несколько слов по телевидению о Солженицыне — будет передача о кандидатах на Ленинскую премию, и представлять их должны те издания, какие выдвигали. Готовясь к выступлению (всего-то минут на пять), заново и не без любопытства просмотрел редакционную почту по «Ивану Денисовичу». Выясняется такая особенность: сначала отрицательных писем было все же довольно много, последнее время — почти нет. Не начинает ли ломаться консервативный стереотип даже у тех читателей, для которых повесть Солженицына по открытости своей правды еще вчера была немыслимой, невозможной? Со временем привыкают и прочно зачисляют в классики.

А от телевидения нет подтверждения — или забыли? Впрочем, сейчас все зыбко. Я слышал, что на радио сделали, «на всякий случай, вдруг будет премия», полную запись повести Солженицына в чтении автора. Председатель Гостелерадио Харламов похвалил, сказал, что подумает, когда пускать, — и умолк.

Из верстки «Трибуна читателя», подготовленной для № 4, 1964 г.

ЕЩЕ РАЗ О ПОВЕСТИ А. СОЛЖЕНИЦЫНА «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»

«В № 1 журнала «Новый мир» за 1964 год была напечатана статья В. Лакшина «Иван Денисович, его друзья и не-

други». Статья вызвала много читательских откликов. Лишь за первые недели нами получено свыше шестидесяти писем, а отклики на статью все продолжают поступать.

В письмах читателей, естественно, идет речь не только о статье В. Лакшина, но прежде всего о самой повести А. Солженицына, выдвинутой на соискание Ленинской премии.

Как и следовало ожидать, „друзей“ у Ивана Денисовича и повести о нем оказалось среди читателей много больше, чем „недругов“. Лишь в трех письмах тт. Н. А. Чебунина (Архангельск), Л. А. Меерсона (Гомель) и работника пединститута И. Мишина (Армавир) поддерживается та точка зрения, что Иван Денисович — герой „нетипичный“, „ущербный“ („Сявка, а не человек“, — как пишет И. Мишин), сама же повесть изображает жизнь однобоко и сильно „перехвалена“ критиками.

В нескольких письмах — тт. В. М. Алексеева (Ленинград), юрисконсульта Н. Перкова (Москва), инженера И. Линецкого (Ленинград), Н. Г. Мартьянова (Минусинск) — содержится высокая оценка повести, однако авторы полемизируют с отдельными положениями статьи В. Лакшина. (Письмо Н. Перкова публикуется нами.)

В подавляющем же большинстве писем — таких свыше пятидесяти — читатели выражают уверенность в том, что повесть Солженицына по своей идейной и художественной значимости достойна Ленинской премии, и поддерживают ее характеристику в статье В. Лакшина.

Читатели М. М. Байков (Архангельская обл.), Эйно Киуру (Петрозаводск), кандидат технических наук Е. Суханова (Москва), сельский учитель Н. С. Ершов (с. Андреевка, Кемеровской обл.) и другие полемизируют с выступлением «Литературной газеты» — «Общий труд критики» (20 февраля 1964 г.), считая данную там оценку статьи В. Лакшина бездоказательной и необъективной.

О своем весьма положительном отношении к повести А.Солженицына и согласии со статьей В. Лакшина пишут нам В. П. Васильев (Краснодар), комсомольский работник В. Тихов (Омск), М. П. Новиков (колхоз им. Дзержинского, Воронежская обл.), профессор Ленинградской консервато-

рии Л. А. Баренбойм, инженер-экономист А. Барановский, рабочий кинофабрики «Мосфильм» В. С. Скоробогатов, О. Н. Ривкина (Магадан), военнослужащий В. Д. Горин (Московская обл.), преподаватель техникума Э. А. Паккер (Москва), И. Д. Волков (Таллин), Е. Гринберг (Бендеры), Л. В. Николаева (Харьков), учитель Н. С. Умнов (с. Соседка, Пензенской обл.), артист О. Н. Сталинский (Львов), биофизик К. С. Трингер (Москва), В. Н. Новиков (Тула) и другие товарищи.

Публикуя ниже некоторые из этих писем, редакция выражает свою признательность всем читателям, приславшим нам свои отклики».

«Дорогие товарищи! На страницах наших журналов и газет идет большой разговор, вернее сказать, голосование о полюбившейся мне, как и многим, повести т. Солженицына „Один день Ивана Денисовича". Хорошо понимаю, что мой голос рядового читателя весит очень мало, и все-таки не могу остаться безучастным. От всего сердца голосую „за".

№ 11 журнала „Новый мир" за 1962 год я ожидал в Смоленске томительно, потому что из откликов уже знал о помещенной в нем повести. Наконец-то журнал поступил. Что творилось у киосков, трудно представить. Отделения Союзпечати засыпали просьбами дополнительного тиража. А. Ковалев. Смоленск.

<...>

И я считаю, что надо иметь большое мужество, идейность, нравственную силу большую, чтобы выжить и остаться человеком...

Солженицын показывает, что человек, если он настоящий человек, а не «винтик», остается человеком всегда, в любых условиях, и не пойдет ни на какие компромиссы с совестью. Сердечное спасибо ему за это.

Л. Гольцева,

Ленинград, автобаза тяжеловозов».

26.III.1964

Дементьев рассказал, что встретил в ЦК А. М. Румянцева, редактора «Проблем мира и социализма». Тот подтвердил,

что они готовят статью в защиту Солженицына «от право-оппортунистической критики». Все члены редколлегии читали и поддержали статью. Но в № 4 (к голосованию в Комитете) они не успеют, только в 5-й. И то давай Господь.

27.III.1964

Главлит снимает из подборки писем читателей вставленную нами в последний момент грубую открытку Дорошева, где слишком откровенно высказано суждение недругов Солженицына: достается и Твардовскому, и мне... и Хрущеву, за то, что пропустил в печать. Цензура раскусила, что мы хотим вывести плутни противников Солженицына на чистую воду. Да и вся подборка имеет мало шансов появиться.

«Тов. А. Твардовскому и В. Лакшину

Повесть Солженицына — заурядное, бесталанное произведение, нечто вроде литературного курьеза. Дух горьковского Луки — „движущее" начало „Одного дня...".

Статья В. Лакшина в январской книжке — пухлый опус приготовишки, мало сеченного розгами жизни. Чувствуется приспособленец и эпигон литературных и прочих дёгтегонов.

Первый литературный дебют Солженицына уже на второй день находился в состоянии патологической кончины. И если „Один день..." и живет до сих пор, то не иначе как по воле непогрешимых „ценителей" и благодаря газетно-журнальной камфаре — что в известной степени оттягивает его клиническую смерть.

Кто не знает, что многое, удостоившееся внимания и похвалы Сталина, выброшено после его смерти в мусорную корзину?!

С уважением

П. Дорошев,

с. Хлюстино, Курская обл.».

31.III.1964

В редакции Илья Эренбург — в мягком, как халат, сером костюме, по-стариковски разговорчивый, сурово-любезный, временами ядовитый.

Приехал он, чтобы благодарить журнал за сотрудничество — несколько торжественно и церемонно — перед концом издания своей книги.

<...>

Потом разговор свернул на Солженицына. Выше всего Эренбург ставит «Матренин двор», сравнивает его по силе с чеховскими рассказами. «Иван Денисович» тоже нравится ему, но меньше. «Это мастерски написано, но здесь я знаю, как это сделано, а в „Матренином дворе“ не знаю». Я позволил себе не согласиться.

<...>

Еще до прихода Эренбурга Твардовский молча передал мне рукопись своей статьи о Солженицыне. Буду читать.

Эренбург говорил так много интересного, что я жалел уйти, не дослушав, а мне давно уже было нужно торопиться в телецентр: сегодня мое выступление об «Иване Денисовиче».

ПОПУТНОЕ

Не записал в дневнике, а помню этот вечер отчетливо. Занятый рассказами Эренбурга, я с опозданием выскочил на улицу, с трудом поймал такси и помчался на площадь Журавлева, в телевизионный театр, куда обещал явиться за час до начала. Дело в том, что передача, как в те времена было принято, шла «живьем», сразу в прямой эфир, а режиссер и редактор еще собирались со мной о чем-то предварительно говорить. Я ворвался в студию потный, запыхавшийся, за десять минут до начала. Помню, как бежал по какой-то железной лесенке за сценой, перескакивал через путаницу кабелей. Меня схватила за рукав женщина, оказавшаяся редактором передачи: «Слава Богу, вы успели». Спросила: «Ну, вы знаете, что говорить? Лишнего не скажете?» Я с готовностью кивнул.

Стулья стояли полукругом перед камерами, меня усадили предпоследним, в конце дуги — о писателях, возможных лауреатах, условлено было говорить по алфавиту. Сначала шли Гончар, Егор Исаев; Солженицын и Чаковский замыкали список. Меня еще раз предупредили: если у аппарата горит

зеленый глазок — изображение идет в эфир, загорается красный — камера отключена. Отдышавшись, я огляделся. Рядом со мной сидели: слева — Ю. Воронов из «Комсомольской правды», представлявший Василия Пескова, справа — Лариса Крячко из «Октября»: она должна была говорить о Чаковском. Каждый должен был уложиться в пять минут, чтобы не отчять время у соседа. Я подготовил небольшой эффект — принес толстую-претолстую редакционную папку с читательскими письмами, откликами на Солженицына. Со спецификой телевидения я был знаком мало, да и телевизора в ту пору дома у меня не было, но я догадался, что «лучше один раз увидеть...» Текст был мною заготовлен заранее, но я не читал, а пересказал его.

Недавно я нашел черновик в домашнем архиве и могу восстановить сказанное:

«Сейчас, когда повесть Солженицына приобрела широкую известность, когда общий тираж ее изданий в нашей стране достиг миллиона экземпляров, когда переводы ее появились в Венгрии, Чехословакии, Италии, Англии, Японии и многих других странах, когда об этой книге написаны десятки статей и рецензий, я частенько вспоминаю ее предысторию. Вспоминаю, как в редакции „Нового мира" года два тому назад мы с волнением читали густо исписанные на машинке со слепым выпадающим шрифтом страницы небольшой рукописи, имя автора которой никто не знал. Рукопись пришла, что называется, самотеком, в потоке других рукописей, ежедневно получаемых редакцией. Но то, что написал вчера еще никому не известный учитель из Рязани, было так ново, необычно, исполнено такого внутреннего достоинства и силы, такой натуральной, неприкрашенной правды, что стало ясно: в литературу приходит новый большой художник, писатель, как говорилось в старину, „милостью Божией".

Рукопись читали редакторы журнала, и прежде всего, А. Т. Твардовский, сразу же очень высоко ее оценивший, читал К. А. Федин, читали друзья и ближайшие сотрудники журнала — С. Я. Маршак, К. И. Чуковский и другие писатели. Мнение было единодушным: мы имеем дело с незауряд-

ным явлением. Свой отзыв о повести, приложенный к рукописи, Чуковский озаглавил, помнится, „Литературное чудо".

Повесть касалась очень острых вопросов, относящихся к поре культа личности. И нам было дорого, что она нашла поддержку в Центральном Комитете КПСС.

О повести Солженицына много писали — появились сочувственные рецензии в „Правде", „Известиях", „Литературной газете". Нашлись, впрочем, и такие критики, которым не понравился главный герой повести — Шухов. Я подробно говорил об этом в статье „Иван Денисович, его друзья и недруги", и сейчас вряд ли нужно к этому возвращаться. Замечу только, что Солженицын, на мой взгляд, вправе ответить критикам, требующим от него героя — всяк на свой вкус и образец, известными словами Толстого: „Герой моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда".

Эту правду повести Солженицына высоко оценили многие читатели, приславшие и продолжающие присылать к нам в журнал свои отклики. Редакция и автор получили более тысячи писем. Тут и почтовые открытки с кратким приветствием, и целые трактаты с разбором повести. Письма, по тону своему глубоко личные, доверительные, и коллективные послания, подписанные десятками читателей... Письма тех, кто на собственной судьбе испытал участь Ивана Денисовича, и тех, кто только вступает в жизнь с верой, что партия не допустит ошибок и преступлений прошлого... Письма рабочих, инженеров, ученых, библиотекарей, старых коммунистов.

Одну из папок с этими письмами я захватил с собой в студию. Лишь в немногих письмах содержатся упреки автору, и главным образом, по поводу не слишком изысканно звучащего лагерного жаргона. Подавляющее большинство писем — свидетельства сердечной благодарности писателю. Вот строки из них:

«Совсем недавно я прочел книгу „Один день Ивана Денисовича", — пишет рабочий Юсупов из Башкирии. — Каж-

дую строчку перечитывал по два раза, не верилось! Это сама жизнь... Спасибо Вам за правду».

«Воины признательны мужественному писателю-гражданину за сильное, утверждающее творчество, — обращается в редакцию солдат Советской Армии Петр Обыночный. — „Один день..." читают, передавая из рук в руки. Это не мода, как умудряются утверждать некоторые, а настоящая любовь и признание полезной, волнующей вещи. Повесть достойна Ленинской премии».

«Повесть вызывает у читателя много горьких, тяжелых дум, — пишет группа старых коммунистов, член КПСС с 1916 г. т. Будкова, член КПСС с 1917 г. т. Посталовская, член КПСС с 1920 г. т. Ковалева и другие товарищи. — Сердце буквально обливается кровью при чтении ее, но не безысходность сковывает мысли — радость, гордость наполняют душу за то, что нет такой силы, которая растоптала бы человеческое, что глубоко заложено в советском человеке».

Геологи Северо-Западного геологического управления (письмо это подписали сорок человек) пишут: «Мы считаем, что по уровню литературного мастерства повесть „Один день Ивана Денисовича" может быть поставлена в один ряд с лучшими образцами русской литературы. Это позволяет нам рассматривать ее как вечный памятник всем безвинно погибшим в период культа личности — от выдающихся деятелей партии и государства до безвестных Иванов Шуховых. Вот почему мы считаем повесть заслуживающей столь высокой награды, как Ленинская премия».

На этом суждении, разделяемом большинством наших читателей, можно и закончить. С надеждой и терпением будем мы ожидать справедливого решения Ленинского комитета».

После того как я, намеренно значительно глядя прямо в глазок камеры, произнес последнюю фразу, начала было говорить о романе Чаковского Лариса Крячко. Она не сразу обратила внимание, что зажегся красный глазок, а осветители стали сматывать провода, — и говорила, говорила, пока ей не дали понять, что время передачи давно исчерпано, и ее слова не идут в эфир. Получилось, что я завершил обсуждение эффектной точкой.

На следующее утро на телевидении начался переполох — грозные звонки, вызовы «на ковер». Хрущев в то время где-то путешествовал. Его обязанности в Москве исполнял Леонид Ильич Брежнев — случилось так, что он смотрел эту передачу дома, в вечерний час, и она сильно его задела. Он хорошо помнил, как Хрущев вынуждал его, вместе с другими товарищами по Президиуму ЦК, одобрить эту сомнительную повесть. Возмущенный, он позвонил председателю Гостелерадио Харламову: «Мы еще ничего не решили с Ленинскими премиями, а телевидение уже присудило ее Солженицыну». Харламов пробовал возражать, что это, мол, лишь обсуждение общественности, никакого давления на Комитет телевидение не имело в виду оказывать. «Как же, — возразил Брежнев, — ваш критик объявляет единственно справедливым присуждение премии Солженицыну, и делает это, к недоумению телезрителей, в конце передачи, как ее итог».

Харламов получил выговор, а когда, заодно с Хрущевым, после октябрьского Пленума его снимали с должности, ему припомнили, как мне рассказывали, и эту историю. Моя же фамилия попала в некий «черный список», и 14 лет, вплоть до 1978 года, я не появлялся больше на телеэкране.

Этот маленький эпизод, как и вся история борьбы вокруг выдвижения Солженицына на Ленинскую премию, отражал падение влияния Хрущева в партийном аппарате: с его мнением переставали считаться, против него вызревал заговор. «Разговоры о том, что необходимо сместить Хрущева, начались где-то в начале весны 1964 г., — свидетельствовал недавно один из участников заговора, бывший Председатель КГБ В. Е. Семичастный. — По-моему, инициатива исходила от Брежнева и Подгорного» («Аргументы и факты», 1989, № 20).

Разумеется, в писательской среде об этом не догадывались, но падение влияния Хрущева чувствовалось в том, что его литературные оценки уже можно было оспорить, и противники Солженицына сильно осмелели.

1.IV.1964

К. Буковский[1] заходил, чтобы выяснить, какое впечатление оставила его статья в «Литгазете», где он походя бранит меня и Солженицына за пренебрежительное отношение к «красилям», крестьянам, торгующим на базаре ковриками с лебедями. Даже если бы он был прав, сейчас его полемика некстати. Я напомнил ему слова Герцена, что не надо подсвистывать, когда жандармская тройка уже готова тронуться в Сибирь. А потом — защита чистого «экономизма» только в первую минуту кажется чем-то серьезным. Нет мостика от экономики к политике, а без этого все ерунда.

Сегодня допоздна сидели с Твардовским и Дементьевым над статьей А. Т. о Солженицыне. Он собирается просить Ильичева, чтобы статью печатали в «Правде», «а не то безответственные люди могут проголосовать на Комитете против Солженицына».

Дементьев защищал от автора Цезаря Марковича, зато высказывался в пользу «протеста», считая не бессмысленной и не бесцельной выходку кавторанга на лагерном плацу. Чтобы убедить нас, вспомнил, не совсем к месту, декабристов. «Вы либерал, Александр Григорьевич, — парировал Твардовский его возражения. — Вы готовы сказать: ссылайте нас, сажайте нас, но... на законном основании».

В статье Твардовский издевается над фразой: «У нас зря не сажают». Дементьев предлагал выкинуть это рассуждение как общее место. «Нет, эта фраза не умерла, — настаивал Твардовский.— Помяните мое слово, мы ее еще услышим». Дементьев предлагал также убрать или смягчить резкий выпад против людей, которые глухи к страданиям тех, кто прошел лагерь, к этой боли.

Я держал, понятно, сторону Твардовского. Шум стоял страшный, и, когда мы кончили со статьей и вышли из каби-

---

[1]Буковский Константин Иванович, отец будущего литератора-эмигранта Владимира Буковского — яркий и желчный публицист, писавший в «Литературной газете» и в журналах главным образом на темы, связанные с сельским хозяйством. В пору, когда я его знал, он старался не примыкать ни к каким литературным лагерям, выступал нечасто, но остро и смело, порой бравируя, впрочем, вызовом «либерализму» «Нового мира».

нета, Софья Ханановна из-за своей машинки посмотрела на нас с испугом.

У меня были вечерние занятия в университете, но, проспорив три часа кряду, я позвонил, чтобы студенты не ждали. Твардовский поздно уехал в Барвиху. Дай Бог ему бодрости духа!

7–8.IV.1964

В Комитете по премиям открытое голосование по секциям — определяют список для тайного голосования. Твардовский не упускает возможности высказаться за Солженицына. «Трудно ввязаться в драку, — говорит он, — а раз ввязался, дальше уже легко». По секции литературы Солженицын при первом голосовании не проходил. За него по преимуществу писатели из республик — Айтматов, Гамзатов, Наир Зарьян и другие. Но секция театра и кино неожиданно проголосовала за Солженицына в полном составе. А. В. Караганов «упропагандировал» даже Фурцеву.

На пленарном заседании Твардовский встал и сказал: «Я прошу оставить Солженицына в списке для тайного голосования, потому что это тот случай, когда каждый должен проголосовать „за" или „против" наедине со своей совестью».

Трифоныч рассказал, что в пятницу, после заседания, пошел в гости к Расулу в гостиницу «Москва» и насмерть разбранился с А. Прокофьевым из-за дела Бродского. «Где же это слыхано, — сказал он Прокофьеву, — чтобы один поэт помогал посадить другого поэта».

Добро всегда связано по рукам, а у зла свободные руки.

Из статьи «Высокая требовательность»
(«Правда», 11 апреля 1964 г.)

«В нашей редакционной почте много писем посвящено повести А. Солженицына „Один день Ивана Денисовича".

Как и следовало ожидать, повесть эта по-разному воспринята разными читателями. Есть письма, в которых „Один день Ивана Денисовича" характеризуется только положи-

тельно, и авторы их одобряют выдвижение повести на соискание Ленинской премии. И есть письма, в которых столь же определенно высказывается противоположная точка зрения, повести выносится целиком отрицательная оценка. При чтении и тех и других писем сразу обращает на себя внимание односторонность во взгляде на разбираемое произведение, авторы таких писем в полемическом запале не заботятся об объективности своих суждений, о точности доводов и оценок. Но таких писем немного.

Объективное читательское мнение о повести А. Солженицына, несомненно, выражает третья, самая большая группа писем. В них ведется серьезный, по-хозяйски строгий и взыскательный разговор о путях развития советской литературы, содержится глубокий и беспристрастный анализ произведения, определяется его место в ряду других, созданных и опубликованных в минувшем году. Эти письма наглядно демонстрируют, какой зрелой и квалифицированной стала критическая мысль массового читателя, как выросли его эстетические вкусы и запросы.

Отмечая бесспорные достоинства повести, отдавая им должное, авторы писем указывают на ее существенные недостатки, проявляя высокую требовательность, живейшую заинтересованность в повышении идейно-художественного уровня нашей литературы. Все они приходят к одному выводу: повесть А. Солженицына заслуживает положительной оценки, но ее нельзя отнести к таким выдающимся произведениям, которые достойны Ленинской премии.

Приток таких писем особенно усилился после появления за последнее время рецензий и статей, где хорошему и полезному произведению писателя давались явно завышенные оценки, настойчиво подчеркивалось, что оно бесспорно достойно самой высокой награды.

Большинство наших читателей отмечают, что в свое время о произведении А. Солженицына было сказано в нашей печати немало добрых слов. Но эта справедливая поддержка никак не означает, что все в повести безоговорочно хорошо, что она может служить высоким образцом, чуть ли не эталоном литературного творчества».

11.IV.1964

Ждали Твардовского в редакции. Он приехал из Комитета, молча прошел в кабинет. Я за ним: «Забаллотировали?» «А как вы думали?» — раздраженно ответил он. Потом немного отошел, стал рассказывать. Сегодняшняя статья в «Правде», как я и понял, приурочена к последнему голосованию, и несколько подготовленных ораторов жали в своих речах на то, что голосовать за Солженицына — значит идти против воли партии. И все-таки 20 голосов было «за», «против» — 50.

Аргументов противники Солженицына не искали. Все то же — «не тот герой», и дело с концом. «Я глядел на них, — говорил Твардовский, — и видел: случись что, и все мы, полным составом редколлегии поедем в живописные места. У таких, как Г-в, ненависть брызжет».

Подтверждается, что одной из причин появления статьи в «Правде» было мое выступление по телевидению. Брежнев вызывал Харламова и дал ему выговор. Криминал ищут во фразе: «С надеждой и терпением будем мы ожидать *справедливого* решения...» Жалкая придирка. Но К. Буковский уже бросил мне ядовитый упрек, что я навредил Солженицыну. Стало быть, защищать от напраслины — значит вредить?

Твардовский рассказал о выходке комсомольского вождя С. Павлова на Комитете. В своей речи он сказал, что Солженицын был репрессирован не за политику, а по уголовному преступлению. Твардовский крикнул из зала: «Это ложь!»

В тот же день А. Т. связался с Солженицыным и по его совету официально запросил документ о реабилитации в военной коллегии Верховного суда. Сегодня, едва открылось заседание, он объявил, что располагает документом, опровергающим сообщение Павлова. Павлов имел неосторожность настаивать: «А все-таки интересно, что там написано». Тогда Твардовский величавым жестом передал бумагу секретарю Комитета Игорю Васильеву и попросил огласить. Васильев прочел текст от начала до конца хорошо поставленным голосом. Весь красный, Павлов вынужден был сознаться, что «пригвожден».

Документ в самом деле удивительный, я читал его сегодня. Обвинение в антисоветской деятельности строилось на том, что, переписываясь на фронте с приятелем, Солженицын осуждал некоторые действия Верховного Главнокомандующего, а заодно бранил книги советских авторов за поверхностное описание жизни.

К вечеру в редакцию зашел Гамзатов. Рассказал, как Фурцева выговаривала ему: «Товарищ Гамзатов притворяется, что он маленький и не понимает, какие произведения партия призывает поддерживать».

12.IV.1964

<...>

Некоторые читатели моей статьи спрашивают: откуда я знаю лагерь, будто там побывал? Откуда? Да ведь книга Солженицына не о лагере только, а о жизни вообще, и мало кто не найдет в своем опыте сходного — войны, больницы, тюрьмы.

Забыл записать: забегал на днях Солженицын. Говорит о премии: «Присудят — хорошо. Не присудят — тоже хорошо, но в другом смысле. Я и так, и так в выигрыше».

14.IV.1964

Пришел утром в редакцию, поднялся наверх — Твардовский довольный, веселый: в Комитете прошло тайное голосование, и всех претендентов — конкурентов Солженицына, забаллотировали. «Отвели Солженицына, — комментировал эту новость Твардовский, — так нате вам: он всех за собою в прорубь и утянул». «Не зря, выходит, мы с вами витийствовали», — сказал он мне.

Рассказывают, что накануне был прием в Кремле, где среди приглашенных оказалось несколько актеров и кинодеятелей — Баталов, Ромм. Они подходили друг к другу, как заговорщики, и передавали, будто пароль: «Лучше меньше, да лучше». Это месть людей, которым не дали проголосовать по совести.

К 4 часам дня, после перерыва, Твардовский поехал в Комитет подписывать протоколы. Его не было долго, вернулся

он крайне расстроенный. Заставили-таки переголосовать! Ильичев дал команду, и Н. Тихонов[1] стал объяснять смущенно, созвав всех: «Комитет молодой, недавно назначенный, работает несогласованно. Если премия по литературе не будет вовсе присуждена — нас не поймут. Надо заново проголосовать за тех, кто немного недобрал голосов». В результате проходят Гончар с романом «Тронка» и журналист В. Песков. Об Е. Исаеве, правда, речи не было, он собрал ничтожное количество голосов.

Твардовский пытался выразить протест по поводу нарушения процедуры — но все было напрасно, результат был предрешен. Еле живой от усталости и расстройства Твардовский сказал, что поедет домой, не дожидаясь результатов тайной баллотировки. Говорил потом, что многие демонстративно, не глядя, сворачивали бумажки и бросали их в урну — нате, мол, вам, если не даете голосовать по совести.

15.IV.1964

Заходил Солженицын. Взял у меня верстку «Театрального романа». О Булгакове говорил, что это одна из основ современной русской прозы.

Я рассказал ему о письмах, которые получаю. Он просил адрес женщины из Ленинграда, написавшей страшные подробности о «командировке» на Колыме. Говорил, что считает важным, что к повести возвратились в связи с премией, много спорили, шумели — «все это не зря, это неплохая распашка общественного сознания».

Заговорили о К. Буковском, который упрекал меня, что я «подвел» Солженицына своей статьей, устроил классовую борьбу в лагере между «работягами» и «придурками»... «Подождите, В. Я., — отозвался Солженицын. — Мы им еще такую классовую борьбу дадим... Я сейчас пишу одну вещь...»

Твардовский пригласил на чаепитие с бубликами в честь Солженицына и оказавшегося тут же М. А. Лифшица. А. Т. бодр, оправился после баталий на Комитете, хотя и не очень

---

[1]Тихонов Николай Семенович, поэт (1896-1979) — в то время председатель Комитета по Ленинским и Государственным премиям.

весело оценивает перспективы. Рассказал, что редакционная статья «Правды» появилась в отсутствие редактора П. А. Сатюкова (пока он путешествовал в свите Хрущева по Венгрии). И когда он вернулся, В. С. Лебедев, едучи в машине с аэродрома, говорил ему о событиях вокруг Солженицына: «Если бы вы были здесь, этого, должно быть, не случилось...» Но вообще-то многое в этой истории не ясно. Идет какая-то темная закулисная работа. «Наплывает и застывает, наплывает и застывает», — как выразился А. Т.

17.IV.1964

Забегал в редакцию Гамзатов. Веселился, смешил, благодарил, балагуря, «за заботу о малых народах». Не без самоиронии пародировал застольного оратора: «Нам понравилась ваша природа, ваши горы и ваши леса, ваши города и ваши поселки, но больше всего нам понравились ваши лю-у-у-ди». Снова вспоминал, как на него накинулась Фурцева — за поддержку Солженицына: «Товарищ Гамзатов притворяется наивным или хочет прослыть у кого-то героем...» «Во всяком случае, я не голосую сегодня за одно, завтра — за другое», — отвечал будто бы Расул.

<...>

18.IV.1964

<...>

Накануне заходил Солженицын, вернул «Театральный роман». Говорит: «Какая грустная книга! Это, пожалуй, горше „Мольера“. Сначала так смешно — с вечеринкой литераторов и цензурой („не пропустят!“), а потом так невесело становится...»

Он хотел везти с собой А. Т. в Рязань, читать там ему роман, но тот не сможет, пожалуй, ехать.

О письмах читателей Солженицын повторил, что им цены не будет, надо их сберечь, чтобы они хранились копиями в разных местах, а то, не дай Бог, пропадут.

Рассуждал: «Революционный вихрь перемещается с Запада на Восток: сначала Западная Европа, потом Россия, затем Китай... Хорошо, что мы уже не в эпицентре».

В Москве он работает теперь в квартирке Валентина Маликова[1] на Хорошевке, где и я когда-то имел приют. На днях Маликов рассказывал мне: у Солженицына страшные головные боли, но он глушит себя лекарствами и не отходит от письменного стола. В доме быстро поняли: не надо злоупотреблять его вниманием. Если поговорил с ним лишние пять минут, чувствуешь, как внутри у него что-то «щелк» — и он отключается. Маньяк утекающего времени, он боится не успеть написать, что задумано.

<...>

30.IV.1964

В. С. Лебедев организовал на Кузнецком мосту свою фотовыставку. (Оказывается, он не по-любительски увлекается фотографией.) Ходил туда Твардовский, ходил Солженицын, и я по их следу пошел вместе с Хитровым. Дело в том, что там выставлен большой портрет Солженицына, а сейчас это очень кстати и выглядит со стороны помощника Хрущева как *поступок*. Принимая поздравления Твардовского по телефону, Лебедев ответил, что благодарит, но понимает, что выставка не всем должна понравиться. Его уже упрекают, что рядом с Маршаком и Фединым он выставил фотографию Солженицына. «Ну да ничего. Мы еще будем его поднимать».

Хрущев, однако, как бы устранился от литературных дел. Мы протестуем против культа личности, но культ безличности немногим лучше.

<...>

4.V.1964

Оправившись после майских праздников, Твардовский поехал в Рязань к Солженицыну — читать роман.

12.V.1964

Прочитал статью Ю. Барабаша в «Литгазете». Выискивает у меня «концепцию», «теорию», чтобы потом задушить ею, как удавкой. Набросал ответ. <...>

---

[1] Маликов Валентин Иванович, университетский товарищ Вл. Як.

14.V.1964

Твардовский просил приехать к нему на Котельническую. Он не выходит из дому, не в форме. Прочел мой ответ Барабашу и сказал: «Не делайте себе иллюзий, это не будет напечатано, но это хорошо, честно написано». Статью Барабаша он читал дважды и возмущен ею. Особенно задевает его, что, воюя с Солженицыным, Барабаш нахваливает мемуары Горбатова — «будто это в другом журнале напечатано». Еще говорил о том, что глупо и недобросовестно противопоставлять Шухову кавторанга и «высокого старика», будто это не того же Солженицына герои, а кем-то другим произведены на свет.

<...>

16.V.1964

До позднего часа ждали в редакции возвращения Твардовского и Кондратовича с заседания идеологической комиссии ЦК КПСС.

Л. Ф. Ильичев сказал в своем выступлении, что в литературе заметны две тенденции, две крайности, связанные с позициями журналов «Новый мир» и «Октябрь». Одну из них называют иногда прогрессивной, другую — консервативной (в этом месте голос из зала — «реакционной»). С резким осуждением говорил Ильичев о моей статье, но для равновесия тут же ругнул и статью А. Дремова в «Октябре». Указал на тенденцию «прозаизирования» советской действительности в «Новом мире» и сказал, что отдел критики по-своему логично проводит ту же линию.

18.V.1964

После работы Твардовский зашел ко мне на Страстной бульвар. Мне показалось, он хочет подбодрить меня после выступления Ильичева и кругов по воде, какие пошли от него. Кто-то «в сферах» уже советовал ему: «Да вы освободитесь от Лакшина, и все будет хорошо». Пересказывая мне это, он заметил: «Но вы должны твердо знать, если будет неизбежность, мы уйдем вместе».

Рассказывал, как ездил в Рязань, прожил там два дня. Солженицын не дал ему поселиться в гостинице, забрал к себе и кормил обедом дома. Твардовский сидел и читал рукопись нового его романа, «только очки менял, когда глаза уставали». Читал безотрывно и, по уговору, ничего не говорил до конца чтения. Лишь изредка в его комнатку молча заходил Солженицын за молотком или еще каким-то инструментом (он что-то мастерил в саду). Впечатление А. Т.: это «колоссаль», настоящий роман, какого не ждал прочесть, замечательная книга. О недостатках не стал говорить — «сами увидите».

Твардовский уже сговорился с В. С. Лебедевым, который сказал, что почтет за честь... Да, поглядим, как оно пойдет по нынешней-то погоде... Солженицын просил дать рукопись мне и согласился еще, чтобы читал Дементьев. Просит не спешить с оглаской.

<...>

21.V.1964

<...>

Ему не терпится, чтобы я прочел роман Солженицына, иначе не с кем о нем говорить, не с кем делиться. Я получил рукопись только вчера, но уже утром он заходил ко мне в кабинет и спрашивал нетерпеливо: «Ну что, начали?»

25.V.1964

Обсуждали 6-й номер. Складывается туго. От очерков Некрасова Твардовский не в восторге, рассказ М. Пархомова снимает.

Роман Солженицына я начал читать. Интересно, забирает, хотя, по первому впечатлению, жиже, чем «Иван Денисович». Должно быть, впрочем, это оттого, что жанр иной — роман, как говорили в старину, «долгого дыхания».

Заходил Солженицын, снова говорил о читательских письмах и просил из письма Рудиной, которое я давал ему читать прошлый раз, ее адрес, чтобы разыскать Бухарину, о которой она упоминает, и поговорить с ней.

«Вы читаете роман? — спросил он. — А. Т. верит вам, и ваше суждение будет важным. Я с благодарностью приму все частные замечания, но рассчитываю на вашу поддержку в главном. Почему-то уверен, что Александр Григорьевич будет против...» Эта просьба была неожиданно откровенной и лестной для меня.

<...>

Мой ответ Ю. Барабашу уже несколько дней в редакции «Литгазеты». Чаковский и Барабаш в разъездах, и я прижимаю А. Тертеряна по телефону, требую ответа, а он изобретательно уклоняется.

26.V.1964

Читаю роман Солженицына. Нравится, но не все. Главы о Сталине несколько фельетонны.

Сегодня редакцию навестил Джанкарло Вигорелли. Твардовский позвал и Солженицына — хотел свести их. Вигорелли, с его обычной экспансивностью, был в восторге, целовал Солженицына, говорил, что для него счастье познакомиться с ним.

В будущем январе — 40 лет «Новому миру», и Вигорелли предложил издать в Италии к юбилею сборник — антологию журнала. Он предрекает изданию большой успех.

Рассказывал, какой шум стоял на Западе вокруг присуждения литературных премий, и главным образом в связи с Солженицыным. То, что ему не дали премии, обрадовало крайне правых. Те, кто заранее пыхтел: «Еще бы в Советском Союзе дали премию за такую повесть», ликовали. Но не получил Солженицын и премию итальянских издателей, о чем Вигорелли очень сокрушался. В бурном соперничестве с Натали Саррот победила-таки она.

28.V.1964

Солженицына читаю понемногу — чем дальше, тем шире и удивительней. Главное — откуда такой масштаб, огромный охват мыслей и картин?!

<...>

4.VI.1964

В «Литературной газете» наконец мой ответ Ю. Барабашу и большая статья «От редакции», где я назван догматиком и антимарксистом.

Из письма «В редакцию „Литературной газеты“»
(«ЛГ», 4 июня 1964 г.)

«Я считал и продолжаю считать, что не просто бестактно, но кощунственно упрекать Ивана Денисовича, отбывающего безвинно восьмой год в бериевском лагере, за то, что он не чувствует себя „хозяином жизни“, кощунственно называть трудовых людей, подобных Шухову, „бездумными роботами“, кощунственно приписывать Шухову „жертвенность“ на том основании, что он оказался *жертвой* репрессий периода культа личности.

Таковы мои подлинные представления, и, как легко убедиться, они существенно отличаются от тех, что навязаны мне Юрием Барабашем, обнаружившим в моей статье догматическую „теорию“, смыкающуюся с идеологией и практикой культа личности.

Последнее время „Литературная газета“ часто призывает к доброжелательности, объективности в спорах, протестует против наклеивания ярлыков, ложной подозрительности и проработочного тона. Я бы прибавил к этому минимально необходимое требование добросовестности в цитировании и изложении взглядов своего оппонента».

Из статьи «От редакции» (там же)

«В чем же, однако, *существо* вопроса? Смысл статьи Ю. Барабаша — прежде всего в протесте против насквозь ложного разделения советских людей на „руководителей“ и „руководимых“, „организаторов“ и „организуемых“, против своего рода „табели о рангах“. Подобное разделение в применении к советскому обществу является антимарксистским. Оно игнорирует как лежащий в основе социальной структуры социалистического строя коллективизм, так и социальную природу подлинного руководителя ленинского типа, который есть плоть от плоти народа.

(...) Утверждение В. Лакшина игнорирует главные отличительные черты советской литературы, черты, характерные для нее во все периоды ее развития».

11.VI.1964

Обсуждение романа «В круге первом» на редколлегии. До начала обсуждения, пока шла вольная болтовня, Солженицын рассказал, как в лагере сочинял стихи — их легче было, заучив наизусть, сохранить в памяти. Однажды записал немного на бумаге — и попался. «Ты что, стихи сочиняешь?» — спросил надзиратель. «Да нет, гражданин начальник. Это «Василий Теркин» Твардовского. Я его вспоминаю». Смеясь, Солженицын просил Твардовского не сердиться за плагиат.

Все, что говорилось, все наши замечания Солженицын мелко-мелко записывал карандашом на листке бумаги — без полей, буковка к буковке. Объяснил, когда кто-то поинтересовался, не навык ли лагерной конспирации? «Нет, просто учился в школе в начале 30-х годов, во времена бумажного кризиса, и на всю жизнь приобрел привычку писать мелко».

Я наблюдал за ним во время обсуждения. Он очень внимательно смотрит на выступающего, не перебивает, временами задумывается и, оторвав карандаш от бумаги, упирает его в лоб.

Открывая обсуждение, Твардовский сказал, что будет приводить всех соредакторов к присяге — каждый должен высказаться и говорить откровенно, что думает о романе, случай крайне важный для судьбы журнала.

Твардовский начал с рассуждения о национальных корнях Солженицына, говорил, какой это *русский роман*. Тревожил тени Толстого, Достоевского. Роман трагический, сложный по миру идей — так что же? Григорий Мелехов в «Тихом Доне» тоже «не герой» в условном понимании. А смысл романа Шолохова — какой ценой куплена революция, не велика ли цена? И у Шолохова читается ответ: цена, быть может, и велика, но и событие великое.

Потом Твардовский перешел к тому, чего, на его взгляд, не хватает «Кругу». Минуя частные замечания (для них еще

будет время), сказал: «Хорошо бы кончить роман надеждой. Не то чтобы счастливый финал, но хоть засветить в конце тонкую рассветную полоску...» — и Твардовский крутил пальцами, не находя точного определения. Говорил, что желал бы какого-то выхода из этого подземелья — глотка воздуха, света, надежд.

Потом говорил я. Сказал, что нет сомнения, роман — литературное событие и его надо печатать, хоть и нелегко будет. Говорил о художественной небезусловности для меня изображения Сталина и о точности попадания при описании массовидного обыденного сталинизма. О философии романа. О лирических сценах.

Кисло высказался А. Г. Дементьев. Говорил, что Рубин — карикатура на марксиста. Усомнился в натуральности разговоров и споров на отвлеченные темы в камере. Говорил, что у Солженицына мало хороших людей на воле, а Макарыгин слишком замазан черной краской.

Когда все высказались, отвечал Солженицын, начавший, как школьный учитель: «Друзья!» Прежде всего он заметил, что, на его взгляд, роман оптимистический, грубо говоря, за советскую власть, а по способу письма противостоит западному модернистскому роману. «А. Т. удивлялся, что я поехал с ребятами на велосипедах в поход, вместо того чтобы прибыть на сессию Европейского сообщества писателей в Ленинграде. Но я не мог ехать туда рассуждать на тему, умер ли роман, когда готовый роман лежал у меня на столе».

Отвечая Дементьеву, Солженицын говорил, что с симпатией писал Рубина (в нем находят черты Л. Копелева, былого сотоварища Солженицына по камере, — в самом деле похож). Защищал правомерность спора зэков о гражданских храмах. «В тюрьме вообще много спорят — это особенность тюрьмы. Наивна елка в «шарашке»? Да нет, я еще не показал (а это было), как взрослые мужчины плясали вокруг елки, сцепившись за руки, как пели: „В лесу родилась елочка..."»

Защищаясь от упреков, Солженицын говорил, что видит в своей книге немало положительных героев на воле. Дементьев не прав, когда находит, что в тюрьме все хороши в романе, а на воле — сплошь негодяи. А как же Клара, Володин,

девушки в общежитии? (Над ними Солженицын еще хочет поработать.)

Перейдя к моим замечаниям, согласился, что слово «культ», отнесенное к личности, скорее псевдоним массовой психологии. О Сталине сказал: «Сейчас еще слишком мало достоверного о нем известно, но автор имеет право догадываться. Я угадывал все эти замочки на графинах и прочее — и, может быть, угадал верно. Вот Абакумов: я рисовал его по рассказам о нем, по догадкам, а теперь люди, которые с ним работали, встречались, подтвердили мне, что это точно, и не хотят верить, что я ни разу в жизни его не видел».

На слова Дементьева о том, что Макарыгин, может быть, не так уж и виноват, зачем он в романе так зачернен, Солженицын отвечал с большой убежденностью: «Так, может быть, Александр Григорьевич, — никто не виноват? Макарыгин не виноват. Надзиратели тоже не виновны, они на службе. Еще менее виноват конвой. Не виновны и следователи — им приказали. Откуда же зло?»

Да, это старый вопрос, знакомый нам еще по «Воскресению» Толстого. И ответа два: «никто не виноват» или «все виноваты». Солженицын явно склоняется к последнему. Мораль «нет в мире виноватых» не подходит ему.

Не помню уж в связи с чем, Солженицын заметил: «В музыке больше всего люблю Чайковского. Если бы мне сказали, что в мире останется только одно произведение, я выбрал бы 6-ю симфонию, хотя Бетховен, казалось бы, должен быть мне ближе».

В конце обсуждения я завел разговор о договоре с автором — не надо бы откладывать. Б. Г. Закс, ведающий этими делами, обиделся на меня, что, мол, слишком много на себя беру, и выговаривал мне в своей каморке. Но так или иначе, а дело сделано — договор заключаем.

17.VI.1964

Были с А. Т. у Маршака. Он перевел Твардовскому письмо Чарльза Сноу. Радовался статье в «Таймс» о своей книге «В начале жизни», показывал, как хорошо ее издали в Англии.

Ужина не получилось, потому что домоправительница Розалия Ивановна была не в духе, и Маршак объяснял, смущаясь: «Немцы говорят в таких случаях — в доме «большая стирка». Когда «большая стирка» — все ходят злые, раздраженные, все вверх дном, и никого нельзя ни о чем просить».

Жадно расспрашивал нас о новом романе Солженицына. Я рассказал, что на днях в редакции Твардовский читал нам стихи никому не известного поэта (Прасолова), и они совсем недурны. «Зачем, же вы мне их не привезли?» — мгновенно отозвался Маршак, хотя сам ничего не читает, не видит из-за катаракты.

<...>

17.VII.1964

Заходил ко мне журналист из Югославии Михайло Михайлов. Довольно бесцеремонный и вертлявый, сказавший еще по телефону, что говорит из квартиры Эренбурга и очень просит принять его сегодня же, а на всякий случай предупреждает, что бояться его не надо — он член Союза коммунистов. Все это мне мало понравилось, но я дождался его и говорил с ним уже под вечер. Тейяр де Шарден, Конст. Леонтьев, В. В. Розанов — его боги. Он расспрашивал меня о журнале, о Солженицыне, о моей статье. Не понимает, что за добродетель «выжить» у Ивана Денисовича. Новейшая философия внушила ему, что стоит погибнуть за идею, и это выше, чем выжить. Неожиданное продолжение темы солженицынского кавторанга.

ПОПУТНОЕ

Год спустя я прочитал изданные во многих странах очерки М. Михайлова «Москва, 1964», с которых, кажется, и начались его злоключения: процесс над ним, годы тюрьмы, потом эмиграция на Запад.

В очерках Михайлова специальная главка была посвящена нашей беседе. Он передал ее довольно лояльно, хотя с позабавившими меня журналистскими подробностями. Пытаясь обрисовать собеседника, он заявил, что по все-

му внешнему виду и манерам я напомнил ему меньшевика, деятеля II Интернационала. И заметил, что я очень торопил разговор, стремясь поспеть «на свою виллу». (В самом деле, я боялся опоздать на электричку, шедшую в Мамонтовку, где моя семья снимала на лето две комнаты с террасой у рабочего Акуловского гидроузла.)

Очерк Михайлова был поставлен мне в счет как поддержка со стороны ревизионистов.

29.VII.1964

<...>

Рукопись «Круга первого» передана В. С. Лебедеву. Рубикон перейден. «Теперь только вперед», — говорит А. Т. «Вперед и к черту в пекло», — как любит он добавлять, вспоминая капитана из «Моби Дика».

<...>

31.VII.1964

<...>

Стало известно, что «Советский писатель» отклонил сборник рассказов Солженицына. «Вот говорят, критика не влияет, — рассуждал Твардовский. — Как это не влияет? На издание книг у нас все влияет».

3.III.1964

<...>

Лебедев откладывает чтение Солженицына. Намекал, что у Хрущева могло сложиться мнение, что Твардовский его подвел, рекомендовав повесть. Лебедев говорил: «У нас ведь доброжелателей меньше, чем недоброжелателей...» И на протест Твардовского, сославшегося на горы почты: «Нет, я ничего не говорю, в большом круге — много, но среди людей влиятельных — мало».

Забегал Ю. Штейн и рассказывал, что Солженицын дает читать рукопись близким себе людям. Некоторые узнают в романе себя и бунтуют, устраивают истерики, портят ему кровь. Ш. — ближайшая подруга жены, Натальи Алексеевны, прочтя сцену общежития, разобиделась насмерть. Панин

(Сологдин) обижен, Копелев (Рубин) досадует и т. д. Лева Гроссман, кинорежиссер, изображенный в «Иване Денисовиче», — единственный, кто вопреки опасениям Солженицына, не обижен на него. Оказывается, он живет неподалеку от нас, на даче в Акулове. Я встретил его на автобусном кругу, он представился и раскланялся со мною.

На днях получил письмо от одного читателя: хвалит за объективность. Где она? Вся моя объективность в том, что я совпал в этой статье чувством со множеством людей.

18.VIII.1964

Шла редакционная летучка — обсуждение вышедшего 7-го номера, когда позвонил Ю. Карякин из Праги: его статья о повести Солженицына на выходе. Добрая весть для нас.

<...>

Подписан в печать № 8.

В номере:

Ю. Домбровский. Хранитель древностей (окончание).

В. Богомолов. Рассказы.

А. Поботин. Мертвая дорога. Записки инженера-изыскателя.

А. Прасолов. Десять стихотворений.

Статья Л. Лазарева.

Рецензии А. Каменского, Е. Дороша, Э. Кузьминой. «Необходимая реплика» В. Лакшина.

21.VIII.1964

Твардовский вернулся от Лебедева. Тот, по его выражению, «очищал стол» — торопился отдать папку с Солженицыным. Говорил нетерпимо, резко. Вопреки обыкновению, даже не проводил до лифта.

Но главное — суть разговора о романе. Сначала о сталинских главах: «Не знает он этого. Все равно, как если бы я взялся писать о медицине. И министры никогда не сидели на работе по ночам...» (Позвольте, а разве не об этом говорил Хрущев на XX съезде?) Твардовский миролюбиво подтвердил, что главы, мол, «съемные», не в них суть романа.

Тогда Лебедев стал говорить, что ему не понравились и рассуждения Нержина. Цитировал: «за образ мыслей нельзя сажать», «если вы даже нас простите, неизвестно, простим ли мы вас». Об этих высказываниях Лебедев говорил в том духе, что все это едва ли не антисоветчина, что эксцессы жестокости в лагерях «не отменяют правила» (то есть вообще-то сажать полезно — так, что ли, понимать?). «И кому это не простим?»

Твардовский отвечал, что, мол, конечно, разве мы простим Сталину, Берии? Но собеседник его не слышал.

«А вам роман нравится, скажите откровенно?» — спросил в свою очередь Лебедев. «Я считаю, как и мои товарищи по редакции, что это вещь очень значительная», — отвечал Твардовский.

«А я не советую вам эту рукопись даже кому-нибудь показывать, — заметил Лебедев. — Я прежде говорил Ильичеву, что Твардовский собирается мне дать кое-что почитать, и он заранее просил его познакомить, но я не сказал, что рукопись уже у меня».

Самое тяжелое в разговоре — это слова Лебедева об «Иване Денисовиче»: «Прочтя „В круге первом", я начинаю жалеть, что помогал публикации повести». Это он дважды повторил. «Не жалейте, Владимир Семенович, не жалейте и не спешите отрекаться, — отвечал ему Твардовский. — На старости лет еще пригодится». <...>

22.VIII.1964

Лебедев звонил Твардовскому — замять дурное впечатление от встречи. Да вряд ли это возможно.

28.VIII.1964

Звонок из Праги Карякина — вышел сигнал номера 8-го «Проблем мира и социализма», где его статья о Солженицыне с выдержками из албанской и корейской печати, которая бранит «Ивана Денисовича».

Заходил в редакцию Лева Гроссман. Хочет снимать документальный фильм о Твардовском, мечтает о кадрах, где он запечатлел бы его с Солженицыным.

Между тем Солженицын уехал в какую-то берлогу — работать, и от него нет вестей. Штейн сказал, что дома начинают беспокоиться. <...>

7.IX.1964

Получили статью Карякина. Твардовский прочитал и в восторге от нее. Решили перепечатать в ближайшей нашей книжке — как-никак поддержка от органа «мирового коммунистического движения».

9.IX.1964

Хороший разговор с Солженицыным. «Вы не огорчены? — спросил он меня, имея в виду нападки в печати. — Время покажет, как вы были правы в этой статье». Хвалил публикацию Карякина в «Проблемах мира...»: «Очень своевременно». О догадке Карякина[1] отозвался так: «„Вечерку" я не имел в виду, когда писал, у меня не было возможности ее просмотреть, хотя, надо признать, это в моем характере».

Толковали и о недавней статье в «Известиях» с письмом переводчицы Т. Гнедич — она сама сидела, а теперь вспоминает о добрых охранниках, «хороших чекистах». «Ну да, в таком случае можно считать, что крепостное право не было злом, поскольку бывали и либеральные помещики», — бросил реплику Солженицын.

О «миниатюрах», которые ходят по рукам, — «может быть, отказаться?» Что касается «Круга первого», договорились считать роман незаконченным: автор, мол, работает. «Пусть он (роман) освободит меня и будет на старте», — сказал Солженицын. «У меня много других вещей в работе». Три главы из романа (общежитие) он сейчас до-

---

[1]Разговор в лагере «чудака в очках» с кинорежиссером Цезарем Марковичем о случайно попавшей к ним «Вечерке» с «интереснейшей рецензией на премьеру Завадского» критик комментировал так: «Действие в повести происходит в январе 1951 г., а в декабре 1950 г. в «Вечерней Москве» была опубликована рецензия на премьеру пьесы А. Сурова «Рассвет над Москвой». Случайно или нет это совпадение, неизвестно. Но перечитать пьесу и рецензию в сопоставлении с «Одним днем» небезынтересно» («Проблемы мира и социализма». 1964, № 9. С. 83).

делал и просил прочесть. Я советовал ему собрать напечатанные рассказы в сборник и передать в Гослитиздат, обещал предуведомить Косолапова. «Под лежач камень вода не течет» — а если он предложит рукопись, отказать будет трудно.

Спрашивал его о «Раковом корпусе». «Это вещь острая, но она может быть напечатана, а я сейчас думаю о тех вещах, которые мне важно написать без надежды на печать».

10.IX.1964

<...>

Пошли слухи о Солженицыне, что он был полицаем, сидел в немецком лагере и плохо там себя показал, и прочая мерзость. Вас. Смирнов заявил в «Дружбе народов»: «Да он еврей — настоящая фамилия Солженицер». «А как же русский язык, русский склад характера?» — возразил кто-то. «Эт-то они умеют, эт-то они умеют...» Вчера звонили читатели и требовали от редакции опровержения этих слухов: такое впечатление, что кто-то намеренно распускает и раздувает их. Я подумал: если перефразировать Маркса, «слух, овладевший массами, становится огромной активной силой». Особенно в нашей нервозной, трусливой и панической интеллигентской среде, привыкшей ко всевозможным «оглушениям».

27.X.1964

Приехал из Праги Ю. Карякин. Рад, что мы его напечатали. Твардовский расспрашивал, что он может для нас еще сделать. Карякин рассказывал много интересного о завещании Ленина, о Сталине и т. п.

В воскресенье (25-го) Солженицын приезжал к Твардовскому на дачу перетревоженный. «Куда прятать рукопись? Может быть, так: пусть считают, что романа нет, а есть „Раковый корпус“, повесть, у которой первоначально было заглавие „В круге первом“?»

Твардовский не согласился: «Я лукавить не могу». И успокаивал Солженицына: «Пока я редактор, роман лежит в несгораемом шкафу и никто его не посмеет тронуть».

11.XI.1964

Получил письмо от Солженицына в ответ на мое, где я писал о своих впечатлениях от повторного, более пристального чтения «Круга первого» — мне казалось важным подбодрить его сейчас. Он несколько напугался, что я говорю в письме о романе, хотя какая уж конспирация после того, как его обсуждали в редакции и рукопись побывала в ЦК.

Из письма А. И. Солженицына от 9.XI.1964

«В Москве я собираюсь быть числа 18-го или несколькими днями позже и пробуду несколько дней. Я предварительно позвоню в редакцию и постараюсь выбрать такой день, чтобы застать и А. Т. (к которому у меня, впрочем, сейчас никаких конкретных дел нет) и Вас.

С Вами я хочу обсудить несколько вопросов, в том числе решить и с Гослитиздатом. Я сходить могу, но практически мне это представляется сейчас совершенно бесполезным. Если перед тем у Вас будет случай — Вы позвоните, чтобы знать: стоит ли?..

Один из моих вопросов к Вам — чисто литературоведческий, самого общего характера.

[...] Что ж я наврал, к А. Т. у меня самое неотложное дело: по-моему, es ist die höchste Zeit[1] печатать «Очерки» Медведева (по генетике). При необходимости представлю их и добуду автора».

9.XI.1964

<...>

В редакцию пришло письмо из-за границы, от русской эмигрантки: из него ясно, что рассказы Солженицына появились в «Гранях». Что такое? Какие рассказы? Оказалось, эссе, когда-то отвергнутые Твардовским. Неприятно.

<...>

17.XI.1964

В Москве Солженицын. Я позвал его и рассказал о публикации эссе в «Гранях». Он отнесся спокойнее, чем я думал.

---

[1] Подходящее время (*нем.*).

Агитировал печатать быстрее антилысенковские очерки Жореса Медведева. Хорошо отозвался о записках Д. Витковского «Полжизни». Снова говорил о моей статье, что она сыграла добрую роль, защитив работяг.

Оказывается, он пишет «для себя» возражения на появившиеся псевдолагерные сочинения, вроде Алдана-Семенова и Б. Дьякова: «Пусть останется после моей смерти, чтобы люди не были в заблуждении»[1].

Меня расспрашивал в связи с формой, которую ищет для нового романа — формой краткой и сжатой и по внешности не обязательной в сюжетных связях. (Для ориентировки назвал три вещи: «Записки на манжетах» Булгакова, «Конь вороной» В. Ропшина (Б. Савинкова) и, кажется, Дос-Пассоса.) Спрашивал, откуда в России могла быть такая традиция, есть ли еще образцы. Я назвал толстовского «Хаджи-Мурата», «Фальшивый купон», но вообще-то отнесся ко всему этому со скептицизмом, который, похоже, Александра Исаевича разочаровал.

Солженицын привез в Москву рукопись книги — рассказы и повесть для Косолапова. Твардовский обещал звонить ему.

30.XI.1964

Забегал Солженицын, был наконец в Гослитиздате у Косолапова. Тот встретил его дружелюбно и говорил доверительно. Солженицын благодарил меня за предварительный разговор: «Артподготовка была проведена блестяще, и все огневые точки противника оказались подавлены». Рассказы он расположил в такой последовательности: «Кречетовка», «Иван Денисович», «Матренин двор», «Для пользы дела». «Эту хронологию мне подсказал один читатель, — объяснил Александр Исаевич, — „Кречетовка“ о том, как сажают, потом лагерь, потом выход из лагеря...»

---

[1]Пожалуй, это первое упоминание в наших разговорах о замысле будущего «Архипелага Гулага», родившегося из писем и полемики вокруг «Ивана Денисовича». Роман «Барельеф на скале» Алдана-Семенова, как и «Пережитое» Б. Дьякова, были «патриотическими» сочинениями, написанными с точки зрения близкой им лагерной администрации.

В театр Ленинского комсомола он отдал свою «нерусскую» пьесу («Свеча на ветру») — даст потом почитать. Ее вот-вот начнут репетировать. Обещал показать и маленький рассказец «Кисть руки», выделившийся из «Ракового корпуса». Нам до смерти нужен был бы сейчас его рассказ для первой книжки.

Я дал Солженицыну перевод Оруэлла («1984»), которым сам зачитывался последние дни.

26.XII.1964

<...>

Заехал Солженицын и вернул мне Оруэлла. Отозвался так: «Остроумного много, но он не понимает, что и под пятой Старшего Брата все-таки жизнь есть, а у него нет жизни». Говорили, к слову, и о романе Замятина «Мы»: «Написано блестяще. Редкий случай, — заметил Солженицын, — когда героев научно-фантастического сочинения начинаешь любить, хочется в конец заглянуть, что с ними сталось».

Хвалил статью В. Сурвилло, я рассказал ему о судьбе автора.

<...>

ПОПУТНОЕ

Конец 1964 и начало 1965 года ознаменовались для нас неприятностями вокруг статьи Твардовского «По случаю юбилея», подготовленной на открытие 1-го номера. В январе журналу, основанному в 1925 году, исполнялось 40 лет.

<...>

Цензурные вымарки в статье «По случаю юбилея»

<...>

«Или другой разительный пример: „Один день Ивана Денисовича".

Огромный резонанс этого небольшого по объему произведения в *широчайших* читательских кругах страны и за рубежом, известные острые разноречия в оценке его критикой обязывают еще раз остановиться на нем, **несмотря на то, что „Новый мир" опубликовал уже две большие статьи на эту**

тему, которые представляются мне совершенно правильными в своих основных и главных положениях...»

«Усилия некоторой части критики, направленные к тому, чтобы объявить главного героя повести — Ивана Шухова — лишенным отличительных черт человека, сформированного советской эпохой, отпадают за полной их несостоятельностью. Человек труда, один из миллионов тех, кому принадлежит слава подвига пятилеток, победы в Великой Отечественной войне и самоотверженного трудового порыва в послевоенные годы, Иван Денисович — плоть от плоти и кровь от крови своего народа, творца всех ценностей и ответчика за свою историческую судьбу (...)

Выбором своего героя, человека труда, на чью долю так незаслуженно выпали бесчеловечные испытания, Солженицын с особой силой, как никто до него в литературе, выявляет антинародную сущность того сложного и трагического явления нашей истории, которое мы теперь называем периодом культа личности.

Но, помимо Ивана Денисовича, в солженицынском повествовании выявляются, живут и действуют, как живые, в непосредственном переплетении с переживаниями заглавного героя „Одного дня" многие другие представители лагерного мира, обрисованные четким и экономным пером. Особая и знаменательная роль в повести принадлежит кавторангу Буйновскому.

Не следует забывать, что персонажи в художественном произведении располагаются несколько иначе, чем должностные лица в штатном расписании ведомства или учреждения. Буйновский не есть заместитель Шухова по общим вопросам, как и Тюрин не является при нем „заведующим" хозяйственной частью и т. п. Фигура Буйновского в композиционном построении повести в целостном звучании этого произведения необходима, незаменима и недвусмысленно выразительна. Мы помним, как на бесчеловечной процедуре обыска перед выходом заключенных на работы раздается гневный, протестующий голос кавторанга: „Вы —

не советские люди. Вы не знаете статьи такой-то, вы не имеете права...“

Разве это не есть смелый и самоотверженный протест, сознание своего гражданского и воинского достоинства, понятий чести, обязанностей офицера и коммуниста? Мне кажется, это начисто снимает все домыслы „недругов“ Ивана Денисовича относительно его мнимой „пассивности“ и неспособности к протесту и борьбе против лагерной администрации.

Почему нужно требовать, чтобы этот памятный нам порыв протеста был осуществлен именно Иваном Денисовичем, а никем иным в повести? Может быть, только потому, что мы слишком привыкли по старинке искать в одном произведении всего того, чего ждем от литературы в целом, и одного из героев произведения считаем обязанным представить в своих поступках и характере все то, что может быть представлено другими людьми, окружающими его. А ведь слова, которые мы слышим из уст Буйновского, они в равной степени принадлежат и Шухову, и Тюрину, и всему многострадальному и бесправному скопищу человеческих душ за колючей проволокой. Они и до Буйновского там уже вырывались из чьей-нибудь груди и после еще будут звучать, вплоть до того рубежного часа, за которым идет нынешний новый период в жизни нашего общества». (Вымарано целиком)[1].

27.I.1965

Сегодня Твардовский был у Поликарпова, который передал ему суждения Суслова (Президиума ЦК, как он говорил по обычной тяге к анонимности) о статье. На 90 %-де статья правильная, но 10 % не удовлетворяют. Замечания, сколько я запомнил, следующие:

1) Лишнее — критические упоминания Кочетова, Бабаевского — может разжечь групповщину.

2) Слишком велик перечень «обид» «Нового мира». Не надо о фальсификации с читательскими письмами (по поводу А. Яшина, Дороша).

---

[1] На этом кончается цитирование дневника из книги: Владимир Лакшин «Новый мир» во времена Хрущева. Дневник и попутное (1953–1964). М., «Книжная палата». 1991.

3) Лишнее — реабилитация В. Некрасова и Эренбурга.

4) О Солженицыне слишком подробно. Это хороший писатель, но не надо его делать знаменем.

5) Сомнительные замечания по поводу «засух» и «градобитий» в литературе и искусстве.

Твардовский считает, что можно было бы отделаться легкой правкой, но, если потребуют снять разговор о Солженицыне — он уходит. Именно это главный пункт.

Поликарпов уговаривал его, что не следует и заикаться об отставке, что «им не нужно два «Октября» «.

Твардовский высказал ему многое — и тот молчал. О Солженицыне А. Т. сказал: «Ты же ведь знаешь, что фактически он премию получил. Кто сейчас вспоминает Гончара с его «Тронкой»? А ведь всего год прошел. Мы же продолжаем спорить о Солженицыне».

Выслушав все, что сказал Поликарпов, Твардовский сказал, что хотел бы все это услышать от самого Суслова. Тут же, из кабинета Поликарпова, позвонили ему, и встреча эта условно назначена на пятницу. Только я не уверен, что Суслов примет его 29-го.

29.I.1965

Твардовский вернулся от Суслова часа в 4. Я встретил его в коридоре. Он шел в распахнутом пальто, улыбался и перекрестил меня широким крестом несколько раз. «Ну, как, мы живы?» — спросил я. «Живы, живы...» — и он пошел раздеваться.

В кабинете рассказал, что с Сусловым говорил недолго, показал ему вымарки в статье. Тот не вглядывался, сказал только: «Я вижу, большая работа». Твардовский настойчиво повторял, что без упоминания Солженицына не считает возможным печатать статью. Сказал, что Луи Арагон, Сартр, Вигорелли, Сноу — все стремятся встретиться с ним, спрашивают, можно ли поехать в Рязань и т. п. «Назад хода нет: писатель, и писатель мировой славы, существует. Причем дело тут не в одной лагерной теме, а в искусстве».

Все это он Суслову «напел», тот слушал добродушно. Сказал, что считает статью в целом полезной. Конечно, литература должна давать жизнь, какой она есть.

Все это прекрасно. Но, когда я стал смотреть на вычерки в верстке, они удручили меня. Снято начисто место о Викторе Некрасове, сняты оценки Эренбурга, снято почти все рассуждение о Солженицыне (осталось два абзаца), снято и без того темное упоминание о моей статье («Друзья и недруги...»), снята фамилия Кочетова и еще кое-что. Мне показалось, что это пиррова победа. Но вслух говорить я этого не стал. У Твардовского — гора с плеч, что статья пойдет хоть в таком виде, и журнал сохранится.

30.I.1965

Поликарпов, который должен был с утра утвердить правку, накинулся еще на два места: еще одна фраза о Солженицыне и упоминание Бабаевского.<...>

12.II.1965

<...> Вечером я задержался в редакции, собирался уходить — вдруг корреспондент из ТАССа Петр Косолапов. (Он когда-то передал первую информацию о Солженицыне, прошедшую по всем газетам — «Имя новое в литературе».) Сейчас просил сигнальный экземпляр, чтобы дать официальную «тассовку». (Я понял так, что информация о Солженицыне была пиком его успеха, и он стал «болельщиком» журнала.)

В редакции все уже ушли, столы были заперты, «сигнала» я не нашел. Усадил Косолапова в своем кабинете и надиктовал экспромтом страниц пять. Он обещал тут же передать это для печати, иначе, если «Лит. газета» выйдет с подобным материалом, будет поздно.

6.III.1965

Шел по улице Горького и встретил Дороша[1]. Тот, огорченный, не в себе, бросился ко мне и стал рассказывать о «вы-

[1] Ефим Яковлевич Дорош (1908–1972) — писатель, очеркист, в 1967-1970 гг. член редколлегии «Нового мира».

борах без выбора» на съезде. Утром была партгруппа, где человеком из Бюро ЦК по РСФСР был предложен список, куда включены все прихлебатели и подонки из кочетовской команды, но не было многих заслуженных писателей. Потом оказалось, что забыли выдвинуть делегатами на всесоюзный съезд Симонова, Фоменко, Дороша, Евтушенко и т. д. Расул выступил, замаливая, видно, вчерашние грехи (вспышку с Егорычевым), и предложил голосовать списком, не обсуждая его. Две третьих съезда составляет партгруппа, и дальше было чисто автоматическое голосование. Отводы некоторых одиозных лиц Македоновым и добавления к списку, предложенные Верой Пановой, успеха не имели: правило бал формальное большинство. «Я сам, как в самобичевании, голосовал с большинством», — сознался Дорош. В. Шкловский и другие беспартийные стали оставлять зал. Но и это не произвело впечатления.

Ходят два анекдота. Первый: «Съезд прошел под девизом: Отречемся от „Нового мира“». Второй: «Идет пьяный писатель по кулуарам съезда и бормочет: „А еще слух прошел, что Сталин умер“».

О Солженицыне невеселые сведения. У него разболелась печень, он почти не работает, собирается переезжать в Горький, если там дадут квартиру[1].

Начало апреля 1965

Заходил Солженицын. Сказал, что до конца года ничего давать для журнала не предполагает. «Раковый корпус» собирается углубить и тем сделать более трудным для печати. О нашем романе («В круге...») сказал, что считал бы полезным в удобную минуту дать из него хотя бы главы. «Мне важно закрепить его заглавие, само существование этой вещи...»

В Рязани жить ему стало трудно, и он строит планы перебраться в Горький. Я подарил ему «Хаджи-Мурата» в серии «Народной библиотеки» с моим предисловием.

<...>

---

[1] «Литературное обозрение». 1994, № 9–10. Публикация дневника за январь–март 1965 г.

Из письма Солженицына от 7.IV.1965

«Оставаясь на уровне серии „Народной библиотеки", Вы очень серьезно изложили суть дела. Степень использования в „Хаджи-Мурате" исторических материалов была для меня новинкой. Метод „цепочки событий" (выражение неточное, но и „диалектика событий" мне кажется расплывчатым) в другом издании и по какому-нибудь другому поводу Вам еще, надеюсь, удастся рассмотреть пристальней[1]. Здесь еще много неназванного.

Особое удовольствие доставляет то, что Вы пишете таким спокойным и хорошим языком, далеким от современного критического жаргона».

19.V.1965

Был у Елены Сергеевны[2]. Ее рассказы о Булгакове. Обыск 1926 года, перевернувший Булгакова, когда забрали дневники и «Собачье сердце». Он требовал, чтобы вернули, искал заступничества. Ждал-ждал и написал три года спустя заявление в Союз российских писателей, что выходит из Союза, где не могут защитить его права. Вызвали к следователю, который вел его дело. Тот взялся уговаривать не идти на скандал. Булгаков был тверд. «А если мы отдадим вам рукописи?» — «Я вам не верю». Тот вынул из стола дневник и повесть, тогда Булгаков порвал заявление. Пришел к Е. С., дал читать ей дневник, потом вырезал несколько страниц ей на память — остальное сжег в голландской печи.

В 1934 году был у Горького на квартире. Горький обнял, поцеловал его при встрече и дружески разговаривал часа два. Вернувшись домой, Булгаков сказал, что чувствовал себя там неприютно: «За каждой дверью во-о-о-от такие уши» (и он показал, раздвинув руки).

---

[1] Солженицын очень интересовался в ту пору различными композиционными приемами в прозе, примеривая что-то для будущих своих работ. Мы подробно говорили с ним об этом, о том, в частности, что в «Фальшивом купоне» и «Хаджи-Мурате» Толстым опробован особый способ рассказа, основанный не на знакомстве и непосредственных отношениях людей, а на сцепке событий, объективной связи незнакомых меж собою лиц. Потому-то я и передал ему книгу, на которую он отозвался.

[2] Булгакова Елена Сергеевна, 3-я жена Михаила Афанасьевича Булгакова.

О дневнике Горького, который попал к Сталину и связал старика, говорил Елене Сергеевне Н. С. Ангарский.

Многое еще рассказывала Е. С. о Булгакове — славное складывается впечатление; жаль, я не все запомнил, а возникает он передо мною все с большей ясностью[1].

<...>

Первый раз Солженицын позвонил от Ахматовой, просил о встрече и на другой день приехал. Разделся, сел, взглянул на портрет Булгакова и сказал: «Рассказывайте мне о нем, все рассказывайте, что можете». И Елена Сергеевна взялась рассказывать — часа на три. Потом он вскочил — звонить жене: «Наташа, немедленно приезжай! Ты не знаешь даже, что случилось, с кем я разговариваю». Ей что-то мешало приехать, и его досаде предела не было.

Регулярно наведываясь к Е. С., он перечитал почти все у Булгакова. Пришел в восторг от «Багрового острова», и Елена Сергеевна подарила ему экземпляр. В «Мастере...» он восхищался соединением трех стилей: иронически-современного, евангельской легенды и лирики. Лирические главы (для меня это неожиданность) поставил выше всего. Говорил о силе фантазии, вымысла у Булгакова, восхищался этим: «Сам не умею ничего придумать — большей частью пишу, как было» (тут, наверное, немалое лукавство).

Как хорошо сиделось мне на этот раз у Е. С. — ласково, доверительно, и что-то открылось новое в ней.

9.VII.1965

Встреча в редакции с Хуаном Гойтисоло[2]. Умен и хорош. Говорил об испанской литературе, проповедовал нам поэта Сернуду. Хорошо отзывался о Солженицыне, о журнале. Приятны его спокойная серьезность, сдержанность и внимание к собеседнику. Спор о Бабеле и Солженицыне. Мне

---

[1] Мне было заказано Гослитиздатом предисловие к «Избранной прозе» М. Булгакова, выходившей впервые, и я расспрашивал Елену Сергеевну, собираясь писать по сути первый биографический очерк о Булгакове.

[2] Хуан Гойтисоло (р. 1931) — выдающийся испанский писатель. «Новый мир» печатал его документальную повесть «Народ в походе» (1964, 2).

показалось, что Бабеля и литературу 20-х годов он ставит слишком высоко. К тому же думает, что Солженицын и Аксенов стоят в одном ряду.

16.VII.1965

Твардовский был у Демичева. Вернулся довольный, успокоенный и, как всегда в таких случаях, даже с некоторым лишним обольщением результатами разговора. Один успех, впрочем, бесспорный: «Театральный роман» дозволен к печатанию. «Пусть решает редакция,— с показным великодушием сказал Демичев. — Я не хочу читать в рукописи, я люблю читать журнал в готовом виде, как всякий нормальный читатель». Относительно писем по Вучетичу кислее: «Можете, конечно, напечатать, но вряд ли это вам нужно». Расспрашивал о Солженицыне. Но Михаила Алексеева, по его признанию, «читает с большим удовольствием».

А. Т. говорил ему и о том, что на съезд СП не попадут многие заметные писатели,— это надо исправить. Демичев согласился. Разговор шел три часа, и к концу его Твардовский приободрился.

Сегодня же мельком видел Солженицына. Он собирается переезжать в Обнинск, куда его пригласили физики (кажется, этому покровительствует И. Е. Тамм). А. Т. советовал А. И. при встрече с Демичевым, на которую он приглашен, сказать о книге, о том, что это смешно — рассказы, напечатанные в журнале, почему-то нельзя издать. И второе: сказать прямо о грязной клевете, какую раздувают вокруг его имени такие, как Дьяков, Тевекелян («Полицай», «сидел за сотрудничество с немцами»). Солженицын сказал, что работает над романами, а для печати ничего не пишет. «Если прервусь, затею рассказ, то наверняка напишу плохо, ниже возможностей».

17.VII.1965

Солженицын был у Демичева и позвонил Твардовскому на дачу. Сказал только, что с Обнинском все устроено и что ему удалось развеять предубеждения против себя. Давай Бог! Но о главном, о сборнике рассказов, сказал ли он?

9.VIII.1965

Приехал в редакцию А. Т. — мрачный, раздраженный — из Секретариата от Воронкова. Тот по своему блокноту пересказал ему, что говорилось на Идеологической комиссии. С. Павлов делал доклад о воспитании молодежи. Приводились такие цифры: в Москве 40 % детей крестят в церквях, 20% браков совершается в церкви. Преступность среди молодых растет. Из этого делают обычный вывод: надо искать виноватых, не ему же отвечать! Виноватых на этот раз нашли таких: театры, вроде молодой труппы Любимова, «Современник», и журнал, прежде всего «Новый мир». Павлов прямо спрашивал: «В каком государстве издается этот журнал?!» Скаба, украинский секретарь, прежде обиженный Трифоновичем, вопил: «Почему мы должны терпеть? Надо снимать Твардовского!» На это была реплика Демичева: «Такое решение было бы ошибкой». Однорукий Кузнецов из МК тоже распоясался: «Во главе журнала стоит алкоголик с замутненным сознанием».

Демичев в заключительной речи, насколько можно судить, смягчил остроту положения. Сказал, что ему очень понравилась трехчасовая беседа с Твардовским. Впрочем, дальше объявил, что Солженицын ему не понравился. Он якобы спросил у него: «Скажите, какая цель, какая программа у вас в творчестве?» А тот ответил: «Я иду за своими героями». Ответил, конечно, как настоящий художник-реалист, но понравиться это не могло.[1]

<...>

1.IX.1965

<...>

После обеда мы прошлись пешком до вокзала. Залыгин рассказывал по дороге о Ново-Николаевске[2]. Город в общем-то скучный, некрасивый, без обаяния. Я смотрел на огромный, пышный вокзал и вспоминал 43-й год, вокзальный изолятор, себя десятилетнего — в гипсе, голые стены,

[1] «Литературное обозрение», 1994, № 11–12. Публикация дневника за март–август 1965 г.

[2] Старое название Новосибирска.

покрытые грязной масляной краской — и крыс, прыгавших на авоську с хлебом, высоко подвешенную на гвозде, чтобы они не достали. Когда мама уходила хлопотать о билетах и пайке в Новосиб. театр, а я оставался один — эти рыжие вокзальные звери начинали метаться по комнате, не обращая на меня ни малейшего внимания и делали огромные прыжки вверх по стене, вцепляясь в сумку с нашим обедом.

Вечером — выступление в Доме офицера. Народу набилось полным-полно. Два первых ряда оставались пустыми — их держали для обкома, но никто не пришел. В фойе продавали 8-й номер журнала, присланный вслед за нами на самолете.

Первый выступавший был явно подготовлен, говорил по бумажке казенные фразы, ругал Солженицына («он очернил почти всех», с неприязнью изобразил сов.солдат), бранил «Теркина на том свете» и т. д. Это было очень удачно, потому что он зажег, расшевелил аудиторию. Стали выступать, горячо, жарко доказывая, что «Н. м.» — лучший журнал, много говорили и о Солженицыне. Умно выступил поэт Фоняков.

7.IX.1965

Вышел № 8 с «Театр. романом». Почти три года мороки — и наконец я имел радость позвонить Е. С. (Булгаковой. — *С. К.-Л.*) и поздравить ее. Она не верит этому счастью.

Поднялся наверх к С. Х.[1] и застал Солж., диктующего что-то на машинку. Вчера он был у Трифоныча на даче, и тот неожиданно присоветовал ему выступить публично против клеветы, распространяемой Павловым[2] и К°, будто он сидел за сотрудничество с немцами, побывал в плену и т. п. Солж. написал письмо в «Правду» — Румянцеву, копия — в «Нов. мир». Закс встревоженно сказал мне, что Ал. И. забирает роман. Когда позже С. заглянул ко мне и я спросил его, зачем он это делает, — он стал говорить что-то о том, что его не удовлетворяет слог, что у него появились

[1] Минц СофьяХанановна (1913-1985) — секретарь Твардовского.

[2] Павлов Сергей Павлович — в 1959–1968 гг. первый секретарь ЦК комсомола.

новые мысли о рус. синтаксисе и он хочет поправить. Все это высказано было поспешно, путано и, кажется, не совсем искренно. Я уговаривал его дать маленькую вещь, рассказец какой-нибудь, чтобы напечатать и напомнить о том, что он жив-здоров.

Он опять сказал, что не хочет отвлекаться от больших серьезных вещей, что к малой форме он боится себя принуждать — все равно хорошо не выйдет.

Рассказики («эссе») из «Семьи и школы» он забрал, слава Богу. О «Раковом корпусе» сказал, что чем дальше идет, тем, по его впечатлению, становится менее удобным для печати.

«А я сначала думал, что получится вещь легкая, проходимая...»

В комнатке у Нат. Львовны[1] я застал его, уже позже того, как мы распрощались, за укладкой рукописи в какой-то ветхий чемодан, который он перепоясывал ремнями. Чтобы порадовать его, я сказал: «А. И., знаете, наконец-то вышел «Театр. р-н» и я собираюсь сегодня поехать к Е. С. и выпить с ней в честь этого события шампанского». Он очень грустно оглянулся, оторвавшись от увязки своей поклажи, и сказал: «Так вот и мои вещи когда-нибудь будут печатать и пить шампанское с моей вдовой».

Это было неожиданно, прозвучало неловко, но я понял его горечь — и мне неприятно стало, хотя будто ничего плохого я и не сказал.

Я попросил Нат. Львовну достать ему 8-ю книжку и подарить ему. Расстались мы дружески.

Забыл записать. Солж. говорил, что разговор с Демичевым был хороший. Говорили о Твардовском, о критике. Солж. разбирал соч. Шелеста, Дьякова. «Но вы согласны, что не всю правду рассказали о лагерях?» «Конечно. Но значит ли это, что Вы бы хотели видеть меня автором еще одного «Ив. Ден.»? «Нет, нет», — замахал на него руками Д-чев.

Он говорил Демичеву о желании переехать в Обнинск, и тот обещал посодействовать.

---

[1] Майкапар Наталья Львовна — сотрудница редакции.

С-н подумывает вернуться к математике, т.к. литература снова не кормит его. А писать поделки ему не хочется, он думает о вещах долговечных.

18.X.1965

Примусь-ка за дневник.

3 дня назад кончил статью о Булгакове и отдал в издательство. Выскочил наконец № 9. В моей статейке поправили 2 фразы, но, кажется, без большого ущерба.

А морока, пока я был в Греции, пережита Трифонычем страшная. «Я думал, вот-вот поведут нас к корыту, резать...» Статью снимали 3 раза, последний — уже после того, как цензура поставила штамп. У Твардовского было очень резкое объяснение с Демичевым по телефону: он сказал ему: «Я не знаю, как мне верить В[ашим] словам, я ухожу из В[ашего] кабинета обнадеженным, а все происходит наоборот. Под Вами 3-й этаж, который все делает по-своему... Если есть желание, чтобы я бросил все и ушел — скажите прямо...» Дем. успокаивал его. Сказал странную фразу о Солж. — он «очень ему понравился»(?): «Или это гениальный актер, или он хороший человек». «Конфискация романа — глупость, роман ему вернут...» и проч. Утешительные обещания и улещания.

<...>

Солженицын приносил пьесу «Свеча на ветру». Мне не понравилась — абстрактная умственность, хотя есть диалоги острые. Трифоныч, как я и ожидал, совсем ею разочарован. «Печатать нельзя, но если бы можно было, я, автор предисловия к И. Д.,[1] написал бы тут послесловие — о заблуждениях таланта». Я говорил, при обсуждении, что эта пьеса составила бы честь Артуру Миллеру и любой другой подобной западной величине. Для Солженицына же — это не достижение. Но его, правда, жаль. Вчера Медведев[2] рассказал, что делают в Обнинске, чтобы не дать ему туда пере-

[1] «Один день Ивана Денисовича», повесть Солженицына.

[2] Медведев Жорес Александрович (р. 1925) — биолог, генетик. Жил и работал в Обнинске. В 1970 г. был лишен гражданства СССР.

ехать. Жена его[1] проходила по конкурсу, но теперь 7 человек за нее голосовавших, в том числе сам Медведев, выведены из ученого совета.

С-на видел похудевшим, бледным, в длинном — почти до пят — плаще. Невыразимо жаль его — и не знаешь, как подойти со словом участия, тем более, что неизбежен разговор о пьесе, а пьеса... Язык не повернется похвалить искренно.

27.X.1965

Сегодня отвез после поправок в Гослит[2] статью о Булгакове — и имел беседу с Борисовой, которая редактирует книгу. Она благожелательна, но с обычным редакторским зудом, повелевающим править рукопись во что бы то ни стало.

От Борисовой поехал на собрание в Союз. Тяжелое вынес впечатление. Главный «бунтовщик»: Свирский требовал слова на «две запретные темы».

Демичев говорил, округло поводя руками в белых манжетах, старался понравиться писателям — от заискивающего, «обаятельного» смешка до искусного перманента. О Солж., Залыгине говорил двусмысленно. «Надо писать на главную тему, чтобы меньше было в литературе двориков и домиков...»

<...>

2.XII.1965

Позвонил и зашел в ред. Солженицын. Жаловался мне и Дементьеву на А. Т., что тот-де не помогает ему ни в чем: рассказы отверг, рукопись взять отказался, с квартирой не помог... Теперь он вынужден действовать сам — ходил к Алексееву просить квартиру, хотел напечатать рассказ о Куликовской битве вне «Нов. мира» — в «Огоньке» или «Лит. России». Зря он обижается, конечно, на замученно-

---

[1] Решетовская Наталья Алексеевна (1919–2003) — первая жена Солженицына, химик.

[2] Издательство «Художественная литература» (прежнее название — Государственное издательство литературы — Гослит).

го Трифоныча, хотя и понятно — сам затравлен до предела, мечется, ищет выхода. Он очень изменился, похудел, посуровел — тяжко смотреть.

Я говорил ему о том, что надо было бы посоветоваться, прежде чем давать статью против В. В. Виноградова в «Лит. газ». Он не возражал, но оправдывался тем, что после разрешения Демичева печатать — написал статью за одну ночь.

Дал читать три рассказа — о Кулик. поле, «Кисть руки» и еще один этюдик — женщина рвет газету со стены.

По моему совету Дементьев решил попробовать предложить рассказ в «Правду».

3.XII.1965

Ал. Трифоныч сердитый. Я его уговорил все же напечатать несколько стихотворений Фонякова, из тех, что прислал мне Залыгин.

Пришел Солж., рассказ его отвергли в «Правде» с бредовой формулировкой — «рассказ очень хорош, но у нас нельзя печатать, т. к. можно испортить отношения с Монголией».

Ал. Трифоныч страшно побранился с Солж. Тот крикнул ему: «Со мной так надзиратели не разговаривали». Но потом оба утихли. Я старался успокоить Солж., сказал, что попробую пристроить рассказ в «Известиях».

<...>

30.IV.1966

С утра Трифоныч позвонил из Союза писателей по вертушке и через два часа был принят с Дементьевым у Демичева. Прием продолжался 2 S часа — а мы, как всегда, ждали в редакции в некотором нервном напряжении. Потом они позвонили, назначили встречу в Столешниковом и зашли в «Будапешт».

Трифоныч в растерянности. Час их учили жить, Демичев явно думал, что они с другим вопросом. И только в середине беседы удалось навести речь на Кардина. Вручили ему верстку. Запугивал и увещевал. Говорил, что едва ли не один защищает журнал, что надо одуматься. Но информирован он

очень плохо и тенденциозно, и Твардовский без труда отвел многие наветы. И все-таки разговор односторонний. О Солженицыне — очень плохо, и о какой-то его пьесе, которой мы не читали. Призывал присмотреться к сотрудникам и т. п.

Говорил, что не надо обольщаться тем, что пишут за рубежом, что это происки врагов и т. п.

«Не на чистом масле...» — как говорил Маршак.

<...>

13.V.1966

Заходил Солженицын. Весел, бодр, говорил, что чувствует себя отлично, а настроение — по-разному. Закончил 1-ю часть «Ракового корпуса» и хочет принести читать в редакцию — к концу месяца. «Мое положение — самое хорошее, нечто вроде экстерриториальности. Как Тарле, в свое время объявили буржуазным историком и больше не трогали». Но рядом с этим — и горечь, сказал, что его роман и пьесы распространяют для чтения и возбуждения ненависти. «Пьесы, попавшие туда случайно, я писал еще в лагере, в озлобленном настроении, после XX съезда многое переменилось. Я никогда не стал бы их печатать, а тут используют их, чтобы доказать мои, якобы антипатриотические настроения».

О Твардовском сказал он не очень хорошо, якобы он заметил с ним различие взглядов, что тот будто бы говорил с ним, как всегда говорят редакторы. Это было тяжело мне слушать. Я пытался объяснить ему положение и позицию А. Т., насколько мог, хотел прогнать у него недобрые чувства. Сказал, что он зря писал письмо с обидами по поводу одного слова в «Захаре-Калите» — так придирчиво, никчемно это выглядело, и всех обидело, конечно. Он немного смутился. Я уговаривал его съездить к Александру Трифоновичу, который ревнив, как женщина, — и разрешить недоразумение с ним.

<...>

23.V.1966

А. Т. прочел статью и выразил полное одобрение. Надо заканчивать и печатать.

Говорил о «странной непотопляемости» нашего суденышка, борта которого в пробоинах, но оно не хочет тонуть, хотя, казалось бы, подбить его так просто. Он получил хорошее, теплое письмо от Солженицына, — и этим рад тоже. Солженицын присылает «Раковый корпус».

<...>

30.V.1966

А. Т. прочитал Солженицына и говорил, жмуря глаза от удовольствия: «Ну, что сказать... Это писатель...»

«А как быть? Он у нас совершенно табуированный. Между тем я уверен, что эта книга, будь она всеми прочитана, принесла бы большую пользу. Сейчас в мире три темы, интересующие всех: термоядерная бомба, фашизм и рак. Но не собственно болезнь его интересует, а как открывается человек».

Восхищался изображением ответработника местного масштаба, которому нужна спецпалата и который очень любит народ, но презирает «население».

Кому объяснить, что это преступно, такое обращение с писателем, подобным Солженицыну? Кто ответит за это? Во всяком случае, если все сойдутся со мной, надо будет действовать».

<...>

3.VI.1966

Трифоныч рассуждал: «Как у нас любят покойников. Каждый жалкенький рассказ Платонова сейчас подбирают и печатают — «Лит. Россия» или «Неделя», — а прежде он с голоду помирал, не печатали, не признавали, гнали. Ахматову оскорбляли, как могли, оскорбляли как женщину, называли блудницей, а теперь — иначе, чем Анна Андреевна, ее и не поминают — «выдающийся русский поэт». А Марк Щеглов? Сейчас все его дневники, письма пошли в ход, а будь он жив — наверняка несладко бы ему пришлось. Ведь он бы еще что-нибудь написал».

Кончил «Раковый корпус» Солженицына. Какие бы ни были малые его недостатки, можно лишь удивляться этому

писателю — разнообразию его характеров, точности и глубине описаний, серьезности смысла.

<...>

NB. Есть протокол обсуждения «Ракового корпуса», который вела Архангельская.

18.VI.1966

Хоть и не с руки было — поехал в Москву на обсуждение повести Солженицына. Собрались in corpore, Твардовский просил устроить чай из самовара.

Кисло выступили Закс, Кондратович, сдержанно Дементьев. Я говорил, кажется, горячо и волновался — вообще после вчерашнего никак не могу прийти в себя — и счет смерти, о котором писал Солженицын, для меня стал особенно близок и прост.

Очень хорошо, интересно говорил А. Т. — рассуждал бескорыстно: «Мы не можем вам обещать, что это будет напечатано, потому все эти разговоры ведутся как бы на том свете».

О литературе, как оружии классовой борьбы: «Когда орудие узнало, что оно орудие, — конечно, оно не стреляет».

Трифоныч очень хвалил повесть, но порой, говорил он, чувствуешь резь — нет, так быть не может. О Русанове: «Бандиты не говорят между собою, собравшись: «Вот что, бандиты, наконец-то мы собрались и давайте делать свое бандитское дело». Нет, есть целая система своих, вполне благопристойных, фраз, выражений и т. п. Русанов не может, получив отпор, требовать снова газету в палату. И не может все время оставаться тем же, каким пришел. Что-то должно у него внутри начать шевелиться.

(ср. с Иваном Ильичом[1]).

Солженицын, как всегда, слушал всех внимательно, молча, расписывая замечания на 2-х бумажках. Потертый учительский черный портфель с двумя замками, обращение, несколько неловкое, «друзья мои», учит. тон — все это от его педагогической практики — другой аудитории он и не знает. Кое-где он наскакивал, как боевой петух, но все же

[1] Произведение Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича».

сказал, что чувствует себя среди друзей и потому хочет объясниться. Благодарил Твардовского за «художнические замечания». О своей концепции сказал, отвечая Дементьеву, что и дальше не собирается делать ее более ясной. Он старается показать логику жизни разных людей, возникающие перед ними проблемы. «Иногда я сам решил бы их легко, иногда же они и для меня остаются непростыми и не столь ясными».

О Русанове говорил с особым запалом, решив, что редакция покушается на самую суть образа.

«Они остались безнаказанными. Пришло время хотя бы нравственным, литературным способом рассчитаться с этой породой людей». «Но я старался писать Русанова с симпатией», — сказал он и сам засмеялся, так это выглядело странно. Но его мысль понятна: он хотел бы писать изнутри.

«Я считаю, что Яго — неудача Шекспира. Яго делает зло из зла. Между тем зло ради зла не делает никогда и никто. Зло делают, оправдывая свою систему жизни, свои удобства, свои взгляды».

Кончилось все хорошо, лучше, чем я думал. Мы пошли после совещания «под тент» выпить по рюмке коньяку. Трифоныч был потрясен рассказом о вчерашней катастрофе. Говорил мне нежные слова, просил передать Свете, что он поздравляет ее с избавлением. «Такие несчастия, как бы совсем случайные, обычно след общего неблагополучия. Ходынка».

Говорил о Плучеке, его театре, которому Твардовский хочет устроить банкет, несмотря на их беды. Очень хвалил дневники Симонова.

О Солженицыне говорил: «Он — великий писатель, а мы больше, мы — журнал».

На обсуждении Трифоныч говорил: «Сейчас ясно, что у Солженицына как писателя есть такой прием — он берет человека в минуту его высших страданий — будь то тюрьма, война или смертельная болезнь». Пожалуй, это шире, чем прием.

4.VII.1966

Был Солженицын. Он многое доделал в своей повести, которая называется теперь «От среды до четверга». Убрал Авиэтту, сделал глубже, разностороннее Русанова, словом, — для себя — сделал очень много, знак того, что очень хочется ему эту вещь напечатать.

Говорил об обсуждении, которое ему понравилось, что он увидел «исторический момент в жизни редакции», «молодой редакции», к которой он причисляет и Твардовского с Марьямовым. Мнение наивное, но я не стал его разубеждать.

Я думаю, и этот план развивал ему, что поворот надо двигать не обычным, канцелярским, а демократическим путем, через писательскую среду — пусть ее узнают поближе больше людей, и тогда никакие закулисные клеветы не прилипнут.

28.VII.1966

Без меня обсуждали повесть Солженицына и решили отложить — Твардовский переживает всевозможные опасения — и очень давит на него укоренившаяся «дурная репутация» автора.

<...>

4.VIII.1966

Болею, сижу на даче. Прочел в верстке новый вариант «Живого»[1] — превосходно, и сильную статью Черниченко о промыслах.

Думал о Солженицыне. 1962 г. — дата рождения у нас новой литературы. «Иван Денисович» подвел черту под прежним и начал новое. Можно бранить Солженицына, пытаться поставить его вне литературы, но дело это обречено. Он теперь единственный романист, который дает уверенность, что реализм не умер, что он и теперь, как прежде, единственно жизнеспособная ветвь искусства. Все другие — ветки высохшие, и голые, омертвелые. Но с 62 г. перемени-

[1] Повесть Бориса Можаева «Из жизни Федора Кузькина» («Новый мир», 1966, № 7).

лась и вся литература. Разве появился бы без Солженицына Залыгин, Семин да и последняя вещь Айтматова, которую уже хвалят, хотя и сквозь зубы? А ведь все это он натворил своим Шуховым и Матреной. Можно заметить и другое — тогда же, в 1962 году кончилась «молодежная литература», «4-е поколение» со «Звездным билетом» и пр. Появление Солженицына быстро уничтожило их легкий и скорый успех — сейчас они кажутся эпигонами самих себя, их никто не принимает всерьез.

Вот последствия выхода XI номера «Нового мира» 1962 г. Начала было подниматься новая и сильная литературная волна, но дадут ли ей подняться в рост или погасят давно испытанными гасильниками? Конечно, можно попробовать скомпрометировать Солженицына, даже не дать возможности ему печататься, но движение литературы во взятом им направлении остановить, пожалуй, нельзя.

Журнал будто ждал появления Солженицына, и когда он явился — этим было оправдано все — теории, декларации, компромиссы — и под будущие векселя мы получили золотое обеспечение. Надо об этом самому вспоминать и напоминать другим. А то как бы не растранжирить основной капитал, живя с него процентами. Очень тревожит меня история с повестью Александра Исаевича.

<...>

16.VIII.1966

Все случилось, как и ждал. Когда пришел с утра к Заксу, он говорил по телефону с Эмилией[1]. «Плохо дело», — сказал он, повесив трубку. Статья остановлена[2]. Эмилия показала ее Аветисяну, они все утро совещались и решили — остановить. Довод: опять полемика вокруг Семина, Солженицына, споры о «правде» и т. п.

[1] Эмилия Алексеевна Проскурнина, работник Главлита, цензор журнала. Аветисян С. П. — заместитель начальника Главлита.

[2] Речь идет о статье «Писатель, читатель, критик. Статья вторая», где разбирались рассказ А. Солженицына «Матренин двор» и повесть В. Семина «Семеро в одном доме».

25.VIII.1966

Зашли к Игорю Виноградову посмотреть и «обмыть» новую его квартиру на М. Грузинской — еще пустую, незаселенную. Сам собой возник разговор о Солженицыне. Эта история сидит в Трифоныче занозой, и он, мне показалось, надеется, что Александр Исаевич первый найдет путь к желанному и для него примирению. Сегодня он повторил те слова, что я говорил ему несколько дней назад, что без Солженицына не было бы не только Залыгина «На Иртыше», но и последней вещи Айтматова.

30.IX.1966

По словам Черной, Копелев заявил Беллю, что «поссорился» с Твардовским из-за Солженицына. Экое ничтожество — это он-то поссорился, кого на порог едва пускают. Оказалось, когда Белль сидел у нас, Копелев два часа ожидал его в машине внизу. Труслив, как заяц, шкодлив, как кошка.

5.X.1966 — письмо Солженицына.

8.X.1966

Получил очень благожелательное, лестное и обдуманное письмо от Солженицына, но «о водке ни пол-слова». А между тем 25-го в ЦДЛ обсуждение забранной у нас повести. И тоже тут все не просто.

Получил извещение из Союза — обсуждение Солженицына переносится — думаю, что на неопределенный срок.

17.X.1966

Неожиданный звонок от Дэви Стуруа. Разыскивает меня, хочет встретиться. «На нейтр. почве». Ситуация беседы Раскольникова с Порфирием Петровичем.

18.X.1966

Встретились с Дэви у памятника Пушкину, пошли в «Будапешт» и просидели 6 часов, разговаривая и споря о Сталине, Хрущеве, «Новом мире», войне, хунвейбинах и

тысяче других вещей. Разговор товарищеский, но как с иностранным гостем. Я понял и узнал кое-что существенное. О Солженицыне, его пьесе. О Твардовском. О Симонове. Обо мне — перечисляю только темы, подробно записывать некогда. Логики нет, но есть своя небольшая оборонительная система взглядов и упорство в ее проведении. Впрочем, он охотно соглашается, что на совещании «перебрал». Демичев, видимо, его поправил. Шел разговор и обо мне. «Тебя очень хвалят и враги и друзья. О тебе очень хорошо говорят на самом верху. Я так рад за тебя». Как это понимать? Как понимать саму эту встречу через 12 лет? Я сказал ему: «Мне было бы приятно, если бы ты называл себя ленинцем, а не сталинистом».

17.XI.1966

Опять мрачные слухи, вести предположения.

<...>

Вчера проходило обсуждение «Ракового корпуса» в Союзе. Я не пошел сознательно и — правильно сделал. Говорят, обсуждение было удачным. Солженицын держался очень хорошо, но объявил, что он «не сошелся с „Новым миром“ в этой вещи». Ах, А. И., А. И.! При таком уме и такие глупости! Все это принято, как открытая демонстрация разрыва.

(Далее следуют записи на отдельных листках, вложенных в дневник).

18.XI.1966

А. Т. вернулся от Федина. Тот был 3 часа на приеме у Демичева. Говорил, что вопрос о журнале стоит очень остро. Надо что-то решать.

Вечером мы с Алешей (Кондратович — *С. К.-Л.*) поехали к Караганову, который подробно пересказал по записи речь Демичева, произнесенную им утром на московском активе. И многие невнятные места в пересказе Трифонычем речи Федина — прояснились. Демичев говорил, что в «Но-

вом мире» очевидна политическая линия; что Кардин издевается над подвигами, Быков рисует оперативника хуже, чем фашисты. О Твардовском повторил — что если журнал не сделает выводов из критики — будут приняты оргмеры. О Солженицыне, что его разрешили якобы вопреки мнению ЦК. «То ли Твардовский сумел уговорить Хрущева, то ли Хрущев с Микояном вдвоем это решили, как они многие дела решали вдвоем...» То же — о «Теркине на том свете», обнародованном в Пицунде.

Демичев внятно сказал, что недавнее Политбюро подтвердило еще более жесткий курс, чем идеологическое совещание, и как бы само его выступление было поправкой к речи на совещании.

«Сознательно или бессознательно печатают вредные, ошибочные произведения? Кое-кто бессознательно, а кое-кто и сознательно... „Новый мир“ хочет продолжить критику культа личности, „Октябрь“ — ее перечеркнуть. Но мы никому не позволим быть ни правее, ни левее партии».

17.I.1967

С утра вызвал Голанов[1], но когда я пришел, оказалось, что забыли выписать мне пропуск. Я пошел гулять. Во дворе только что отстроенной гостиницы «Россия» — костер. Жгут ящики, строительный мусор. Возвратился — пропуска нет. Позвонил Черноуцану. «Когда зовут гостей, хозяева не уходят». Он извинился, и тут же я был принят трио: Беляев, Голанов, Черноуцан. Я начал с разговора о Дементьеве[2], потом на вопрос, как мы будем жить, ответил — «готовы к смерти и к бессмертной славе». Они очень беспокоились о настроении Александра Трифоновича. О Солженицыне много говорили, что будто он писатель с антисоциальными тенденциями, и это в последних романах проявилось, а я его зачем-то «яростно защищаю». Я отвечал, что если они хотят погубить Солженицына, то лучше пути нет, чем та атмосфера травли, в которой он жи-

[1] Инструктор ЦК КПСС.

[2] В декабре 1966 г. из редколлегии журнала были выведены А. Г. Дементьев и Б. Г. Закс.

вет, даже сборник рассказов не издан. Вспоминал Толстого, Достоевского и отношение к ним Ленина.

<…>

16.II.1967

<…>

Сегодня Вероника принесла 2-ю часть Солженицына с запиской Трифонычу. Рассказ, как живет Александр Исаевич в уединении за Рязанью, скрываясь ото всех. Много работает. Ездит с рюкзаком за плечами на велосипеде за провизией. Мне дали прочесть куски его большой работы. «Архипелаг Гулаг», ту главу, где говорится о придурках. Письмо к Брежневу, на которое нет ответа, ходит в списках.

15.III.1967

Секретариат «О работе Нового мира»… Чаковский сказал, что ошибкой Твардовского не было опубликование повести Солженицына, но такой ошибкой было опубликование статьи Лакшина.

24.V.1967

Утром приходил Штейн, просил подписать письмо в поддержку солженицынскому «Письму съезду». Я отказался, потому что знаю, что не имею права делать этого из-за журнала. Но настроение было поганое, и лишь немного поправилось, когда я рассказал об этом В. Быкову, и он решительно одобрил меня. Сам он подписал письмо с призывом рассмотреть обращение Солженицына, где кажется, 80 подписей. Ко мне подходил Евтушенко и показал свой протест. «Я только что из Португалии, но никак не могу привыкнуть, как будто не пересекал границы…»

26.V.1967

Утром в президиуме появился А. Т. Хорошо выступила Кетлинская, которая назвала имя Солженицына, сказала о дневниках Симонова и «притормаживании», которое было в последние 1 – 1 ½ года.

Овация длилась минуты 3.

В перерыве мы столкнулись с А. Т., пошли погулять по саду в Кремле. Он ясен, красив, как молодой бог, бритый, в новом коричневом костюме. Рассказал, что Демичев встретил его необыкновенно ласково, благодарил, что он появился на съезде. Трифоныч, извиняясь, сказал ему, что «ослабел», не вынес психологической бомбежки последних месяцев. «Ничего, Александр Трифонович, зато любовь народа всегда с вами». «Может и так...» «А ведь это самое главное...» Такие вот странные разговоры, как с Порфирием Петровичем.

Передают слова Солженицына: «Я знаю, что меня убьют — посадить не посадят, а просто убьют». Хотелось бы, чтобы это была только мнительность, но из этого видно состояние его.

31.V.1967

Был А. Т. и очень вяло отозвался на мои домогательства по поводу Бека, Солженицына и проч. В понедельник был секретариат по поводу Солженицына, но А. Т. даже не поехал (правда, повестки дня он не знал). Во всем чувствуется у него усталость, надломленность даже сказал бы я, если бы не надеялся, что это случайное, временное впечатление. Ему смерть как хочется вползать в новые неприятности — а без этого не проживешь.

9.VI.1967

Трифоныч говорит, что очень озабочен Солженицыным и уговаривает Секретариат поступить разумно — не давать коммюнике, вроде того что было когда-то о Пастернаке, а напротив — отвести от Солженицына клевету, дать напечатать его «Раковый корпус» и т. д. Федин идет на это крайне туго, а без участия этой «руины» — и думать нечего повернуть дело. Трифоныч звонил Александру Исаевичу, просил приехать, но тот уже собрался в Рязань, взял билет и проч., — и встреча отложена до понедельника.

10.VI.1967

Отвратительный день. Я попробовал подготовить почву для встречи Трифоныча с Солженицыным и позвал для это-

го Ю. Ш. (Юрий Штейн. — *С. К.-Л.*) Просил его поговорить с Александром Исаевичем, чтобы тот не «залуплялся» в разговоре с Александром Трифоновичем, чтобы был немного смиреннее. Но Штейн взвинчен, криклив, ни о чем не хочет слушать, во всем видит позорную «сделку», и это, конечно, отражает настроение самого Александра Исаевича.

Видно, компромисс тут невозможен, он решил идти до конца. Но не будет ли это сущей глупостью — я могу понять состояние Александра Исаевича, но люди, его окружающие, кажется, ведут себя безответственно.

Вопрос публикации «Ракового корпуса» сейчас вопрос жизни и нашего журнала, и всей литературы. Хотя бы частичная реабилитация Солженицына во многом переменила бы всю обстановку. Кроме того, нельзя не бояться и за саму жизнь Александра Исаевича — в случае если он будет признан отщепенцем. Без всякой фразы я должен сказать, что это один из самых драматических моментов нашей литературной и общественной истории. Нельзя не сочувствовать безрасчетной прямоте, честности, совести, но я не хотел бы оказаться среди тех людей, что ведут Солженицына на костер, хотя бы он сам говорил о своем решении принять мученическую смерть. Такого рода самопожертвование редко вело к добру в нашей истории. Он хочет вести себя как кавторанг, а не как Иван Денисович.

Конечно, Александр Трифонович тоже многое напутал, наговорил сгоряча — и положение его сейчас не вполне ловкое. Но тем более я отчетливо вижу, что ничего путного из этой встречи не выйдет, и вообще не жду добра. Впрочем, дай бог, если я ошибаюсь.

12.VI.1967

Камень с души! Кажется, дело поправляется и все не так мрачно и скверно, как я думал, побеседовав с глупокрикливым Ю. Ш. (Юрий Штейн. — *С. К.-Л.*) Когда пришел сегодня в редакцию — С. Х. (Софья Ханановна. — *С. К.-Л.*) сказала, что Солженицын долго сидел у Александра Трифоновича и уехал с ним в Союз. После 4-х А. Т. пришел ко мне в комнату, а я настолько не ждал ничего хорошего, что ска-

зал ему: «Ну, вам, должно быть, пришлось сегодня испить чашу?..» На что он, сдерживая улыбку, ответил: «Представьте, все так пока хорошо складывается, что боюсь верить. Должно быть, они получили «разъяснения» — иначе нельзя понять Маркова». Ведь когда я к ним приехал на другой день после Ш. (Шауры. — *С. К.-Л.*), Воронков говорил, что секретариат заседает беспрерывно, но выхода найти не могут. Кричали даже: «Надо ответить ударом на удар».

Сегодня же, рассказал А. Т., все были смирны, любезны и предупредительны с Солженицыным. А он сам оказался на высоте: не задирался, сказал лишь, что у него не было иного выхода. Ведь он обращался по всем адресам — и не получал в ответ даже уведомления, что письмо дошло. «Но зачем было распространять столько копий?» «Да, ведь я понимал, что пошли я одно письмо — и оно ляжет, как все предыдущие».

Видимо, для него имеет большое значение его гражданская реабилитация, а то в Иркутске, по его словам, официально говорили уже, что он был полицаем и т. п. Коммюнике ССП обрубило бы ноги этой лжи.

Трифоныч предложил немедля напечатать кусок из «Ракового корпуса» в «Лит. газ.» со сноской — «полностью печатается в «Новом мире». — Но «Лит. газета» не успеет набрать до среды, — возразил кто-то. — Тогда в этой жалкой российской газетенке... — Осторожнее, осторожнее, — вскричал Соболев. — Ну, там можно напечатать сноску, что полностью печатается в таком жалком, захудалом журнале «Новый мир», — пошел на мировую А. Т.

Поскольку принимали их и поили чаем с конфетами не светочи разума — а те же Марков, Воронков, Соболев, Сартаков — дело, видимо, предрешено, так, во всяком случае думает А. Т.

Солженицын держался очень выдержанно, разумно. Если мои советы сыграли тут какую-то роль, то я счастлив. Во всяком случае, А. Т. говорил о нем, как о блудном, но любимом сыне, вернувшемся в отчий дом. Все недоразумения здесь так сильны и болезненны именно потому, что А. Т. любит Солженицына и знает ему цену.

Софье Ханановне велено перекатать на машинке предпоследнюю главу из «Ракового корпуса» — в ожидании дальнейших событий.

Я расспрашивал Трифоныча особо о поведении Солженицына. «Молодец», — говорит А. Т. «Он мне сам сказал, что вовсе не для Запада писал письмо, что «западничество» ему вообще чуждо. Но что делать ему, полностью бесправному человеку?» Конец коммюнике, где осуждается сама форма обращения, — принял с юмором. «Да я ему говорил: «Александр Исаевич, брань на вороту не виснет».

Соболев, Сартаков на секретариате притворно возмущались: «Неужели вас так порочили? Почему мы прежде об этом не знали?»

Трифоныч им сказал: «Но ведь сколько раз за этим столом я поднимал все эти вопросы о Главлите, и о судьбе Солженицына, и все молчали. Но не будем ворошить прошлое. Давайте искать выход из положения».

Да, конечно, еще не сделано. Проект коммюнике с поправками Федина (бессмысленными и трусливыми, как обычно) пойдет в «директивные органы».

Решить в противоположную сторону уже не смогут (собирать писателей, клеймить Солженицына на митингах, исключать его из Союза). Но кто знает — может быть, попытаются опять замолчать, сделать вид, что ничего не случилось.

В любом случае, я рад примирению А. Т. с Солженицыным, и рад, что он не поддался истерии «аэропортовской» публики, мечтающей, чтобы он «пострадал» за них, а они бы нашли повод поорать и покрасоваться.

Трифоныч уехал до четверга — посмотрим, что будет! Я забыл записать, что еще в прошлую пятницу А. Т. звонил при мне Шауре и говорил, что мы намерены набирать Бека. Тот отсоветовал: «Отложите, чтобы не испортить дело». Опять оттяжка решения. Но если бы решили с Солженицыным, то, конечно, и остальное бы стронулось.

15.VI.1967

Ждем-пождем, солженицынское дело ни с места.

3.VII.1967

О Солженицыне — худые вести. Трифоныч звонил Воронкову, но тот не снял трубки, сославшись на депутатский прием — Трифоныч выругался с досады. Говорят, в пятницу был Секретариат и решено, чтобы члены Секретариата СП лично познакомились со всем, написанным Солженицыным, а тогда решали.

Говорят, что через 2 недели «Раковый корпус» появится в Италии. Таким образом — дело кажется мне теперь безнадежным.

4.VII.1967

С утра был Солженицын. Оказывается, велено секретариату Союза ознакомиться со всем написанным Солженицыным и тогда принять решение. Запросили из редакции «Раковый корпус».

А. Т. уговорил Солженицына внести две поправки, прежде чем отправлять рукопись, — иначе название будет принято как символическое.

22.VIII.1967

Послали в отдел наш проспект на будущий год. Его задержали немедля. Как быть? — спросил Трифоныч у Шауры. — Если выбросить имена Бека, Симонова, Солженицына, которых мы прежде объявляли, все поймут, что они запрещены. — Выходите вообще без проспекта. — Да, но ведь это тоже выделяет «Новый мир». Все журналы объявляют перед подпиской о своих планах — «Новый мир» — молчит. — Пожалуй, — соглашается Шаура, — но я сейчас уезжаю на длительный срок (т. е. в отпуск) и это вы согласуйте в отделе».

Трифоныч решил втянуть в это дело секретариат Союза, послал туда от нас бумагу. Говорит: хотите меня судите, но если не дадут печатать проспект, я уйду.

27.VIII.1967

Заходил в редакцию Солженицын — бодрый и нервный. Волновался по поводу списания старого договора и заключе-

ния нового — на «Раковый корпус». Видно сидит без денег, но главное, как он мне разъяснил, надеется подтолкнуть решение. Наивно.

Старый договор на другой же день списали, а относительно нового Трифоныч пока жмется: «Это ушло от нас. Я говорил — прежде надо было подписывать». Но я думаю, к этому можно вернуться недели через полторы.

17.IX.1967

Трифоныч ходил на секретариат по поводу второго письма Солженицына и вернулся довольный собою. Выдержал, не бросал реплик — и высказался в конце с определенностью. Сурков юлит. Шолохов прислал похабное письмо — «Солженицын или сумасшедший или опасный маньяк». Трифоныч отвечал на это: не будем принимать эти слова в расчет: в нормальности каждого из нас легко усомниться, в том числе и Михаила Александровича. Бесился Михалков, но хуже всех был опять Чаковский. Трифоныч настаивал на том, что единственный выход из положения есть коммюнике, которое сочинено прежде, и немедленное печатание в «Лит. газете» отрывка из «Ракового корпуса» со ссылками на «Новый мир». На заседании был Мелентьев, который все записал и будет, конечно, докладывать.

Главное, что инкриминируют Солженицыну, — старая пьеса «Пир победителей», от которой он безуспешно пытается отказываться, но ему снова и снова суют ее под нос. Решено провести официальное заседание Секретариата с обсуждением письма Солженицына в его присутствии — 22-го. Воронков затребовал все материалы нашего обсуждения «Ракового корпуса».

18.IX.1967

Трифоныч позвал меня для беседы с Солженицыным: — Поговорить с ним, чтобы не брыкался и вел себя поумнее 22-го. Главное — вывести из обсуждения злосчастную пьесу и соблюдать возможную корректность.

Солженицын не найдет, как себя вести, — то он впадает в гордыню и хочет поступать только так, как было бы дос-

тойно под прямым взглядом потомства, то все-таки спускается на грешную землю реальных расчетов. Трифоныч проповедовал ему смиренномудрие. «Вы не бойтесь, что я взорвусь. У меня большая выдержка. Я могу взорваться только по плану».

Расчет — и почти всегда иллюзорный, ложный — самая слабая его сторона. Он с напряжением продумывал линию своего поведения на Секретариате и, пытаясь уловить, что мы ему втолковывали, мучительно напрягался, поднимая глаза кверху и страдальчески поводил белками, как петух.

Шансов на успех мало, но надо вести дело до конца. Призывая его к благоразумию, Трифоныч и я говорили ему, что за судьбой его книги сейчас стоит и судьба и журнала и литературы в целом. Это как будто удивило его. «Что бы со мной ни было, но вы-то должны существовать. Если бы вы стали публично бранить меня — то и то бы я на вас не обиделся». «Вы слишком худо о нас думаете», — ответил А. Т. — в известных условиях журнал становится бессмысленным и все мы уходим».

Солженицын показал мне письмо, где говорится о том, что «Ивана Денисовича» изымают потихоньку из библиотек.

22.IX.1967

Ждали до седьмого часа А. Т. — с Секретариата. Он вернулся усталый, но без уныния, хотя ничего хорошего не произошло! Впрочем, произошло хорошее.

Солженицын держался отлично — Трифоныч глаза жмурил от удовольствия, вспоминая, как удачно он отвечал своим оппонентам. Его заставляли писать отповедь буржуазным газетам, использовавшим его письмо. «А тогда и мы пойдем вам навстречу».

«Помирать-то будем, Константин Александрович», — сказал А. Т. Федину. А тому — нипочем.

Не буду записывать подробнее — велась стенограмма — и Трифоныч, верно, запишет.

Заезжал А. Т. за деньгами — ему понадобились 200 р., а сберкасса закрыта. По дороге разговор о Секретариате.

Он говорит, что два дня подробнейшим образом записывал все в дневник. «Журнал, кажется, идет к концу, и я не хотел оборвать его летопись, которую я давно веду». Послал письмо Солженицыну — «хотелось поддержать его и сказать, что мы заключаем с ним договор!» Наконец-то!

Сурков о Солженицыне: «А ведь он полемист блистательный!» «Человек тонет, а ему говорят — прежде чем мы начнем тебя спасать, ты опровергни то, что говорят на другом берегу — будто мы спасать тебя не хотим».

Кербабаев на Секретариате — «Откажись от „Раковой крепости“ и я обниму тебя как брата».

Корнейчук — «мы тоже страдали, боролись за мир, выезжали в другие страны».

Трифоныча восхитило, как Солженицын отвел подозрения в аллегоричности романа: «Для аллегории — это слишком подробно»

27.X.1967

Трифоныч был у Шауры, и из свидания ничего не вышло. С проспектом — все на том же месте. Был такой момент в разговоре: Шаура сказал — «вот Солженицына общественность подняла, напечатали «Один день», а он чем ответил? Написал пьесу «Пир победителей». Твардовский не выдержал: «Ведь вы лжете, В. Ф., и отлично знаете, что лжете. Пьеса написана в лагере». На это смешок, и Шаура даже не обижен, просто переходит на другое. «К нему я больше не пойду», — говорит А. Т. «Я не стану отвечать вам оскорблением на оскорбление».

10.XI.1967

У нас были Светов и Ильина.

Ильина рассказывала со всеми подробностями про мальчиков с Пушкинской площади.

Корней Чуковский восхищался выдержкой Солженицына на Секретариате в Союзе. «Я бы через полчаса вскричал — виноват, православные, вяжите меня».

17.XI.1967

Из издательства — наглое письмо Конюховой с отказом издать мой сборник.

Сегодня был Солженицын. Ищет А. Т. Хочет предложить напечатать хотя бы несколько глав, чтобы предупредить появление за границей.

Хвалил статью в 8-м номере. «Не ожидал, что можно так ясно рассказать об этом читателю — чтобы все поняли. И потом — смачно написано».

24.XI.1967

Ездили с Александром Исаевичем в Пахру. А. Т. — слаб, но в разуме. «Что-нибудь случилось?» «А я вот хвораю...»

Исаич предлагал — послать в цензуру, пусть запретят. Трифоныч отвечал: «Не умею ездить в трамвае без билета — лучше пешком пойду». И второй мотив — «жалко детушек — Лакшина, Хитрова...»

Я рассказал о посещении Мишей Мелентьева.

«24 писателя говорят ему — пусть делает первый шаг — и мы пойдем навстречу. Пусть пеняет на себя». Исаич отвергает всякую попытку вынудить у него письмо со стыдными словами, быть может, он и прав.

«Сами придут, и сами все дадут» — как говорится в «Мастере».

По дороге мы много говорили в машине. О Булгакове. «Ему повезло. Он вышел во время. Пройди еще 2–3 года — и он оказался бы заслонен другими вещами, другими именами».

С удивлением я убедился, что Александр Исаевич ведет теперь куда более светский образ жизни: пьет и курит, обедает всякий раз в новом месте — как «кузен Понс», а вчера гулял у Растроповича. Но быстро устает от Москвы и мечтает скорей вернуться в свою рабочую берлогу где-то в Солочах. Рассказывал, как работает там: ходит на лыжах (готовит

сейчас ему хозяйка, а прежде — сам), гуляет по лесу с книгой — и медленно читает на ходу, делая отметки цветными карандашами. Хвалился, что очень хорошо там работается. Непрерывность мыслей — и откуда что берется. «Чищу картошку — и хлоп! — что-то приходит в голову, как лифт — мысли подает одна за другой». Формировка сюжета.

Сейчас пишет повесть — «Август 1914» — о самсоновской катастрофе. Первая часть — как самостоятельная повесть — большой вещи с одними главными героями, но через большие промежутки времени — один месяц в году. И так до 1931.

Эту работу, оказывается, он задумал еще в 1936 г. — и тогда много читал о начале мировой войны, знал карты, диспозиции, приготовил бездну материалов. И потом — надо же такой случай — с армией прошел все эти места. До смешного тот же маршрут — местечки, деревеньки, названия которых были знакомы. «Бывало, пошлют с батареей — горит такая-то деревня. Узнаем — точно, я это помню, знаю по описаниям 14-го года».

Для «эссе» своих нашел, наконец, название «Крохотки». Одна опубликована проф. Платоновым в книге по психологии, без имени автора. Чудны дела твои, господи.

Александр Исаевич рассказывал, как читал главы из «Ракового корпуса» на вечере в Институте языка. 3½ часа записывали на ленту. Кажется, им уже и влетело за это.

В новой вещи ищет новую форму. Рассказывал о «сценарных» главах. «Я вообще хочу закрепить за собой новую сценарную форму».

«В Терéке, когда обжился, решил купить кухонный столик. Устроила мать ученика, работавшая в магазине. Пришел, заплатил деньги — и хотел взвалить столик на плечи. А магазинщица говорит: «А где же ваш человек?» Она представить не могла, чтобы учитель сам тащил стол по улице. Я сразу упал в ее глазах».

Исаич внушал мне и Трифонычу: Ваше положение прочно, как никогда. Издали это очевидно. Вам, может быть, нужнее печатание «Ракового корпуса», чем мне. Я — спокоен.

Во время войны были такие налеты. Страшная бомбежка, кажется вся земля изрыта взрывами, живого места нет. А улетят — люди начнут подыматься, отряхиваться — и все целы. Так и «Новый мир».

Рассказывал о неприятностях В. В. Жданова из-за 4 т. энциклопедии, начатой с меня. И говорит Солженицыну: — «вот как все жестоко получается, хотя Владимир Яковлевич — младенец, а главный бес — Вы».

На обратном пути заехали с Александром Исаевичем в редакцию. Договорились, что вернемся к обсуждению печатания «Ракового корпуса», как Трифоныч поправится. А пока — приготовили как бы для набора — 8 глав. Место о ленинградской блокаде он смягчил.

Расцеловались на прощанье. Он сказал, что уезжает в деревню до марта, и без крайней нужды в Москве не будет.

7.XII.1967

На этих днях был студент — норвежец, которого я шуганул. Все зарятся на «Раковый корпус».

11.XII.1967

Происходит нечто странное. Утром вызвали Алешу. Сняли из 11 № анкету Адамовича, но с оговоркой: «Только не думайте, что из-за упоминания Солженицына, можете его вставить в любое другое место». (Мы тут же это и сделали — его называет теперь Быков).

А. Т. приехал в Москву, но сидит дома, в редакцию появиться не решается. Мы поехали к нему домой условиться о выдвижении Залыгина на премию и т. п. Перед самым выходом из редакции — звонок Воронкова. «Что с Солженицыным? Есть ли договор? Хорошо. Ему ведь *кусать надо*. Готова ли рукопись? и т. п.

Трифоныч слаб, но уже ясен, и встрепенулся, когда узнал, что какие-то ветры завихрились вокруг романа Александра Исаевича. «Нет, братцы, это что-то значит. Я в такие совпадения и наития Воронкова не верю».

Вероятно, так. Но я напомнил ему древний текст: «Не надейтесь на князи и сыны человеческие».

12.XII.1967

Трифоныч не приехал. А у нас важные вести. В 8 вечера, когда Алеша вернулся домой, ему опять звонил Воронков. Сказал, что не мог днем продолжать разговор, так как кто-то зашел в кабинет. Снова и настойчиво справлялся о положении рукописи, о том, сделана ли правка, и какая. Алеша отвечал, что рукопись готова, что есть еще необходимость работы с автором по частностям, но не хочется его беспокоить, пока вопрос о печатании в тумане. А цензура пропустит, как вы думаете? — спрашивал Воронков. Алеша сказал ему, что у Секретариата есть прекрасная возможность — дать вопрос о печатании «на усмотрение редакции». Это все, что нам сейчас нужно. А уж в цензуре можно будет похлопотать совместно.

Между прочим, Воронков сказал, что и книгу де Солженицына надо издать в «Советском писателе» («я звонил Лесючевскому, чего они тянут»).

Нет, решительно тут что-то есть. Не таков Воронков, чтобы придумать все это от себя. Да и не стал бы он звонить с извинениями Кондратовичу домой после работы. Значит, есть даже какая-то срочность.

Настроения эти, правда, легко могут угаснуть. И главное нам — не медлить. Думаю, и говорил Алеше, надо на свой риск быстрее засылать 8 готовых глав в набор. Вчера было рано, завтра может быть поздно. Дверь приоткрывается, и надо успеть поставить ногу, втиснуться, не теряя времени.

14.XII.1967

Наконец, Трифоныч с дачи созвонился с Воронковым. Надежды подтверждаются, и даже более — как будто отсох-

ло требование объяснительного письма. Солженицын не отвечает на вызовы Воронкова — и Трифоныч сам послал ему телеграмму с просьбой приехать.

Его разыскивают с трудом, и я опасаюсь, что он будет недоволен. А вдруг — все это ерунда, и его зря выманят из берлоги? Что же все-таки произошло? Откуда такая резвость у Воронкова? Или это отголоски каких-то международных событий, подготовки к совещанию в феврале?

18.XII.1967

Приехал Солженицын, хмурый, раздосадованный вызовом. «Я бы не поехал, если бы не ваша телеграмма. Думаю, что все это зря». Я не верю, что Воронков зовет за делом».

Трифоныч вдруг взъярился: это барство, мы за вас волнуемся, а вы вот как...

Я пытался утихомирить — и того и другого, говорил, что можно понять Александра Исаевича, которого оторвали от работы, но и вы, Александр Исаевич, должны понять, что тут важный случай, дело сдвинулось и нельзя терять ни минуты. И обещанная Воронковым книжка, и печатание «Корпуса» — все это слишком важно, чтобы от этого отмахиваться.

Когда Солженицын, немного поуспокоившись, вышел, А. Т. сказал с досадой: «Ну, хорош...» А потом — «Впрочем, не таковы ли и все наши большие писатели — каждый на чем-то с ума сходит». «Бог с ним, будем думать, что это мы не о нем, а о себе, о журнальном интересе хлопочем». Я обрадовался и постарался еще утвердить его в этой здравой мысли.

Исаич, похоже, побаивается на всем свете только одного Трифоныча. Сегодня он много курил, нервничал, потом звонил в Гослит, чтобы забрать там рукопись книги и передать ее Лесючевскому. Давай бог!

19.XII.1967

Трифоныч возил Солженицына на Секретариат. Там были с нежными увещеваниями и новыми обещаниями Воронков и бухгалтер Сартаков.

Трифоныч ворчал добродушно на Солженицына, сетуя на его неуступчивость (Воронков умолял хотя бы о самом слабеньком письмеце, хотя бы не для печати) – но Александр Исаевич стоял на своем. «Вот квасец... Ну поди же, плесни ему под зад кипятку...» — ворчал Трифоныч, но беззлобно и даже с удовольствием.

Солженицын сегодня в отличном настроении, в каком-то подъеме. Я сидел в кабинете Трифоныча, когда отворилась дверь и влетела его борода, а потом уже появился он сам. Когда он в хорошем настроении, я давно это приметил, он не ходит, а летает.

Трифоныч придумал написать предисловие к сборнику рассказов Солженицына, где рассказать и его биографию. Он попросил Александра Исаевича набросать ему канву. И тут же извлек свои резоны: «Потому-то он такой и упрямый, что родился после смерти отца — некому было его драть в детстве».

О Секретариате Трифоныч сказал: «Мы говорили там неотразимо, умно, логично, но как бы мы там ни говорили, это в конце концов все равно не отразилось бы на результате. Все заранее запрограммировано». Солженицын согласился дать интервью «Лит.газете» после публикации «Ракового корпуса». Мелкий бухгалтер Сартаков вдруг усомнился: а вы не откажетесь от своих слов, когда вас напечатают? Жалкая лавочная торговля.

Трифоныч ввернул там, кстати, словцо и о моем сборнике. Но тот не отозвался, сделал безучастное лицо.

Сегодня подписали в набор 8 глав. Солженицын настаивал на оглавлении, но его как-то уговорили.

21.XII.1967

По чтению (?) Кондратовича — просмотрели текст «Ракового корпуса» — некоторые его замечания отвели заранее, а другие Солженицын согласился подумать. Все — мелочи, которые он может сделать за вечер.

25.XII.1967

В субботу Твардовского вызывал Воронков — дело с Солженицыным стопорится. Просил уговорить Солженицына на любую форму оправдательного письма — для Секретариата. Трифоныч раздраженно говорит: «Теперь его надо уламывать... Я сам готов за него написать».

Вызвали Кондратовича — к Беляеву. Сначала незначащий разговор. Потом пришли к главному. «Вы нас так подвели. Зачем поторопились набрать?»

Воронкову звонили из Комитета по печати — и из другого Комитета — интересуются.

Грачев уже укоряет А. Т. — ему звонили, зачем дал указание набирать.

Похоже, что идея печатания «Ракового корпуса» прожила не долее Великаиского с пересаженным сердцем.

28.XII.1967

Солженицыну Трифоныч дал телеграмму. Тот не едет. Приходит Штейн, выспрашивает — зачем? Наконец, получается известие, что он не может сесть на поезд. Перед праздником вся Рязань едет в Москву. Спрашивает — можно ли ему отложить до января приезд.

Трифоныч каждый день является в редакцию, заметно нервничает — и накаляется против Александра Исаевича. Мое осторожное заступничество не имеет успеха, раздражает Трифоныча.

3.I.1968

<...>

Была Наталья Алексеевна, привезла письмо, где Солженицын строит догадки, ради чего его зовут — и довольно проницательно! Н. А. понравилась, по-моему, Александру Трифоновичу, она умно вела себя и переломила настроение Трифоныча тем, что сказала: это здесь, в Москве, Александр Исаевич такой бодрый, в подъеме, а приезжает домой — отчаявшийся, усталый, опустошенный.

4.I.1968

Федин позвал Трифоныча на Секретариат. Трифонычу пришло в голову — что он не может уговаривать Солженицына писать письмо, проклинающее его «доброжелателей» — ну, ладно, враги, а с друзьями как? Это изменило весь ход его рассуждений.

Все сошлось на Федине: «Он хочет поставить нас на колени. Организация имеет свои права — он бросает нам вызов» — кричал Константин Александрович. Соображения амбиции и, горько сказать, зависти, все заслонили в старике. Воронков и Марков молчали.

Трифоныч пытался усовестить Федина: «Имейте ввиду, Константин Александрович, вы берете на себя большую ответственность. Товарищи согласились бы с Вами, если бы Вы сказали: «роман мне не нравится, но это дело литературное, я ему не враг».

«Вы знаете, что в истории литературы нет случая, чтобы талантливое произведение было запрещено и не пробилось. Если запретят Солженицына, и Союз писателей и все мы будем дальше погружаться во мрак.

В затылок ему стоят Бек, Драбкина, Симонов и проч. Надо, чтобы прошла эта пробка. Но если Солженицын не выйдет, завтра будут запрещать самые невинные вещи».

Трифоныч привел образный пример: человек тонет и кричит о помощи. На берегу стоят люди из его деревни, а на другом берегу — подошли из другой. На том берегу кричат — хватай конец, мы тебя спасем. А на этом: отрекись от них. Скажи, что их помощь не нужна, тогда мы тебе поможем. А тонущий захлебывается, пузыри пускает...

«Ну, в конце концов, если вы уверены, что Солженицын враг, сделайте, как с Пастернаком — открыто выступите в газетах, созовите собрание писателей». «Это — нельзя...» — отвечал Федин.

Трифоныч устал, но доволен собой. Исключив ложные решения, он как-то сразу успокоился, стал в миру со своей совестью. Он отказался брать на себя обязательства уговаривать Солженицына, и оттого пришел в ровное, уверенное состояние.

«Я горжусь, что мы сдали роман в набор. Это факт моей биографии. Можете меня наказать, дать выговор, я буду с удовольствием носить его. Главное, мы пытались напечатать „Р. К." («Раковый корпус» — *С. К.-Л.*), нам не дали этого сделать».

15.I.1968

Звонил ему Крюков, и говорил, что держат 5-й том, просят снять упоминания о Хрущеве и Солженицыне. «Я снимать не буду, пусть объясняются с подписчиками».

18.I.1968

Был Солженицын. Рад письму А. Т. Рассказал я ему о книжке Гришина.

29.I.1968

Говорят, что Федин ходил к Брежневу и *от себя* излагал ему основные пункты письма Трифоныча.

Говорил о цензуре и о неотложности решения с Солженицыным, которого не сегодня-завтра издадут на Западе. На столе у Брежнева лежала верстка «Дневника» Симонова. Беседовали 3 часа — «будем решать эти вопросы».

10.II.1968

Не вянет ли понемногу наш «Новый мир»? Трифоныч потерял значительную часть своего интереса к журналу. Алеша — очень плох. Что-то дурное творится у него с головой, да и начал попивать. А главное, инерция. Запрещенные вещи, и Солженицын в первую голову, как-то захрясли. Материала много, даже слишком, а печатать в общем-то нечего. Может быть, мы уже свою песню спели — и нам время уйти со сцены?

14.II.1968

Трифоныч писал письмо в Секретариат о моей книге...

Лицо озабоченное — вчера слушал по радио о декабрьском письме Солженицына. Огорчен. Неужели от него идет? Это еще больше запутывает все.

4.III.1968

Заходил Солженицын. Просил выступить о Булгакове в ЦГАЛИ. Я сказал ему о нашем смущении по поводу декабрьского письма. Он решительно опроверг: «Я не передавал — и у меня есть на то доказательства. Скопировано неточно, без указания даты и места. Да и зачем мне это нужно?

Вот если роман выйдет за рубежом, а меня начнут попрекать, тогда мне придется придать гласности всю переписку».

Я просил его написать объяснение в виде письма Александру Трифоновичу, что он тут же при мне сделал.

7.III.1968

Я передал ему (А. Т.) письмо Солженицына, он сказал с раздражением: пусть пишет это прямо в Секретариат, я не хочу быть посредником. Дал мне прочесть письмо Н. Я. Мандельштам — «вы чувствуете мандельштамовский холодок»?..

Его сомнения мне близки, но, думаю, они усугублены его разочарованием с Солженицыным, запоями и отстранением в последнее время от работы. Как никогда мало он читает журнальные рукописи и верстки.

26.III.1968

Трифоныч пришел в редакцию. Настроение неплохое. Говорил мне, что вот все кругом безрадостно, а настроение небезнадежное. «Утром думал: даже если мы катимся к концу, а все же что-то сделано за эти годы, вопреки всем — секциям, отделам...»

5-й том его собрания — пустили наконец. (У нас во 2-й книжке прошла статья о Маршаке со строками о Солженицыне).

Боже, в какой дыре мы сидим, если из-за нескольких вполне нейтральных слов о Солженицыне держат том Твардовского.

11.IV.1968

...2-я неприятность: телеграмма-провокация или мистификация? «Еще один экземпляр „Рак. Корпуса“ передан через агента госбезопасности Виктора Луи, чтобы заблокировать выход романа в „Новом мире“». Далее «Грани» извещают без всякой логики, что будут печатать роман сами. Трифоныч взволнован очень, написал тут же письмо Демичеву — советуясь с ним, не дать ли Солженицыну телеграмму с отказом и не опубликовать ли ее в «Лит. газете».

Солженицына, как всегда, не могут разыскать. Говорят, что он болен, что он уехал «в южном направлении» и прочая наивная конспирация, которая бесит Трифоныча.

12.IV.1968

Комиссия МК, которая должна была нас проверять, — исчезла. Дурной знак.

Вчера поздно вечером на дачу к Трифонычу звонил Демичев. Об ответе Солженицыну он сказал: «Это его личное дело». И еще: но почему же это, Александр Трифонович, «Грани» именно в «Новый мир» пишут?

16.IV.1968

Комиссия наглухо исчезла. № не подписывают. Мы заменили Эренбурга, сдвинув его в 5-й. Но и тут движения нет. Сомневаются во всем, даже Дорош, достаточно пресный на этот раз, их смущает.

Приехал Солженицын. Трифоныч позвал нас с Алешей для этого пренеприятного разговора. Солженицын согласился, после колебаний, послать телеграмму, но письмо в «Лит. газету» не хочет писать. Трифоныч настаивает на квалификации «Граней» как эмигрантского и т.п. органа. Солженицын глухо, но упорно сопротивлялся. Трифоныч взъярился в конце концов: «Делайте, как хотите. Я тоже писатель и тоже человек». Солженицын в какой-то момент, когда Трифоныч брызгал яростью, встал и стал

утешать его, держа за плечо: «Александр Трифонович, не надо, не горячитесь». «Что вы меня утешаете, как слабонервного... это вы слабонервный», — и все разрядилось смехом. Солженицын твердил только: «Все уже ясно. Здесь меня печатать не будут». Я не хочу быть непечатным автором».

Все вместе это — тяжко и неприятно. Солженицын показал свое письмо, где он снова обращается к 40 писателям («настоящим писателям») и передает им всю свою переписку с Союзом.

Толчок к этому — публикация глав романа в «Times». Он хочет драться до конца — и «идет на вы». Боюсь только, что сложит он на этом голову.

19.IV.1968

Утром Солженицын прислал Трифонычу письмо — раздумал посылать телеграмму. Требовал, чтобы редакция лучше выяснила обстоятельства.

Это наивно, конечно. Но Софья Ханановна позвонила на Международный телеграф — и ей не только подтвердили факт получения 09.04. телеграмму в 42 слова пренеприятного содержания, но даже сказали, что Виктор Луи — корреспондент английской газеты «Ивнинг ньюс» (может быть, я путаю название) и живет в Баковке.

Но дело, конечно, не в этом.

22.IV.1968

Солженицын возбужден. Умные глаза, венчик бороды. Напор и одержимость. Письмо в «Лит. газету». Побывал у Сырокомского и заставил расписаться, что получили его письмо. То же у Позднякова. Его план: создавать давление. Издатели будут присылать запросы ему.

Опять слухи: Твардовского сняли.

Был Исаич. Принес показать письмо в «Литературную газету», копию оставил для нас. Его принимал Сыроком-

ский, и он заставил того расписаться — что письмо-де получил тогда-то. Потом поднялся к Поздняеву — и его тоже одарил текстом.

Мысль его — может быть, удастся их прижать, чтобы ему присылали просьбы о публикации. «Лишу всех наследства». Виктор Луи – корреспондент правых газет, советский гражданин, дача в Баковке, рядом с Фурцевой.

ПОПУТНОЕ

В дневник вложена машинописная копия письма:

«Ф. Кузнецов — А. И. Солженицыну 20.04.68.

Дорогой Александр Исаевич!

С болью прочитал Ваше письмо и стенограмму <...> Чувствую свою вину перед Вами, — не написал Вам прошлый раз, когда получил Ваше письмо. Мысль изреченная есть ложь, — трудно сказать вслух на бумаге то, что думается и чувствуется. Поэтому ограничусь одним: благодарностью за Ваше мужество.

Ваш Феликс Кузнецов».

24.IV.1968

Солженицын встретил меня в коридоре и сказал: «Ответа из „Литературной газеты“ — нет. Я посылаю письмо в „Unita“».

20.V.1968

Заходил Евтушенко. Читал балладу о скопцах. Он вернулся из Латинской Америки — и пишет отчет в ЦК. Читал выдержки — в том духе, что де не видел ни одного человека из коммунистов, левой интеллигенции — от Неруды и Сикейроса до профессиональных революционеров, которые бы понимали, зачем мы затеяли процессы Синявского, Гинзбург и др.

И напротив: один пентагоновский военный комиссар говорил ему, подвыпив, что он большие деньги готов переслать тому, кто это придумал. Такой хлеб для пропаганды.

Рассказал о том, как возвращался на пароходе через океан. На борту было только два экземпляра журнала с «Раковым корпусом». И все зачитывались им. Массажист (бывший летчик) при турецких банях давал свой № на прочтение — за доллар в час. Ко мне все подходили, — говорил Евтушенко, — и жали мне руку, как представителю русской литературы.

Евтушенко, хотя и одет был по обыкновению, попугаем, больше обычного понравился мне.

Рядом с фанфаронством — и некоторая задумчивость, которую и Трифоныч подметил последний раз.

22.V.1968

Трифоныч едет в Италию. Скверно выглядит и вообще не в форме. Елена Сергеевна хотела давно придти, передать ему какие-то книги из Франции. Я позвонил ей, что Трифоныч в редакции, и она примчалась так быстро, что я подумал: не на метле ли она добиралась от Никитских ворот?

Пришла красивая, в черном весеннем пальто, шляпке с черной вуалью. Произвела переполох среди новомирских дам. Все бегали ко мне по очереди и спрашивали, сколько ей лет. Счастливица! Ведьма!!

Рассказала мне, что у нее был вестник от Солженицына. Она очень боится за него. На аэродроме недавно был задержан Страда. У него нашли какие-то бумаги (переписку с секретариатом?) Солженицына. А. И. хотел дать знать в Италию, что ни на какие секретные договоры он не пойдет, пусть издатели посылают официальные запросы в «Международную книгу». Говорили мы о некоторых ретивых «друзьях» Александра Исаевича, которые гонят его под топор.

Елена Сергеевна вспоминала, что из Булгакова «Пречистенка» тоже хотела сделать распятого Христа. «Я их за это ненавидела, глаза могла им выцарапать... И выцарапывала», — сказала Елена Сергеевна, подумав.

24.V.1968

Трифоныч рассказал, что в компании с Сурковым, Симоновым и Абашидзе были они у Демичева. Разговор шел 2 часа и, конечно, съехал на Солженицына. 90% времени о

нем и проговорили. Был момент, когда Трифоныч сказал: «Скажите, чтобы я не ехал». «Нет, вы поедете, но мы вас посылаем не для решения проблемы Солженицына, а для налаживания контактов».

Почему не напечатано письмо в «Литературную газету»? Это было бы формой реабилитации Солженицына (так что же им нужно? Посадить его?)

В заключение так сказал: «К вопросу о публикации Солженицына мы подойдем через его критику». Что это значит? Сурков говнил, вспоминал снова пьесу, поддакивал. Симонов вел себя достойно, поддержал Трифоныча.

11.VI.1968

Два часа заседали с Марковым и Воронковым: Трифоныч, Алеша, Миша и я. Высказались — и облегчили душу...

Трифоныч говорил очень горячо, волнуясь, вспомнил и Солженицына, говорил о романе Рыбакова, грозил историей: «ведь все это когда-нибудь отольется горькими слезами, и все это мы записываем, а главное, сам журнал наш есть летопись». Нужен ли вообще такой журнал? Когда мы начнем печатать и хвалить Михаила Алексеева — журнал погибнет. И мы не хотим издавать такой журнал...

Пузиков звонил Александру Трифоновичу, просил снять упоминание о Солженицыне в предисловии к сочинениям Маршака. Трифоныч — ни в какую. «Где есть об этом постановление? А вдруг Маршак ко мне ночью явится и спросит, ослабел, Александр Трифонович?»

Пузиков ему говорит, что пусть считается, что они сняли (видимо, для облегчения совести Александра Трифоновича), что вот де Симонов кое-что снимает по их просьбе. «У Симонова свой жизненный опыт, у меня свой, и я не хочу заимствовать у него его опыт».

Трифоныч сказал ему, что пишет он все сам и думает, когда пишет. И если они задерживают его 5-й том и сочинения Маршака, то это их заботы, он не уступит и готов ждать хоть 30 лет.

«История все запишет, и вы будете еще на булавку наколоты и станете только жужжать».

13.VI.1968

Рассказывают: Кириченко из отдела пропаганды выступал перед журналистами. На вопрос о Солженицыне ответил: «Выяснено его лицо, как власовца и шовиниста. Вероятно, в скором времени это будет обнародовано в печати».

Не готовят ли статью по пьесе «Пир победителей» и «Раковому корпусу»?

Если это так, то наше положение становится совсем двусмысленным.

17.VI.1968

Вечером брат нашей дачной соседки пришел рассказать о выступлении Демичева в четверг в ВПШ (Высшей партийной школе. — *С. К.-Л.*). Он нехорошо говорил о Твардовском — «не хочет понимать, считает, что после XX съезда процесс демократизации замедлился, ему еще нужна какая-то правда, тогда как вся правда сказана, в том числе после октябрьского пленума 64 г. — и наши трудящиеся хотят спокойно работать.

В ЦК подготовлен документ о политическом лице Солженицына. Художественная интеллигенция испытывает влияние Запада, 23 человека исключено МК из партии, и дальше будет проводиться эта работа. В Чехословакии осенью чрезвычайный съезд, они хотят опередить съезды в других партиях. Но им не удастся повернуть страну, потому что в случае чего наши войска примут участие в установлении порядка». «Вопрос о приведении в порядок могилы Сталина будет в свое время решен в руководстве».

21.VI.1968

Заходил ко мне Шт. (Штейн. — *С. К.-Л.*). Рассказал, как таможня разыскивала Исаича, и какой был разговор. Солженицын их пугал: «Что же это вы делаете?» По прежнему идут слухи о документе против Исаича. Барабаш в Гослите говорит редакторам: «Погодите волноваться, не вычер-

кивайте пока Солженицына, через неделю все прояснится. «Конечно, Солженицына не вычеркнешь из литературы, но вот Петлюра, он тоже был театральным рецензентом, а остался известен другим». Ничего себе шуточки!

Последнее известие такое: готовится документ не ЦК, а Секретариата Союза по общим вопросам борьбы с буржуазной идеологией. И там будет место Солженицыну. Это уже легче, хотя ничего не решает и не развязывает.

Хуже всего то, что по словам Шт., Солженицын чувствует себя скверно. Болит позвоночник, работает он стоя, по 14 часов в сутки. Все боится не поспеть. Жена ему уколы делает.

Травли он не боится, привык, только бы не трогали — и лишь бы не решились на высылку. К 20-му его требуют в Рязань телеграммами, видно, исключать из Союза. Он не едет. В прошлый раз в мае собрали в обкоме 6 человек — всю организацию, — никто не пришел.

Другой слух — будто «Лит. газета» дает все же письмо Солженицына. Посмотрим.

25.VI.1968

Вышел № «Лит. газеты» со статьей о Солженицыне и его письмом. № — собственно завтрашний, но уже сегодня есть тираж — и наш посланный привез 2 экземпляра из редакции.

Ужасная грязная статья, масса лжи и всюду торчат уши писавших. Но ошибаются те, кто думает, что этим кончена «проблема Солженицына». Она только начинается.

Дорош верно сказал, что статья «больше грязная, чем страшная».

Все время целятся в Солженицына, целятся, кажется, уже в упор расстреливают его, но все из какого-то кривого ружья. Он жив, действует, и опять надо ловить его в прицел.

Позвонил Трифонычу на дачу, кратко пересказал ему статью. Он встретил это спокойно, спросил только: «И ни слова о «Новом мире»? И сказал: «А ружье кривое, потому что привыкли стрелять из-за угла».

На наше письмо в ЦК — по прежнему никакого отзыва. Трифоныч вчера вспомнил странное пророчество из Апокалипсиса, что настанут времена, когда народ так ослабеет, что всемером одну курицу резать станут. Не то ли и с «Новым миром»?..

Вчера Н. П. Смирнов пришел и сказал торжественно: «Событие в литературном мире. Новая вещь Солженицына „Архипелаг Гулаг", 1200 страниц. Это и критика и эссе, и мемуары — обзор нашей жизни с 17 г. до наших дней. Что-то вроде „Былого и дум". Видимо, и эта рукопись, таким образом, выпорхнула и пошла гулять. Я читал из нее только странички по поводу придурков — по просьбе самого Исаича.

Да, он фанатик литературы, Аввакум XX века — его творчество — самосожжение, почти религиозная страсть говорить правду.

Он, без всякой фразы, даже гибели личной как будто не боится, а боится только не успеть все сказать, все написать — без оглядки на требования нынешних дней и лет.

Мы все, кто больше, кто меньше, испорчены литературной борьбой, журнализмом, временными целями и тактическими задачами. Он, не говоря уж о таланте, всех свободнее. И оттого — его писания будут так долговечны.

Случись даже самое худшее, но с ходом лет все более значительная часть его книг будет открываться нашим соотечественникам как неоспоримо верная. Пройдет 10 лет — и войдет в общий обиход «Раковый корпус», через 20 лет — примут и почтут классикой «Круг первый», а там, глядишь, лет через 30 «Архипелаг Гулаг» окажется самым широким и искренним отражением нашего времени.

26.VI.1968

Вышел № «Литературной газеты» со статьей о Солженицыне. Трифоныч приехал нервный, раздраженный, в том особом состоянии бешенства от бессилия, когда надо действовать, а ты связан по рукам и ногам. «Обольщаться не надо. Мы погибли. Вопрос в том только, сколько это про-

тянется». «Все прикидываешь — как будем погибать — и никогда не угадаешь».

3.VII.1968

Трифоныч с утра уже успел вторично позвонить по вертушке, и говорил уже с другим помощником. Тот очень любезен, по имени и отчеству — все это радует Трифоныча, особенно после неслыханного хамства Демичева...

Говорил Бычков из Секретариата Брежнева. И соединяет с Леонидом Ильичом. Я присутствовал при этом разговоре и радовался за Трифоныча. Александр Трифонович сказал, что понимает занятость, перегруженность Леонида Ильича, но попросил его принять, потому что «речь не только о моей литературной судьбе». Брежнев подробно и будто оправдываясь говорил, как он занят, но после приезда Насера, числа 8-9 примет Александра Трифоновича, сам де хотел с ним давно встретиться. Трифоныч сказал, что ему очень дорог этот звонок, и тут ввернул насчет Демичева, которого прождал 3 недели. Брежнев сказал какие-то оправдывающие того слова. Сказал что-то и о том, что «я де вот тоже иногда говорю о литературе так, что вы можете со мной не согласиться и меня покритиковать». Словом, любезность и доброжелательство — полные. Правда, Трифоныч пытался вставить словцо о «Новом мире»: «А пока, Леонид Ильич, не распорядитесь ли Вы о бессмыслии задержанной 5-й книжки журнала?» Но Брежнев сказал, что совсем не в курсе дела, и Трифоныч не настаивал. В заключение было сказано, чтобы Трифоныч еще раз проявил инициативу и позвонил, напомнил об обещанной встрече.

Какое ликование было в редакции, женщины, прознав о звонке, едва не целовались и ходили все улыбающиеся с раскрасневшимися лицами. Кто знает, может быть, журнал наш еще потянет?

А то было все начали петь ему отходную. Решили — о звонке не таить, чем больше об этом будут знать, тем лучше.

Трифоныч огорчается, не зря ли он сразу сказал о 5 № и Демичеве, но главное все-таки теплый тон разговора и обе-

щание встречи: это важнее всего. Александр Трифонович уже строит планы, как он будет говорить и о журнале, и о литературе вообще, о своем задержанном томе и, неизбежно, о Солженицыне. Хотя так многое испорчено, но может быть, есть еще возможность поправить, опубликовав «Раковый корпус». Да кто знает, не оборвет ли его тут же Брежнев, захочет ли вообще всерьез слушать. Но пока, даже то, что уже случилось, ко благу, и у Трифоныча, как нарыв прорвался.

5.VII.1968

Был Штейн. Я расспрашивал его об Исаиче.

Он так себе. Волочит ногу. Хотя статья и нарушила молчание, а значит, рассуждая рационально, чему-то доброму послужила, он все же ее пережил. Лег, принял сердечное лекарство. Ужасно это состояние — когда нельзя ответить, излить свое возмущение клеветой. Я спросил о «Гулаге». Юра говорит, что эта работа закончена, но пока, до осени во всяком случае, Александр Исаевич не хочет, чтобы ее читали.

С Теушем, благодаря статье, он помирился, послал ему письмо, где пишет, что раз уж это неизбежно было, надо увидеть здесь и хорошую сторону. После конфискации рукописей и травли он стал внутренне свободнее.

Неизвестная мне прежде подробность многое для меня прояснила. Оказалось, Демичев личной ненавистью ненавидит Солженицына, потому что тот, побывав у него в 65 г. прикинулся простачком-провинциалом, а потом рассказывал иронически о своей встрече — что было непоправимо глупо — в знакомых домах. Юра говорит, что он рассказывал об этом у них дома, у Копелева и еще в 2-х местах.

Результат был тот, что Демичеву доставили запись этого разговора. Солженицын выглядит двурушником, и насмешку Демичев ему, понятно, не может простить.

Речь Брежнева — либеральный ветер.

10.VII.1968

Трифоныч позвонил с утра. Ему сказано, что Брежнева — нет, но ему доложат. Фон для беседы нехорош. С Чехослова-

кией дела все грознее, чехи требуют убрать наши войска после маневров, но 2 полка еще остаются. Мы требуем собрать совещание в верхах, а Дубчек жмется, не хочет.

Трифоныч говорил, что среди с/х работ обдумал тезисы разговора и получается очень кругло. Три конкретных проблемы: 5-й №, 5-й том Собрания сочинений и «Раковый корпус». «От Солженицына — никуда не уйдешь». «Я буду ставить вопрос так: доверяете ли вы редакции распорядиться задержанным материалом? Если нет, то назначайте другого редактора». Нельзя литературный журнал редактировать силами Беляева и Голанова.

Мы еще раз составили опись «отреченных книг».

Сидели до шестого часа, никто не позвонил.

5.VIII.1968

Эту тетрадь подарил мне Сережа, он получил ее у тети Любы, на складе. Буду записывать нашу жизнь в ней.

Трифоныч приехал в редакцию от Михайлова. Тот вызвал его по поводу 5-го тома, который из упоминания Солженицына все никак не выходит. Прием наилюбезнейший. Сказал секретарше — ни с кем не соединяйте и дайте кофе. Но и было-то всего два звонка, и к ним он вышел! Пустые, мертвые коридоры, гнетущая тишина произвели на Трифоныча впечатление загробного царства.

Михайлов вяло поспорил с ним, но скоро уступил, сказав: — Ну, раз так, я сегодня же позвоню Косолапову, чтобы не держали том ... (сделал паузу)... или завтра...

Но что-то чувствуется в нем неуверенное, говорит Трифоныч, «что-то они чуют». «Много мы намудрили с культом личности», — но это можно понимать надвое». «Ведь вот, был партмаксимум, как-то иначе жили...» — это уже другая мелодия.

Потом Михайлов рассказал ему, что к нему приходили родственники, дети сестры, заводские ребята, студенты и рассказали, что читали Солженицына. — Как же вы читали? — «А так. Дают под условием; дадим прочесть — верни три копии».

Говорил о Чехове, что де в последний момент задержали компрометирующие его письма в собрании сочинений. «Это как он в Париже в бардак ходил? Ну и что, — спросил Трифоныч, — прочтя их, вы разочаровались в Чехове — писателе и человеке?» «Да ведь разочаровался немного», — сказал простодушно Михайлов, но тут же понял, что сморозил глупость...

Смешное письмо от Мондадори: он как «беспристрастный буржуазный издатель» возмущен тем, как много экземпляров рукописи Солженицына попадает на Запад. «Плохо работают Ваши *таможни* — это уже не «просачиваются» — это — наводнение».

8.VIII.1968

Трифоныч вернулся от Косолапова очень расстроенный. Косолапов торговался с ним из-за фразы о Солженицына в статье, посвященной Маршаку. «Дело ведь не в упоминании Солженицына даже, — разъяснял он, — а в том, что Вы цитируете «Правду», как бы и ее втравливая в это дело».

Трифоныч побранился с ним, но согласился снять в конце концов указание на «Правду». Косолапов обрадовался и сказал, что теперь статью о Маршаке пустит. «А 5-й том?» «Ну, с 5-м томом особое дело». Тогда Трифоныч, рассвирепев, вернул назад то, с чем уже согласился. «Ни одной запятой вам не отдам».

14.VIII.1968

...К 12 мы с Алешей были званы к Беляеву. По дороге я переворачивал в голове возможный разговор, не ожидая доброго, готовясь к самому неприятному.

Но случилось иначе, прием был благожелательный, ругаться никому не хотелось. Сначала встретили нас Беляев с Голановым, потом присоединился к ним Мелентьев. Боюсь ошибиться, но они почти заискивали перед нами, быстро гасили в себе возникавшие непроизвольно грубые интонации...

Затем Беляев, сняв пиджак и засучив рукава белой рубашки, блистая ослепительным оскалом улыбки, принялся работать над моей статьей...

Потом Беляев стал делать замечания по статье, я призывал его к конкретности — и работа пошла. Все замечания — по той части, где Понтий и Иешуа. Такое впечатление, что в Понтии они видят себя и хотят, чтобы он выглядел поблагопристойнее, а Иешуа, в свой черед, казался бы ничтожнее, чем он есть. Беляев перечитал роман, видно, готовился серьезно к этой встрече и пытался меня убедить не общеполитическими соображениями или ссылками на аналогии, а «научно», исходя из текста романа. Это облегчало мое положение. Конечно, статья немного ощипана, но не убита. Особенно волновало Беляева, что я пишу о боязни Понтия потерять свою выгоду, положение и т. п., о том, что он «верный солдат — и только». Он было даже затеял со мной странный спор — Пилатом де движет не верность кесарю, а идея империи. Вошедший же Мелентьев уверял, включившись в разговор, что Иешуа — юродивый, я преувеличиваю могущество его влияния...

По поводу «Объявления на 69 год» говорили о «подписантах». Рефрен один: Ваше дело, но не советуем. Особенно настоятельно «не советовали» упоминать имя Солженицына. Мелентьев говорил: «У нас есть сведения, что Мондадори собирается издать «Пир победителей». Тогда мы должны будем отвечать. Есть предложение даже напечатать его пьесу у нас, и тогда от Солженицына все отшатнутся». «Его просто убьют», — заметил Беляев, но Мелентьев поправил его: «Это ты уж слишком». Я говорил о том, что ведь Солженицын отказался от этой пьесы, что мало ли какие могли быть обстоятельства, и Горький в свое время писал «Несвоевременные мысли» и т. п. Но этот разговор был уже впустую.

15.VIII.1968

Узнав о нашем разговоре по поводу Солженицына, Трифоныч телеграфировал ему просьбу приехать.

16.VIII.1968

Трифоныч звонил с дачи, Солженицын у него. Готов написать и подписать любой протест против публикации своей пьесы, но надо точно знать, кто издатель.

Мы вызвали Солоновича, и он говорил с Римом, просил телеграфировать подтверждение или опровержение.

Солженицына берут в кольцо, как на охоте с флажками. Кто еще знает, чья инициатива в издании этой злосчастной пьесы за границей!

19.VIII.1968

Света привезла весть, что статья подписана, подписана и рецензия о Маяковском, вообще весь № до конца, кроме последней четвертушки листа с фамилией Солженицына в объявлении.

Сейчас, когда статья подписана, я начинаю с огорчением припоминать вычеркнутые фразы, и думаю — быть может, что-то я зря уступил?

Вспомнил, как во время встречи в отделе Голанов сказал: «Владимир Яковлевич, ведь это вы о Солженицыне пишете, вас так поймут» (Дементьев как в воду смотрел, он давно предвидел такой ход мысли). Я ответил, что Булгаков достаточно крупный писатель, чтобы его судьба могла служить объектом внимания сама по себе, вне возможных аналогий.

А потом, в разгар спора о Солженицыне, увлекшись, не заметил как сказал: «Можно не сомневаться, что Солженицына будут читать и через 50 и через 100 лет, тот же случай, что у меня в статье». Но, слава богу, это пропустили мимо ушей.

20.VIII.1968

Цензура по-прежнему держит четвертушку листа: на их запрос Беляев ответил: «Мы же им сказали, что не следует упоминать Солженицына...»

Цензурные женщины, рассказал Алеша, смеялись над правкой в моей статье: «мы ведь обращали внимание на тему 37 г. и т. п., а они вычеркнули только то, что к ним относится... Прочли как о себе».

Подтверждения из Рима о пьесе Солженицына нет. Завтра надо ехать к А. Т.

21.VIII.1968

Вторжение в Чехословакию. Наши танки в Праге! Я услышал эту новость в акуловском автобусе в полдень. Сердце заколотилось. Смотрел на лица, слушал разговоры о том, что в Акулове муку давали, о погоде и грибах — а на радио из шоферской кабины никто и внимания не обратил. На станции газет не было. Кучка мужчин у киоска. Один объяснял: «теперь мы их прижмем. Там все захватили капиталисты и помещики, забрали у партии радио и телевидение. Да и вообще, что за страна? Я там был во время войны. У каждого домика — садик, свой участок, все возделано — разве с такими к коммунизму придешь?»

А в редакции запустение. Алеша говорит — этот день напоминает 22 июня 41 г. Еще утром Алеша вычеркнул Солженицына из объявления и послал последний лист на подпись. Я одобрил это, теперь хотя бы выпустить 6-й. А. В.[1] вызвали на срочное совещание в Дом Союзов. Когда мы втроем садились в машину, чтобы ехать к А. Т., вернулась А. В. Срочно — собрание. Будут приводить к присяге. Я сказал — вернемся от Твардовского — тогда.

А. Т. пьет с воскресения. Начал он на этот раз странно — будто с заранее обдуманным намерением. Вышел к вечеру с чемоданчиком — «я думала, понес Дементьеву транзистор» — рассказывала Мария Илларионовна — а он вернулся с батареей бутылок. Сейчас он — в нетях. Это похоже на то, как Гете почувствовал приближение мессинского землетрясения.

Разговор был недолгий — я смотрел на часы. Мария Илларионовна кормила нас грибами и картошкой. Трифоныч сказал: «Я 30 лет в партии...» Солженицын оставил у него впечатление невротика. Н. Ал. (Наталья Алексеевна, первая жена Солженицына. — *С. К.-Л.*), услыхав, о чем речь, — приняла таблетку и легла.

[1] Анна Васильевна Василевская, библиотекарь в редакции «Нового мира», в это время была секретарем парторганизации журнала. — *С. К.-Л.*

«Рубите мне эту руку — был только один экземпляр» — сказал Александр Исаевич. «Прочтите теперь — и там нет того, о чем говорят».

Вдруг Солженицын заторопился, обедать не стал — «на травку, на травку». На Трифоныча произвело впечатление, что они все время в пути, все время — ездят.

26.VIII.1968

...Трифоныч рассказал, что Ольга прочла «Раковый корпус» и сказала отцу: «Может, я не понимаю, папа, но „Иван Денисович" для меня выше». Трифоныч очень обрадовался: «Конечно, так. Ведь это бывает в литературе. Тургенев начал с „Записок охотника" — и они до сих пор самая важная его книга».

Я мог бы кое-что и возразить на это, но не стал.

6.IX.1968

По поводу статьи о «Мастере» больше звонят по телефону — а писем нет. Получил пока лишь два письмеца — то ли было, когда публиковалась статья об И. Д. (Иване Денисовиче. — *С. К.-Л.*) Или статьи перестали интересовать людей, или побаиваются писать. Скорее же и то, и другое.

10.IX.1968

Я ошибался. Откликов на статью много, хотя по нынешней манере, меньше пишут, а больше говорят. Значит, все-таки статья нашла читателей — и все это не впустую...

После комиссии <РК> влетел Исаич. Нервно возбужденный, с блестящими глазами, лихорадочной речью. Сказал, что в Москве на несколько дней — приехал подлечиться.

Разговор о Луи. Исаич был «распустившись»: думал, что никто не знает его адреса, возился с машиной, масляные руки — когда подошли двое — и один из них представился «В. Луи» — показал советский паспорт и проч. Просил его реабилитировать в глазах прогрессивного общества.

Но ход разговора самый провокаторский. Исаич только в конце сообразил спросить его — откуда он узнал адрес.

«От наших общих друзей». «Но у меня нет с Вами общих друзей». Тот пробубнил что-то о Жене Евтушенко, который был шафером на его свадьбе.

Исаич ему говорил: «Как я со связанными руками, закопанный по горло в землю, могу вам помочь? А вы думали о том, чтобы помочь мне, когда меня оклеветывали?» и т.п. «Хорошо, хоть руки ему не подал». Позавчера этот прохвост звонил в редакцию — Ире. Сказал, что Исаич послал его в «Новый мир». Он провалился и теперь пробует обелить себя и вовлечь нас в провокационную возню.

12.IX.1968

...Был у него <А. Т.> сегодня Исаич — «хорош, тих, не задирист». Боится разных случайностей: могут уголовники подойти или ворваться в дом. Лесная хижина его открыта, теперь он хочет поселиться у Корнея, чтобы быть на виду.

«После Чехословакии — все возможно».

Давление его поднялось до 190, надо меньше работать, а то недолго и загнать себя. Очень боялся, как Трифоныч будет реагировать на августовские события. Тот рассказал ему о письме — в это время пакет с курьером из «Худ. лит.». Косолапов завтра едет в отпуск и просит срочно прочесть. В письме, подписанном еще 31 августа, а отправленном только теперь, сообщается, что в связи с отказом автора выполнить требования издательства его статья о Маршаке из собрания сочинений — снимается.

Рассказывают, что письмо, кроме Трифоныча, не подписали еще Леонов и Симонов — так что в газетах его не видать.

28.XI.1968

Зашел Исаич. Говорили о статье Микулиной. Он рассказал, что в самом деле когда-то получил письмо с Украины. Автор — бывший солдат НКВД и сиделец, сохранил 60 тетрадей о той поре. Исаич, когда делал тур по Украине, завернул к нему. Тетради оказались неудобочитаемыми, но он рассказал много интересного. «У меня есть свой способ опрашивать людей, и за 10 минут я выжал из него все, что

было мне интересно. А он еще хотел показать нынешнее свое хозяйство и проч. Я с ним и простился». «Бьют по мне, но все как-то странно. Вот и в „Правде“. Растропович говорит, что дуют не в главную трубу орга́на, а в следующую: антиобщественный, очернительский (а главная: антисоветский, клеветнический)».

Рассказал, что написал сценарий для кино о тунеядце. «Очень смешной сюжет. Тунеядец — единственный, кто работает, а кругом — тунеядцы. Немного подчернил, правда, — там есть эпизоды выборов — агитаторы загоняют в избирательный участок и проч. Но это я частично снял по просьбе деятелей Мосфильма. Написал же потому, что когда-то был договор, дали 40%. Все этим кормятся, но с Солженицына, конечно, хотели взыскать. А он взял, да представил им текст. Все экземпляры тут же собрали — и, не читая, — «наверх». Исаич говорит, что доволен художественным успехом. Алов, кажется, говорит, что всю жизнь мечтал снять такую комедию, что все очень кинематографично получилось. Исаич, рассказывая мне это, сиял.

Потом сказал неожиданно: хотите несколько слов о вашей статье? Сначала — неслыханно лестные слова, но потом сказал, что хоть статья и хороша, в ней чего-то не хватает, «нужен еще один этаж мысли». Я пытался выспросить, что же, но А. И. говорил довольно смутно. «Нужен еще один этаж к дьяволу. Что он исполнитель добра — это хорошо, но Булгаков вообще любил темную, злую силу — иногда до пошлого опускаясь, в „Дьяволиаде“, например. Его пристрастие к Гоголю, к Гофману — к мрачной, нездоровой стороне жизни. И о Иешуа можно было больше сказать. Может быть, вы не могли этого сделать в журнале?» Советовал приготовить полный вариант статьи. «Скоро, когда у нас будет полная свобода печати, — сказал он с неожиданной уверенностью, как будто кто-то ему об этом уже шепнул, — вы опубликуете большую работу о Булгакове». Лишними считает он и эпиграфы — «они возможны лишь как ироническая форма, всерьез употреблять их нельзя, это старомодно».

Не буду писать здесь, что возражал я ему, но расстались мы тепло, дружески. Если его понятия обо мне, как о кри-

тике в самом деле таковы, как он говорит, то я не могу принимать их всерьез. Скорее всего он давно не перечитывал ни Добролюбова, ни Белинского. Возражения же его всегда интересны, хотя я и не спешу с ним согласиться.

29.XI.1968

<...>

Забегал Исаич и оставил пьесу, простился до 17-го.

<...>

11.XII.1968

<...>

Солженицыну сегодня 50 лет. С утра послал ему телеграмму. То же сделал и Трифоныч, Сац, Виноградов, каждый от себя. А вечером, поколебавшись, решили все же послать ему и официальное поздравление от редакции. <...>

12.XII.1968

<...>

Трифоныч принес пьесу Исаича и говорил, смеясь: «Ну, что сказать... сажать надо. Очень смешная комедия. Но если рассуждать, как у нас рассуждают — сажать надо». И рассказал сюжет.

<...>

Принесли письмо Солженицына в «ЛГ» — и все испытали чувство досады и стыда. Зачем он так торопится, и так злобно, раздраженно пишет? Есть тут некоторая спесь, высокомерие — и никого рядом, чтобы удержать его. Вспоминаю Блейка: «Правда, сказанная злобно, лжи отъявленной подобна».

16.XII.1968

...А. Т. был в ударе и говорил очень хорошо и точно. Потом, он оставило меня одного и рассказал, что был у Воронкова по поводу прописки Буртина и 60% за «Раковый корпус», и нашел удивительно нежный прием. Подали чай, и Воронков завел доверительные разговоры. Советует возобновить разговор о встрече с Брежневым.

Иные «на верху» жаждут крови, но не все, и Брежнев среди умеренных.

<...>

18.XII.1968

<...>

Заходил Солженицын. Рассказал о юбилее, горе телеграмм в Рязани, в том числе от Воронежского и Рязанского отделений Союза писателей, от писателей Италии, Чехословакии, от Моравиа, Белля и др. Почтовое отделение замучилось, долго недоумевало, а к концу дня почтальоны сами сочинили и принесли ему телеграмму. Не думали прежде, что такой знаменитый писатель в их городе.

О 60% за «Раковый корпус» — он напишет письмо, и мы попробуем выплатить ему. Я спросил, не даст ли он хоть рассказа — он сказал, что его не интересуют сейчас малые формы. Через год обещал дать «Август 14 г.».

«В какой литературе вам приходится работать! Вот хотел о чем-то поспорить с вами по последним статьям, а прочитал Гуса — и рукой махнул...» И он стал последними словами бранить Гуса.

20.XII.1968

Ответа на письмо нет. «И не будет», — думает Трифоныч. Он сидит в редакции печальный, раздраженный. О Шолохове рассказал ему Воронков. Шолохов пробовал напечатать главы в «Правде» из готового уже романа. Зимянин главы не пустил и повез в Агитпроп. (Там что-то о начале войны, о лагерях даже, кажется). Посоветовали не печатать. Тогда Шолохов обратился к Брежневу с просьбой о приеме. Он прождал два дня и не был принят, забрал рукопись и, хлопнув дверью, уехал из Москвы в Вешенскую. Его принимал Сталин, Хрущев сам к нему в станицу ездил, а тут такой афронт! Опоздал М. А., что бы ему года 3-4 назад роман кончить. Прошел бы на «ура» как антисолженицынский. А теперь, даже самые робкие упоминания о запретных темах — невозможны.

История с Шолоховым как-то сразу разуверила А. Т. в возможность успеха его акции, он помрачнел.

29.I.1969

<...>

Появились статейки, бранящие меня, — в «Октябре», «Москве», говорят еще в «Театр. жизни» — но я не видел.

Рассказывают, что Мелентьев в своем инструктивном докладе в декабре говорил, что не так вредоносна была публикация «Ивана Денисовича», как моя статья о нем, делившая всех на друзей и недругов. Этого мне не простят.

4.II.1969

<...>

Мне Трифоныч еще раз сказал: «Не обольщайтесь, вы враг № 3». Первыми двумя он числил себя и Солженицына. Говорили об этом в связи со слухом, будто «Коммунист» в лице Иванова готовит новую статью о критике «Нового мира», то есть главным образом обо мне.

<...>

27.II.1969

Четверг. Подписчики получили 12 № и звонят мне по поводу полемики с Гусом. Забегал Исаич — благодарить за гонорар. «Дело не в деньгах только, а в том, что, значит, я не тунеядец». Спросил, не тяжело ли сейчас? Я ответил, что как обычно. «Да, так вы, как глубоководные рыбы, привыкли жить под большим давлением — и, может быть, без него чувствовали бы себя непривычно». Сказал, что роман переделал, и не только Макарыгина, но и лирич. часть. «Сильно переделал, роман перешел в др. класс». Обещал дать читать после Трифоныча. Говорил, что к маю, возможно, кончит новую вещь.

<...>

24.IV.1969

<...>

О Солженицыне <А. Т.> рассказал: ему позвонил секретарь обкома — Кожевников. А. И. записывал разговор на диктофон. Его пригласили на беседу. Он отказался: пока в области идет кампания клеветы, беседы невозможны. (1-й

говорит: «Если за каждое ругательство в „Иване Денисовиче“ давать 15 суток, то автор насиделся бы у нас...»).

2 вопроса: Подготовка к Ленинскому юбилею. 2) Отношение к зарубежной шумихе. Исаич сказал, что очень занят большой работой. Шумихой за рубежом не интересуется, потому что слабо информирован.

Заспорили о каком-то слове, и Исаич сказал: «Вам же через 10 минут доставят запись».

4.V.1969

<...>

Трифоныч рассказал, что после издания «Ивана Денисовича» к нему на Пленуме подошел Щербина и сказал: «Ну, зачем это? В одной моей области 18 таких хозяйств». Спустя некоторое время (после выступления Хрущева о повести) — «а ведь все правда».

6.V.1969

<...>

Получили письмо из Варшавы, опущенное в Бресте. Автор-аноним передает запись беседы с сотрудниками советской колонии в Варшаве — Аркадия Васильева[1] в феврале этого года. Как, однако, распоясался там этот господин! «Новый мир», говоря откровенно, печатает белиберду... Редколлегию придется сменить... и т. д.». Помои вылиты на Твардовского, Симонова, Полевого и, конечно, на Солженицына.

7.V.1969

<...>

Вечером Исаич забегал ко мне на минуту, узнать, в каком положении Александр Трифонович и ждать ли его.

Посидел ровно минутку, написал записку Александру Трифоновичу — и исчез, а на прощанье неожиданно расцеловался со мною. Уже в дверях, глядя, как он стремительно убегает, я сказал ему: нельзя, Исаич, летать в таком темпе. «Нет, так и буду, пока на месте не упаду». <...>

---

[1] Васильев Аркадий Николаевич — писатель.

31.V.1969

По дороге в цирк, куда мы ехали с Сережей[1], в троллейбусе меня окликнул Александр Исаевич. Он проездом в Москве, обратно будет через две недели. Бросился расспрашивать меня — верны ли слухи. «Ни в коем случае ему нельзя уходить, теперь такие времена, что надо требовать бумажку. Где бумажка, покажите». Сказал, что читал статью Гуса в № 5 «Знамени». «Как он выдает с головой своих. С ним, конечно, нельзя 2-й раз спорить. Можно только, беря более широкий круг вопросов»[2].

Иван Сергеевич занемог и в Карачарово с котом не поехал.

6.VI.1969

Сегодня Эмилия попросила убрать имя Солженицына, и пришлось его заменить заранее подготовленной фразой. Успеет ли № выйти? <...>

9.VI.1969

Александру Трифоновичу рассказали о Хрущеве. Он прочел «В круге 1-м» — и пришел в восторг: «Это великий писатель, я и не подозревал, когда разрешил печатать «Ивана Денисовича», просто поверил Твардовскому».

10.VI.1969

Александр Трифонович улетел сегодня. Встречался с Палом Фехером[3], который интересно рассказал о Гусаке[4]. «Кортарше» — статья о Солженицыне. <...> Вечером у Елены Сергеевны — нецеремонные гости. Спор о Солженицыне. Ревность Елены Сергеевны. «Он сам, говоря с восхищением о Булгакове, признавался, что ничего не может выдумать».

[1] Сын Вл. Як. (р. 1960).

[2] М. Гус выступил против статьи Вл. Як. о «Мастере и Маргарите» Булгакова («Новый мир», 1968, № 6). Он ответил ему коротко в № 12 за 1968 г. — «Рукописи не горят».

[3] Венгерский журналист.

[4] Гусак Густав, в 1968–1969 гг. 1-й секретарь ЦК КП Словакии, член ЦК КПЧ в 1968–1989 гг.

Палиевский, Михайлов[1], видно, бегают к ней и «вербуют» на свою сторону. Спор о «завтрашнем дне». Елена Сергеевна: «для меня эта вера оправдалась».

<...>

18.VI.1969

Заходил Исаич. Советовался о письме Трифонычу — «хочу хвалить его за твердость, стойкость — правильно?!» — радостно восклицал он, в восторге от своего хитроумия. «Зря он на праздники ко мне не приехал — это была бы хорошая зарядка». Говорил, что пишет большую свою вещь, но утонул в море материала. «Разные «узлы» пишу одновременно. К зиме принесу, думаю, 1-ю часть».

Говорили о Трифоныче. Сказал о его настроении, что журнал кончился. Исаич возразил: бывают такие дубы — все в дуплах, внутри пусто, невесть на чем держится, а еще 100 лет простоит.

Его очень растревожил рассказ о том, что Хрущев читал «Круг». «Надо было тогда ему дать, минуя Лебедева[2]. Он должен был напечатать Сталинские главы». Я усомнился в этом. Исаич написал тут же и передал мне письмо для Александра Трифоновича, чтобы вручить ему в первый день, как вернется.

По-детски воображал месть — «напишу на обложке первого №, подписанного другой редакцией: «заберить» ваше дерьмо» — и пошлю, а фотокопию отдам друзьям».

1.VII.1969

<...> Письмо Солженицына произвело на Александра Трифоновича должное впечатление — он пересказал мне его и все удивлялся: не пойму, что это он, на него даже не похоже — и какие-то торжественные и человеческие слова о журнале... <...>

---

[1] Палиевский Петр Васильевич, Михайлов Олег Николаевич — критики.

[2] Лебедев В. С. — помощник Н. С. Хрущева.

9.VII.1969

<...>

Сегодня приехал Шимон[1] с молодой женой. К. ходит за ним по пятам. Сидели сначала в номере в «Пекине», потом поехали домой ко мне. Стоит страшная жара. Пили квас, открыв все окна. Шимон говорил о том, что напечатал большую статью о Солженицыне Марики Юхас[2]. По переводу К. выходило, что Шимон об этом жалеет: «Я не знал, что будет полезно». Шимон смутился, а потом сказал мне наедине, что К. переводил неточно, и он понял это. Шимон интересно рассказал о своей работе — учебнике венгерской литературы для самого простого читателя.

15.VII.1969

Пришел Исаич. Принес с собой экземпляр «Круга» для Александра Трифоновича, изданный в Югославии, и «ветер оптимизма», как сказал Александр Трифонович. «Ваше положение прекрасно, они попробовали, а зубы не берут». «Только не пишите заявления, пусть сами решат и это опубликуют».

«Соберется Секретариат от слова «секретно», и повторится история с «Раковым корпусом». «Ну и пусть...» Трифоныч пытался выпросить у него новую рукопись, но Исаич не дал, а только обещал осенью и, как всегда, что-то хитрил, шептал на ухо и проч. А все же появление его было для Трифоныча приятно и важно.

2.VIII.1969

Был Рой[3]. Его вызывали на бюро в четверг, но он просил отложить и встретился с секретарем райкома. Пришел к нему со старым большевиком и имел 3-часовую беседу. Его будут исключать, но он так просто не дается. «Прикрытие

[1] Шимон Иштван — венгерский поэт. В № 5 «Нового мира» за 1969 г. напечатано два его стихотворения в пер. О. Чухонцева.

[2] Марика (Мария) Юхас, венгерский критик.

[3] Рой Александрович Медведев, историк, автор книги о Сталине и др.

слева» — снято. О Солженицыне и Драбкиной. «Архипелаг». Его мучает бессонница, глаза воспаленные — природа, погода и все на свете, кроме политики, для него безразличный фон. Жаль его смертельно.

6.VIII.1969

<С А. Т> говорили о сбежавшем А. Кузнецове[1] и ответе ему Полевого[2]. Тот делает bonne mine a mauvais jeu[3] — ведь Кузнецов только что был назначен членом редколлегии в «Юность» взамен «нигилистов» Евтушенко и Аксенова. А я еще вспомнил, что в редакционной статье о Солженицыне «Литературной газеты» тот же Кузнецов фигурировал в качестве единственного положительного примера и образца поведения советского писателя, в укору Солженицыну. Вот как шутит история[4].

2.IX.1969

<...> Исаич был. Со статьей Дементьева он не согласен, хотя и поддерживает общую нашу позицию и наш ответ: «Вехи» — это великая книга, всех людей делю на читавших и не читавших ее». И принялся срамить меня и требовать, чтобы я достал эту книгу для Александра Трифоновича. Все это было как-то высокомерно и неприятно. Через месяц обещает роман о 14-м годе. Впервые говорит, что не уверен в нем, потому что приходилось не с натуры писать, а выдумывать.

Под вечер пришел Расул (Гамзатов. — *С. К.-Л.*), и Трифоныч сгоряча выругал его — почему де он еще подписывает как член редколлегии «Литературную Россию». Расул обиделся и пришлось его утешать. Утешали мы втроем с Мишей[5] и Сацем в «Урале».

[1] Анат. Кузнецов, писатель.

[2] Полевой Борис Николаевич, главный редактор журнала «Юность». См.: «Новый мир» во времена Хрущева. М., 1991. С. 117–118.

[3] Хорошую мину при плохой игре (*франц.*).

[4] «Дружба народов», 2003, № 4. Публикация дневника за май–август 1969 г.

[5] Хитров Михаил Николаевич, друг Вл. Як. Ответственный секретарь «Нового мира» с 1966 г.

Расул припомнил, как на Ленинском комитете, когда обсуждали Солженицына, Харламов взывал ко всем: почему все так боятся Твардовского, что у нас, культ личности Твардовского? — если он приходит — все боятся слово сказать против Солженицына.

Солженицын хвалил стихи Вознесенского[1], поздравлял с этим Трифоныча, а тот сказал: «Что вы, мы его Христа ради напечатали».

31.X.1969

Читал главы «Августа». Романист такой, что руками развести, и похоже, что подбирается к главному, не только в романистике.

1.XI.1969

<...>

Слухи, что Чуковский завещал половину наследства Исаичу, — несправедливы. А жаль.

Не хотели, чтобы выступали на похоронах Солженицын, Балтер, Копелев[2] и я. Эти фамилии Ильин прямо назвал как нежелательные.

4.XI.1969

<...>

Часов в 5 зашла Анна Самойловна (Берзер. — *С. К.-Л.*) с неприятной вестью — в Рязани исключили из Союза писателей Солженицына.

Мы сидели как пришибленные. Надо что-то делать, а сразу не сообразишь. Но в сущности — это катастрофа. Требуют, чтобы он завтра же ехал в Москву «исключаться». Он переложил на после праздников. Трифоныч мрачно оделся и уехал.

<...>

---

[1] Вознесенский Андрей Андреевич, поэт.

[2] Балтер Борис Исаакович, Копелев Лев Зиновьевич, писатели. Речь идет о похоронах К. И. Чуковского.

6.XI.1969

Днем сегодня Трифоныч попал все же на аудиенцию к Воронкову[1]. Приходил Можаев — «правда ли все это? как реагировать?». Надо подождать приезда Исаича (он приедет после праздников). Раньше, чем Трифоныч вернулся от Воронкова, пришел Миша из Главлита. Завел меня к себе. Вчера на вечере, возвеселившись, Романов[2] шепнул Эмилии, что с «Новым миром» вопрос решен и после праздников объявят: выводят Кондратовича, Лакшина и Виноградова. Твардовского трогать не будут.

Тут приехал Александр Трифонович от Воронкова. Тот был нежен, лез целоваться. Когда Трифоныч сказал ему о Солженицыне, театрально закрыл лицо руками: «Что делается... и не говорите... Меня 19 раз вызывали в КПК[3] по делу Кузнецова». Когда я сказал о наших новостях, Трифоныч промолвил: «Похоже», — хотя, по его словам, о персоналиях речи не было, но Трифоныча Воронков снова звал в Союз на «повышенный оклад». <...>

10.XI.1969

10-й № все никак не подпишут. Возня вокруг Гинзбурга[4]. Я кончил статью о «Мудрецах». Беляев[5] и проч. на праздниках обсуждали в своем кругу последние события. Смысл акции с Солженицыным — выманить Твардовского из берлоги. Ставят в вину «Новому миру», что известие об исключении мгновенно достигло Запада: сопоставляют — в 5 часов вечера звонок Солженицына в редакцию «Нового мира», а на другой день в 6 часов утра уже об этом говорило BBC (Би-би-си. — *С. К.-Л.*). Меня особенно ненавидят, но о

[1] Воронков Константин Васильевич, секретарь Союза советских писателей (ССП).

[2] Романов Павел Константинович, начальник Главного управления (Главлит) при Совете министров СССР по охране государственной тайны в печати.

[3] КПК — Комиссия партийного контроля при ЦК КПСС.

[4] Речь идет о «Потусторонних встречах (Из мюнхенской тетради)» Льва Гинзбурга.

[5] Беляев Альберт Андреевич, зав. сектором Отдела культуры ЦК КПСС.

разгоне редакции говорят уже с меньшей уверенностью, чем накануне праздников.

Все теряются в догадках — почему надо было исключать Солженицына именно сейчас, когда он уже год с лишним тихо сидит в Рязани. Я связываю это с недовольством, какое вызвал роман Кочетова. Его влиятельные дружки взялись немедленно его спасать. Решили запалить пожар в другом месте, чтобы отвести угрозу от своих. Факт несомненный — тут неспровоцированная агрессия. Логика же вообще такова, что если писатели ведут себя тихо-смирно, надо вызвать их на неосторожные акции, чтобы было о чем кричать.

11.XI.1969

Приглашали на «круглый стол» критиков в «Журналист», но я не пошел. В 1 час дня была назначена редколлегия — собирался приехать Овчаренко из Агитпропа, как он говорил, «потолковать, познакомиться». Мы ждали, что, может быть, он и привезет в кармане пакет о нашем увольнении. Но не тут-то было. В час он не явился и позвонил предупредить, что из-за серьезнейших заданий вообще не приедет в ближайшие дни. Значит ли это, что наше дело решено или, напротив, что в нем все еще полная неясность?

Когда я вошел, все читали по листку стенограмму рязанского заседания, на котором исключали Солженицына, стенограмму, сделанную им же самим. Документ сильный. Александр Трифонович сердит, недоволен — «вечно он со своими прокламациями». Но в душе — страшно мается сам и все обдумывает, видно, не самый ли подходящий момент — уйти. Он говорил тут как-то, соглашаясь, что не надо торопиться, что было бы ошибкой и пропустить момент.

Вдруг появился Исаич, мы вышли, оставив их вдвоем с Трифонычем. Потом он нашел меня — оживленный, борода взъерошена, подбежал, буквально прижал к стенке в каморке Хитрова — и лицо в лицо, глаза в глаза, зашептал горячо: «Трифоныч не должен уходить. Журнал должен остаться. Я его убедил. Даже когда ничего нет, в каждом № — нечто.

Статья Лихачева[1] — превосходна. В случае нужды — отмежевывайтесь от меня. Журнал — это не один Солженицын. И это правда. Только в случае полного разорения, Вашего ухода и других двух — нет выхода». Я сказал, что выход и тут есть, лишь бы не добавляли новых. «И успокаивайте, пожалуйста, Александра Трифоновича, если будет на меня сердиться, я вынужден отвечать ударом на удар. С лагерными уголовниками, с урками можно поступать только так, я это знаю, иначе забьют». Он убежал, как всегда, сверкая улыбкой, глядя на часы.

Трифоныч после встречи с Исаичем был какой-то веселый, благостный, будто камень свалил с души.

Я сказал ему, что его хотят выманить из берлоги, и чтобы он не давался. «А если берлога будет разорена?» «Вы думаете, нам вдвоем с Хитровым плыть на льдине — будет больше чести?»

12.XI.1969

Утром в «Литературной газете» составленное наспех, беспомощное извещение об исключении Исаича. Только пришел на работу — явился какой-то француз с аппаратом — требовать интервью с Твардовским. Я прогнал его.

Можаев заходил встревоженный — «что-то надо делать»: «Исаич апеллировать не хочет». Трифоныч мрачен.

13.XI.1969

Миша позвонил мне, просил срочно приехать. В комнате у Кондратовича я застал всех в сборе, запершимися на ключ. Передавали из рук в руки новое письмо Солженицына. У Трифоныча глаза белые — от ярости и обиды. Это катастрофа — «больное общество», «пока вы носитесь с классовой борьбой...», «вас затопит льдами Антарктиды», смешная защита Копелева и Лидии Корнеевны. Миша опрометчиво передал записку, адресованную ему и мне, — Александру Трифоновичу. В записке — просьба понять его, не сердиться, успокоить Александра Трифоновича и какие-то сумасшедшие надежды «переменить воздух». Это — бунт. Трифоныч

[1] Статья Д. Лихачева «Будущее литературы как предмет изучения (Заметки и размышления) в № 9 за 1969 г.

в отчаянии и клеймит его за неблагородство. Ни слова не сказал вчера, все берет на себя, ни в чем не советуется и все губит. Для нас «концы» и для него — вот первое впечатление. Трифоныч хотел тут же звонить Воронкову, извещать его о письме. Я держал его за руку, боясь, что сгоряча он наделает бед. Коварство Воронкова известно, и он легко сможет осрамить Александра Трифоновича. Пробовали найти Исаича, он как сквозь землю провалился. Хотели остановить его, если письмо не разослано. Разослано. Веронике[1] Трифоныч с пылу сказал по телефону: «Это предательство». «А разве там сказана неправда, Александр Трифонович?» «Нет». Час спустя он говорил мне: «Может, я зря сказанул насчет предательства». Трифоныч снова порывался куда-то звонить, но я уговорил его ехать в деревню: утро вечера мудренее.

Рассказывают: Гранин один на Секретариате РСФСР голосовал против исключения Исаича. Ходят слухи, что Каверин переслал билет в Союз (я позвонил ему, спросил осторожно — это неверно). Можаев, Тендряков, Антонов, Трифонов, Максимов, Войнович, Окуджава ходили к Воронкову и требовали собрать Пленум или собрание и дать высказаться не согласным с исключением Исаича.

Вечером — Рой. Уже видел письмо, читал его. Считает, что Исаич деспот в своем окружении, которое тоже на него скверно действует, подзуживает — «ты гений, ты вправе им ответить» и пр. Черт бы подрал всех этих тщеславных Штейнов! Сколько вреда от балаболок и вспышкопускателей. Ведь погубят, погубят ни за понюшку табаку великого писателя. Заигрались. Сам Исаич тоже стал индюком порядочным — никого не видит, не слышит, кроме себя, и считает себя вправе действовать в одиночку, чтобы все подлаживались к нему. И жалко его бесконечно, и противно, и обидно. Главное — обидно, неумно как-то все получается.

Его диктаторство в своем кружке — смотрит на часы, дает поручения — рассылает всех по своим делам. Может

[1] Вероника Туркина — сестра первой жены Солженицына, Натальи Алексеевны Решетовской. Ее муж — Юрий Штейн. См.: «Новый мир» во времена Хрущева. М., 1991. С. 81–82.

ни за что обидеть человека — «выполнили то, что я просил? Остальное мне неинтересно». При такой великости — и такая малость.

<...>

ПОПУТНОЕ

Вот текст Открытого письма Солженицына от 12 ноября 1969 года Секретариату Союза писателей РСФСР:

«Бесстыдно попирая свой собственный устав, вы исключили меня заочно, пожарным порядком, даже не послав мне вызывной телеграммы, даже не дав нужных четырех часов — добраться из Рязани и присутствовать. Вы откровенно показали, что решение предшествовало «обсуждению». Опасались ли вы, что придется выделить мне десять минут на ответ? Я вынужден заменить их этим письмом.

Протрите циферблаты! — ваши часы отстали от века. Откиньте дорогие тяжелые занавеси! — вы даже не подозреваете, что на дворе уже рассветает. Это — не то глухое, мрачное, безысходное время, когда вот так же угодливо исключали Ахматову. И даже не то робкое, зябкое, когда с завываниями исключали Пастернака. Вам мало того позора? Вы хотите его сгустить? Но близок час: каждый из вас будет искать, как выскрести свою подпись под сегодняшней резолюцией.

Слепые поводыри слепых! Вы даже не замечаете, что бредете в сторону, противоположную той, которую объявили. В эту кризисную пору нашему тяжело больному обществу вы неспособны предложить ничего конструктивного, ничего доброго, а только свою ненависть-бдительность, а только «держать и не пущать»!

Расползаются ваши дебелые статьи, вяло шевелится ваше безмыслие, — а аргументов нет, есть только голосование и администрация. Оттого-то на знаменитое письмо Лидии Чуковской, гордость русской публицистики, не осмелился ответить ни Шолохов, ни все вы, вместе взятые. А готовятся на нее административные клещи: как посмела она допустить, что неизданную книгу ее читают? Раз *инстанции* решили тебя не печатать — задавись, удушись, не существуй! никому не давать читать!

Подгоняют под исключение и Льва Копелева — фронтовика, уже отсидевшего десять лет безвинно, — теперь же виновного в том, что заступается за гонимых, что разгласил священный тайный разговор с влиятельным лицом, нарушил *тайну кабинета*. А зачем ведете вы такие разговоры, которые надо скрывать от народа? А не нам ли было пятьдесят лет назад обещано, что никогда не будет больше тайной дипломатии, тайных переговоров, тайных непонятных назначений и перемещений, что массы будут обо всем знать и судить *открыто*?

«Враги услышат» — вот ваша отговорка, вечные и постоянные «враги» — удобная основа ваших должностей и вашего существования. Как будто не было врагов, когда обещалась немедленная открытость. Да что бы вы делали без «врагов»? Да вы б и жить уже не могли без «врагов», вашей бесплодной атмосферой стала *ненависть*, ненависть, не уступающая расовой. Но так теряется ощущение цельного и единого человечества — и ускоряется его гибель. Да растопись завтра только льды одной Антарктики — и все мы превратимся в тонущее человечество — и кому вы тогда будете тыкать в нос «классовую» борьбу»? Уж не говорю — когда остатки двуногих будут бродить по радиоактивной Земле и умирать.

Все-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим, — это человечество. А человечество отделилось от животного мира *мыслью* и *речью*. И они естественно должны быть *свободными*. А если их сковать, — мы возвращаемся в животных.

Гласность, честная и полная *гласность* — вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности, — тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству гласности, — тот не хочет очистить его от болезней, а загнать их внутрь, чтоб они гнили там».

«Слово пробивает себе дорогу. Сборник статей и документов об А. И. Солженицыне. 1962–1974».

Составили Владимир Глоцер и Елена Чуковская.

Изд-во «Русский путь». М. 1998. С. 396–397.

21.XI.1969

Заходил Кузькин-Можаев. «Обнажил пупок Исаич». Подтвердил, что его подталкивают Штейн и К°. Можаев думает, что толчком к исключению Солженицына были слухи о завещании Чуковского. Люшу[1] вызывали в некое учреждение по наследным правам, где четверо мужчин допытывались, кому именно велел помогать Чуковский. Она сказала, что это семейные тайны, деньги оставлены ей, а она уж знает, кого он имел в виду.

Продолжают вызывать заступников Солженицына. Бакланова — в отдел, Булата — в райком. Говорят при этом, что остальные уже признали свою ошибку. Стращают письмом Солженицына, но не выпускают его из папки, только говорят о нем, как о дьявольским писании, на которое православным и смотреть грешно.

23.XI.1969

На «перевозочном средстве» (Н. Ильиной) ездили в Пахру. Первый денек подморозило, иней и солнце, а то все слякоть была.

Ходили с Александром Трифоновичем и Дементьевым по осеннему леску. Трифоныч вчера говорил с Воронковым. «Не отпирайтесь, вы мне звонили». «Да, я хотел познакомить вас с неким документом». «Каким? Не открытым ли письмом?» «Да». «К несчастью, я его знаю». «Почему же к несчастью?» «Потому что, хотя я не могу изменить своего отношения к написанному Солженицыным, это письмо я решительно отвергаю». Не знаю, что еще наговорил Трифоныч, но Воронков радостно подхватил, что письмо «анти» и т. п., что он рад партийной позиции Трифоныча. А Трифоныча все это мучит.

24.XI.1969

Без перемен. Говорил с Еленой Сергеевной. Она считает, что у Исаича последнее время — mania grandiosa[2]. Беда в том, что думает об одном себе. А может случиться, что он-то выживет, а Трифоныч — погибнет. Вот где ужас.

[1] Люша — Елена Цезаревна, внучка К. И. Чуковского.

[2] Мания величия (лат.).

25.XI.1969

Принесли письмо от Солженицына — Александру Трифоновичу. Исаич болел гриппом, теперь, говорят, нигде не показывается. Письмо Миша открыл (посланный так и передал, что мне или ему). Когда я пришел и Алеша уже прочитал и впал в транс: новое ужасное письмо. Прочел и я. Письмо показалось мне искренней попыткой объясниться. Исаич пишет, что он человек *другой* эпохи, человек лагеря и на многое смотрит иначе. Повторяет, что должен ответить ударом на удар. Говорит, что когда был в редакции, текста у него еще не было, а потом *инстинкт* ему де подсказал, и письмо складывалось 11-го. Говорит, что помочь ему нельзя, что он решенный человек, что за ним из редакции увязались двое, и это *твердо*, так что едва от них отделался и т. п. Письмо человека загнанного, затравленного, но и уверенного в своем до фанатизма. Он говорит, что Трифоныч ему бы отсоветовал бы пускать по рукам и «Корпус» и «Круг» — а верно ли это? В свою непогрешимость он верит, и сам несчастный, слепой — рассуждает о счастье освобождения, возможности сказать все — не чувствуя, что он уже под копытами коня. Словом, письмо-разрыв, письмо-объяснение и письмо-прощание. Его дружеский, сердечный характер только резче обозначает несогласие в существе. Сейчас он готов идти до конца, не ведая, какие еще предстоят муки.

К вечеру стало известно о статье, которая появится завтра в «Литературной газете».

26.XI.1969

Статья в «Литературной газете». Уже произведения Солженицына названы антисоветскими, уже не стесняясь, ему говорят, что он пытается «выдать себя за жертву несправедливости». В эти как раз дни 7 лет назад был его триумф. Его загоняли в угол планомерно и постепенно. А он, огрызаясь и отбиваясь, становился все озлобленнее и высокомернее. Главное в статье — приглашение уехать за границу. Булгаков просил об этом как о милости, Солженицыну этим же грозят. Что это — провокационный ход — или в самом деле попытка отделаться от него? Все обратили внимание, что в

статье даже с фактической стороны — вранье громоздится на вранье. Письмо отправлено 12-го, а газета пишет 14-го, чтобы эффектнее сопоставить с появлением письма в «Нью-Йорк Таймс» — 15-го. Ну, да что уж там... Дело ясное. «Лубянские пассажи», — как говорит Ира Дементьева[1].

Алеша занемог. Мы с Мишей отправились в Пахру. Александр Трифонович не пьет уже, но с утра лежит в постели, ослабевший, ничего не ест, без сил совсем. Вышел к нам — вялый, печальный. Вчера Воронков прислал с курьером под вечер газету и письмо, просил дать письменный ответ в любой форме. Трифоныч выходил из дому, встретил посланца в саду — и что говорил, непонятно. Письмо же Воронкова следующее (написано от руки, на конверте — «только лично» и с просьбой порвать) — приведены слова, которые Воронков записал сразу после разговора по телефону с Александром Трифоновичем, слова такие примерно: «Это вопрос политический и тут не может быть двух мнений. Не меняя оценки Солженицына как писателя, я решительно отвергаю его позицию, направленную против партии, государства и моей лично». Далее Воронков спрашивает, верно ли он записал эти слова, и просит их письменно подтвердить. «Мы гордимся Вами, Вашей принципиальностью...» — и что-то еще в этом роде. Сообщает, что Федин, Леонов, Марков, Полевой и другие члены Секретариата уже решительно осудили письмо Солженицына — теперь де нужно закрепить свое отношение в письменной форме.

Трифоныч растерян, а слабость физическая не дает ему собраться и сообразить, как себя вести. Первый его вопрос, когда он прочел письмо Солженицына, был: «Надо ли его посылать Воронкову?» Сумятица в мозгу страшная — и обида на Солженицына, и досада, что все валится, и смутное сознание, что ловцы душ наготове. Я его умолял только не спешить, не делать ложного шага. То, что журнал погибает — неделей раньше, неделей позже, — это ясно. Но надо избежать срама, который перечеркнет все, что сделано. Тут нужна железная выдержка. Его не спрашивали, когда ис-

---

[1] Ирина Александровна Дементьева, дочь А. Г. Дементьева, журналист в «Известиях».

ключали Солженицына, а теперь им нужна подпись под его осуждением. Было бы ужасно, если бы он запутался в этой воронковской сети. Ведь видно, видно невооруженным глазом, как они ее на него набрасывают. И ведь все равно его погубят, выкрутят руки и Трифонычу и нам всем, только прежде еще хотят осрамить и обесславить. Сидели долго за столом, говорили, пили чай. Трифоныч больше молчал, обхватив голову руками. Я хотел, чтобы он посмотрел на дело шире, с какой-то дистанции и напомнил раскол «Современника» с Толстым, Тургеневым. Кто прав, кто виноват? Со временем становится ясно, что дело сложнее, чем казалось в ту пору. И оставаясь на стороне Щедрина, я признаю в чем-то и правоту Достоевского, который спорил с ним. Но ведь здесь к тому же примешан Воронков и то, что за ним стоит.

Трифоныч просил, несколько раз повторив, хотя это не было нужно: «Приезжайте, пожалуйста, завтра. Надо все еще раз обдумать».

Теперь новая версия исключения Солженицына. Говорят, Нобелевский литературный комитет проголосовал за присуждение ему премии. Шведская же академия при окончательном голосовании переменила кандидата. Во-первых, слишком много де лауреатов русских. Во-вторых, не было бы ему от этого плохо в России. У нас же ждали и, как только выяснилось, что не дают, решили забить его до конца.

27.XI.1969

Вчера Васильев в Московском отделении уже как будто провел актив с выкриками: «Долой предателя», «пусть убирается» и т. п.

На днях у нас должно быть отчетное собрание. Требуют написанный доклад — в райком, волнение чрезмерное и вокруг дня, когда будет собрание. Не попытаются ли пристегнуть «дело Солженицына»?

Втроем ездили к Александру Трифоновичу. Он еще слаб, но сказал, что принял решение — уходить. Я не возражал ему даже. Конечно, придется теперь уходить, пока нас преж-

де не убрали. Но спешить и здесь не надо. Дни, может быть, неделю-другую надо еще выждать.

События с Солженицыным этим не кончатся. Наверняка ведь он строчит какое-то письмо в ответ на последнюю «Литературную газету». И надо ему решать, как быть — если требование, чтобы он покинул страну — всерьез.

Я Трифонычу еще раз очень настойчиво говорил, чтобы он ничего не писал Воронкову, сейчас каждый шаг по заминированному полю.

28.XI.1969

В редакцию заходят, спрашивают: верно ли, что Твардовский написал письмо, в котором отрекается от Солженицына. Были Вознесенский, Можаев. Слух пошел оттого, что Воронков, видимо, читал запись телефонного разговора с Александром Трифоновичем на активе.

Исаич болел гриппом, и вообще все его хвори взбунтовались, но, кажется, теперь здоров. Говорит: «они хотят, чтобы я из своего дома ехал в Англию или Америку, нет уж, пусть-ка они из моего дома едут в Китай».

Очень доволен тем, что его письмо так широко цитировано в «Литературной газете». Думает, что молодежи это будет интересно. Говорит еще, что его насильственно оторвали от его занятий исторической темой и повернули к современности (так бы он еще 3-4 года тихо просидел за работой). В Союз советских писателей его не возвратят, *да и не надо*. А он спокойно возвращается к своей работе. Может быть, он их и пересидит?

30.XI.1969

Наталья (Ильина. — *С. К.-Л.*) рассказала, что Исаич показал свое письмо Твардовскому — Чуковским. Это уже неблагородно. Ему все же неймется показать свое превосходство, и он не стесняется кинуть на Трифоныча какую-то тень.

2.XII.1969

<...> Трифоныч — желтый и болезненный, заезжал в редакцию, а отсюда нанес визит Воронкову. Воронков хотел об-

радовать его: «Знаете, как все довольны были наверху вашим заявлением. Узнаем Твардовского». «Вы думаете меня этим обрадовать?» — спросил Трифоныч. «Но ведь я сказал — «к сожалению». «Солженицына жали, жали и дожали, так что он потек, а как потек — возликовали». Воронков снова предлагал Александру Трифоновичу переходить работать в Союз писателей.

Потом Александр Трифонович, приехав, говорил со мной, странно устроившись на креслах в коридоре. С. С. Смирнов принес пародию на Кочетова, думал повеселить, а Трифоныч спросил мрачно: а про Солженицына у тебя не написано? Мне рассказал, что вчера темным вечером, света не было, гулял с Симоновым по дорожкам Пахры и говорил ему: ты что все ухмыляешься, думаешь, тебя не коснется? Это роковое событие для всего Союза Писателей. Ну что ты будешь делать? Писать? А зачем? И где, между прочим, печатать? И начал катать его, как котенка. Симонов помрачнел и сказал: «Если всерьез, то я, может быть, смотрю еще безнадежнее, чем ты».

Настроение Трифоныча, как я и ждал, резко изменилось в пользу Солженицына. «Борьба с талантом — безнадежное дело», — говорил он сегодня.

Я поздравлял сегодня Гронского[1] на юбилее в «Известиях». Прочел две цитаты из его речей 32 года. Гнедин[2] сказал мне: «Когда вы вышли — наступила мертвая тишина, и я видел, как разевались пасти, чтобы вас проглотить». Я и сам это чувствовал — и как всегда после таких «публичностей» — огорчение, недовольство самим собой.

4.XII.1969

Мишу вызывали к Пирогову. Я предчувствовал и боялся этого вызова. Дело в том, что в Ленинграде уже провели собрание с осуждением Солженицына. Есть опасение, что и

---

[1] Гронский Иван Михайлович, журналист, критик, главный редактор «Известий» (1928–1934) и «Нового мира» (1935–1937). В 1930-е годы был репрессирован.

[2] Гнедин Евгений Александрович, дипломат, журналист.

дальше будут практиковать это старое правило — каждый должен расписаться кровью, — проголосовать, выступить и заклеймить. В таком случае нам конец. Если задумали использовать для этого наше партсобрание — тут и будет окончательный расчет.

Но все пока обошлось благополучно. Беседа была мирная и касалась лишь вопроса о секретаре: не хотят они менять Мишу на Виноградова[1].

Трифоныч приехал — его, видно, мучает бездействие, и он обдумывает, не написать ли письмо по поводу Исаича. Вчера перечитал «Ивана Денисовича» и вспоминал, как впервые прочел его, и пошел читать на кухню второй раз — вслух, Марии Илларионовне. Она мыла посуду, но скоро бросила, не могла. Потом месяцы борьбы за эту вещь — и звонок В. С. Лебедева, что Никита Сергеевич слушал чтение и на 3-й день остановил все дела, чтобы дослушать повесть. Трифоныч говорит, что плакал с телефонной трубкой в руках. И теперь перечитал придирчиво, абзац за абзацем. Никаких пустот, написано сжато, как скрученная и мелко исписанная арестантская записка. «Но я сделал открытие, хотя, может быть, вы меня осудите. Это вещь «анти» — с <нрзб.> тех, кто сейчас гонит Солженицына». 2 мира: лагерь и охрана, и он до конца и навсегда лагерный человек.

8.XII.1969

Трифоныч занят архивом. У него, по его словам, около 100 писем Исаича. «Подобрал их, сложил в одну папку — и как покойника вынес».

Притча: «А вы откуда? Из Тьмутаракани. Вот где отдыхать хорошо!»

9.XII.1969

Собрание, приехал секретарь райкома Пирогов. По его настоянию Миша оставлен еще на один срок. Вел себя тихо и благожелательно. Говорил, что 420 организаций в районе, 47 тысяч коммунистов, а он вот к нам приехал (утром

[1] Виноградов Игорь Иванович, член редколлегии «Нового мира».

был на партсобрании в районном КГБ, там 11 человек вся организация).

Трифоныч, который не умеет лгать даже в чрезвычайных обстоятельствах, устало и трудно говорил о письмах читателей.

Мы боялись Пирогова, не будет ли он нас приводить к присяге, заставлять расписываться кровью в связи с делом Солженицына, ну а он, кажется, боялся нас. И все были счастливы, что обошлось без эксцессов.

13.XII.1969

<...> На совещании Марков сказал несколько слов о Солженицыне, похвалил Рязанскую организацию — «небольшую, но зрелую», в отличие от Московской, видимо.

Михалков <...> соединил имена Солженицына и А. Кузнецова (его речь печатала «Московская правда»). Но дальше все затихло. О «Новом мире» никто не поминал. Демичев выступил в заключение как миротворец: ни имен, ни названий. Впрочем, сказал, что он согласен с Чингизом во всем, что тот говорил. Рассказывают, что некоторым «ультра», вроде Соболева, не дали слова, и они ходили красные, надутые. Считают, что Демичев впал в либерализм и т. п.

Иван Сергеевич[1] всем интересовался, особенно же Солженицыным. Лидии Ивановне в больнице стало хуже. Да и сам старик неважно себя чувствует. Тут как-то оступился на улице и упал в канаву, вырытую для газопровода, что ли. Прохожий его вытянул оттуда. «На старости лет открылось у меня новое зрение на людей. Людям приятно делать доброе. Москвичи бегут, подняв хвост. Но вот попросишь перевести через дорогу, он остановится, хвост опустит и с большой охотой переведет, нежно даже, предупредительно так».

<...>

Еще одна версия повода к исключению Исаича. Будто бы в свой последний приезд в Москву Гусак поставил этот вопрос

[1] Соколов-Микитов. Лидия Ивановна — его жена.

перед Брежневым. Солженицын — один из поводов, начавших «события» в Чехословакии. Он куда более радикально высказался, чем многие чешские писатели, — а ему ничего.

24.XII.1969

Рассказывают, что Воронков выступил в минувшую пятницу в ЦК комсомола. Говорил, что Солженицын материально вполне обеспечен, живет на доходы с заграничных изданий. «Разве у него такой костюм, как у меня? Вы бы посмотрели... 2 квартиры в Рязани, машина». Вот каково бесстыдство царедворца! Сказал, что с журналами Союз писателей будет разбираться в ближайшее время, в первую очередь с «Новым миром».

<...>

О речи Демичева на пленуме союзов говорят упорно, что была она еще накануне совсем иная — с выпадами грубыми против Солженицына и «Нового мира». Видно, где-то обсуждалась, и советовали не дразнить западных гусей. Оттуда сыпятся протесты — французы, в том числе Сартр, Арагон, Стиль даже, англичане во главе со Сноу, Пэн-клуб и т. п. забрасывают правительство телеграммами и письмами, грозят культурной блокадой. Конечно, нам бы это нипочем, но както вступать в новую свалку — ни к чему.

Трифоныч говорит: «Они хотели наказать его (Солженицына) исключением из Союза, а наказали мировой славой».

25.XII.1969

<...> Рассказывают, что на концерте, где исполнялась 14-я симфония Шостаковича, был Исаич. Публика окружила его в антракте, он раздавал автографы. Легенда прибавляет, что ему устроили овацию.

28.XII.1969

Забегал под вечер Пал Фехер. Он на 3 дня в Москве. Только что был в Словакии. Со слов Лацо Новомесского говорит, что Г. очень огорчен делом Солженицына, едва не до слез. Что это — лицемерие или правда, и слухи не верны?

На приеме в Октябрьскую годовщину в советском посольстве был Лукач. Его доставил В. Воронцов. Кадар 1 ½ часа с ним говорил наедине — это произвело сильное впечатление на присутствовавших.

30.XII.1969

Приходила Люша «по поручению» Солженицына — за письмами. Александр Трифонович ее выставил, и был прав.

Волновался Александр Трифонович и по поводу перевода на 1200 рублей, присланного ему какой-то старушкой. Старушка решила сделать его своим душеприказчиком — и велела отправлять Исаичу деньги.

9.1.1970

<...> Получили письмо от Александра Исаевича. Отдам его Александру Трифоновичу и решил переписать:

«Александру Трифоновичу, Владимиру Яковлевичу, Михаилу Николаевичу, Игорю Ивановичу, Александру Моисеевичу...[1]

Дорогие новомирцы! Спасибо за постоянную память, за поздравление! С опозданием (с сука на сук, а все недосуг! никому не писал) поздравляю и вас — да не с новым годом, а с новым Десятилетием, как все согласились считать несколько вопреки математике. Уверен, что в новом Десятилетии «Новый мир» не только выживет, но привольно расцветет!

Всем перечисленным и неперечисленным крепко жму руки! Ваш Солженицын. 4.1.70.

Дорогой Александр Трифонович! За что же Вы лишили меня возможности хоть под Новый год прочесть свои «Именинные» поздравления»?

25.I.1970

Вчера были у нас Каверины[2], сидели до 11 часов, пили глинтвейн. Каверин воодушевлен каким-то слухом о том, что

---

[1] Солженицын перечисляет имена и отчества Твардовского, Лакшина, Хитрова, Виноградова, Марьямова.

[2] Каверин Вениамин Александрович и его жена Лидия Николаевна Тынянова, писательница.

Яковлев[1] из ЦК будто бы разбранил Кочетова и осторожно отозвался о Солженицыне — писатели де несогласны с его исключением, и мы принимаем это в расчет.

Сегодня поехали за город на лыжах — потеряли друг друга по дороге, потом долго шли от Нахабина к Опалихе по лесу. Я переходил ногу и теперь еле двигаюсь.

27.I.1970

<...>

Был в гостях у Розы Львовны Гинзбург, где встретил, между прочим, физиков — Капицу[2] и Арцимовича[3]. Разговор оживился, как только коснулись литературы, все читают повесть Натальи Баранской[4] и говорят о ней. Спор о том, литература ли это. Я сказал: «Может быть, и не литература, но важнее литературы». Капица рассказал о своей речи в Колумбийском университете и как он там отшутился, когда его спросили, почему в России сажают писателей. Разговор о семейной переписке обычных людей — дед Анны Алексеевны — жены Капицы сменил Толстого на батарее в Севастополе — и пишет: «был до меня здесь граф Толстой, солдаты говорят — матерщинник. Нас тоже. Учил нас вместо еб... мать говорить: елки-палки».

Общий интерес к Солженицыну, разговоры о кочетовском романе[5]. Капица был мил мне в своей байковой рубашке в клетку, курточке с авторучками и синим галстуком — доброжелателен, прост. Арцимович — тоже любопытен, но с административной хваткой. <...>

[1] Александр Николаевич Яковлев, зам. зав. Отдела пропаганды ЦК КПСС. Именно он подписал документы о разгоне «Нового мира».

[2] Капица Петр Леонидович, физик, академик, лауреат Нобелевской премии (1978).

[3] Арцимович Лев Андреевич, физик, академик.

[4] Повесть Натальи Владимировны Баранской «Неделя как неделя» была опубликована в № 11 за 1969 г. и имела шумный успех.

[5] Всеволод Анисимович Кочетов, главный редактор «Октября» (1961–1973). Роман «Чего же ты хочешь?».

29.I.1970

<...>

Можаев живописно показывает людей — «брови» или «борода»[1] — или Абрамов, почесывающий живот — одним штрихом — готовый портрет.

Вспомнил Солженицына. Он живет у Ростроповича, и того вызывали к Демичеву. Он с порога: если о Солженицыне, то предупреждаю, он у меня будет жить, сколько захочет. Все ругают Ростроповича, а Можаев хорошо говорит о нем — отчаянный малый. Рассказывают о нем анекдот: «Вас не пустят за границу». «Очень рад. Пусть Фурцева[2] едет туда играть на виолончели». Вспомнили о Яшине[3], и Можаев рассказал, как они с Солженицыным ездили к нему в больницу. Приехали неудачно. Злата сказала: очень ждал вас — и уснул. Подождите внизу. Солженицын стал на часы глядеть. Решили минут через 40 написать записку и уйти. Солженицын говорит: «Не знаю, что писать», — и написал что-то вроде: «Понимаю, как вам тяжко. Я тоже был на дне этого колодца и не знаю, как выбрался» и т. п. Тут дверь раскрылась. Злата говорит: скончался. Исаич перекрестился широко. Они вошли в палату, минут 10 постояли у кровати и ушли.

2.II.1970

<...>

К концу дня Трифоныч был у Воронкова и Федина. Федин сел с ним в сторонке и увещевал едва не шепотом: «Нельзя, Александр Трифонович, противопоставлять себя коллективу». «В первые годы революции нам бывало еще труднее, но мы давали отпор...» Неприлично как-то от старика это слышать. А Воронков: «Вам надо дать по зубам Западу».

---

[1] Брежнева звали «брови» (или просто показывали на них), Солженицына — «борода».

[2] Фурцева Екатерина Алексеевна (1910–1974), с 1956 г. секретарь ЦК КПСС, с 1960 г. министр культуры СССР.

[3] Яшин (Попов) Александр Яковлевич (1913–1968), писатель, поэт, автор знаменитых «Рычагов» (1956), «Вологодской свадьбы» («Новый мир», 1962, № 12). Злата — его жена.

KOMES[1] заявил протест с угрозой исключить нашу секцию, если советские писатели не выскажутся в деле Солженицына. Завтра это среди других вопросов будет на Секретариате. «Я уж выступать по этому поводу не буду, скажу только, что я был и остаюсь противником исключения Солженицына из Союза писателей — но Вигорелли защищать не стану, бог с ним. Откажусь от вице-президентства, как они требуют».

<...>

10.II.1970

<...>

В редакции суматошно, полно народу, авторы толпятся в коридорах, ходят из комнаты в комнату, собираются кружками, гудят. Трудно сознать сразу, что происходит, похороны и что-то от праздника.

Были сегодня Бек, Можаев, Рыбаков, Евтушенко, Владимов, Солженицын, Симонов.

Исаич сидел полчаса с Трифонычем наедине, мы с ним повстречались в коридоре, у комнаты «прозы» — поцеловались. «Ну, как?» Я вспомнил слова с надгробной плиты Кинга[2]: «Свободен наконец, свободен наконец, слава Богу всемогущему — свободен наконец...» Исаич в каком-то обычном теперь у него возбуждении, с эйфорическими улыбками говорил о том, что все устроится, когда я-то знаю, что вернее всего — все погибло, и не на один год. Рассказал какую-то чушь, бибисейские анекдоты (Би-би-си. — *С. К.-Л.*), сам им посмеялся и побежал прочь, тряся бородой.

Никто как бы не сознает масштабы бедствия. Кораблекрушение произошло, мы за бортом, Трифонычу надо уходить с мостика, и только Миша, привязанный к мачте, остается.

<...>

---

[1] KOMES — Комитет Европейского сообщества писателей.

[2] Кинг Мартин Лютер, общественный деятель, борец за гражданские права негров в США, в 1964 г. стал лауреатом Нобелевской премии мира, в 1968 г. убит.

12.II.1970

<...>

О Твардовском говорят: «Мы найдем способ заставить его работать».

Рассказывают, что вчера или позавчера новая редколлегия была принята Демичевым. Он бранил на все корки роман Владимова[1] и повесть Баранской.

Косолапов, которого молва называет новым главным редактором, уже успел выступить в Гослите с обличением критики, которая процветала в «бывшем» «Новом мире» и имела фельетонно-зубоскальский характер (называл Рассадина[2]).

Когда я пришел, в кабинете Трифоныча сидел Солженицын и договаривался, как ему получить рукопись, застрявшую у Александра Трифоновича. Потом он поднялся, оглядел стены и сказал: «Ну, надо попрощаться с этим кабинетом...» Расцеловался с Трифонычем, простился со мною и ушел.

Я вспомнил, как в первый раз знакомился с ним в старом здании... Можаев прибегал — теперь волнуется театром на Таганке.

<...>

16.II.1970. Понедельник.

Трифоныч раздражен неопределенностью, бесконечными оттяжками. «Боюсь, не дадут нам по-человечески проститься». Сначала мы задумывали собрать весь коллектив, и чтобы Трифоныч мог ко всем обратиться с речью, всех поблагодарить. Но каждодневное сидение в ожидании решения делает это смешным и ненужным. «Да и не любят у нас таких прощаний», — говорит Александр Трифонович.

Стало известно, что в «Литературной газете» дают завтра телеграмму Александра Трифоновича — Вигорелли с от-

---

[1] Роман Георгия Владимова «Три минуты молчания» («Новый мир», 1969, № 7–9).

[2] Рассадин Станислав Борисович, критик.

казом от вице-президентства, а рядом — похабную статью Грибачева о Европейском сообществе и Солженицыне. Информацию же об уходе Твардовского — задерживают.

Александр Трифонович, разъяренный, снова звонил Воронкову, кричал и угрожал «крайними мерами». «А что вы имеете в виду?» — со спокойным хамством поинтересовался Воронков. «И в самом деле, чем я могу им угрожать?» — рассмеялся, рассказывая об этом, Трифоныч.

И.Виноградов со ссылкой на источник рассказал, что разгон «Нового мира» был санкционирован Сусловым. Брежнев узнал об этом лишь из письма Александра Трифоновича, просил срочно навести справки — чье указание? — и, узнав, что Суслова[1], вынужден был отступиться. Там своя игра и свои расчеты, в которой мы фишки.

18.II.1970

Света приехала специально с работы, чтобы передать информацию, полученную от Эмилии. Это результат ее воскресных прогулок в пансионате с Альбертом Беляевым[2]. «Сверху давно торопили — снимать Твардовского. Сейчас давление усилилось — надо снять перед его юбилеем и торжественно его отпраздновать. Докладная записка отдела — не о журнале, журнал замечательный. Смысл докладной записки — публикация за рубежом поэмы[3] Твардовского, в этом обвинена редакция. Твардовский не виноват, виновато окружение... Мы их (снятых редакторов) приравняем к Солженицыну... Они попались, когда в 5.30 вечера к ним из Рязани звонил Солженицын, а в 6 утра весть о его исключении уже была передана BBC. Не доказательство ли прямой связи редакции с зарубежными деятелями?» Альберт для убедительности говорил, что сам видел квитанцию разговора Солженицына с Москвой. В его полицейской голове — это улика. Обо мне он говорил — «гениальный критик»

[1] Суслов Михаил Андреевич, секретарь ЦК КПСС по идеологии. Член Политбюро.

[2] Беляев Альберт Андреевич, зам. зав. Отдела культуры ЦК КПСС.

[3] Поэма «По праву памяти».

и проч., но главное зло. «Вы не знаете, был ли он близко знаком с Синявским?»

Даже если во всем этом 25% достоверности — это сенсационный поворот дела. Главное — докладная записка. Неужели это так — и они пошли на такую провокационную липу, чтобы нас удушить? И зачем Беляеву откровенничать с Эмилией? Может быть, они считают, что дело сделано и теперь пришла пора распространять слухи о преступной деятельности бывших редакторов «Нового мира» и подводить их к скамье подсудимых? Бляди! Досадую, что нам и в голову не приходил прежде такой оборот дела. Ведь Твардовский, отвлеченный спорами вокруг Большова, ни разу не спросил в упор, почему снимают нас 4-х[1]. Да и мы с Алешей растерялись у Воронкова, не потребовали как следует объяснений, не отказались от подачек в виде должностей с окладами, потому что думали — причины нашего увольнения очевидны, смешно обсуждать их с мелким чиновником, передающим чужие указания, если вопрос решен.

Но теперь понятны становятся некоторые недомолвки и неувязки. Решение Бюро Секретариата о Большове и редколлегии принято, как видно из протокола, вследствие обсуждения письма Твардовского Федину. Но письмо-то было о поэме! А в решении — о поэме ни полслова! Теперь понятен подтекст. При обсуждении говорилось: поэма Твардовского появилась за рубежом против воли автора. Но надо найти виновных. В Отделе культуры (ЦК КПСС. — *С. К.-Л.*) существует мнение, что поэма ушла из редакции. Пора укреплять редакцию и вывести ненадежных товарищей. Такова примерно была логика, а Трифоныч и все мы не понимали ее и действовали опрометчиво, о чем теперь могу только сожалеть.

28.II.1970

У Реформатских. Тимофеев-Ресовский[2]. Его рассказ о Лубянке, «коллоквиях» там. Не пытали (пытали на Матрос-

---

[1] Секретариат СП СССР освободил А. И. Кондратовича, В. Я. Лакшина, И. И. Виноградова, И. А. Саца от работы в журнале.

[2] Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович, биолог.

ской тишине), но на интеллигентного человека действует сильно нехватка сна. Днем спать нельзя. Ночью — с 11 до 7 — строго. В 11.15 — к следователю, и возвращение в камеру — без четверти семь. Следователь давал папиросы — по пачке. Разочарование в работе органов — ничего не знали. Студенты-математики, профессор-историк.

В Бутырках — тоже коллоквий — с Исаичем. Тимофеев читал курсы генетики и современной физики (принцип дополнительности и проч.).

В лагере (Карлаг?) ели кукурузные початки и миска баланды на день (стебли свеклы и верхние гнилые капустные листья в супе). Там «коллоквий» — 18 человек. Выжило — двое. Перед смертью священник читал лекцию за 3 дня — «О непостыдной смерти».

<...>

19.III.1970

Мне рассказали, что в узком кругу своих людей Мелентьева спросил кто-то: «А почему не доведено до конца дело с Солженицыным? Почему он не выслан?» Мелентьев ответил: «Подождем пока он опубликует за границей „Пир победителей“. Это не поздно будет сделать». И ведь отлично знают, как протестовал Солженицын против самого объявления об этой вещи, воровски у него изъятой.

30.III.1970

<...>

Никто на съезде[1] так и не сказал ни полслова ни о Солженицыне, ни о нас. Будто сомкнулись волны — и даже кругов на воде не видно.

Какой-то рязанец, кажется, Родин, подстерег Трифоныча у колонны и стал, будто исповедуясь и оправдываясь, объяснять, почему он проголосовал за исключение Солженицына, хотя и не хотел этого.

<...>

---

[1] 24 марта открылся III съезд писателей РСФСР.

1.IV.1970

Обедали с Шимоном в «Центральном». К концу обеда пришел А. Т., встречавшийся с Бёллем. Говорит, что Беллю будто бы предполагалось дать в этом году Нобелевскую премию, но он просил, чтобы ее получил Солженицын.

Трифоныч говорит, что съезд РСФСР ждал апелляции от Солженицына и будто бы она была бы удовлетворена. Сомнительно.

<...>

9.IV.1970

С утра неприятное, раздраженное письмо от Исаича[1]. Я сам виноват, доверительно говорил о нем с Р..., а они разнесли.

Днем встретился с А. Т. Он неожиданно утешил меня: «Да я сто раз говорил, что он стал надменен — не надо прощать нашим гениям такие выходки».

Относительно сплетен, идущих из редакции, о которых он уже слышал, А. Т. тоже рассудил по-своему: «Не принимайте близко к сердцу, это они Вам честь делают, если говорят, что из-за Вас «Новый мир» погиб». <...>

Солженицын написал мне уже первое свое письмо в той манере «либерального торквемадства», над которой так желчно смеялся Щедрин: «соблаговолите...» и проч.

Такое впечатление, что своим первым письмом он «задирался», набивался на ссору, как опытный дуэлянт. Может быть, второе письмо уже сидело в его голове, когда он писал прицепку — первое?

«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых...»[2]

23.IV.1970

<...>

Вечером — письмо от Исаича, полное раздражения и несправедливых нападок. Я заболел от этого письма.

[1] Письма В. Я. Лакшина к Солженицыну см. в этой книге.

[2] Псалтырь пророка Давида, псалом 1.

24.IV.1970

Весь день под впечатлением письма Солженицына. И это он, человек, о котором я писал и которого так любил всегда? Мелко, гадко — и все со слуха, из вторых рук, — какая-то истерика.

С А. Т. сидели вечером в «Будапеште». Он рассказал, что встретился с Лукониным[1] — Луконину предлагают заведовать поэзией в «Новом мире». «Если будут платить ставку — пойду, мне за машину надо выплачивать». — «А куда ты идешь, ты не подумал?» — «Нет, а что?»

Софья Ханановна принесла сегодня днем — копию письма Полевого — Косолапову. Редкий по цинизму документ. Подписывается: «Теперь Ваш». Говорили о письме Солженицына. А. Т. гневался и уверял меня, что сам ему напишет. «Вы его не знаете, а я его давно раскусил, этакий квасец. Ему надо давать отпор».

<...>

27.IV.1970

Отправил измучившее меня письмо Исаичу. Всё это ужасно, но есть и что-то доброе: случай изложить мое понимание того, что произошло в «Новом мире» последние месяцы. Конечно, не такой бы ценой — но это уже парадокс Винера. (В кибернетике: определил желание, не оговорив последствий.)[2]

3.V.1970

Сережа заболел свинкой, и никуда мы не поехали. Только стал поправляться, и настроение мое наладилось, мир воцарился в доме — новое письмо от Исаича — неприятнее старого. Теперь уже бранит журнал и мои статьи.

Верно сказал Трифоныч, напомнив стихи, переведенные Маршаком:

---

[1] Луконин Михаил Кузьмич, поэт, публицист.

[2] Винер Норберт, в труде «Кибернетика» сформулировал ее основные положения.

«Вскормил кукушку воробей,
Бездомного птенца,
А та возьми да и убей
Приемного отца...»

5.V.1970

Все время под впечатлением нового письма Солженицына. Пишу свое «послание Курбскому», не могу ни о чем думать другом, совсем заболеваю. Ужасно его неблагородство. Спор идет не на равных: «Он меня палкой, а я его ермолкой, он меня опять палкой, а я его опять ермолкой...»

Есть что-то жестокое, с ударом ниже пояса, в его самозащите. Тут вдруг проснулся в нем «урка». Я вспомнил, как Шаламов[1] описывает смертную вражду в лагере между «суками» и «ворами в законе». Ударом на удар.

6.V.1970

Мне 37 лет. Не хотелось никого звать, никого видеть. Но Света уговорила, собрались друзья — и попировали не худо.

Думаю: почему я так сильно переживаю эту нашу переписку с Солженицыным? Не только потому, что обидно его терять, но и потому еще, что он мог поставить под сомнение все, чем я жил. А жил я только журналом и своей работой, решительно отодвигая всё остальное. И тем ужаснее его агрессия.

Ильина хорошо сказала — 2-й №, вроде бы совсем как прежний, а читать не хочется. Синтетическая икра — подобна природной по цвету, вкусу и запаху — а не захочешь есть.

8.V.1970

<...>

Составил ответ Солженицыну и читал его Сацу и Кондратовичу. А. Т. — в нетях.

---

[1] Шаламов Варлам Тихонович, прозаик, поэт.

У А. И. (Солженицына. — *С. К.-Л.*) — смутные понятия об истории — и в странном противоречии с его нынешним настроением. Он одобряет *там* и *тогда* то, что осуждает *здесь* и *теперь.*

9.V.1970

Ездил к А. Т. в Пахру — и зря. Он совсем плох. Даже не смог прочесть письма Солженицына, которым интересовался. Говорит одно: «...и переменчивость друзей».

<...>

То, что случилось мне пережить, уйдя из «Нового мира», — ужасно. И в то же время я смутно чувствую, что есть и какая-то благая сила в этом горьком опыте жизни. Даже и переписка с Солженицыным, раз уж она случилась, не одно лишь несчастье для меня.

Чувствую себя в чем-то теперь — и мудрее, и крепче.

18-26.V.1970

Тоскливо проболел неделю дома, t° –40°, оказалась «свинка», которую я подхватил у Сергуши. Эта смешная детская болезнь изрядно вымотала меня. В пятницу стало совсем худо, боялись менингита, отвезли в больницу. Пролежал я там 5 дней в отдельном боксе и едва почувствовал себя лучше, начал есть — выпросился домой.

В больнице нянька говорит: «Боль никого не красит».

Во время болезни получил ответ Солженицына. Тон умеренный и на этот раз без «личностей», если не считать того, что статью о трилогии[1] он настырно толкует (несмотря на мои слова о том, что я не стану обсуждать с ним свои старые статьи) как оправдание индивидуального и массового террора! Оказывается, в 50 миллионах жертв Гулага повинны отчасти Чернышевский, а отчасти я! Так-так.

Мотяшов[2], ругательски ругая меня в «Москве», понял, кажется, эту статью лучше.

[1] «Посев и жатва» («Новый мир», 1968, № 9) — о трилогии в театре «Современник» (декабристы, народовольцы, большевики).

[2] Мотяшов Игорь Павлович, критик.

Я решил не отвечать А.И. или ответить позже большим письмом о «Вехах», кои он не устает пропагандировать.

Выздоравливая, я читал «Вехи», перечитал «дело» Чернышевского у Лемке, статьи Герцена 60-х годов — и нашел столько серьезнейших аргументов против А. И., что ни в каком письме не упишешь. Все-таки как он небрежничает с историей! И как научился спорить, *не отвечая, мимо* собеседника.

Характер полемики у А. И. похож на то, как спорили с Иваном Денисовичем, нагнетая фальшивый максимализм («почему не борется» в лагере и т. п.)

Из-за того, что Исаич затравлен и загнан в угол, он ищет ложные выходы: пытается идеализировать прежнюю нашу историю, мечется от экстремизма к религиозной пассивности и самоуглублению (иначе отчего ему молиться на «Вехи»?).

За эти годы им проделана, не без стараний со стороны «опекунов» литературы, заметная эволюция.

И в «Ив. Ден.», и в «Раковом корпусе» он еще социалист нравственного толка. Вопрос о насилии в «Круге» трактуется еще так: «Волкодав прав, а людоед — нет».

Но ныне он, кажется, далеко сполз с этой позиции, и я не могу винить в этом лишь его одного. Вспомнить, что с ним делали с 64 г., — волосы дыбом.

Зин. Гиппиус в стихотворении 14 декабря 1917 г. писала:

> Ночная стая рыщет, рыщет,
> Лед по Неве кровав и пьян...
> О, петля Николая чище,
> Чем пальцы серых обезьян.

Боюсь, что Исаич совсем рядом с этим настроением.

Он не видит своих противоречий: отрицая ненависть — сам ненавидит, сражаясь с узостью, сам у нее в плену. Он навязывает жесткий выбор из Чернышевского и Достоевско-

го, и, конечно, в пользу последнего, как прежде навязывали нам Чернышевского в качестве положительного антагониста Достоевскому.

Конечно, их трудно равнять, Достоевский — гений, но более широкая и разумная точка зрения состоит в том, чтобы через 100 лет уметь понять не только их рознь, но и общее на пути к будущему.

Удивительно, сколько налгали на Чернышевского. Исаич только повторяет общие места интеллигентских разговоров, подхлестнутых ныне чтением Бердяева и т. п.

А между тем достаточно заглянуть в судебное дело Чернышевского, чтобы понять — он не принадлежал к экстремистам «Молодой России» и «к топору» Русь не звал. Его осудили за литературную деятельность в «Современнике» с помощью грубых подлогов, а провокатор Костомаров, между прочим, усердно приписывал ему «топоры», которых, скорее всего, в помине не было. Наши историки обрадовались сделать Чернышевского главой революционной партии, некоего заговора, и утвердили ложь. Конечно, Чернышевский не остановился бы и перед революционным призывом в определенной ситуации, но делать его кровавым чудовищем — совершенно напрасно. (Это, между прочим, доказал и Плимак своей работой о переводе Шлоссера.)[1]

Боже, что пишет Герцен в «Письме Гарибальди» и др. статьях 63-64 гг. о благословенном времени александровских реформ!

Кровь, казни, репрессии, объятия с палачами! Нет, грешно идеализировать нашу страшную историю!

«Вехи» и «XX» съезд» в нашем споре — крупнее, шире того, что обозначено. XX съезд — символическое обо-

---

[1] Речь идет о статье Е. Г. Плимака «Чернышевский и Шлоссер», которую не пропустили в «Новом мире» в печать. Вошла в кн.: А. И. Володин, Ю. Ф. Карякин, Е. Г. Плимак. Чернышевский или Нечаев? М., 1976. («Рабочие тетради Александра Твардовского» — «Знамя», 2004, № 5, с. 163.).

значение попытки обновления социализма, раздавленного Сталиным. «Вехи» — путь религиозного самоуглубления, антиобщественная психология и идеология.

После XX съезда, как и после революции 1905 г., — духовный кризис в интеллигенции, вызванный разочарованием — поражением, откатом общественного движения. Значительная часть интеллигенции начинает сомневаться в каких-либо общественных ценностях вообще. Общественная заинтересованность, общественные идеалы — вызывают насмешку.

Возникает иллюзия, что куда более чистым и высоким занятием является личное усовершенствование, религиозное самоуглубление, эстетизм или хотя бы невинные «хобби», поглощающие досуг, вроде нумизматики, занятий фотографией или коллекционирования марок.

Все годится.

Исаич — исторический фаталист, когда думает, что Гулаг был с неизбежностью заложен в нашей революции. Конечно, свои социальные и исторические предпосылки тут были — почва крестьянской полуграмотной страны благоприятна для террора. Но не выбрала ли тут история — худший из возможных путей? Я не склонен все сводить к злой воле Сталина, но и Сталин не пустяк.

Значит, не Александр II, пославший Чернышевского на каторгу, готовил Гулаги, а сам Чернышевский, *сказавший* (а скорее всего, не говоривший) «к топору зовите Русь»? Значит, причиной беды — не царщина и татарщина, не аракчеевские поселения и III отделение — а революционные демократы и народовольцы? А если чуть продлить в духе «Вех» эту мысль (как она часто и продлялась) — и вся зараженная «либерализмом» и «нигилизмом» русская литература, вечно подстрекавшая к непокорству и мятежу.

Солженицыну хотелось бы, чтобы я кивал на цензуру — мол, иначе бы не пропустили, и взятки гладки. Не люблю я этого. Каждый, кто работал в литературе в эти

годы, знает, что такое стала наша цензура — это механический робот с железными челюстями, автоматически отбрасывающий все мало-мальски новое и свежее. Но мне всегда не нравились авторы, которые любой свой промах, слабину или трусость с готовностью объясняли все покрывающим «вмешательством цензуры». У него, бывало, одно слово тронут, а он ходит гоголем по всей Москве и объясняет каждому встречному, что его рассказ был еще сильнее и лучше, да цензура вымарала самые смелые места.

Такое тщеславное фанфаронство — нестерпимо своей пошлостью. Слов нет, цензурный орел клюет печень без устали, и все больнее, но хорош был бы Прометей, который, ликуя, сообщал бы всем направо и налево: «Еще кусочек отщипнул... Ой-ой, еще прекрасный кусочек выщипал...»

Когда-то, при скромном начале моих литературных занятий, и я на щедрые похвалы какой-нибудь моей статейке любил отвечать самодовольно: «Что вы, там такие цензурные потери... Если бы вы знали полный текст...» Давно я уже свободен от этого детского фанфаронства.

Начиная со статьи об «Ив. Ден.» (64 г.), мне приходилось идти под особым присмотром. А последнее время цензоры доверительно объясняли моим друзьям по редакции, что мои статьи они разрешать не вправе, хотя бы и с вымарками; их велено «докладывать» особо. Первыми моими читателями эти последние шесть лет были, помимо целого комитета, негласно обсуждавшего каждый № «Нового мира» в цензуре, и работники отделов культуры и пропаганды. Статьи проходили каким-то чудом, на самом краю, и у каждой почти есть своя история счастливой случайности появления. А. Т., как правило, не верил в их реальность — и обещал мне 50% утешных — за набор. Статьи проходили общипанные, иногда с одной-двумя неловко вставленными фразами, и все же я знал, что статьи МОИ, и не сомневался, что их полезно печатать.

Потому я и не люблю ссылаться на цензуру, что думаю: неужели в том печатном виде, в каком статья дошла до читателей, она бесполезна?

Исаич скверно читал «Посев и жатву»[1] и в запале. Он пытался, между прочим, убедить меня в том, что сам же вычитал в моей статье — и развенчание кровавого террора, и жатва, на какую не рассчитывали при посеве. Но прибавил к этому столько раздражения и тенденциозных крайностей, что досадно читать.

Исаич молится на «Вехи», не отдавая себе отчета, что этот путь — не для него. Его общественный темперамент требует иного, и он защищает «Вехи» средствами, в сущности, для них неприемлемыми.

Архангельская[2] рассказывает: Берзер хвастает всюду, что о каждом своем шаге советуется с Солженицыным. Это я и имел в виду, когда писал ему о «первом этаже», и, видно, в точку попал — он не стал отрицать.

25.VI.1970

<...>

Беляев говорит, что А. Т. «дурак, ему уже приготовили орден Ленина, а он поехал к этому сумасшедшему в Калугу»[3]. Вообще вопрос награды Александру Трифоновичу всех очень занимает. Ходили даже легенды, будто он ответил кому-то на подобное рассуждение: «В первый раз слышу, чтобы звание Героя давали за трусость».

Беляев насмешливо и противно говорил, что Трифоныч испугался, когда его вызвали, что руки у него дрожали и он оправдывался тем, что брат приехал и плакал — вот он и согласился протестовать. Не очень похоже на А. Т. ... Цель та же — скомпрометировать А. Т.

«Вообще Твардовский совсем по-другому говорит, когда он *у нас.* На него влияет Лакшин. Ведь он почти уж от-

[1] «Новый мир», 1968, № 9.

[2] Архангельская Ирина Павловна, сотрудница в «Новом мире».

[3] Твардовский ездил в Калугу к посаженному в сумасшедший дом Жоресу Медведеву и тем «сорвал» свой юбилей 21 июня (60 лет).

рекся от Солженицына, Воронков посылал к нему на дачу, а приехал Твардовский в Москву, и Лакшин его окрутил». Вот так представляется тов. Беляеву моя «роль в истории». Ну что ж.

1.VII.1970

<...> В истории с Солженицыным — Софья Ханановна прямо обвиняет Берзер — она хвасталась, что каждый свой шаг сверяет с Исаичем, который для нее морально безусловный авторитет. И сама жужжала ему в уши.

4.VIII.1970

<...>

Видел вчера балаболку Ю. Штейна. Он рассказал, что готовилась в «Лит. газ.» статья о высылке Солженицына и одновременно указ о лишении его гражданства. Будто бы тот считает, что «это неприятно, конечно, но трагедией для него не будет».

Держа меня за рукав и не выпуская, Штейн завел разговор о письмах... Честил на чем свет Берзер и Борисову[1], которые будто бы всегда подогревали вне редакции неприязнь ко мне. Согласился, что Исаич пел именно с *их* слов. Исаича очень волнует, что я могу кому-то показывать нашу переписку — видимо, он понял ее для себя невыгодность. Штейн, как видно, тоже подлил масла в огонь, раздувая сплетню, что я подробно пересказываю письма первым встречным и т. п.

Исаич сидит сейчас в своем лесном доме — один (и как может оставлять его одного Нат. Алекс.?), заканчивает «узел первый» своей романеи. Студенты рядом, на опушке разбили свою палатку — охраняют его.

Штейн в какой-то эйфории «внутренней свободы», психопатичен, не дает рта раскрыть и страшно горд своим новым амплуа. Какое несчастье, что он рядом с Солженицыным.

---

[1] Инна Петровна Борисова, редактор отдела прозы в «Новом мире».

«Он так погружен в свой 16-й год, — говорит Штейн, — что все в нынешней жизни выглядит для него как-то иначе». Чувствую в самом многословии Штейна, его попытках полуоправдываться, полунападать — нечистую совесть.

6.VIII.1970

Вечер у Ермолинских[1], как бы завещанный Ел. Серг. Было хорошо и печально. С. А. читал свой «Сон». О Ел. Серг.: всю жизнь менялась, росла — потому что обладала талантом восприимчивости. Когда-то, в 20-е годы — была подругой Любы, весельчаком, звали ее Боцман — и она прыгала, лазила под стол — веселая, живая.

То, что она говорила об отношении Булгакова к Сталину, это ее восприятие, Булгаков с ней об этом не говорил, утверждает С. А. Он говорил об этом иначе, когда приходил с колбасой, которую резал на газете, и поллитром в кармане.

<...>

31.VIII.1970

<...> Думал (в связи с Солженицыным): бороться с талантом — все равно что пытаться поймать солнечный луч шляпой. Ты накрыл его — **а он уже наверху.**

<...>

17.X.1970

Ужас, мука. Не знаю, как и записывать то, что случилось. А записать надо.

---

[1] Ермолинский Сергей Александрович, драматург, писатель, его жена Татьяна Александровна Луговская, сестра поэта Владимира Луговского, художница. Сомнительно, чтобы Булгаков приходил к своему молодому другу с «поллитром и колбасой», чтобы ругать Сталина. Иногда С. А. фанфаронил в своих рассказах. Ел. Серг. Булгакова умерла 19 июля. Люба — 2-я жена Булгакова, Л. Е. Белосельская-Белозерская.

3-го мы со Светой поехали на 12 дней в Пахру. Долго нынешний год колебались, как быть с отпуском, тянули. Когда заболел Трифоныч, я уже твердо понял — в Ялту ехать нельзя. Последние известия об А. Т. были сравнительно неплохие, врачи говорили о длительном периоде постепенного его выздоровления — и я уехал в Пахру, успокоенный хоть отчасти, что хуже не будет. Из Пахры каждый день звонил Оле в Москву — известия были все те же — чуть лучше, чуть хуже.

В Пахре впервые за много лет видел полную осень — все пожелтело враз, простояло неделю — и осыпалось. Дурные предчувствия — и, как нарочно, и синица влетела в комнату, и зеркало разбилось. Там же прочел о Нобелевской премии Солженицыну[1]. Счастливая судьба. И какой несчастный сейчас в сравнении с ним наш А. Т., думал я, но не знал еще всего.

14-го вечером не мог никак дозвониться на квартиру А. Т. (Бросился к телефону, не распаковав чемодана) — накануне, когда я говорил с Володей (зятем) из Пахры, он сказал что-то невнятное насчет легких — там де главная опасность.

В 10-м часу трубку подняла Ольга и стала плакать в телефон. Сказала: «Самое страшное — рак легких с метастазами в мозгу».

<...>

18.X.1970

<...> М. Ил. рассказала, что в последний день на той неделе, когда он чувствовал себя худо — ему сказали, что Солженицын получил премию. Он обрадовался. Сказал М. Ил-не: «А ведь и нас вспомнят, как мы за него стояли. И мы — бо-

---

[1] Солженицын получил Нобелевскую премию по литературе за 1970 год. Статья «Недостойная игра. По поводу присуждения А. Солженицыну Нобелевской премии» была опубликована в «Известиях» 10 октября 1970 г. Там говорилось: «Приходится сожалеть, что Нобелевский комитет позволил вовлечь себя в недостойную игру ...продиктованную спекулятивными политическими соображениями».

гатыри». Читали ему статью «Недостойная игра» — его все это интересовало. «А я вот в нетях».

<...>

22.X.1970

<...>

Жизнь без Трифоныча кажется мне немыслимой — я привык, что он есть всегда — большой, умный и сильный друг. Все может рушиться, а он стоит и подпирает своды этой моей жизни. Теперь, проснувшись по утрам и вспомнив все случившееся несчастье, я в первые минуты испытываю сомнение — не скверный ли это сон — и вдруг все развеется, и Трифоныч будет здоров и ясен, как всегда... Если бы.

Живу, будто смотрю 4-й акт драмы, в которой сам я действующее лицо — погибающий Трифоныч и Солженицын, получивший премию и готовящийся к изгнанию.

2.XI.1970

<...>

Вероника звонила мне и сказала, что Исаич передает А. Т. свой запас иссык-кульского корня, в который он верит и который, будто бы, когда-то помог ему самому.

<...>

Рой был и рассказал о беде Солженицына. Он расходится с Н. А.[1] — собирается жениться на Светловой и мечтает о ребенке. Н. А. в безумии — пыталась отравиться, попала в больницу. Теперь подбирает старые письма Исаича, хочет удержать хотя бы прошлое. Все это ужасно, и в ином, более драматическом и личном плане, повторяет его историю с «Новым миром» и со мною. Он безжалостен ко всему, что кажется ему разнадобившимся. Но несчастье в том еще, что теперь он в ловушке, — у него есть, что отнять. А развод и все ему сопутствующее — лучшее средство убедить обывателя в его моральной несостоятельности. <...>

---

[1] Наталья Алексеевна Решетовская, первая жена Солженицына. Светлова Наталья Дмитриевна — вторая жена Солженицына.

23.XI.1970

<...>

Мелентьев[1] говорил в дружеской компании, подвыпив: «Пустили все-таки за границу этого антисоветчика». Он имел в виду Солженицына. Значит, все же он едет?

26.XI.1970

<...>

Рассказывают, что друзья отговаривают Солженицына ехать за премией, да он и сам колеблется. Выедешь, а впустят ли обратно? Копелев говорил, что читает его «Август», но как-то кисло: «Есть о чем поспорить».

Прошел слух, будто Федин ездил к Шолохову с поручением — уговорить его отказаться от премии в знак протеста против вручения ее Солженицыну. Вешенский старец же заявил, что готов как угодно высказаться против Исаича, но от премии не откажется. Еще бы!

30.XI.1970

<...> Видел Можаева[2]. Он рассказал, как весной спорил с Солженицыным, который показывал ему нашу переписку. Боря совестил его, а Солженицын, оправдываясь, говорил: «А что? А что? Надо ударить по либерализму». — «Так зачем ты не Трифонычу пишешь?» — «Ну так, я потом сам зайду к Лакшину, мы помиримся, а для истории останется».

Снова вспомнил все перегоревшее уже, и стало противно и тоскливо. Хорошенький гуманист, который при наших-то прежних отношениях видел во мне лишь мишень, удобный адрес для высказывания. Эх, эх, Исаич...

Рассказывают, что Солженицын написал письмо, в котором объясняет, почему он не поедет за премией, и выдвигает,

---

[1] Мелентьев Юрий Серафимович, зам. зав. Отделом культуры ЦК КПСС.

[2] Можаев Борис Андреевич, прозаик, сценарист.

как будто, четыре причины. Для серьезного объяснения достало бы и одной[1].

9.12.1970

<...>

Был у Ал. Тр-ча в Кунцево вместе с М. Ил. и Заксом[2]. Он сам накануне просил позвать нас. Застал я его по внешнему виду много лучше, чем 1 ½ месяца назад. Впечатление такое, что сил у него прибыло, нет прежней ужасающей бледности, худобы и слабости. Иногда повернет голову — совсем прежний Трифоныч. Но правая нога и рука — бестрепетны, а речь смутна.

Встретил он меня ласково, обнимал. Пока разговаривали, почти все время сидел на постели, правая рука беспомощно скрючена, как клешня. Хочет говорить сам («сам, сам!» — кричал он, сердясь на беспомощные подсказки М. Ил.). Спрашивал о 5-м томе, который Закс вычитывал в верстке, но чем-то все был недоволен. «Какое впечатление?» — допытывался у меня. Спросил о Солженицыне, с трудом найдя слово.

Вообще, не могу сказать, чтобы у него было лучше с речью. Сил больше — это так, но в голове прежний беспорядок. А душевно Трифоныч все тот же — добрый, приметливый, чуткий, деликатный. Улыбается шутке, но общий тон — печальный. Просидел у него около часа — и едва не расплакался обратной дорогой.

---

[1] В книге «Слово пробивает себе дорогу. Сборник статей и документов об А. И. Солженицыне. 1962–1974» (М. 1998) этого письма нет.

[2] Закс Борис Германович, с 1958 г. до декабря 1966 г. ответственный секретарь «Нового мира». Впоследствии эмигрировал в США (его жена Сарра Юрьевна Твердохлебова была матерью известного диссидента Андрея Твердохлебова), где общался с Солженицыным после того, как Вл. Як. написал свой ответ Солженицыну «Солженицын, Твардовский и «Новый мир» (1975, август). Угождая Солженицыну, уже в США написал клеветническую выдумку о Вл. Як. Умер в доме для престарелых, его жена скончалась несколькими годами позже. См.: Жорес Медведев, Рой Медведев. Солженицын и Сахаров. С. 136–137.

М. Ил. рассказала, что Исаич прислал ей (или А. Т.?) письмо, где подробно рассказывает, почему не поехал за премией, и приложил копию письма Нобелевскому комитету[1]. Все старается — «для истории».

10.12.1970

Был у меня Фед. Абрамов. Даровит, горяч в разговоре, но с мужичьим лукавством.

Лучше всего он — когда говорит о своем крестьянском прошлом, о семье, о матери. Был он самый младший, но с 6 лет возили на дальний покос, дали крохотную коску, заставляли приглядываться к ухваткам старших братьев. А он был так мал, что его то и дело теряли в высокой траве. Отца не было — а старшему брату — 14 лет, но выбились, потому что много работали, а потом стали их прижимать как середняков — мать разбил паралич, 8 лет пролежала. У Федора ненависть к «беднякам» — деревенским лентяям, которые были «бедняками» и к 29 г., то есть когда 12 лет уже земля была отдана крестьянам и давно можно было поставить хозяйство. «Мы наработаемся с 4-х–5-и часов утра — и к девяти едем завтракать, а наш вахлак — «бедняк», помыкавший нами, только еще глаза трет».

О Трифоныче Федор говорил хорошо, но Солженицына он не любит. «Кто он — Христос или Сатана?» Тут чувствуется и авторская зависть, и обида какая-то.

Я говорил ему, что как художник Солженицын действительно велик, никуда не денешься, но он не хотел с этим согласиться.

«Романы сырые... Сцены со Сталиным, Абакумовым — фельетон какой-то... А Спиридон — да это возмутительное отношение к народу»[2].

12.XII.1970

<...>

Вечером повез Абрамова к Ивану Сергеевичу.

---

[1] Этого письма также нет в сборнике «Слово пробивает себе дорогу».

[2] Речь идет о романе Солженицына «В круге первом».

Говорили о Солженицыне, Айтматове и проч.

Рассматривали картину Попкова — речка, дома, олени и люди, а на горизонте — голубые холмы — и говорили о нем. Иван Сергеевич вспомнил, как был у Тыко Вылки. Вылка до революции побывал в Петербурге и был принят Николаем[1]. После революции стал председателем Совета на Новой земле. Иван Сергеевич разглядывал икону в углу в серебряном окладе — лампадка горит, все чин чином. И вдруг замечает — да вместо святого там Калинин вставлен!

<...>

Абрамов снова бранил Солженицына, а я не соглашался с ним.

«Народа в деревне — нет, вообще нет народа, — рассуждал он. — А какие святые люди были, я еще застал, бабы особенно, настоящие коммунистки (если бы коммунизм был возможен у нас)».

«Только азиатская страна может позволить себе такую роскошь, как гражданская война».

Опыт жизни Абрамова — страшный опыт, и сам он оттого — путаный-перепутаный. Никогда не могу до конца верить в его искренность — что-то темноватое есть в нем, какое-то взвешивание выгод — мужицкая хитрость и темнотца — не в смысле непросвещенности, а в другом, нравственном смысле — «темна вода во облацех»[2].

Да и, правду сказать, что за жизнь им прожита: несчастное, с надрывным трудом, детство, потом 1 ½ года СМЕРШа и личное знакомство с Рюминым, о котором он сегодня вспоминал, — попытки пробиться в науку, зацепиться среди «городских» интеллигентов — и два постановления ЦК по его первым же литературным опытам (статья о деревне в «Новом мире» 1954 г. и «Вокруг да около»)[3].

[1] Царь Николай II.

[2] Псалтырь царя Давида, псалом 17, ст. 12.

[3] Статья Федора Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» («Новый мир», 1954, № 4) была осуждена в постановлении

Душа его, кажется, настоящая, доверчивая, совестливая — иначе он не стал бы серьезным писателем, а жизненный опыт — ужасен и толкает его то к самолюбивой истерике, то к темноватой хитрости.

17.12.1970

<...> Сегодня в «Правде» статья — чудовищная брань по поводу Солженицына. Несколько раз передавали по радио. Статья, конечно, псевдонимная — И. Александров — первую часть ее, как говорят, писал международник С. Вишневский, которого прочат в замредактора к Федоренко, а вторую — некто Орехов, злобный старик, доживающий до пенсии.

Рассказывают, что Лундквист выступил с опровержением фальшивки-заявления, направленного против Солженицына и напечатанного дня два назад в «Правде»[1].

<...>

31.I.1971

Вернулся из Ленинграда, где занимался в архиве Пушкинского Дома Островским. Ходил по старым своим следам, набредал на свои росписи и заметки в архивных делах, оставшиеся там с 58 г. В иные после меня никто и не заглядывал — и вот снова у того же берега. Горькое чувство. Первые дни не мог отделаться от воспоминаний — 12 лет назад,

---

ЦК КПСС от 23 июля 1954 г. «Об ошибках редакции журнала «Новый мир». В этом же номере журнала была напечатана и рецензия Вл. Як. на пьесу Ан. Сурова. Главный редактор Твардовский был снят. Очерк «Вокруг да около» был напечатан в «Неве» за 1963 г. Осужден решением Секретариата ЦК, дело передали в Ленинградский обком («Новый мир» во времена Хрущева». С. 120. Запись от 13.IV.1963).

[1] Этой статьи и упоминания о ней нет в книге «Слово пробивает себе дорогу Сборник статей и документов об А. И. Солженицыне 1962–1974. М. «Русский путь», 1998, как и «фальшивки — заявления», против которой выступил Лундквист Артур, шведский писатель, общественный деятель, вице-президент Всемирного Совета Мира.

когда я, молодой, еще неженатый, ничего не знавший — не ведавший, жил у старух на Невском недалеко от Казанского собора. Была молодость, были силы, весь город я исходил, избегал, сидел в архивах по 10 часов кряду, так что получил воспаление глаз от бумажной пыли, ел черт-те как, последние дни жил на копейки и ходил туда, где дегустировали концентраты и где можно было едва ль не за рубль (нынешние 10 копеек) съесть тарелку гречневой размазни со стаканом томатного сока — а все нипочем было, и жизнь впереди. Все, все впереди — работа над книгой, лекции в университете, женитьба, первые статьи в «Новом мире», «Лит. газета» — и, наконец, почти восемь лет тяжкой и счастливой жизни в журнале с Твардовским.

Было чувство — будто где-то в долгом путешествии побывал, видел других людей и другую землю, а теперь вернулся к своему битому корыту и сижу разбираю каракули Островского, как 12 лет назад, — только ни сил тех, ни безмятежности, ни надежд.

Первые дни вспоминал еще и А. Т. Едва ли не каждый час думал о нем — ведь последние два приезда в Ленинград были мы здесь вместе — в 63 и 65 году. Вспоминал, как выступали в ЦДРИ и Выборгском доме культуры, как пьянствовали и как А. Т. заставил Прокофьева[1] выпить тост в честь Солженицына. Вспоминал, как ходили пешком от дома писателей к «Астории», и я показывал ему город.

16.II.1971

<...>

11-го числа был год, как в газете объявили о нашем уходе. В «Новом мире» юбилей был ознаменован тем, что Озерову и Берзер пригласили Смирнов с Большовым и предложили им подать заявления об уходе. И жалко, и противно. Все сбылось, как по нотам. Из них выжали все, что хотели, и теперь выбрасывают вон — достойная сожаления участь. Раздумывая об этом, перечитал прошлогоднюю мою переписку с Солженицыным и не пожалел ни об одном слове. <...>

---

[1] Прокофьев Александр Андреевич, поэт, скончается в этом же году.

28.II.1971

<...>

Сегодня с утра поехал с Роем в Пахру. А. Т. первые дни не мог приспособиться к дому. Ему, видно, казалось, что стоит перешагнуть свой порог, как к нему вернется все, что всегда было в этих стенах: что он начнет спокойно ходить, говорить, работать. И какое разочарование — ничего этого не случилось. Он — дома, но по-прежнему тяжко болен. Первые дни он буйствовал, гнал от себя медсестру. Сейчас привык, и лучше, ровнее.

Вчера были у него Солженицын с Ростроповичем. Солженицын привез рукопись, был весел, оживлен. Просил закладывать места, какие понравятся, — белыми полосками бумаги, а какие не понравятся — черными. Говорил, что когда-то учился писать левой рукой, стал пробовать, написал что-то. Тогда и А. Тр. захотел попробовать писать, тут же пропустил букву, расстроился и бросил.

Солженицын рассказал о своем обращении к Суслову, на которое нет ответа. (Ему казалось, что Суслов откликнется, поскольку когда-то в театре он подходил сам и жал руку Солженицыну.) Ростропович рассказывал светские новости. А. Т. был доволен этим посещением, но еще более был доволен вышедшим, наконец, 5-м томом. Оля рассказала, как он гладил его, из рук не хотел выпускать.

<...>

8.III.1971

С утра поехал в Пахру, захватив букетик подснежников для М. Ил. У А. Т. сидел Гердт[1]. Временами кажется, что он слышит тебя, все понимает, улыбается к месту, а временами пропадает куда-то, глаза будто уходят от тебя и не видят ничего здесь.

Он решил, что врачи навредили ему, и ожесточился против них. М. Ил. говорит, что он всех их от себя гонит. Когда я за обедом попробовал тронуть эту тему, он страшно завол-

[1] Гердт Зиновий Ефимович, актер, сосед по даче в Пахре Твардовского.

новался, стал выкрикивать свое «ну, ну, ну» — и потом с отчаянием и чуть ли не стукнув кулаком по столу, крикнул: «Отрезали голову». Это было так страшно, что первую минуту мы с Гердтом совсем растерялись, а М. Ил. заплакала. Видно, он думает, что его понапрасну облучали, и это его убивает. От лекарств он стал отказываться начисто.

Очень горько, когда он хочет что-то сказать, а его не понимают. Так сегодня перед началом обеда он говорил — «плеснуть, плеснуть», М. Ил. думала, что речь о вине, и не понимала его, и только когда мы все уже перебрали, теряясь в догадках, о чем он просит, а он, зарычав на нашу бестолковость, пошел в ванную — поняли, — он вспомнил, что надо помыть руки.

Читает он мало. Роман Солженицына так и развернут на столе на 38 стр. «Туго идет?» — спросил я. «Туго, туго», — согласился А. Т.

16.IV.1971

<...>

Член коллегии МИДа Капица, выступая в какой-то закрытой аудитории, сказал, что с Солженицыным некогда было разбираться до съезда[1], а теперь с ним дело будет быстро решено. Будто бы готовится закон, согласно которому появление за границей любого письма, заявления, произведения советских граждан, будет караться лагерями со сроком до 8 лет. Досадно, что все это полумеры. «Собрать все книги бы да сжечь».

5.V.1971

Заезжал к Ивану Сергеевичу. Подарил ему пластинку А. Т. Он слушал ее сосредоточенно, потирая руки, глубоко уйдя в кресло. Говорили об А. Т. И. С. вспоминал, как начал дружить с ним. Он приехал зимой в Карачарово, и они вдвоем прожили в маленькой комнате с камином (где заяц на печке) несколько дней.

[1] 30 марта 1970 г. открылся XXIV съезд КПСС.

Много и хорошо говорили — и только раз чуть не поссорились из-за Толстого (И. С. вспомнил слова Блока, что лучший рассказ у Толстого «Алеша Горшок», и, видно, соглашался с этим, а А. Т. сердился.)

Говорили об Исаиче, Иван Сергеевич расспрашивал о его жене. «Он, должно быть, все же жестокий человек. Давайте выпьем за нежестоких людей»[1].

2.VII.1971

<...>

Ростропович недавно говорил Гале М-ой, что Солженицын очень лестно высказывался обо мне. Это любопытно. Не жалеет ли уж он о прошлогоднем? Боже, как обернешься назад — сколько сердца у меня это отняло.

17.VII.1971

<...>

Солженицын, говорят, все чудит. Призвал нотариуса — либеральную даму — и стал составлять завещание. 3 пункта особые: пожертвования на храмы, на создание института автобиографий (т.е. где, видимо, собирались и копились бы рукописи) и зарубежн. «Русской мысли».

А между тем его продолжают прорабатывать закрытыми путями. В Серпухове на собрании научных работников докладчик в штатском расписывал всю его историю с женой и сказал: «Единственная несправедливость по отношению к нему — это то, что он советский гражданин». Видно, все еще дебатируется вопрос высылки.

<...>

Ростроповича дача и Романова из Главлита — рядышком. Как-то едет Романов, а навстречу машина с веселым, смеющимся чему-то Солженицыным. Романов чуть в кювет не съехал. Картина!

---

[1] «Дружба народов», 2004, № 10. Публикация дневника за октябрь-декабрь 1970 г., январь–май 1971 г.

29.VII.1971

<...>

Заходил Жорес[1]. Рассказывал о Солженицыне и Нат. Ал. Нехорошо все это, даже записывать не хочется. Она тронулась разумом, конечно, да и он хорош.

Читаю «Август 14-го». Первое ощущение — счастья, давно такого не читал, забыл, что может существовать такая проза. Один язык чего стоит — это не холодный способ обработки материала, а горячий; фраза не складывается из готовых слов-кирпичиков, а лепится, как кувшин, под руками гончара, обминается в живую и еще теплую форму.

Есть, правда, и неудачи: «обслуга» вместо «прислуга» невозможно для 14 г. — и т. п. Очень хороша война, сам Самсонов, Воротынцев в некоторых главах, Ник. Николаевич и мн. др. Да и размах богатырский, и рука художника, который точно знает, как человека ввести в комнату, осветить, посадить, чтобы была и картина и характер.

Но много и разочарований. Война все же в основном — по горизонтали, на уровне корпусного начальства, а не по вертикали художественной — от генерала до солдата. Операции стратегические показаны очень вкусно, чувствуется «военная косточка». Да и материал, видно, собран впервые, он им дорожит, боится обронить крохи со стола. Я очень это понимаю — жалко таким материалом, только тебе известным, пренебречь. Но военное исследование, за которое вполне можно дать степень доктора военно-исторических наук, несколько теснит здесь *роман*. Голоса солдатские образуют что-то вроде шумового *фона*, а лиц нет, нет Ивана Денисовича. Генералов же — с избытком.

Понятно, куда он метит: война как условие разрухи и революции. Но тенденциозность очевидна в таких лицах, как Ленартович. Если он против «оборончества», ему бы пропаганду вести в войсках, а не бежать в плен.

Воротынцев же — чуть голубоват. Такие полковники бывают у Симонова; все валится, трещит, а он везде поспевает,

---

[1] Жорес Александрович Медведев, биолог.

ничего не боится, самолично, против приказа, организует оборону и т. п. «Мирные» сцены — почти все провальные.

В части идеологии — очень многое почерпнуто из «Вех», да еще приправленных современными интеллигентскими разговорами: даже отношение к Средним векам как некому идеалу.

А вообще — великий талант, ни с кем не сравнимый, и какое несчастье, что обстоятельства делают его таким напряженно-субъективным и торопливым.

Думал: 1) Народ — сугубо русское понятие. В европейских языках нет ему точного аналога: там или нация, или население. Когда говорим «народ», подразумеваем некую угнетенную и воспитываемую массу. Народ — нечто отдельное от говорящего это слово, объект наших сочувствий, требований, объект *воспитания*.

2) Ныне видно в обществе три слоя жизни и, соответственно, интересов:

а) низший, где еще бедность, голод, забота о куске хлеба, жилье и одежде (рассказ о колхознике из-под Львова).

б) где обеспеченность материальная за последние полтора десятилетия стала очевидной, где оседают огромные суммы денег и где ананасы таскают авоськами, как они только появятся. Это все, что связано с «левым заработком», обслугой, торговлишкой, словом, «живой копейкой». Новый наш средний слой — самый отвратительный, наглый и пока еще не насытившийся материальным благом, а потому равнодушный к духовному.

в) интеллигенция всех мастей, та ее часть, что живет скромно, но думает о духовном. Таких меньшинство. Большая часть интеллигенции, даже писательской, хотя и занимается «духовным производством», по основным принципам жизни принадлежит ко второму слою.

3) Моральные и другие требования должны иметь в виду как бы два уровня — макро- и микромира, где приложение закона будет различным. Одно дело — уровень требований к индивиду — он должен быть наивысшим, абсолютным. Дру-

гое — требования к массе — где входят в действие авторитет, власть, инерция, традиция.

Требование нравственного самоусовершенствования — верно на уровне индивидуальном; ложно, утопично — на уровне массы.

18.VIII.1971

<...>

У Солженицына на даче произведен обыск, а какой-то его приятель — тяжко избит. Солженицын написал протест по этому поводу: требует наказания «разбойников».

<...>

22.VIII.1971

<...>

Рассказ. подробно историю с Солженицыным. Он собрался ехать на юг, в Тамбов, кажется, чтобы поглядеть там что-то для следующей части романа. Горлов — автомобилист-любитель, и не друг его вовсе, но помогает ему с машиной — готовил и на этот раз машину к поездке. По дороге испортилось что-то в системе обогрева. В машине жарило — и снаружи 30°. У Солженицына случился тепловой удар. Он повернул машину обратно, послал телеграмму Горлову с просьбой достать на даче какие-то детали в сарае, чтобы починить машину и снова ехать. Когда Горлов приехал на дачу, — увидел, что замка нет, а в доме незнакомые люди. Поднял крик. Его связали и отнесли в лесок рядом. Он кричал, сопротивлялся. Сбежались люди. Стали требовать у «налетчиков» документы. «Мы на операции», — сказали они, и старший предъявил удостоверение на имя капитана милиции Иванова.

Потом Горлова повезли в милицию, допросили для порядка, а затем Иванов повез его, избитого, в Москву, а по дороге убеждал дать расписку о неразглашении — иначе де будет плохо: не дадим диссертации защитить, с работы уволим.

Горлов все же рассказал Солженицыну, и тот, лежа больным, бабахнул письмо. Теперь, говорят, Горлова приглашали в страннноприимный дом. Некий начальник, обложившись вырезками, прочитал ему наиболее выразительные, потом сказал: «Мы не имеем к этому делу никакого отношения. Это калужская милиция. Она получила сообщение, что готовится налет на дачу Солженицына, и устроила там засаду. В эту засаду вы случайно и попали. Неприятно. Но мы вам поможем. Если есть затруднения с защитой диссертации, — скажите нам, мы поправим дело». Солженицыну тоже позвонили домой, он лежит в постели, и говорили с женой: — Передайте А. И., что мы никакого отношения к этому делу не имеем. Он может жаловаться на калужскую милицию. Другого ответа не будет».

Говорят, что искали компромет. его бумаги, может быть, записи Нат. Ал. о нем, чтобы использовать в обличающей его книге, которую готовят для Запада.

А. Т. очень разволновался этой историей.

15.IX.1971

Вчера кончал все дела. Написал письмо Ефремову. Сегодня Ильина отвезла меня поутру в Переделкино. Дали мне 25-й №.

Разложил бумаги, книги, хочу писать об Островском.

За обедом схватил меня Бек[1] и потащил за свой стол. Там еще сидит Славин[2] с женой.

Бек, отведя меня в сторону, своим фальцетом: «Вы в курсе дела? Знаете, что произошло? Сейчас дам письмо, и вы все поймете». Принес письмо в «Лит. газету» — неловкое, наивное, с протестом против публикации в «Гранях». И он рассказал о своем знакомстве с этим провокатором Луи[3], который дал ему прочесть объявление о выходе его романа в Германии. «А зачем вы ходили к этому шпиону?» «Он мне

[1] Бек Александр Альфредович, прозаик.

[2] Славин Лев Исаевич, прозаик.

[3] Виктор Луи, журналист. См.: «Слово пробивает себе дорогу. Сборник документов об А. И. Солженицыне. 1962–1974». М. 1998. С. 339–340.

интересен как писателю. Это тип, и даже обаятельный, нечто вроде Ноздрева. Он сейчас озабочен тем, чтобы снять с себя пятно, связанное с делом Солженицына».

Бек долго толковал мне о своем романе, о 7-летней войне за него, он явно и польщен и испуган тем, что его печатают. Уже сбегал доложился Маркову, который посоветовал: «Дайте им удар наотмашь, в переносицу». Бек и взялся сочинять двусмысленное письмецо.

«А вас просили?» «Да нет». «Так зачем же?» Он, несмотря на свое обычное гаерство и игру, явно переволнован. Я рассказал ему о мопассановской веревочке[1], сказал ему, что нужно ему одно — не суетиться и хранить величавое молчание.

Говорить он может только о себе. За ужином произнес: «Я понял, что мне надо делать. Величавое молчание».

Лучший роман его не написан — это семилетняя война за роман, которая подходит к концу.

Вспомнил, как Мелентьев ему сказал в ответ на предупреждение, что это могут опубликовать за границей: это предусмотрено нами, тут не ваша забота.

Оказывается, Косолапов обращался в ЦК с просьбой позволить им печатать Бека, им не разрешили, но дали указание «Сов. писателю» напечатать в сборнике.

Сделать Бека гос. преступником вроде Солженицына — это смешно, это тупик.

Славин — иронический, меланхолический, спокойный господин. Мы мирно гуляли с ним сегодня.

29.IX.1971

Вчера еще заходил Чингиз. Говорили о похоронах Хрущева, о литературе, в которой пустыня. Странно, что все думают одинаково.

Я сказал ему, что писателей уничтожают — одних гонениями, других — ласками. Кивал мне сын востока. Потом

[1] Один из любимых Вл. Як. рассказов Мопассана: там герой поднял на дороге веревочку, всем объясняет, что он ее нашел, и все начинают думать — не украл ли?

сказал, что один из ихних секретарей все время недоумевает, как это не расстреляют Солженицына. Какой-то в Москве непорядок, давно бы его к стенке.

27.X.1971

Читал лекцию о Достоевском в Музее изобразит. искусств. Собрались московские «сливки», чуть даже прокисшие. Слушали хорошо — но рядом с похвалами и хула — не только ортодоксии, но и либералов. Роднянская[1] из себя выходила от злобы — и отчего? Что я им сделал?

31.X.1971

Вот уже год почти, как я занимаюсь понемногу подготовкой собр. соч. Островского — не знаю, писал ли в эту тетрадь об этом. Но всегда в тайне души думал: я сделаю, а как ближе к выходу — у меня все отнимут. Так и выходит. Мне предложили писать вступительную статью — а теперь бьют отбой. Кажется, отдают статью Владыкину. Ревякин[2] сучит ножками и кричит: «Отдали собрание Островского этому... из «Нового мира».

Владыкин не постеснялся даже звонить в Гослит и выговаривать Пузикову[3], зачем они так часто (!) меня печатают.

«Тьфу, скверность!» — как говорит толстовский Аким.[4]

На лекции в среду ко мне подошла между прочими молодая женщина, причесанная по-русски, с волосами, зачесанными вкось со лба, чуть небрежно одетая, — и с красивыми, но острыми глазами. Никак не представившись, она сказала что-то вроде — «очень было интересно вас слушать... вы — Иван Карамазов и проч. Мне хочется сделать

---

[1] Роднянская Ирина Бенционовна, критик.

[2] Владыкин Григорий Иванович, литературовед. Ревякин Александр Иванович, литературовед.

[3] Пузиков Александр Иванович, главный редактор издательства «Художественная литература».

[4] Аким — герой пьесы Л. Толстого «Власть тьмы».

вам подарок. Но я ничего не придумала, кроме следующего, — приходите к нам, и я покажу вам уникальную коллекцию древней живописи Так вы ее никогда не увидите. Все это спасено чистым случаем». И предложила пойти к ней теперь же. Я ответил, что у нас театр, сегодня мы не можем и лучше в другой раз. «Тогда, быть может, в воскресенье?» Она пригласила и стоявших рядом Турчиных[1], Таня загорелась, взяла телефоны, я дал ей наш. Она назвалась Анной Борисовной, и мы простились.

В воскресенье к вечеру — она позвонила и очень настоятельно звала нас. Дорогой я шутил: «Не засада ли? Куда мы идем?» А. Б. встретила нас во дворе — проводила в огромную профессорскую квартиру. Гигантские потолки, множество комнат — лестница наверх в Зоологический музей. Сквозь полуоткрытую дверь мелькнул силуэт профессора Персикова, склонившегося над книгами. «Это булгаковская квартира», — сказала А. Б. (Я вспомнил только сейчас, пишучи эти строки, что читал воспоминания пр. Матвеева о Зоологическом музее, «роковых яйцах» и проч. — видно, это и был он).

Мы двигались вдоль стен, увешанных иконами, — одна другой лучше, разглядывали деревянных божков — тоже прекрасных. А. Б. приятно, ненавязчиво объясняла, рассказывала, откуда они привезли иконы, напоминала сюжеты на клеймах. Только говорила почему-то — «мага́зин». Но вдруг произошла маленькая стычка — из-за «Задонщины», которую я сравнил со «Словом»[2] — не в пользу первой, конечно. «Это снобизм. Как можно сказать, что прекраснее, — и то прекрасно, и это прекрасно». Разговор перескользнул на другое. Пили чай с вареньем, профессор склабился и жадно ел торт. Дело было к 10-ти, когда я сказал, что нам и домой пора — с нами был Сережа. Стали прощаться — и тут А. Б. сказала с улыбкой: «Я, собственно, имела еще одну тайную цель поговорить с вами о вашей

---

[1] Турчин Валентин Федорович, физик, диссидент, его жена Татьяна. Вскоре — эмигранты. Ныне живут в США.

[2] «Задонщина» и «Слово о полку Игореве», произведения древнерусской литературы.

лекции, но наедине, как мужчина с мужчиной». Я отвечал, что к ее услугам, но сейчас, пожалуй, поздно — и до другого раза. Тут Валя Турчин стал ее расспрашивать —в чем все же дело. Она начала уклончиво: «меня де интересуют проблемы проповеди. Вот я еще была на вечере Достоевского в Политехническом музее — там тоже много говорили — аудитория чуть не освистала...» Тут Света спросила: «А вам нравится Аверинцев?»[1] А. Б. отвечала утвердительно, и тут развязался горячий спор. Я помалкивал, чуя, что речь косвенно шла обо мне. И вдруг наша милая хозяйка стала говорить с трудно скрываемой злобой и ядом: «ну да, вы все — поколение начала 50-х годов. Вас так воспитали и т. п.», «Вам все нужно твердое, конечное, а у Аверинцева — анализ, структура мысли...» Света стала потрошить ее яростно, Валя вставлял отдельные скептические замечания об Аверинцеве и проч. Страсти раскалились. «Это все фашизация мысли. Сталинщина...» — вдруг выговорила она. Я спросил ее, так верует ли она, что есть добро, правда, совесть, красота — или только так, «структура мысли» — и не ужаснее ли, что люди на улице, в метро, на работе — не имеют нравственного стержня. Меня это более заботит, чем «структура мысли». «Так вам надо, чтобы все было твердо, как при Сталине?» «Так ведь как раз никакой нравственности, совести и т. д. при Сталине-то и не могло быть...» Спор яростный — и шел он обо мне, о моей лекции, хотя мое имя не поминалось. Вдруг приоткрылось мне — какая злоба порождена моим выступлением.

Эта А. Б., с необъятной своей самоуверенностью в исповедании всех современных интеллигентских предрассудков, в самом деле готовила мне засаду. Иконы были приманкой, а жаждала она объясниться от имени и по поручению своего клана.

Вышло нехорошо, конфузно.

На прощанье мы благодарили ее за показ икон, а она все твердила, что еще хочет поговорить со мной наедине, хотя о чем говорить — неясно. В сущности, все уже понятно, выговорено.

---

[1] Аверинцев Сергей Сергеевич, переводчик, литературовед, культуролог.

Она отлично передала то, что носится в воздухе — недоверие к мысли-идее; только бесцельная мысль — ценна и прекрасна. «Моя мизль — нет мизль», — как говорит герой Щедрина. Это современный «вехизм», «самоуглубление», не знающее выхода и не желающее его знать. Они проклинают XIX век как идейный, не верят ни в чох, ни в грай и могут жить припеваючи, не ссорясь с властью и утешая себя сознанием своей элитной независимости. И это русская интеллигенция! Вот волна, которая даже Солженицына захлестнула. Боже, как изощренны самооправдания человека. Им не хочется ссориться с начальством, хочется созерцать иконы и есть булки с маслом (Аверинцев — лауреат премии комсомола) — и они хотят отстоять это свое соглашательство как благородный принцип жизни. Они возводят свой собственный интерес в какую-то 15-ю степень теоретической отвлеченности и сражаются за него яростно, как за «чистую идею».

Как тоскливо, что вся духовная жизнь кастрирована у нас, загнана в подполье — вот бы об этом написать! Непочатый край серьезнейшей работы. <...>

19.XI.1971

С Ольгой были у А. Т. на даче. Она и М. Ил. просили написать ответ на поздравления для газет. Я быстро набросал текст, и Трифоныч легко согласился.

Исаич прислал ему хорошее, доброе письмо. Между прочим и о «Новом мире» пишет иначе, чем в прошлогодних письмах ко мне. Может, чуть одумался? Ольга говорит, что в последний раз он разговаривал с ней по телефону впервые как человек, никуда не торопился, говорил сердечно, жаловался, что его неправильно лечили. Я рад был его хорошему, доброму письму — и с горечью вспоминал прошлогоднюю историю. Какой бес тогда его под руку толкнул? Впрочем, знаю, какой, а все равно досадую.

25.XI.1971

<...>

В № 10 «Нового мира» стихи некоего Маркина, он из Рязани, когда-то воздержался при исключении Солженицы-

на и теперь помещает стихи, будто бы ему посвященные и где даже имя Исаич мелькает.

Косолапов и К° стишки прохлопали, и идет теперь большой шум. Вот уж крамольники поневоле! «Я пролетарская пушка, — стреляю туда и сюда...» Похоже, что они просто палят без разбора.

Не станут ли опять менять редколлегию? «Джентльмен не может быть груб без намерения». Так мы не могли напечатать ничего «крамольного» без сознательного решения. А они дурью кормлены и — и оттого могут невзначай напечатать то, чего сами как огня боятся. Каково Таурину[1], исключавшему Солженицына, ведь он тоже член редколлегии! Но, кажется, они и не читают ничего, что сверх их отделов, — и Бог карает их за лень и лицемерие.

У А. Т. был *12.12.* — в воскресенье, как всегда, с Володей[2] и Олей. Он лежал, нога болела. Ему уже кололи наркотики. Я подошел, подержал руку его в своей, он смотрит так грустно. «Устал, А. Т.?» — спросил я его. «Устал, устал», — повторил он два раза, будто довольный, что я понял его. Посидел я около его постели, поцеловал на прощанье — уехал с тяжестью на душе. Оказалось — видел его живым последний раз.

18.XII.1971

7.30. Звонок Вали. Сон мой «Что мама сказала». В 4 утра — скончался.

20.XII.1971

С утра я написал речь, на всякий случай. Вышел машину ждать — Гаврила[3]. Поехали с Валей в морг, были там первые. Оля опоздала с одеждой, т.к. ждали 2 ч. в загсе справку. Там еще один покойник. Приехал Елинсон. Стали собираться

[1] Таурин Франц Николаевич, прозаик, член редколлегии Косолапова.

[2] Владимир Александрович Макушенко, муж Ольги Твардовской.

[3] Троепольский Гаврила Николаевич, писатель, новомировский автор.

люди. Я позвонил Свете, что могут приехать проститься. В 12 ч. его поставили в том зальце, где я хоронил Никиту. Прозектору сунули, чтобы одел внимательнее. Я боялся, каким его увижу. Приехала М.Ил. Нас наконец позвали. Изменился он с субботы — и все же он. Чуть улыбка. Строгость в лице. Шрам на голове. Нос загнулся. В черном костюме, черном галстуке. Гроб (по спец. заказу — кричал Елинсон) — красный с черным. Цветы возле гроба — на мраморе положили. Постояли с полчаса. Елинсон и Лид. Дм.[1] загнали меня в комнату и стали уговаривать — кончать. Я видел, что им боязно, а может быть, были инструкции.

Поговорил с М. Ил. и решили: сейчас поедем на Ново-Девичье, выбирать место, а дочки останутся. Пусть ждут нашего возвращения. Мы еще побудем ½ часа у гроба — и тогда пусть забирают в холодильник (о, Боже!). Поехали было, Елинсон за дверцу остановил машину. «Я вперед, надо в Союз заехать». Приехали во двор на Воровского. Сунулся Луконин: «Сейчас Шаура[2] тут будет, через 5 мин., хотел с вами поговорить». Я не решился идти с ней, вроде напрашиваться, но было беспокойно. Подумал: пусть сама объяснится, ей легче будет — не решат, что это мы ей с Дементьевым подсказываем.

Пока ждали ее, я поднимался в Секретариат, видел Верченко, слышал обрывок разговора: «если завтра будет какая накладка — *головы полетят*». Говорил большой лысый — щуплому мужичонке. Через час пришла М. Ил. — мы уж терпение потеряли, Володя заходил, говорит: беседуют с глаза на глаз — через стол.

М. Ил. села со мной: «Я довольна; я ему все сказала. Он: разве мы не знаем, это был подвижник, святой человек, нет таких наград, какими его можно увенчать». Тов. Брежнев тоже берет людей, кот. знает. «Но ведь это вы его сняли с «Нового мира»? Как это можно было. Это страшное оскорбление. Вы что думаете, он против советской власти? Да знаете ли, как он выступал за границей?»

[1] Елинсон — работник Союза писателей. Лид. Дм. — лечащий врач Кремлевской больницы.

[2] Шауро Василий Филимонович, зав. Отделом культуры ЦК КПСС.

Шаура твердил одно: «Доверяйте комиссии по похоронам. У нас все продумано». М. Ил. сказала и о Дементьеве и обо мне. «Вам кто-то оклеветал новомирцев» и т. д. Шаура ей: «Сейчас к вам и А. Т. будут подлипать». «Да, будут подлипать. Но те, кто били его копытом при жизни. А те, кто тогда с ним были, и во время его болезни, те со мною и сейчас». Даже о Байкале ему сказала. «Если мы вас критикуем — так это хорошо» и т. д. Глаза в глаза.

Будто жизнь мою закапывают.

Молодец, М. Ил.! Это достойно А. Т. Как он всегда говорил: если б тебе к начальству — и вот она не подкачала.

Перед разговором с Шаурой ее остановил Луконин: «М. Ил., у нас беспокоятся, чтобы не пришел Солженицын». Она ответила: «В ЦДЛ он не придет, а на кладбище хочет придти, я сама возьму его в машину к себе. Он любил А. Т., А. Т. им интересовался до последних дней, читал его очень хорошее письмо — как же не дать ему проститься?» Это, конечно, передали тут же.

Вечером Софья Ханановна в панике — где-то услышала разговор: приедет Солженицын, и его проведет со стороны Секретариата Софья[1].

На кладбище — сразу пошли к углу — там нам показали 2-3 места. Только глянули — и выбирать было нечего, ясно, что здесь, в уголку, в одном рядке с Никитой Сергеевичем. И просторнее — можно дерево посадить, березку или лиственницу[2]. Солнце было, ветер и морозец. Могилу еще не копали.

Вернулись в морг. Л. Дм. предложила — всем уйти. «Нет, не надо, я этот народ знаю». Через минут 10 решили все же отправить Валю и Ольгу домой — они устали смертельно. Валя не присела. Все время стояли у гроба Лифшиц, Демен-

[1] Софья Григорьевна Караганова, зав. отделом поэзии в «Новом мире» при Твардовском и Косолапове.

[2] На могиле Твардовского посажен был дуб.

тьев, Сац. Говорят, приезжали и еще люди, перебывало тут человек 100 (была мама, и Артур, Воронин, Л. М. Портнов[1] и др.). Вечером — на Котельниках, пришли, стали ужинать, приехали племянники. Еле их проводил. У Дементьева — по-прежнему шатер раскинут. Говорят, с некрологом нашим не выходит. Буртин[2] метусится. Я звонил Каверину, а Дементьев С. С. Смирнову — все напрасно.

21. XII.1971

Трифоныч угадал родиться в самые длинные июньские дни и умереть в самые короткие дни года. Сегодня еще и день рождения Сталина.

В 6.30 приехала за мной Валя с семьей, поехали в морг за А. Т. В 7.10 были там. Темно еще, но зальце освещено, толчется Елинсон со своей командой, гроб, как вчера мы оставили, — на мраморном столе. Ждали до 7.30 Мишу, Буртина, которые хотели приехать, — и опоздали.

Поехали с гробом через Москву. По дороге вспоминали с Валей: вот Бородинка, где они жили и куда в первый раз приходил я к А. Т., вот угол Садового и Арбата, где последний раз шли мы вместе 17 сентября 70 г... У дома литераторов — в утренних сумерках — разводы милиции, цепи военных... Настоящая стратегическая операция готовится, как перед сражением.

Нас провели в секретариат, там сидели уже М. Ил., Оля, Володя. Мы разделись и стали ждать в этом кабинете, где так часто нас прорабатывали. «Нет, было тут и хорошее», — сказала М. Ил. — и вспомнила, как Фадеев встречал всех с улыбкой. Принесли телеграммы, присланные на Союз. Тут обнаружилось, что забыли ордена дома. Оля с Володей поехали. В 8.30 нас позвали в зал, где уже поставили гроб. «На глазах стареет». Мы встали рядом с А. Т., постояли, потом

---

[1] Антонина Сергеевна Чайковская, актриса МХАТа. Артур Федорович Ермаков, Владимир Васильевич Воронин — товарищи Вл. Як. Портнов Лев Матвеевич, старый большевик, друг Р. А. Медведева.

[2] Буртин Юрий Григорьевич, редактор отдела публицистики в «Новом мире».

сели на стулья, здесь же, на сцене приготовленные. Включили софиты, и стало неприютно сидеть в 1-м ряду, как на выставке. Я предложил сесть подальше, а М. Ил. сказала: «Пойдемте в зал». Сели мы в 1-м ряду с краю. Подлетел Ильин[1]: «Ритуал, разработанный нами, предполагает...» и т. п. М. Ил. ответила ему: А. Т. нас бы одобрил, что мы здесь, вместе с народом.

Портрет из личн. <нрзб.> В 9 ч. началась музыка, и стали пускать в зал. Сначала шли густо, но скоро поток оборвался — пройдет один-другой — и пустота. Игорь и Миша сказали, будто не пускают на улице. Я подошел к Елинсону: «Н. Л., похоже, что так хорошо организовано, что даже слишком, внизу не пускают». «Не может быть». Я просил его проверить. Часов в 11, в начале 12-го принесли венок от старого «Нового мира» с лентой: «От друзей-сотоварищей по «Новому миру». Я вышел в фойе, чтобы присоединиться к нашим, которые несли венок. Увидел бегущего рысцой Верченко. Потом пробежал Игорь Виноградов с чьим-то пальто (сейчас, раздену только Исаича, — сказал он, и я понял, отчего паника). Мы внесли в зал венок, я вернулся на свое место к семье и тут увидел, что Исаич сидит рядом с Олей. Фотокорреспондентами овладело безумие. Они щелкали его так много и так долго, что стало неприятно. Сенсация загуляла, и центр внимания переместился с покойного на Солженицына. Досадно было глядеть, как ведут себя литераторы вроде Левина. Мы поговорили с Дементьевым и решили в караул не становиться, если не позовут. Не позвали. С 11 ч. людей стало прибывать, заняли все места в зале. Около часу опять поток поредел. Потом объяснилось, что уже в начале 1-го милиция перестала пускать, говоря, что началась панихида. Федин. Панихиду начали ровно в час. Наровчатов говорил что-то о реке, кот. прекратила нести свои воды в народное море, и как-то неуместно произнес слово «влага».

Потом говорили Сурков (к ужасу семьи), генерал Востоков, бесцветный Григол Абашидзе. Симонов говорил в

---

[1] Ильин Виктор Николаевич, секретарь Московской писательской организации, генерал КГБ.

конце и лучше всех: упомянул о «Новом мире» и сказал о Трифоныче как о крупнейшем современном поэте. Наровчатов объявил, что панихида закончена, просят очистить зал — останутся у гроба родные и близкие. Публика стала выходить. Какая-то женщина закричала в толпе: «И это все? А почему никто не сказал о том, что последняя поэма Твардовского не была напечатана? Почему не сказали о том, почему, за что сняли его из редакторов «Нового мира»?» Люди повскакали со стульев, М. Ил. с трудом остановила оборотившегося туда Исаича. (Кричала Рубинчик Маша.) (Кстати, как он прошел? Говорят, его не пускали через Секретариат, билета у него не было — и он вместе с Рыбаковым, Кавериным, Ермолинским прошли, как прочие граждане, — с Герцена. Почему его не остановили там — неведомо. Но говорят, что Ал. Маркова, который своей бородой похож на него, — задержали и спрашивали: «А вы не Солженицын?»)

Все секретари и знатные люди, прятавшиеся за сценой, во время панихиды вышли из тени и окружили гроб. Но когда мы поднялись по ступенькам на сцену: М. Ил., девочки, Солженицын, я — их как ветром сдуло. За нами шли еще родные А. Т. — Маруся, Костя, племянники и проч. Тут М. Ил. зарыдала, закричала что-то: «Прощай, Саша...» Мы с Олей оттащили ее от гроба, повели за сцену. В комнатушке президиума толпился народ, на столе бокалы, открыты бутылки с водой, синий дым плавал; М. Ил. отшатнулась от дверей — «Здесь пьют». Мы посадили ее на стул в коридоре, дали воды. Рядом сели я и Исаич. И вдруг все опустело вокруг нас. Надо идти к машинам, а рядом — никого, и неизвестно, куда идти. Завидев Солженицына, все устроители похорон как сквозь землю провалились. Еле вышли мы к воронковскому коридору[1] — и прошли наружу. Солженицын все время жался к боку М. Ил., будто боялся, что его схватят. Они сели в машину к Володе. У нас была минута растерянности — как ехать. Ко мне подошел Беляев, просил позвонить через неделю. Мы вернулись (Хитров, Сац, Троепольский, еще кто-то) коридорами на ул. Герцена, тут

[1] Подземный переход, соединяющий два здания ЦДЛ.

встретили плывущий сверху гроб, я сел за ним в катафалк — и отъехали. Мне даже хорошо было, что я провожаю А. Тр. и тут, а не еду в машине отдельно. У кладбища выглянул за занавески — полковники милицейские суетились. Стояли цепи солдат.

На кладбище мы встали у гроба на площадке, где устраивают митинг. Что-то бессмысленное кричал Луконин, потом Дудин[1]. Слов я не слышал. (Деем-ву говорить не разрешили — еще с утра его пригласили в партком к Винниченко и извинялись, что не дают слова.) Прощались. Я поцеловал А. Т., потом Солженицын перекрестил его широким крестом и тоже поцеловал, простились и М. Ил. с девочками. «Пойдемте к могиле», — предложил я. И мы с Солженицыным повели М. Ил. к заготовленной могиле.

М. Ил. сказала, чтобы дали проститься людям и закрывали без нее. Рыдал и кричал что-то над гробом Кайсын Кулиев[2]. Начальства из писателей не видать было. Мы подошли к свежевырытой могиле раньше — мимо оркестра духовой музыки, мимо могилы Хрущева. Отбегая, пятясь, снимали нас корреспонденты. Бежал, записывая что-то на ходу, Мар. Наконец, на плечах людей выплыл гроб, могильщики выдернули лом и стали спускать его в яму. Бросили горсть земли. И будто жизнь мою стали закапывать. Кайсын подхватил лопату — «У нас в Балкарии...» Был легкий морозец, градусов 7. Я стоял без шапки и не замечал, пока Солженицын не сказал: «Покройте голову, В. Я.» С Солженицыным мы обменялись крепким рукопожатием, еще поднимаясь в зале к гробу. М. Ил. испуганно спросила меня: «А вы с ним разговариваете?» Какие ссоры могут быть над гробом? Мы перебросились с ним несколькими короткими репликами, но я в душе не чувствовал к нему ни неприязни, ни досады. Могильщики закопали могилу и как-то ловко стали сооружать над ней гору из венков и цветов. М. Ил. подошла и отыскала голубенькие цветы бес-

[1] Дудин Михаил Александрович, поэт.

[2] Кайсын Кулиев, балкарский поэт.

смертника — дала по цветочку дочерям и мне. Стали медленно расходиться. М. Ил. взяла Солженицына в машину (он вышел у Пушк. пл.), а меня подвезла с Троепольским врачиха Лид. Дм. с сестрой Людой, дежурившей в ночь смерти А. Т.

На Котельниках было много народу — Бек, Залыгин, Алигер, Верейские[1], Карагановы, Гердт с женой, Закс, Дементьев и др. Сначала мы зашли к Дементьеву, где тоже был поминальный стол, потом вернулись к Твардовским. Здесь сказали несколько слов Демент, Закс, Троепольский, я, Алигер, Миша Хитров, Буртин, Валя, Сац (лучше всех).

Потом Мар. Ил. и Ольге стало невмоготу от толчеи — и я увел всех к Дементу, а сам тишком уехал домой. После нашего ухода заходили еще, рассказывают: Исаич, Любимов[2] и Можаев. Как М. Ч. говорит, Исаич впал в мистицизм и говорил что-то возвышенное и невнятное.

Впечатления на кладбище: «секретарей» будто сдуло, мы вдвоем с Солженицыным вели М. Ил. к могиле. Кайсын выл и кричал, будто пьяный: «По обычаю моего народа...» Я показал Солженицыну могилу Хрущева, и он на обратном пути, остановившись у нее, пошептал что-то. (Потом говорили, будто он положил гвоздики — но это выдумка.) В машине Солженицын говорил: «Я должен сказать. Его убили». М. Ил. просила его не говорить. Площадь была оцеплена солдатами. Очевидцы говорят, уже в 11 ч. у Ново-Девичьего все было оцеплено и распоряжались 4 генерала. Большая военная операция. Милиция перед ЦДЛ стояла цепью глухой, но если человек проходил и говорил: «Я на похороны», — его не останавливали. Методика, отработанная на похоронах Хрущева.

26.12.1971 — был 9-й день.

М. Ил. собрала нас на Пахре. Жаль мне было, что комната, в кот. умер Трифоныч, потеряла свой былой вид —

[1] Верейский Орест Георгиевич, художник, сосед по даче в Пахре.

[2] Любимов Юрий Петрович, режиссер Театра на Таганке.

длинные столы стояли. Были наши новомирцы: Кондратович, Миша, Виноградов, Буртин, Сац, Закс, Караганова с мужем, Софья Ханановна. Были еще Симонов, Тендряков, В. В. Жданов, Верейский, Ильина, молодые Маршаки. Все говорили — вклад и не вклад, вспоминали А. Т. Я рассказал, как накануне пришел ко мне в редакцию рабочий Гена Макаров — и как попросил помянуть с ним Трифоныча. М. Ил говорила в конце очень горько: «А. Т. был человеком добрым и доверчивым. Он так верил Сов.власти, когда писал «Муравию», — и у него детские глаза были, как у Алешки[1]. И когда с войны пришли — он так надеялся на новую жизнь... А как с ним поступили? И как обидны эти похороны, эти речи...» Потом она говорила, что не жалеет, что взяла в машину Солженицына, что, какой он ни есть, А. Т. его ценил, читал его последнее письмо — и что было бы, если б его романы печатали — разве что-нибудь дурное случилось?» И т. п.

27.12.1971

М. Ил. приехала в Москву и пригласила на Котельники.

Сначала показала письмо Исаича — он не удержался и написал очередную прокламацию: «Он был терпим и мудр, но, берегитесь, придут молодые и яростные...» И т. п.

Потом судили-рядили, из кого составить комиссию по лит. наследству. Симонов накануне зудел мне, что надо Маркова — он фактический глава Союза — и с ним все дела делать. Но М. Ил. не хочет.

Председат. решили просить Симонова — других нет, а в члены, кроме нас с Дементом, Лихачева, Макашина, Бажана[2].

М. Ил. дозвонилась Маркову, и встреча назначена на среду.

Вечером приходил отец. Хорошо говорили с ним. Я уговаривал его писать записки о детстве, Ардатове, дедушке с бабушкой — о всем быте, не пропуская подробностей, и

---

[1] Внук, сын Ольги Твардовской.

[2] Лихачев Дмитрий Сергеевич, академик, филолог. Макашин Сергей Александрович, литературовед. Бажан Николай Платонович, украинский поэт.

о народной речи («А ну-ка, мнучек, подай-ка мне одевало», — говорила бабушка). Отец сидел довольный, покойный, ясный. Думал ли я, что говорю с ним последний раз? Как он утешал меня по случаю смерти Трифоныча...[1]

<...>

Примечания

В тексте дневника Владимир Яковлевич использует следующие сокращения:

А. Т., Трифоныч — Александр Трифонович Твардовский. Мар. Ил., М. Ил., М. И. — Мария Илларионовна Твардовская. Ал. Григ., Демент. — А. Г. Дементьев. Миша — М. Н. Хитров, Алеша — А. И. Кондратович. Исаич — Солженицын.

[1] Лакшин Яков Иванович скончался внезапно через 12 дней после смерти Твардовского.

Из переписки А. И. Солженицына и В. Я. Лакшина[1]

Письмо А. И. Солженицына В. Я. Лакшину от 4.2.1964

Ленинград

Дорогой Владимир Яковлевич!

Когда я был в редакции, то меня несколько тревожно спрашивали (Б. Г.), как я отнесся в Вашей статье к месту о Цезаре. Я и сам уже было встревожился.

Но, прочтя статью, вижу, что всё отлично и всё на месте. Вы верно истолковали, что не о народе и интеллигенции речь идет, а о работягах и придурках, о тех, кто принимает на себя удар и кто от него уклоняется. Именно это и именно так я и хотел передать в повести. И хотя перед прототипом Цезаря мне по-человечески несколько неловко, но что делать? Amicus Plato... Ну, м. б., приравнивание к красилям есть маленький перебор, а скорее-то всего, учтя возможные в то время сценарии Цезаря — и нет. Но глубоко по сути — верно.

И великолепный удар по дьяковской повести без этой подготовки не получился бы.

В общем, спасибо за статью. От подобной статьи чувствуешь — как бы и сам умнеешь.

Привет большой Александру Трифоновичу и всей редакции!

Крепко жму руку!

А. С.

---

[1] Все письма в этом разделе публикуются впервые.

Примечание

Б. Г. — Борис Германович Закс, ответственный секретарь редакции «Новый мир». Речь идет о статье Вл. Як. «Иван Денисович, его друзья и недруги» («Новый мир», 1964, № 1). Цезарь Маркович — персонаж повести Солженицына «Один день...»

Amicus Plato — «Платон мне друг, (но истина дороже)» (лат.).

Повесть Дьякова «Пережитое» в «Звезде» изображала лагерь с точки зрения привилегированного зэка, «придурка», освобожденного от общих работ.

Письмо А. И. Солженицына В. Я. Лакшину от 7.4.1965

Дорогой Владимир Яковлевич!

С удовольствием прочел Ваше предисловие.

Оставаясь на уровне серии «Народной библиотеки», Вы очень серьезно изложили суть дела. Степень использования в «Хаджи-Мурате» исторических материалов была для меня новинкой. Метод «цепочки событий» (выражение неточное, но и «диалектика событий» мне кажется расплывчатым) в другом издании и по какому-нибудь другому поводу Вам еще, надеюсь, придется и удастся рассмотреть пристальней. Здесь еще много неназванного.

Особое удовольствие доставляет то, что Вы пишете таким спокойным и хорошим языком, далеким от современного критического жаргона. Тут замечается всё — «шагнув туда без порога», «нерасточительная мудрость», «рознь» вместо противоречия или расхождения, «ухоженная красота» и др. Так из приложения к рассматриваемой вещи статья становится самостоятельной ценностью.

Благодарю Вас!
Крепко жму руку.

Солж.

Письмо А. И. Солженицына В. Я. Лакшину от 5.10.1966

Дорогой Владимир Яковлевич!

Конечно, не мне пристало хвалить Вас за статью в № 8. Но и мне же можно сказать: пока в «Литературке» и других местах сухо спорят, что такое рецензия и какой она должна быть, — Вы от статьи к статье создаете свой отменный критический стиль, так что скоро Вас уже по одному абзацу можно будет узнавать. Черты этого стиля такие:

— в век космических скоростей и нервных перескоков — уверенная в себе неторопливость (вполне захватывающая и читателя!). Неторопливость, основанная на убеждении, что подлинные истины наскоками не познаются;

— напротив, в духе века — строгость определений, точность обозначений (критик постоянно помнит, что мы все обставлены точными науками). Дотошный поиск истины до последнего ковырка — и читатель вместе с критиком радостно проделывает этот путь;

— внезапные прорывы чистой художественности, которые освещают и сплавляют весь логический материал;

— прозрачный русский язык, ничем не сродненный с господствующим заштампованным критическим жаргоном;

— юмор — очень русский, без разных там сатирических жал, без восклицаний, а — усмешечкой мужицкой, и оттого неопровержимый.

Черты не все, конечно, но какие пока приметил. А какое ловкое использование писем читателей, поддержка одних, высмеивание других! — это-то и было бы воспитание читателей, если бы тираж статьи был хоть в шесть раз больше: пока нет миллионных тиражей, это всё еще эффект не настоящий.

(А все-таки: процентиков на пятнадцать статья могла бы быть короче? Все-таки, совсем забывать о темпах жизни — не надо?)

Крепко жму руку!

Ваш

Солженицын.

Примечание

В «Новом мире» (1966, № 8) была опубликована вторая статья Вл. Як. «Писатель, читатель, критик», посвященная разбору рассказа Солженицына «Матренин двор» (опубл. «Новый мир», 1963, № 1) и повести Виталия Сёмина «Семеро в одном доме» (опубл. «Новый мир», 1965, № 6).

Тираж № 8 составлял 141 300 экземпляров (сто сорок одна тысяча триста), с учетом того, что каждый номер читала по меньшей мере одна семья из четырех человек — это было шестьсот тысяч читателей. Однако «Новый мир» подписывался часто вскладчину несколькими семьями, даже организациями.

Ковырк — см. у Даля: ковырок — копук, действие ковырнувшего.

Письмо А. И. Солженицына В. Я. Лакшину (1968)

Вообще я считаю Вас критиком первого ранга, независимо от перегородок между столетиями (XIX-XX). Ваши статьи особенно ценны и приятны тем, что каждую строчку, абзац, читаешь с наслаждением, как художественное произведение.

Все статьи Ваши мне нравились, но в последней, о «Мастере и Маргарите», мне кажется, Вы недобрали одного этажа, археологического этажа; еще можно было глубже копнуть. Очень сложный роман, он требует очень глубокого объяснения. То, что Вы написали, все очень интересно — трактовка, что дьявольскую силу он применяет, как мысленную расправу за справедливость. Однако, мне кажется, там есть еще какое-то более глубокое и серьезное объяснение всего этого, двух вопросов:

1) использование дьявольской силы;

2) евангельская история.

1) Это выходит у Булгакова за рамки этого романа, это вообще какое-то распутное увлечение, какая-то непозволительная страсть, проходящая через все его произведения, начиная с «Дьяволиады», где это уже чрезмерно и безвкусно

даже. В этом отношении он как-то напоминает Гоголя. Вообще, Булгаков есть вновь родившийся Гоголь. И такое удивительное повторение нескольких важнейших сторон таланта совершенно изумляет. И в своем пристрастии к нечистой силе он тоже повторяет Гоголя, повторяет его и в юморе и во многом другом.

2) Если бы это была попытка объяснить просто с точки зрения художника всем известную легенду — это было бы одно. Но если в этом самом произведении так восхваляется нечистая сила и так унижается Христос, — тут тоже надо что-то выяснить. Один мой знакомый сказал, что это евангельская история, увиденная глазами Сатаны.

И вот соотношение этих двух струй (нечистой силы и Бога) в одном романе заставляет осторожно к этому отнестись — что-то здесь еще надо объяснять...

Примечание

Статья Вл. Як. о романе Михаила Булгакова была опубликована в «Новом мире» (1968, № 6) — «Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

О сложном, ревнивом отношении Солженицына к творчеству Булгакова см. в этой книге дневниковые записи и «Солженицын, Твардовский и „Новый мир“».

Письмо А. И. Солженицына В. Я. Лакшину от 03.04.1970

Многоуважаемый Владимир Яковлевич!

Мне передали, что в одной компании Вы выразились обо мне так: «С-н уже не тот, что был в 62-м году, теперь он стал надменный». Соблаговолите подтвердить или опровергнуть (можно по рязанскому адресу, лучше — по Веронькиному: Чапаевский, 8, кв. 54).

Я — нисколько не обижусь, но мне это очень интересно психологически. Если нечто подобное Вы сказали, я обязу-

юсь тут же объяснить Вам, что именно Вы могли принять за надменность.

Жму руку.

С.

NB. В виде комментария к этому письму приведу выписку из одной статьи Щедрина, кот. я, конечно, не решился бы напомнить А. И.

«Во всяком благоустроенном обществе само собою предполагается, что публичный деятель в своих частных сношениях, в своих разговорах, то есть вообще у себя дома, — действительно настолько дома, что самая мысль о непрерывном домовом обыске устраняется, как нечто нелепое и дикое... хотя бы эти обыски предпринимались и с либеральными целями. Торквемадство, даже и либеральное, есть явление настолько противное человеческой природе, что общества цивилизованные все усилия свои прежде всего устремляют к тому, чтобы оградить себя от наплыва его, и только тогда считают себя достигшими действительной свободы, когда успевают в этом ограждении. Конечно, примеры подобного либерального торквемадства в истории нередки, но мы, по совести, не можем их одобрить. Так, например, известный либерал XVIII века Феофан Прокопович... таким образом формулировал допросные пункты некоему Аврамову, написавшему против него обличение: «В известном сем от вас затеянном действии, с кем ты входил в общество и беседы о сем, а наипаче не сообщал ли ты о сем особам знатным, и до кого из знатных лиц имянно ты прихаживал и об сем имел разговоры, а как часто и что советовали?» и т. д. и т. д. Нельзя не сознаться, что подобная манера относиться к пациенту довольно язвительна, но в то же время всякий, кто провел свою жизнь не на цепи и не в уединенном месте, согласится, что есть в ней нечто и в высшей степени уродливое» (рец. «Материалы для характеристики современной русской литературы». М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений, т. 9, стр. 334).

<В. Л.>

Примечание

А. И. — Александр Исаевич Солженицын.

Веронька — Вероника Туркина, родственница первой жены Солженицына.

Торквемадство от: Торквемада (1420–1498), глава испанской инквизиции (великий инквизитор). Инициатор изгнания евреев из Испании (1492).

Феофан Прокопович (1681–1736), церковный деятель; писатель, сподвижник Петра I, жестокий гонитель старообрядцев.

Письмо В. Я. Лакшина А. И. Солженицыну

Дорогой Александр Исаевич!

Неужели Вы не видите, что все это пустяки, раздутые и высосанные из пальца? Ни в каких сомнительных «компаниях» я не бываю и оскорбительных для Вас слов никогда не говорил, да и не мог бы сказать.

Единственное, что могло дать повод к Вашему письму и что я мог вспомнить — это у себя дома, в кругу четырех друзей, которых могу назвать поименно, высказал я однажды досаду на Вас, на взгляд чуть свысока, который я у Вас стал примечать и который, конечно, вполне объясним Вашим особым нынешним положением.

Теперь очень раскаиваюсь, что говорил об этом в откровенную минуту, если это дало повод к пересудам и грозит вырасти в некий «инцидент».

Чтобы быть до конца искренним: судите меня как хотите, но мне показалось, что в последние наши мимолетные встречи в декабре и феврале Вы были холодны, торопливы и невнимательны, даже когда всё рушилось в редакции и я, намеченный первой жертвой журнального погрома, ждал какого-то от Вас слова. Впрочем, все это должно быть пустяки, глупые претензии, если принять в расчет *Ваши* обстоятельства, и сейчас я желал бы только одного, чтобы всё это не легло тенью на наши добрые отношения.

Существует, как видно, закон, по которому в несчастную пору жизни — особый урожай на ссоры и недоразумения,

вспухающие как бы сами собой, а последние недели, я наблюдаю, будто злой дух какой-то пробудился: всё вокруг чревато подозрениями, сплетнями, пересудами, потакать которым — только бесов тешить.

Бога ради, не давайте им нас поссорить.

Искренне любящий и уважающий Вас

В. Л.

Письмо В. Я. Лакшина А. И. Солженицыну от 27.IV.1970 г.

Многоуважаемый Александр Исаевич!

Я ошеломлен Вашим письмом, его несправедливостью, поспешностью суждений и, простите, неблагородством. А все же — спасибо за откровенность. То, что Вы написали «не для обиды, а строго по делу» и «для выяснения истины», дает и мне право высказаться на этот счет, тем более, что в выяснении истины я кровно заинтересован.

Ведь Вы судите о положении журнала, о моей роли в нем, о моих отношениях с Твардовским и т. п., то есть о том, что составляло всю мою жизнь каждого дня в течение этих восьми лет, и судите так, будто знаете ее лучше, чем я. Не колеблясь, Вы выдвигаете против старой редакции и против меня лично целый ворох обвинений и укоризн.

В Вашем коротком письме насказано так много, что не знаешь, с какого конца начать. Начну с менее существенного.

Вы превосходно, в духе Достоевского, изобразили сцену поцелуя в коридоре — и, Бог мой, как бы хотел я теперь забрать назад тот свой невольный порыв! Вообще говоря, не мужской это разговор — имели или не имели Вы «тягу к объятию», но раз уж Вы этого коснулись, скажу, что не это меня тронуло тогда и не Ваше «колебание» я заметил, а то, что на мои слова об уходе (я процитировал, если помните, надпись на надгробной плите Мартина Лютера Кинга), Вы ответили чем-то незначащим и оживленно стали пересказывать анекдоты немецкого радио. А потом, увидев, что они

слишком мало веселят меня, или просто исчерпав эту тему, умчались, прервав разговор на полуслове.

Но с досадой отметив про себя все это, мог ли я тогда думать, что за этим кроется нечто более значительное и относящееся к тому, что «строго по делу»?

Как бы ни был суров и требователен Ваш счет ко мне, в чем Вы могли винить меня тогда, 10 февраля? Что Вы знали о моем отношении к событиям, о моей позиции? Разве Вы говорили об этом со мною? С Кондратовичем? Хитровым? С Твардовским, наконец? Ведь нет? Но кто мог тогда с безусловностью сказать Вам, советую я А. Т. остаться или нет? Кто вообще мог достоверно знать об этом, кроме его и меня?

А с другой стороны, согласитесь, странно все-таки. Вы идете к Твардовскому убеждать его, что журнал надо вести и дальше, без участия изгнанных, говорите, следовательно, и о моей судьбе, а ко мне, не в пример прошлым годам, даже и не заглядываете, ну хотя бы затем, чтобы попрощаться, а при встрече на ходу ни словом не даете понять о своем отношении «к делу». И это непосредственно после, как Вы пишете, «сердечного» разговора в ноябре. Что же произошло между этими двумя датами? Отчего 10 февраля Вы были уверены что я поступаю (поступлю?) неправильно? Все это мне тоже интересно психологически.

Весь ход рассуждений в Вашем письме выдает человека, не знакомого с обстоятельствами дела, с теми подробностями, которые часто решают всё, человека, доверившегося ложной и неполной информации, а грубее сказать — клевете, и теперь эту клевету повторяющего.

Мне остается предположить одно — Вы судите об обстановке в редакции, о внутренних взаимоотношениях, о том, что можно было сделать, а чего нельзя, на основании мнений, сложившихся в некоторых комнатах нашего первого этажа и дошедших до Вас непосредственно через вторые руки. Там постепенно возник свой микроклимат, своя домашняя идеология и психология, особенно бурно формировавшаяся в февральские дни, и мне жаль видеть, что Вы в данном случае оказались под подавляющим ее влиянием.

Об этом я хочу еще сказать позже. А пока — вот еще кровавый вопрос. Вы пишете о «страшной исторической цене Августа». Может быть и так. Но пусть уж об исторической цене — сто́ило или не сто́ило ее платить — и рассудит история. Я же рад, что у меня и моих товарищей тогда нервы не сдали, иначе журнал был бы — сегодня это очевидно — раздавлен полутора годами прежде. А полтора года журнала Твардовского, я думаю, не безделица.

Вы пишете далее, что в роковые февральские дни мы, четверо изгнанных редакторов, не оказали мужественного сопротивления, не пошли на личные жертвы. О чем Вы говорите тут? В чем упрекаете? Из Вашего изложения это не совсем ясно. Ну, скажем, «не оказали мужественного сопротивления». Как? В каком смысле? Да и что Вы знаете об этом? Знаете ли Вы, к примеру, о том письме, которое мы отправили в Секретариат СП с требованием гласного обсуждения причин нашего увольнения? С этим письмом, разумеется, не посчитались, да и с какими нашими заявлениями и протестами стали бы считаться, если уже не посчитались с протестами Твардовского?

Но еще остается вопрос о «личных жертвах», которых мы, будто бы, не захотели принести. (Возможно «вы» говорится тут из любезности, а имеюсь в виду прежде всего я). Поэтому скажу о себе.

Пожалуй, кроме «Нового мира», мне и нечего было терять, и нечем жертвовать. Ни «постов» у меня не было, ни «влияния наверху». А на том уровне, на каком я мог портить отношения с «верхом», я давно испортил их вдрызг. Недаром обычные рассуждения этих людей о журнале сводятся к тому, что во всем виновато окружение Твардовского, и конкретнее — «виноват Л-н».

Стало быть, лично пожертвовать я мог только тем, чем и пожертвовал — меня нигде не печатают и, видимо, не будут печатать: четыре издательства еще в прошлом году отвергли мои заявки на издание новых или хотя бы переиздание прежних моих работ. От преподавания в университете, где я вел занятия в течение десяти лет, я отстранен еще два года назад. И, лишенный возможности преподавать, я вынужден

теперь бросить и мои занятия литературной критикой. Ибо еще можно, хоть и бесконечно трудно, конечно, писать роман, рассчитывая на будущих читателей и не надеясь на издание, но писать критику «в стол» — нелепо, невозможно, и заниматься ею без журнала нет никакого смысла.

Вы можете сказать, что не великие все это жертвы, но для меня лишение того, что я могу и, кажется, умею делать — не пустяк. С охотой пожертвовал бы я и теперь мучительной для меня, призрачной службой в «Иностр. литературе», если бы видел в этом хотя бы какой-то идейный смысл. А так — не все ли равно? Деньги платят, чтобы прокормить семью, и ладно.

Если же, говоря о «личных жертвах», Вы имели в виду другое — уговорить А. Т. работать и без нас, как сделал когда-то Дементьев, то тут даже и жертвы никакой не было бы — один рациональный расчёт.

Всегда я считал, что если бы вопрос сводился лишь к тому, чтобы убрать из редколлегии меня, Кондратовича или любого другого редактора, журнальное дело могло бы идти дальше своим ходом во главе с А. Т. В начале февраля, когда только началась вся эта история, я говорил А. Тр-чу, что если вопрос упрется в то, чтобы освободить меня, безусловно необходимо на это идти. Присутствовавший при этом разговоре Виноградов тогда же подтвердил это и в отношении себя.

Но одно дело — изъятие старых членов редколлегии, другое — прибавление новых. Отлейте молока из кувшина, его будет меньше, но его можно будет пить. Иное дело — добавить в молоко конской мочи, — придется ли Вам по вкусу этот напиток?

Коварство замысла устроителей гибели «Н. М.» состояло — теперь это ясно — в беспроигрышной игре: они хотели ухода Твардовского или, что было бы для них еще лучше, оставления его имени на обложке журнала, где фактически распоряжались бы навязанные ему Большов, Овчаренко и К°.

Тут уже не было выбора, и я не считал возможным уговаривать А. Т. оставаться. Зачем? Чтобы на несколько ме-

сяцев прикрыть своим именем разлагающийся труп того, что было прежде «Н. миром»? Да и что значит «уговаривать»? Не надо преувеличивать моего на него влияния. В нашем добром товариществе он влиял на меня уж никак не меньше. И если иной раз он прислушивался и к моим советам, то лишь постольку, поскольку это отвечало его внутреннему убеждению.

Останься А. Т., и это каждодневное сотрудничество с людьми, с которыми он не хотел даже издали знаться, стало бы для него нравственной пыткой, одним непрестанным оскорблением, и кончилось бы все равно тем же — уходом. Так зачем бы я стал толкать его на этот позор и муку?

И, наконец, последнее. Я решительно отказываюсь понять, как Вы, начав с суровой принципиальности по отношению к Августу, когда свободы выбора для редакции не было, оказались столь снисходительны по отношению к нынешнему «Н. М.» и участию в нем, когда свобода выбора налицо. Тут является в Вашем письме и ссылка на «время такое», и оправдание для аппарата редакции продолжать в ней работать, а для авторов — нести туда свои рукописи. Мысль, что совершается запланированный обман общественного мнения, что люди готовы, забыв о первом порыве негодования, активно помогать казнокраду Большову и чиновнику Косолапову, согласившемуся принять место А. Т. (как долго искали такого человека, и как не верили вначале, что он найдется!), так вот помогать им сохранить внешность «Н. М.» при неизбежной утрате его существа, — и все это Вас ничуть не смущает?

«Пусть каждый делает то малое, что может», — пишете Вы. Казалось бы оно и так. Но я хорошо узнал в последние недели, что значит эта точка зрения в применении к разрушенному журналу, и она неразрывно связана с обвинением, бросаемым прежней редколлегии и мне лично. По прошествии двух месяцев стало особенно ясно, что этот взгляд коренится в иллюзиях тех сотрудников ред.аппарата «Н. М.», которые по житейским обстоятельствам не покинули редакцию и принуждены были силою вещей к сотрудничеству с Косолаповым.

Можно ли их винить за это? Нет, конечно. Как не понять, по-человечески, что некоторым из них, «слабым женщинам», как Вы выразились, трудно расстаться с журналом по материальным и иным личным обстоятельствам. У кого — нет перспективы найти работу, кому — пенсионный возраст подходит, а кто должен дождаться срока 10% прибавки к пенсии за непрерывный стаж на одном месте и т. п.

Все это обстоятельства понятные, соображения законные, и кто кого посмел бы попрекнуть этими соображениями и житейскими расчетами, даже и 10 процентами, и прочим? Но вот когда под частные житейские обстоятельства подводится идейная база, когда личная необходимость выдается за общественную добродетель, тогда дело приобретает иной поворот и окрашивается двусмыслицей. Возникает сомнительный призыв: сохранить прежний журнал при новой редколлегии. Журнал Твардовского под редакцией Косолапова — какая злая карикатура!

Благородные иллюзии начинают, понятно, рушиться с первых же шагов, но дело сделано. «Слабые женщины» сами обманываются и обманывают «сильных мужчин». Те самые авторы, которые в дни крушения «Н. М.» без всякого понуждения с нашей стороны заверяли нас, что никогда не пойдут на сотрудничество в разгромленном журнале, обрадовавшись индульгенции от старого аппарата, стыдливо несут туда свои рукописи.

Знаете ли Вы, между прочим, что прямым указанием Косолапову при разгоне старого «Н. М.» было: «Необходимо сломить бойкот писателей. Нам не нужен второй «Октябрь», нам нужен «Н. М.», только без крайностей прежней редакции». (Вы хорошо можете представить себе, что такое «крайности» в понимании этих людей). И аппарат наш стал выполнять эту задачу как нельзя успешнее. Писателей уговаривали — не забирать рукописи, авторов призывали заканчивать прежде заказанные им статьи — будто ничего не случилось. Дороша и Марьямова убеждали не торопиться с уходом — и не без успеха.

Даже у серьезных, умных людей, вроде Буртина, клубились иллюзии, что можно, имея чиновничью редколлегию,

выпускать с помощью давления аппарата приличный журнал. Но во-первых, что такое «приличный»? Где граница приличия и неприличия? Приличен ли журнал Кожевникова? А, может быть, «Москва» Мих. Алексеева? Во-вторых, всякий, кто знает редакционную работу изнутри, понимает, что это — блеф. «Слабые женщины», даже утешая себя тем, что они «принципиально» спорят с Овчаренкой или Большовым, сами не заметят, как начнут отступать, уступая здесь — абзац, там — страницу, тут — статью. И этот процесс уже начался.

Конечно, жизнь есть жизнь, писателям надо же где-то печататься, и по прошествии известного времени, вероятно, наступит момент, когда будет уже безразлично, куда нести свои рукописи — в «Москву» или «Н. М.» — «где печатают, там и родина». А можно допустить, что «Н.мир» и тогда будет иметь репутацию более респектабельного издания, и симпатии авторов невольно направятся к нему. Но активность, проявленная в первые недели и месяцы после отставки Твардовского, когда трижды еще не пропел петел, объективно выглядит как изъявление усердия.

Честные люди, ставшие жертвой иллюзий и самообмана (а за одним-двумя исключениями я не сомневаюсь в личной порядочности наших прежних сотрудников), мало помалу все равно разойдутся из редакции, если их еще прежде не уволит Косолапов, как он грубо уволил Буртина, поплатившегося тем самым за свои недолгие обольщения. Но разойдутся, боюсь, с горьким сознанием, что послужили темной силе.

Именно среди этих, попавших, на мой взгляд, в несчастное и двусмысленное положение людей, среди «слабых женщин» первого этажа и родилось, поощренное чьими-то прямыми наветами, то объяснение обстоятельств гибели старого «Н. мира», которое и Вас соблазнило.

Раз положение скверное и двусмысленное — надо искать виноватых. И в силу психологического закона, по которому наш гнев легко переключается с истинной причины зла на ближайшую, но мнимую его причину, так сказать сублимируется и отводится в сторону от опасного источника, возник-

ла готовая теория: «Л-н взорвал «Н. Мир», он не уговорил Твардовского остаться», «ему самому давно надо было уйти, и все было бы в порядке». Вся кружковая либерально-литературная Москва это сейчас жуёт со слов «слабых женщин», не замечая, что сходится тут вполне с официальным обвинением: «во всем виновато окружение Тв-го».

А если уж рассудить по чести, чем мы виноваты, чем виноват я, кроме того, что меня вышвырнули из журнала, который составлял всю мою жизнь?

Я никогда не был обделен добрыми отношениями с людьми — и в редакции и вне ее. И пока все было благополучно и мы дружно тянули общий воз, не было и следа какого-либо недоброжелательства. По крайней мере я его не чувствовал и, напротив, гордился доброй атмосферой взаимного уважения и товарищества, сохранявшейся между всеми сотрудниками.

И только после нашего ухода — будто какая-то плотина прорвалась; волна злословия, сплетен, домыслов вокруг старой редколлегии и моего, в частности, имени, поднялась — странным образом — как раз тогда, когда я перестал появляться в редакции. А теперь вот все завершилось Вашим письмом.

Не знаю, что и сказать Вам под конец. Бог Вам судья. А моя совесть чиста.

С уважением

В. Л.

Примечание

«Страшная историческая цена Августа» — речь идет об августовских событиях 1968 года в Чехословакии. Солженицын считает, что «Новый мир» должен был выразить свою горячую поддержку чехам и на этом прекратить свое существование: «Закрыться тогда — было ПОЧЕТНО!» А у него «с августа 68 г. горела боль и стыд», что «Новый мир» не сделал этого.

«Н. М.» — «Новый мир».

Буртин Юрий Григорьевич — редактор отдела публицистики в журнале.

Дорош Ефим Яковлевич и Марьямов Александр Моисеевич — члены редколлегии Твардовского, которые остались работать с новым редактором — В. А. Косолаповым.

Четыре уволенных редактора — А. И. Кондратович, В.Я. Лакшин, И. И. Виноградов, И. А. Сац.

Письмо В. Я. Лакшина А. И. Солженицыну

Многоуважаемый Александр Исаевич!

Иногда мне кажется, что наша переписка — дурной сон какой-то. Только-только Вы признали свою неправоту в вопросе, на котором основывалось всё обвинение в прошлом письме, как уже готово новое. На этот раз выясняется, что не слишком-то хорош был сам журнал и, между прочим, мои статьи в нем. Согласитесь, это совсем новый мотив. Вы бегло просмотрели оказавшиеся под рукой 11 книжек, всему выставили цену, как для аукциона, и произнесли свой суд: не стоило де и задерживаться на полтора года, тем более, что «Н.мир» не выдержал «победного соревнования» с Самиздатом и в журнале не устраивались конференции авторов и сотрудников с отчаянными возгласами: «Братцы!.. Как нам быть?»

Не думаю, чтобы Вы вовсе не сознавали значения журнала. Скорее у Вас тут, по присловью, **не прямота бранится, а задор**. Но Вы вправе смотреть на вещи по-своему. Ваша воля — равнодушно парить над «Новым миром» и «Октябрем», также как не наблюдать различий в «компромиссной линии» при Твардовском и при Косолапове, и восхищаться матросами, которые одинаково прилежно качают воду и со старым и с новым капитаном.

Не пойму только, к чему при этом то, что в старину называлось *личностями*, вроде фраз о «внутренней несвободе», «преувеличении своих страданий» и проч. Ведь это смешно — считаться в отношении друг друга, кто насколько пострадал и нельзя ли больше. Можно, конечно. Я во всяком случае страдальцем себя отнюдь не считаю, и если вынужден

был к объяснению насчет некоторых неудобств нынешнего своего положения, то лишь вследствие Вашего вопроса о «личных жертвах».

По поводу своих статей объясняться, понятно, не буду. И об Августе — довольно. Ведь коли бы я находил возможным использовать Вашу методу спора, то должен был бы сказать примерно следующее: «Раз уж Вы, Александр Исаевич, так непреклонны в оценке поведения старой редакции в Августе, то что мешало Вам самому тогда же высказаться публично по поводу происходящих событий, заклеймив заодно верноподданный «Новый мир», вместо того, чтобы декламировать о своей «боли и стыде» два года спустя по случаю разгона редакции?» Но я не говорю Вам так, потому что считаю подобный ригоризм напрасным (предела требованиям друг к другу тут нет, вплоть до самосожжения), а сам запоздалый разговор такого сорта — нехорошим.

Вполне сочувствую Вашему желанию «на переходе к 70-м годам назвать всё своими твердыми именами». Но Вы делаете ошибку, если думаете, что говорите всякий раз как бы от лица Истории. Не уверен, что она во всем согласится с Вами. К сожалению, Вы сплошь и рядом питаете иллюзии самые детские, легко теряете масштаб явлений и поддаетесь, очевидно, впечатлениям и настроениям кружковой сектантской предвзятости. А сколько наивной импровизации в Ваших исторических прогнозах и оценках!

Александр II, сгноивший в ссылке Чернышевского, закрывший «Современник» и «Русское слово», благословивший массовые процессы «землевольцев», потопивший в крови польское восстание (едва сто лет прошло, а Вы забыли...), этот либерал поневоле — герой русской истории? «Вехи» — новое евангелие? И XX съезд померк для Вас в сиянии этой «жемчужины»? Померк как раз тогда, когда в кинотеатрах снова аплодируют появлению Сталина на экранах и мы с каждым днем удаляемся от этой «части национальной традиции и культуры», не успев ни развить, ни закрепить ее? Наконец, рукописный Самиздат — победитель «Нового мира» 60-х годов? Победитель демократического (но не либерального!) журнала с полумилли-

онным регулярным читателем? Нет, проповедуйте все это кому-нибудь другому.

Сознаю, конечно: и Ваша пристрастность, и оценки эти в большой мере результат нездоровых обстоятельств, противоестественного положения, в какое Вы поставлены как писатель. Но, неизменно восхищаясь Вашим художественным талантом, я искренне сожалею, что Ваша общественная активность находит себе такой ложный выход.

Повторю на прощанье Ваши слова: не обижайтесь, и пожелаю Вам всего доброго.

В. Л.

8.5.1970

Письмо В. Я. Лакшина К. Л. Рудницкому[1] от 28.12.1976

Дорогой Костя!

Спасибо за подробный отзыв. Письменный его характер заставляет ответить также письменно. Итак, заведем переписку из двух углов. Я искренне благодарен за сочувственные слова о главных мыслях и положениях статьи. Это мне **очень важно**. Но важны и возражения. Тем более, что я верю в их благожелательность, очень ценю Ваше доброе отношение ко мне и сам плачу́ от души Вам тем же. Значит, стоит объясниться. Ведь Ваши возражения лишь по форме частные и деликатно выраженные, но я понимаю, что речь идет о вопросах не мелких, и сама письменная форма Вашего ко мне обращения это обстоятельство подчеркнула.

В некоторых Ваших недоумениях повинен, несомненно, я — плохо, нескладно, не до конца выразил, что хотел. В некоторых, может быть, Вы — не захотели расслышать то, что я говорю, не поверили мне, поддавшись случайным своим впечатлениям.

Скажем, я вовсе не стремился показать «красоту и благородство пьяного Твардовского», как Вы пишете. Пьяный есть пьяный. Я только говорю, что ни подлым, ни трусливым, ни мелочным я пьяного А. Т. не видел. Это искреннее мое

свидетельство, а пил я с ним, наверное, тысячу раз, и один и в компании. Относительно пьянства Твардовского много легенд — самых преувеличенных и гнусных, оттого я считал важным об этом упомянуть.

Вы, конечно, правы, что о «Новом мире», его особой позиции, его «миссии», как Вы говорите, я написал мало и неудовлетворительно. Но это, я думаю, и не задача такого личного и полемического сочинения, как моё. Да и я тут не лучший судья, скорее один из участников и свидетелей. К счастью, существует ряд дневников этих лет, прежде всего подробнейшие дневники Твардовского, которые помогут восстановить истину во всем объеме. А если будущий историограф изучит к тому же 1) комплект «Нового мира» 60-х годов, 2) сохранившиеся в архиве верстки с редакторской и цензурной правкой, 3) тысячи писем читателей «Нового мира», хранящиеся теперь в ЦГАЛИ, 4) полемику в газетах (сотни ругательных статей) и с трибун (семь выступлений на одном 23-м съезде партии), 5) архив цензуры, Секретариата СП и отдела культуры ЦК, — будет объективная возможность оценить то, что Вы называете «миссией» «Нового мира».

Откуда Вы взяли, что я пытаюсь уверить, будто члены редколлегии «Нового мира» — «все друзья и все ангелы»? Слов нет, Вы правы, когда говорите, что в редколлегии люди были разные и по-разному вели себя в разнообразных обстоятельствах. Их слабости известны мне очень хорошо, так же, как им, возможно, мои. Я не однажды ссорился по журнальным поводам с Дементьевым, на многое смотрел с ним различно, расходился во многом с Заксом — и об этом вскользь пишу (стр. 22 рукописи). Вообще, вопреки Вашему лестному суждению, в редколлегии мы не всегда составляли «сильное единство», и каждый журнальный номер в каком-то смысле представлял собой плод и внутриредакционной борьбы. Если бы я писал свои воспоминания о журнале, наверное бы нарисовал всех так, как их тогда видел. Но Солженицын изобразил соредакторов Твардовского именно в духе пасквиля, с чем Вы напрасно не хотите согласиться, ибо что такое «мутно-угодливый Сац», «с носом вынюхиваю-

щим» Кондратович и т. п., как не пасквиль? В свете такого рода высказываний, которые призваны были небрежными художественными мазками лично скомпрометировать людей журнала, бросив тень и на самое дело, я обязан был за них вступиться.

Вы едва ль не оправдываете «игроцкий азарт» Солженицына, а я убежден, что когда это качество обращено на его отношения с людьми, — это и есть безнравственность. И далее Вы «лавирование» «Нового мира» на одну доску ставите с «играми» А. И. (Александра Исаевича. — *С. К.-Л.*). Позвольте указать на различие.

«Новый мир» лавировал и хитрил в иных случаях с начальством и цензурой. Солженицын же «играл» со всеми, и с особым азартом, пожалуй, с теми, кто помогал ему, уверенный заранее, что он выше всех, и доигрался до ненависти едва ль не ко всем на свете. В последнем его сочинении, какое мне попалось, он, изругав предварительно литераторов, либералов, марксистов, церковников, эмигрантов, издателей, ученых, интеллигентов, политиков в России, Европе и Америке, обличает ныне радиокомпанию Би-би-си и ее комментатора Гольдберга за политическую беззубость и умеренность. Ну, да Господь с ним. Скажу еще два слова о «лавировании» «Нового мира», как о модной теме (недавно те же слова слышал).

Я бы удивлялся, по совести, не тому, как «Новый мир» «лавировал», удачно обходя рифы и заранее предвидя опасности. Это делает по-своему изобретательнее «Знамя» Кожевникова и «Лит.газета» Чаковского. Я бы удивлялся, напротив, тому, как в основных поставленных себе литературно-общественных задачах «Новый мир» был упорен, упрям и открыт. Вспомните хотя бы требование **правды**, прошедшее во стольких полемиках и нами не уступленное. Вспомните неизменную борьбу журнала — и в практике прозы, и в критике — с ремесленничеством и идеологической бутафорией в искусстве, что столько нажило нам персональных врагов, но журнал, его позицию до последнего номера (1970, № 1) не поколебало. Вспомните отношение журнала к теме деревни, которая ведь не просто **тема**, и где

мы тоже ничего не уступили. Вспомните, наконец, полемику последнего года с «младороссами», на которую брюзжит заодно с Мих. Алексеевым Солженицын. Я уж не говорю о так называемой «проблеме культа личности», лагерей, оценки террора в ряду других революционных методов, вопросов демократии и т. п. Словом, я бы удивлялся не тому, как умело «лавировал» журнал, а тому, как он стойко и прямо отстаивал те, пусть скромные для пылких голов, рубежи, на какие он сознательно встал в 60-е годы.

Многим казалось, что причиной долгой непотопляемости «Нового мира» является какая-то особо изощренная тактика, или даже «рука» на верху. Сомнительным было и «покровительство» Хрущева[2], а после 1964 года уж совсем никаких высокопоставленных заступников у «Нового мира» не было. Секрет в ином. «На том стоим», — сказал Твардовский в статье 1965 года «По случаю юбилея». И в этой личной, твердой, неуступчивой силе, за которой и враги «Нового мира» признавали некий авторитет, ощущая общественную поддержку ей, заключался секрет многолетия обреченного журнала.

«Новый мир», если угодно, чаще шел на рифы, чем огибал их (как в «Ответе одиннадцати литераторам» перед самым концом[3]) и именно поэтому **проходил** их до поры, пока не разбился, что и Твардовским и нами всеми всегда понималось как неизбежность. С весны 1963 года Твардовскому назначали преемника, и семь лет мы жили, как поднадзорные, с «временной пропиской», по выражению А. Т., в вечной осаде, — и чести, могу с удовлетворением сказать, не потеряли. В этом корень дела, а не в неизбежном в каких-то пределах «лавировании», учете тактики и т. п.

Теперь «проблема Аси», о которой мне меньше всего хотелось бы говорить, тем более, что для большинства читателей моей рукописи такой «проблемы» вовсе не существует. Согласитесь, что и не мною выдвинута эта «проблема». Я просто бы ни слова о ней не промолвил, если бы в «Теленке» А. С. Берзер не выступила в роли исключительной: единственного порядочного лица в редакции «Ново-

го мира», прямо противопоставленного **всему** окружению Твардовского. И это, к прискорбию моему, уже литературный и общественный факт, и от него никуда не деться. Может быть, тут собственные домыслы Солженицына, и А. С. (Анна Самойловна Берзер. — *С. К.-Л.*) не виновата, она лишь пассивная жертва его симпатий? Отчего же, однако, он так упорно ссылается на нее, как на источник своих знаний о людях и обстоятельствах «Нового мира»? И почему бы ей самой тогда не возмутиться этим, так же, как кому-либо из нашей публики, читавшей «Теленка» с изрядным волнением, не возмутиться некоторыми его страницами **до** и **вместо** меня? И о Берзер тогда бы, к счастью, мне не пришлось писать.

Однако сама реакция на 20 критических строк об А. С. Берзер[4] в моей рукописи убеждает меня, что она свой миф создала, Солженицын его литературно закрепил, а Вы, как читатель, в нем ни минутой не усомнились — это уже требует возражений, потому что касается не ее лично, а «Нового мира», как литературного и общественного организма.

Вот Вы пишете, что я умаляю роль А. С., «читавшей прозу раньше всех и отбиравшей лучшее». Но откуда Вам это известно? С чьих слов? Берзер много и хорошо работала в своем отделе, имела и вкус, и заслуги в выдвижении некоторых авторов, это правда. Но в той характеристике, какая дана здесь Вами, есть, осторожно говоря, некоторое преувеличение. В большей мере, чем что-либо иное, проза в «Новом мире» была заботой и делом всего журнала. Многие произведения прозы первым читал и рекомендовал их сам Твардовский (например, ряд вещей Залыгина, Троепольского, Соколова-Микитова, а Солженицына всего, после «Ивана Денисовича» читал первым. Кстати, Копелев[5] указал мне на неточность: я, вслед за Солженицыным, пишу, что «Ивана Денисовича» Берзер извлекла из редакционного «самотека», а он утверждает, что вместе с Р. Орловой[6] принес повесть Асе (так называли Берзер в редакции неофициально. — *С. К.-Л.*) **для передачи Твардовскому**). Да и другие члены редколлегии часто читали и рекомендовали сочинения прозы раньше, чем они попадали к Берзер. Кондрато-

вич, сколько помню, первым читал повести Катаева, Закс — мемуары Эренбурга, Виноградов и Сац редактировали Айтматова, который Асе «не нравился», Сац же открыл в «самотеке» первую вещь Войновича, я рекомендовал журналу «Театральный роман» Булгакова, первым читал и потом редактировал записки В. Шверубовича, Анастасии Цветаевой и т. п. — привожу первое, что пришло на ум. Словом, никак не отрицая роли редакторского пера Берзер, я должен сказать, что приписывание ей едва ли не всех заслуг в отборе и редактировании прозы «Нового мира», наивное заблуждение или московский миф.

Скажу, кстати, и о моей «жесткой и каменной», как Вам показалось, позиции в отношении тех, кто в 1970-м году остался работать с Косолаповым. Никогда никого из старых наших сотрудников, кто просто остался служить в «Новом мире», я не укорил в этом — «трудоустройство», пенсия и т. п. — всё это понятно, и у меня сохранилось самое доброе отношение к Г. П. Койранской, например, и другим, по сей день работающим в журнале.

Но весной 1970 года ситуация была особой. Некоторые писатели забрали рукописи, желая выразить свое отношение к происшедшему. Начальство испугалось скандала, и А. Беляев прямо говорил: «Надо сломить бойкот писателей». Именно тогда А. С. Берзер стала центром кружка, решившего выдвинуть сотрудничество с Косолаповым, как высокую идейную задачу, продолжение «миссии». Она явно переоценила свои силы, думая, что сможет сохранить прежний журнал без Твардовского и с новой редколлегией. А практически лишь помогла совершить угодный начальству плавный переход журнала в новое качество, чтобы никто не подумал, что с уходом Твардовского и старой редколлегии произошло в литературе нечто тяжелое и трудно поправимое. А дабы это не выглядело как отступничество в отношении прошлой редакции, неизбежно надо было погуще очернить нас. Весной 1970 года из бывшей нашей редакции полетели нам вдогонку комья грязи.

На пересуды и сплетни в ЦДЛ и домашних кружках, доходившие до меня тогда со всех сторон, можно было бы и

наплевать, и я долго зажимал уши. Но в конце концов это вылилось и в некоторые литературные документы — и среди них письма Солженицына ко мне со сплетнями, переданными с чужих слов, и нынешние страницы «Теленка». Тут уж, пожалуй, промолчать было нельзя: «Каким судом судите, таким и судимы будете».

Можно было бы, Костя, поговорить на эти темы подробнее. Если надумаете зайти — милости прошу. Еще раз искренне благодарю за откровенный отзыв, и на пороге Нового года желаю всем сердцем Вам и Тане[7] здоровья и благоденствия.

В. Лакшин

28 дек. 1976.

Примечания

[1] *Рудницкий Константин Лазаревич* (1920–1988), театровед, театральный критик, доктор искусствознания, автор книг о Мейерхольде и др. Данное письмо является ответом на письмо Рудницкого от 22 декабря 1976 года Владимиру Яковлевичу, который дал ему рукопись своего ответа Солженицыну. Рудницкий пишет: «Я — рад, что такое высказывание состоялось и что произнесено оно Вами. «Новый мир» имел моральное право ответить, его роль в духовной жизни общества была огромна, и Вы — больше других — обладаете личным авторитетом, способным защитить и утвердить позицию журнала и сегодня, и завтра.

Очень и очень во многом я с Вами согласен на 100%. Речь идет и о том, как показываете Вы отношения редакции с А. И. (Александром Исаевичем Солженицыным. — *С. К.-Л.*), отношения А. Т. (Александра Трифоновича Твардовского. — *С. К.-Л.*) и А. И. — тут все для меня абсолютно убедительно. Еще убедительнее Ваш анализ сегодняшних политических утопий А. И. и непривлекательных, и нереальных — и с моей точки зрения... Да, без «Н. М» («Нового мира». — *С. К.-Л.*) вряд ли появился бы «Ив. Ден.» и, может быть, самое имя А. И., теперь столь громкое, оставалось бы безвестным. Но тем важнее не просто сказать о том, как широко читали «Н. М.», но и четко определить его место в духовной и общественной ситуации 60-х гг., среди других журналов и газет,

обозначить его линию, *его миссию»* ... Если бы «Н. М.» свою миссию не выполнил, вся деятельность А. И. скорее всего и не началась бы...» (Архив В. Я. Лакшина).

[2] *Хрущев Никита Сергеевич* (1894–1971), партийный и государственный деятель. 14 октября 1964 года освобожден Пленумом ЦК КПСС от обязанностей 1-го секретаря ЦК КПСС и члена Президиума ЦК КПСС.

[3] 26 июля 1969 года вышел «Огонек» с *«письмом одиннадцати»*: его подписали Михаил Алексеев, Петр Проскурин, Александр Прокофьев, Сергей Викулов, Николай Шундик, Сергей Воронин, Виталий Закруткин, Анатолий Иванов, Сергей Малашкин, Сергей Смирнов (поэт), Владимир Чивилихин. Оно называлось «Против чего выступает «Новый мир»? Это был резкий выпад против журнала.

Спустя почти 20 лет в 1988 году Вл. Як. в «Письме в редакцию. Рецидив» дал оценку еще раз этому событию в ответ на выступление Н. Шундика, что он ни в чем не раскаивается и что «дело было не в Твардовском, а в синявских»: «Статья „Огонька“ заклеймила как „очернительские“, „глумящиеся над трудностями роста советского общества“ произведения прозы «Нового мира». Назывались, в частности, повесть И. Грековой «На испытаниях» и роман Н. Воронова «Юность в Железнодольске»... Журнал в целом обвиняли в том, что он будто бы подменил «идеи пролетарского интернационализма» «космополитическими идеями». «В провокационной тактике» «наведения мостов» сближения или, говоря модным словом «интеграции идеологии», они (редакторы и авторы «Нового мира» — В. Л.) словно бы не хотят видеть диверсионного смысла. Более того, прикрываясь трескучей фразеологией, они сами выступают против таких основополагающих морально-политических сил нашего общества, как советский патриотизм, как дружба и братство народов СССР, как социалистическое по содержанию, национальное по форме искусство социалистического реализма».

«Диверсионный смысл» — так было расценено стремление Твардовского говорить правду в эпоху застоя, бороться по мере сил за демократизацию и гуманизацию нашего социалистического Отечества.

В нынешние дни вряд ли необходимо подробно комментировать «письмо одиннадцати». Какую его сторону ни возьми, его отличал демагогический тон и голословный характер политических обвинений. Было ясно, что письмо преследовало одну цель — переменить руководство журнала, добиться ухода Твардовского с поста главного редактора. Это желание группы литераторов находило в то время и официальную поддержку, в том числе и на высоких этажах, в частности у М. Суслова».

Вл. Як. цитирует написанный Твардовским и им ответ, который по его словам, был «воспринят тогда как неслыханная дерзость». А «письмо одиннадцати» «послужило сигналом к началу газетной кампании против «Нового мира» и Твардовского как его редактора... Перечитывать сейчас эти недобросовестные, но по-видимому, хорошо скоординированные статьи тяжело и горько. Результаты этого так называемого «обсуждения в печати» вылились в протокол № 5 от 9 февраля 1970 года заседания секретариата Союза писателей о переменах в составе редколлегии «Нового мира», вследствие которых Твардовский покинул пост главного редактора.

В сентябре 1970 года Твардовский тяжело заболел (инсульт и обнаруженный одновременно рак легкого). В декабре 1971 года он умер... Литературный и общественный климат в 70-е годы был бы все же существенно иным, не будь в 1970 году удушен «Новый мир» Твардовского» («Советская культура», 14 мая 1988 г.)

[4] В первой публикации ответа Вл. Як. на «Теленка» — «Солженицын, Твардовский и «Новый мир» — в журнале «Двадцатый век», № 2. 1977. Лондон — были эти строки о А. С. Берзер. Вот они:

«Что же касается Берзер, то Твардовский, как верно замечает Солженицын, даже отдавая должное ее редакторским навыкам, любил ее мало — и, как теперь выясняется, не зря. Амбиции ее были велики, притязания обширны — куда больше той скромной роли, какую она в редакции выполняла. Ей не приходилось принимать ответственных решений, отстаивать журнал в «инстанциях» и цензуре, и оттого, быть может, главных врагов «прогресса» она видела в членах редколлегии, окружавших Твардовского. Как явствует из «Теленка», она не испытывала брезгливости к двойной игре, хотела понравиться авторам за счет редколлегии, плодила

среди них опасения, недоверие, переносила слухи, и тем еще пуще осложняла положение и Твардовского» («Двадцатый век». № 2. С. 184–185).

В черновике письма к Рудницкому Вл. Як. написал о Берзер конкретнее: «К сожалению, я ещё до «Теленка», по разным обстоятельствам сделал на этот счет несколько неприятных открытий. Вернувшись к прошлому, могу сказать, что относился к Берзер без всякого недоверия, даже с симпатией, пока мы работали вместе в «Новом мире», хотя и знал некоторые сложности ее характера: особую уязвимость, амбициозность. Но только потом смог оценить какой-то поразительный её дар исподволь, с тихой улыбкой, ссорить людей. Спросите Копелева — он расскажет, как она поссорила его с Некрасовым. Спросите Саца — он подтвердит, как она развела его с Некрасовым и Войновичем. Велика ее роль и в ссоре Твардовского с Вас. Гроссманом, а задиристые письма Солженицына ко мне весной 1970 года во многом ею инспирированы: он и тогда не скрывал источника своих суждений о многих моих мнениях и поступках. В «Теленке» же — публично, на весь мир это вывалил...

Я никогда не посмел бы попрекнуть ни Берзер, никого другого тем, что они продолжают работать с Косолаповым — вопрос «трудоустройства», пенсии и т. п., дело понятное, житейское. В принципе «Новый мир» и при Косолапове, и при Наровчатове ничем не хуже «Знамени» или «Иност. литературы» — почему бы там не служить? Но в феврале-марте 1970 года ситуация была особой: замена Твардовского Косолаповым, фактическая гибель журнала, его направления были вызовом обществу, интеллигенции, и все следили со вниманием, насколько повадливо это общество себя поведёт. Многие писатели, без всякого понуждения со стороны Твардовского или моей говорили нам, что не станут больше печататься в «Новом мире», чтобы хоть как-то пассивно выразить свое отношение к случившемуся... Надо ли говорить, что ни Твардовский, никто иной из нас писателей к сопротивлению не понуждал. Но когда Залыгин, Каверин, Троепольский, Черниченко, Ильина и некоторые другие забрали свои рукописи и отдали в другие журналы, мы увидели в этом благородный жест солидарности. Значит, им не все равно было, где печататься, и направление журнала для них что-то значило.

Надо сказать, что когда к Твардовскому, литераторы, жаждавшие моральной индульгенции, приставали с вопросом, нести ли им новую вещь в «Нов. мир», он говорил неизменно: «Это дело Вашей совести», и никого ни к чему не понуждал.

Однако в это же время и, главным образом, усилиями Берзер, была создана другая домашняя идея — издавать хороший журнал можно и без Твардовского, с новой редколлегией... Берзер фактически помогла сделать то, что и потребно было начальству: совершить, спустить на тормозах плавный переход к новому состоянию ничтожества, в каком это издание теперь находится.

Эта ее деятельность ни в Твардовском, ни во мне не вызывала восторга, но от каких бы то ни было высказываний на этот счет мы воздерживались. Зато из стен «Нового мира» в 1970 году полился поток неприятных сплетен и пересудов о нас, отставленных в феврале редакторах, и не только в буфете, а даже на партийном собрании под водительством О. Смирнова обсуждали, какие меры принять к авторам, отказывающимся сотрудничать и как унять неприятельскую деятельность старой редакции, которой напрасно приписывали всевозможные «козни».

Задним числом сторонники Берзер нашли многочисленные пороки во всем окружении Твардовского — и тем оправдали свою готовность.

Так что речь вовсе не о том, что кто-то остался служить в «Нов. мире», кто-то там печатался и печатается... Берзер же претендовала на особую роль, заняла свою определенную позицию, которая включала и осуждение редколлегии, работавшей с Твардовским, и это отразилось на некоторых сторонах литературной жизни, в том числе отозвалось и в мемуарах Солженицына. Вот почему я вынужден был, хотя крайне не желал, возвращаться к этому, сказать об эпизоде весны 1970 года несколько строк. ... Берзер не только не отвергла приписываемое ей Солженицыным, но даже, как говорили мне, гордилась своей ролью в его мемуарах» (Архив В. Я. Лакшина).

Первоначально свой ответ Солженицыну Вл.Як. назвал «Друзьям «Нового мира» (по поводу книги Солженицына «Бодался теленок с дубом»). В этом первом варианте рукописи содержится достаточно яркая зарисовка характера А. С. Берзер. Вот этот

текст: «О том, как я понимаю роль А. С. Берзер в «Новом мире», придется сказать подробнее, поскольку Солженицын вывел ее в «Теленке» главным своим конфидентом и соглядатаем в журнале.

Анна Самойловна пришла в «Новый мир», имея за плечами немалый житейский и литературный опыт. Работала в «Литературной газете», редактируемой В. Ермиловым, потом в журнале «Знамя» у Кожевникова. В «Новый мир» была взята по горячим рекомендациям своих подруг, уже работавших в журнале, и прижилась тут, хотя, как верно замечает Солженицын, Твардовский, отдавая должное ее редакторским навыкам, любил ее мало. Редактором Берзер была хорошим, со вкусом, хотя не без тех «домашних», дружеских пристрастий, какие вкус портят.

Одинокая женщина, уже в те годы под 50, с постоянным близоруким прищуром, улыбочкой ускользающей, «Ася», как все ее звали, свои тайные страсти и глубокие амбиции перенесла в то дело, каким занималась. В ее манере общения была мягкая настойчивость, но житейский конформизм, умение ладить с начальством были ей не чужды, и, случись обстоятельства по-иному, она могла бы, наверное, десятки лет штопать рецензии в отделе критики «Знамени» под приглядом Людмилы Скорино. Но вышло так, что подруги вытащили ее в «Новый мир», она загорелась тем, что участвует в передовом, «прогрессивном» журнале, и в московских либеральных гостиных стала получать репутацию главного светоча прогресса и тайного двигателя всего, что есть лучшего в «Новом мире».

Мы в редколлегии, бывало, глухо помалкиваем об очередной новинке, боясь повредить ей в цензуре довременной рекламой, делаем в ответ на расспросы незаинтересованные лица, беспокоясь сутью дела, которой так легко помешать пустым звоном (такие случаи были — сам погубил свой уже набранный роман предварительными разговорами А. Бек). А кружок приятелей и приятельниц Берзер с ее слов уже шумит-гудит о том, что «Ася» открыла нового гения. Так случилось, что Берзер и сама скоро поверила, будто вывозит на себе лучшее в «Новом мире» — его прозу. Ей стало казаться уже величайшей неблагодарностью, что Твардовский недостаточно ценит эти ее усилия, слишком редко ободряет похвалами, а главное не делает — вопреки очевидной справедливости — членом редколлегии. Вероятно, она внутренне него-

довала, что люди, куда менее ее достойные — Кондратович, Сац, Лакшин вершат дела редакции с Твардовским, в то время как она остается в тени.

И с тем большим, как ей казалось, внутренним правом, повела она исподтишка ту игру, какая привычна была в ермиловской «Лит.газете» и «Знамени». Игра эта заключалась в том, что авторам, приходившим справиться о своей рукописи в отдел прозы, она говорила, указывая пальцем на потолок второго этажа, где помещались основные кабинеты редколлегии: «мне нравится, но **они** не хотят», «**они** вряд ли вас пустят», «**они** боятся». И, наконец, «я сделаю, что могу», и авторы уходили в счастливой уверенности, что Анна Самойловна лучший человек и надежнейший их друг в журнале. Более того: их героический защитник. Не перед цензурой, нет, не перед «инстанциями», с которыми она счастливым образом соприкосновения не имела, а стало быть, и ответственности не несла. А перед трусливой и ограниченной редколлегией.

Самое смешное в том состоит, что пока Берзер тихо интриговала, внушала всем вокруг, что «Новый мир» — это она и есть, и ей приходится бороться с нами за все доброе, мы с нею не боролись. Мы думали о ней, как о скромном и верном своем сотруднике и союзнике, и всё, о чем я здесь пишу, открылось наглядно потом, стало ясно задним числом из пересудов московской молвы, из поздних признаний людей литературной среды и из таких свидетельств, как книга Солженицына. А в те времена, даже когда подозревали Анну Самойловну в чрезмерном заигрывании с авторами за наш счет, смотрели на это сквозь пальцы, как на незначащую женскую слабость, пустой вздор. Да и просто не до того было. Вместе с Твардовским Кондратович, Закс, Хитров и другие наши товарищи были заняты каждодневной изматывающей борьбой за выход, пусть и с обычным опозданием, очередной книжки журнала.

По своему властному, императивному характеру Солженицын, по-видимому, более всего и едва ли не исключительно ценит личную преданность. Анна Самойловна сумела его в ней уверить — помимо лести ему и демонстрации своей роли в журнале, постоянными пришептываниями, что это доверительно, только для него, что она не имела права говорить, но ему скажет и т. п. Все это отозвалось теперь в «Теленке».

Впрочем, хватит об А. С. Берзер. Если ей уделено здесь избыточно места, то это потому, что мелкие, частные, психологические факторы иной раз влияют на создание картины большой истории. Солженицын пишет, что, подолгу не появляясь в журнале, «лишь по рассказам Берзер вызнавал, что там в редакции делается». Мнения и поступки этой журнальной дамы не заслуживали бы, наверное, столь подробного разбора, если бы суждения Берзер и двух-трех ее подруг не выплеснулись в книге Солженицына, уже как *его* достоверное знание. Так что Берзер — в известном смысле — соавтор легенды о „Новом мире", предложенной нам в „Теленке"». (Архив В.Я. Лакшина).

Когда вышел «Теленок» на русском языке в погибающем СССР (1991) и Вл. Як. стал готовить к печати свое сочинение здесь, он снял кусок о Берзер и потому, что не хотел обсуждать, вынула ли Берзер «Ивана Денисовича» из самотека, или его привез для Твардовского и ей отдал Копелев. Кроме того, ему наперебой все звонили, как тяжело больна Анна Самойловна. Она его, однако пережила. В черновике письма к Рудницкому есть зачеркнутая фраза: «По-христиански мне самому Берзер сейчас жалко...»

Сейчас, после публикации мною дневников Вл. Як. о конце «Нового мира», опять набросились на Лакшина и яростно стали защищать Берзер, как будто он и в дневнике не имел права писать то, что думал. Такой взвешенный профессионал, как Андрей Турков, критикует дневники А. Т. Твардовского (в журнале «Знамя») за то, что он «следил за происходящим в редакции настороженно и ревниво... далеко не всегда был справедлив», а вот Лакшин (в своих дневниках в «Дружбе народов») позволил себе «уничижительные оценки вчерашних сотрудников», «именовавший их ренегатами, штрейхбрехерами, коллаборантами» (Андрей Турков. «Честно я тянул свой воз» — «Дружба народов», 2006, № I, С. 206. См. также его рецензию в «Новом мире», 2005, № 10. С. 185).

[5] *Лев Зиновьевич Копелев*, литературовед, эмигрант, прототип Рубина в романе Солженицына «В круге первом».

[6] *Раиса Давыдовна Орлова*, жена Копелева. Специалист по американской литературе. Вместе с ним эмигрировала.

[7] *Татьяна Израилевна Бачелис*, искусствовед, киновед. Жена К. Л. Рудницкого.

Письмо В. Я. Лакшина в редакцию «Вестника РХД»

Мне не следовало бы, наверное, отвечать на удивительно грубую, недобрую статью Ф. Светова «Разделение...», напечатанную в 121-й книжке «Вестника», если бы не одно обстоятельство. В обширной статье, добрая треть которой посвящена полемике со мною, не нашлось сколько-нибудь внятного указания на то, когда и где опубликован текст, с которым спорит критик, так что читатель, усомнившийся в яростных обличениях Светова, не может сравнить тексты и выяснить меру его правоты.

Между тем такая проверка по отношению к статье Светова совершенно необходима, ибо сюжет, о котором он пишет, приобретает под его пером самые фантастические, извращенные очертания.

С точки зрения Светова я совершил отчаянную ошибку, что решился возразить Солженицыну на его книгу «Бодался теленок с дубом». Но что делать, если я не разделяю молитвенного отношения к некоторым из недавних сочинений нашего замечательного писателя — что́ видел, что́ сам чувствую, не могу уступить силе даже самого громкого и подавляющего авторитета.

Предвзятость, несправедливость суда Солженицына над «Новым миром» 60-х годов была для меня очевидна и, прочтя его книгу, я решился записать — не для печати, а для себя и для круга друзей — как я помню, знаю и понимаю то время и людей, каких он описывает. Вырвавшиеся в Самиздат и в течение года ходившие в Москве по рукам мои заметки «Друзьям «Нового мира» были напечатаны в 1977 году в Париже в издательстве Альбен Мишель отдельной книгой под заглавием «Ответ Солженицыну», а по-русски появились в альманахе «XX век» (вып.2, Лондон, 1977). Эти публикации уже вызвали разнообразные, и вполне сочувственные и критические, отзывы в западной печати. Но то, что появилось теперь в «Вестнике», покинуло берега обычного литературного и общественного осуждения.

Светов досадует на то, что я мало менялся в последние годы: в самом деле, литературная вертлявость не кажется мне

большой добродетелью. Забывает он, между прочим, отметить, что не менялся я и в своем уважении к большому таланту Солженицына. Приходится напомнить, что в 1964 году в статье «Иван Денисович, его друзья и недруги» я писал, защищая Солженицына от яростных нападок: «...Чем дальше будет жить эта книга среди читателей, тем резче будет выясняться ее значение в нашей литературе, тем глубже будем мы сознавать, как необходимо было ей появиться». Не помню, чтобы Ф. Светов принимал тогда участие в этих спорах о Солженицыне — он писал и издавал книги о Михаиле Светлове с его «Каховкой» и «Гренадой» и трактат «Ушла ли романтика?», а теперь учит меня понимать значение автора «Ивана Денисовича». Но и, правду сказать, что делать, если, высоко ставя рассказы Солженицына и его романы «В круге первом» и «Раковый корпус», признавая огромное явление «Архипелага Гулага», хоть и не склоняясь перед этой книгой богомольно, я не могу принять ни мемуаристику «Теленка», ни книгу о Ленине, ни большинство политических интервью и писем Солженицына, где, на мой взгляд, ненависть делает его беднее и у́же себя.

В статье «Разделение...», посвященной апологетическому разбору «Теленка», у Светова трудно найти какой-нибудь новый оттенок мысли, он идет за Солженицыным слепо, стопа в стопу, лихорадочно ухватившись за рукав поводыря и копируя даже его интонации. Только в одном он, пожалуй, еще смелее Солженицына — в личностном тоне, оскорбительных словечках: «лежалое тряпье», «обрыдший маскарад» (223), «барский окрик» (230), «жалкий фарс» (223), «смрадный дух» (232 и т. п.). Читая это о себе, я все думал: что это напоминает? И вдруг вспомнил: да это, как две капли воды, тот самый тон полемики, каким встречены были в печати мои статьи в «Новом мире» в защиту Солженицына в 1964–1966 годах. Я не поленился перелистать их теперь и убедился, что когда Светов пишет «Лакшин распоясался» (229), он лишь повторяет П. Строкова из «Октября», писавшего обо мне: «разбушевавшийся критик»; когда он рассуждает о моем высокомерии, «барском юморе», то слегка перефразирует статью

Б. Дьякова, который возмущался, что, защищая Солженицына, я «грубо и высокомерно третирую большую группу литераторов», а когда Светов позволяет себе усомниться в моих «чувствах по отношению к народу, прошедшему через архипелаг» (234), он заимствует полемический прием «Литературной газеты», которая негодовала, что мною «кощунственно брошена тень» не на отношение «к герою художественного произведения, нет, а к реальным жертвам сталинского произвола» (см.: «Октябрь», № 3 и 4, 1964; «Литературная газета», 1964, № 66).

Таким образом, если я менялся мало, то мало менялся по отношению ко мне, вплоть до новейшей статьи Светова, и тон родной отечественной критики.

Мало ушел Светов в «Вестнике» и от знакомых методов полемизма моих оппонентов 60-х годов. Мне уже приходилось отмечать, что их благородное негодование чаще всего основывалось на подозрениях, расширительном толковании сказанного и усечении цитат с приданием им литературно-криминального оттенка.

То, что он успешный ученик школы «чтения в сердцах», Светов хорошо показал, разбирая одну из моих статей, посвященную журнальным деятелям прошлого века — Сенковскому и Некрасову. Мой рассказ о том, что издатель «Отечественных записок» охотился и играл в карты с цензорами, стремясь сохранить журнал, кормил их обедами у Дюссо и печатал повести влиятельных светских знакомых, Светов воспринял, как простодушное изложение, прозрачную зашифровку привычек и обстоятельств журнала «Новый мир». Особенно понравилось ему упоминание об «обедах у Дюссо», и он взялся обличать «Новый мир» за вопиющую беспринципность.

«Стоят ли хоть что-то журнальные номера, если страницы их захватаны жирными пятнами (захватаны... пятнами?? — В. Л.) соусов от Дюссо» (стр. 200). И дальше — больше, самовозжигаясь праведным гневом, о Твардовском и обо мне: «Ну уж, не говоря о том, что приходилось пить и чем закусывать на «обедах у Дюссо», спасая журнал...» (стр. 226). И опять: «Но поскольку единственная реаль-

ность для Лакшина — цензура, а единственно реальная деятельность — обеды с цензорами у Дюссо...» (стр. 227). И в четвертый раз, с тем же остроумием: «Все на тех же обедах у Дюссо решается, по мнению Лакшина, судьба русской литературы» (стр. 229).

В данном случае Светов полностью усвоил чисто цензорский взгляд на вещи: в статьях «Нового мира» цензура усердно искала и вымарывала всё, что казалось ей «аллюзиями», несло «неконтролируемый подтекст», на поисках которого одно время помешалось литературное чиновничество. Мелкое, несправедливое по существу (ведь все в истории повторяемо, и в этом смысле чего ни коснись — одна аллюзия), такое чтение припахивало еще и «донесением по линии», и «Новый мир» всегда его убежденно отвергал не для того, чтобы теперь присутствовать при возрождении этой методы у Светова.

Светов хорошо овладел техникой нарезания цитат в такую окрошку, что с помощью их огрызков легко придать любой мысли оппонента прямо противоположный смысл.

Один пример. Я упрекал Солженицына за то, что, оказавшись за границей, он стал без нужды спешить с публикацией малозначительных отрывков и биографических материалов, торопясь создать свою версию автобиографии. Речь шла о «дневниках, записках, письмах, вариантах сочинений». Однако, вырвав из контекста слова: Солженицын «торопится печатать в журналах», «поспешно публикует», Светов стал убеждать читателя, что в моем лице он находит тайного врага всего творчества Солженицына, начиная с «Ивана Денисовича» и кончая «Архипелагом Гулагом». «Вот, оказывается, какой «неторопливости» ждал Лакшин от Солженицына, — восклицает мой новейший разоблачитель, — какие «обычаи писателей былого века» кажутся ему привлекательными — куда уж было б лучше спрятать книги Солженицына «вдали от глаз публики», а совсем бы хорошо еще подальше — «за порог земной жизни», лет эдак на 50 или 100!» (стр. 230).

И тут уже Светову легко отличиться, пойдя дальше самого Солженицына: автор «Теленка» лишь сомневался, стоит

ли ему испытывать благодарность к журналу, впервые его напечатавшему; Светов категорически решил, что Солженицын с «Иваном Денисовичем» появился в литературе не *благодаря*, а *вопреки* «Новому миру», во всяком случае вопреки всем соредакторам Твардовского.

О чем можно спорить при таком способе цитирования? «Карта рукав совал», — говорит персонаж одной старой пьесы. Да, Светову все нипочем. Чего не сделаешь в страстной заботе сбросить с оппонента «обветшавший маскарад», вскрыть «подлинное лицо нашего критика»!

Светов обличает редакторов «Нового мира», и меня в первую голову, в беспринципности, корысти («литературная эквилибристика за полноценный гонорар»), хлестаковщине, необразованности, запойном пьянстве («Ну, а коль пилось «запойно и мучительно», заслуживает ли абсолютного доверия наш «свидетель на процессе»?» — стр. 226), притворстве, трусости, «вранье пур ле жанс»... Он забывает, что для того, чтобы ему поверили, лучше было бы выбрать что-то одно. Но он уже, видно, не может сладить с собой в напряженном желании «вмазать», выражаясь его словом, «Новому миру».

Очень не хочется, отвечая Светову, ненароком впасть в его тон. И я ищу в его статье то, что может хоть немного объяснить психологическое состояние полемиста, забросившего чепец за мельницу. Есть что-то женственно-капризное в манере его спора, не мужская экзальтация, пренебрежение логикой, захлебывающийся поток обвинений, будто в приступе ревности, порою истерический смешок и такое беспамятство на прежнее добро, что мне трудно вообразить прежнего Ф. Светова, не очень сложившегося, разбросанного, но всегда симпатичного, уступчивого и чувствительного критика и рецензента «Нового мира».

Сейчас он разрешает себе даже дуться на то, что принадлежал «к облагодетельствованным раз и навсегда авторам» «Нового мира» (стр. 228). Теперь, когда вот уже семь лет нам начисто нечем его «облагодетельствовать», он прозрел на наш счет. Так оно обычно и бывает.

«На обеде — все соседи, а пришла беда — они прочь, как вода».

И какая нестойкая память! Вот он сердится теперь на старую мою статью «Посев и жатва» (1968) о трех поколениях русских революционеров, и удивляется, как я мог говорить о них с уважением и всерьез обсуждать проблему нравственного долга, «черты», через которую нельзя переступить. Но как же забыл Светов о том, что примерно тогда же, в 1966 году, сам он поместил в «Новом мире» статью о книге «Дантон», написанной его покойным отцом Цви Фридляндом. Ц. Фридлянд — историк-марксист, преподаватель «Свердловки» и Института Красной профессуры, принадлежал как раз к первым поколениям большевиков, и был уничтожен вместе с тысячами других в пору сталинского террора. Естественны чувства любви и уважения, с какими говорил тогда Светов об отце, но интересно и то, с какой рассудительностью и почтением писал он тогда о Дантоне — одной из самых сомнительных фигур якобинского террора.

Конечно, любой человек вправе меняться, и даже коренным образом отвергать свои былые понятия и верования, приходить к новой вере — и максимальная терпимость, на мой взгляд, норма просвещенного человека. Но если терпимости нет у самого неофита?

Светов дважды употребляет в своей статье одно выражение. О Твардовском он говорит, что тот «топтался на перекрестке». И о себе, что сам он все еще «топтался на перекрестке». Твардовский так и умер, с перекрестка не сойдя, а он, Светов, пришел к новой вере и к тому, что необходимо «Разделение...», как назвал он свою статью (прежде у нас это называли «размежевание»).

То, насколько сложна современная русская жизнь, и насколько противоестественны порой выводы из самых нормальных духовных процессов, показывает, на мой взгляд, «случай» Светова.

В истории нередки случаи, когда человек, коренным образом менявший свои верования, убеждения, обращал свой внутренний взор на собственную жизнь, видел ее неправоту

и перед глазами мира обличал себя, чтобы оправдать свой душевный поворот. Со Световым произошло иначе: он пережил переворот, отказ от прежних верований, но сопроводил это не попыткой гласного пересмотра себя, а злобным личным нападением на круг людей, к которым прежде был близок.

Светов уверен в безусловной, исключающей любую критику, правоте Солженицына и своей собственной правоте. Пусть так, и его путь «с перекрестка» вернее. Но отчего это сознание правоты питается столь сомнительными способами сокрушения оппонента? При таком наклоне ума новообращенный разрешает себе все судороги ярости, его слог сочится ядом, он теряет всякое чувство меры и расстается с понятиями о достоинстве в одном желании ударить побольнее. Не уносит ли это в любом случае от той духовной цели, какой Светов желал послужить?

Светов много и с каким-то упоением твердит о «смерти» «Нового мира». Солженицын относил «духовную смерть» журнала к 1968 году, Светову этого мало: по его счету «Новый мир» умер, едва опубликовав «Ивана Денисовича», то есть в 1962 году. Не выяснится ли вскоре, что журнал Твардовского умер, еще не родившись?

«Новый мир» действительно умер, как приметное явление в нашей культурно-общественной жизни в феврале 1970 года, когда Твардовский и другие члены редколлегии были изгнаны из журнала. Но смерть смерти рознь. Где, как не в «Вестнике», лишний раз вспомнить замечательные слова: «...Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (От Иоанна, 12, 24).

Традиция «Нового мира» в нашей культуре, в нашей стране не может погибнуть без следа.

А статья Светова останется, надо думать, заурядным случаем недобросовестности. Не доброй совести.

В. Лакшин

17 октября 1977 г.

От составителя

Письмо Вл. Як. не было опубликовано в журнале «Вестник РХД» («Вестник Русского Христианского движения»).

Рецензия Ф. Светова на книгу своего отца Цви Фридлянда о Дантоне называлась «Книга о трибуне Французской революции» («Новый мир», 1966, № 3), он же и автор книги о Марате. Ф. Светов пишет, что книга отца — это не «последнее слово об одном из *великих вождей великой буржуазной революции*. Дантон был слишком крупной и противоречивой фигурой. Но современного читателя, несомненно, заинтересует в этой книге и сам подход к предмету исследования, попытка обратиться к историческому материалу для того, чтобы поразмышлять, нащупать верный путь для понимания важных, в том числе и современных проблем» (с. 267).

В нашей библиотеке сохранились две книги. Первая: Ц. Фридлянд. Дантон. Издание третье. М., 1965 с надписью Феликса Светова. — «Володе Лакшину на память о нашем семействе. Свет. 16.3.66».

Вторая книга называется. «В борьбе за социалистический реализм. Литературно-критические статьи. Советский писатель. 1959». Это сборник статей зубров-теоретиков: Виктора Панкова, И. Анисимова, Бориса Сучкова, Я. Эльсберга, Евгения Суркова, Зои Кедриной. Среди них и статья Феликса Светова «Прав или виноват Иван Иванович?». Речь идет о разборе трилогии Антонины Коптяевой. Тут немало рассуждений и о социалистическом реализме, и о преобразованиях в советском обществе, и о марксистской эстетике.

В № 161 (1991 г.) редактор «Вестника РХД» Никита Струве писал: «В Москве, в августовские преображенские дни, под проливным дождем, произошло грандиозное событие: антиоктябрьская революция! Как метко определил события французский философ-публицист Андре Глюксман: «Сегодняшняя Москва — это слова Солженицына в действии!» Сбывается, сбылось то, о чем так упорно в течение трех десятилетий возвещал одинокий писатель-пророк» («Россия воскресла»).

С. Кайдаш-Лакшина

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-публицистическое издание

Лакшин Владимир Яковлевич

СОЛЖЕНИЦЫН И КОЛЕСО ИСТОРИИ

Составитель Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина

Генеральный директор *Л.Л. Палько*
Ответственный за выпуск *В.П. Еленский*
Главный редактор *С.Н. Дмитриев*
Художник *Д.В. Грушин*

Подготовка макета *Издательство «АЗЪ»*
Редактор *А.В. Знатнов*
znatnova@yandex.ru

ООО «Издательство «Вече 2000»
ЗАО «Издательство «Вече»
ООО «Издательский дом «Вече»

129348, Москва, ул. Красной Сосны, 24.

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.000129.01.08 от 16.01.2008 г.
E-mail: veche@veche.ru
http://www.veche.ru

Подписано в печать 03.09.08.
Формат 84x108 $^{1}/_{32}$. Бумага офсетная
Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 24,36. Тираж 3000 экз.
Заказ № Т-1308.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в типографии ОАО ПИК «Идел-Пресс».
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.
E-mail: idelpress@mail.ru

...Как в политика и мыслителя в Солженицына я верю мало, хотя он и обрел уже замашки политического деятеля знакомого типа — с ненасытным стремлением отсекать, отмежевываться и «приводить к присяге». Сомневаюсь в том, что через него даруется нам Истина, и не хочу в его рай — боюсь, что попаду в идеально благоустроенный лагерь. В христианство его я не верю, потому что нельзя быть христианином с такой мизантропической наклонностью ума и таким самообожанием. А его ненавистью ко всему, что есть нынешняя Россия, я сыт по горло.

В.Я. Лакшин

